



C. Murray

Федор Иванович Тютчев

Том 3. Публицистические произведения

(Полное собрание сочинений и писем в
шести томах #3)

В третий том Полного собрания сочинений Ф. И. Тютчева включены публицистические произведения, написанные на французском языке, и их переводы, а также комментарии к ним.

<http://rulitera.narod.ru>

Содержание

От редакции	0006
Публицистические произведения, написанные на французском языке	0010
Письмо русского *	0010
Lettre à M. le docteur Gustave Kolb, rédacteur de la «Gazette Universelle» *	0013
Записка *	0049
La Russie et la Révolution *	0074
La question Romaine *	0100
La Russie et l'Occident *	0138
Отрывок *	0174
Lettre sur la censure en Russie *	0175
Переводы публицистических произведений, написанных на французском языке	0194
Письмо русского *	0194
Россия и Германия Письмо доктору Густаву Кольбу, редактору «Всеобщей газеты» *	0197
Записка *	0233
Россия и Революция *	0260
Римский вопрос *	0286
Россия и Запад *	0326
Отрывок *	0364
Письмо о цензуре в России *	0365
Комментарии	0384
#1	0384

#2	0403
#3	0421
#4	0538
#5	0591
#6	0675
#7	0774
#8	0952
#9	0971
Условные сокращения	1042
Иллюстрации	1048
Выходные данные	1051

Федор Иванович Тютчев
Полное собрание сочинений
и писем в шести томах
Том 3. Публицистические
произведения

От редакции

В третий том Полного собрания сочинений Ф. И. Тютчева вошли все известные его публицистические и историософские сочинения, написанные на французском языке.

Три статьи («Россия и Германия», «Россия и Революция», «Римский вопрос») были напечатаны без подписи в Германии и Франции в 1840-х гг. и вызвали резонанс на Западе и в России. По словам И. С. Аксакова, «впервые раздался в Европе твердый и мужественный голос русского общественного мнения. Никто никогда из частных лиц в России еще не осмеливался говорить прямо с Европой таким тоном, с таким достоинством и свободой». Вместе с «Письмом о цензуре в России» эти статьи составили опубликованный в 1873 и 1886 гг. в «Русском архиве» основной корпус публицистических сочинений поэта (на французском языке и в переводе на русский). Затем они воспроизводились в изданиях: «Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи» (СПб., 1886); «Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политиче-

ские статьи» (СПб., 1900); «Полное собрание сочинений Ф. И. Тютчева» (СПб., 1911) и в последующих изданиях и сборниках.

В 1930 г. С. Якобсоном атрибутировано <Письмо русского>, впервые опубликованное в 1844 г. в немецкой газете «Allgemeine Zeitung» и напечатанное в переводе на русский язык в книге К. В. Пигарева «Жизнь и творчество Тютчева» (М., 1962). В 1935 г. в серии «Литературное наследство» (т. 19–21) был обнародован перевод <Отрывка>, французский автограф которого воспроизведен в настоящем томе. В 1988 г. в «Литературном наследстве» (т. 97) появился французский первоисточник и перевод незавершенного трактата «Россия и Запад». В «Новом литературном обозрении» (1992. № 1) вышла в свет <Записка>.

Все опубликованные в XIX–XX вв. публицистические и

историософские сочинения поэта вошли в третий том в переводах, выполненных для настоящего издания Б. Н. Тарасовым. В новых переводах устранены стилистические, синтаксические, грамматические, орфографиче-

ские и иные недочеты (пропуск слов, предложений, абзацев) первоначальных, в целом адекватно передающих содержание тютчевской мысли, но порой смещающих важные, а иногда и принципиальные смысловые оттенки.

Включенные в третий том произведения Тютчева никогда ранее обстоятельно не комментировались. Исключение составляют трактат «Россия и Запад» (коммент. В. В. Кожина и Л. Р. Ланского) и статья «Россия и Германия» (коммент. А. Л. Осповат. Тютчевский сборник II. Тарту, 1999). Вклад в изучение публицистики поэта внес прот. Г. Флоровский, в статье «Исторические прозрения Тютчева» (*The Slavonic Review*. 1924. Vol. 3. № 8) подчеркнувший ее исторический и пророческий характер, а также Р. Лэйн, проанализировавший отклики на нее в зарубежной печати (Литературное наследство. Т. 97). С учетом полученных исследователями результатов, а также противоречивого многообразия подходов и оценок публицистического и исторического творчества Тютчева впервые предпринята попытка полного, единого и по-

дробного комментария (Б. Н. Тарасов) всех публикуемых текстов поэта, исходя из рассмотренных особенностей его личности, мировоззрения, философско-исторических и политико-идеологических взглядов и социально-культурного контекста.

Как и в предшествующих томах, все сочинения Тютчева печатаются в хронологической последовательности. Тексты сверены с автографами и наиболее авторитетными источниками. Приняты во внимание списки Эрн. Ф. Тютчевой и К. Пфеффеля, а также царские копии, находящиеся в архивах П. А. Вяземского, М. П. Погодина, С. Д. Полторацкого, Н. К. Шильдера, Тургеневых.

Публицистические произведения, написанные на французском языке

Письмо русского*

19. März. Ich las in der Beilage Nr. 78 der Allg. Zeitung vom 18. März einen Artikel über das russische Heer im Kaukasus. Unter andern sonderbarlichen Dingen findet sich darin eine Stelle, deren Bedeutung ungefähr folgende ist: «der russische Soldat sey oftmals dasselbe was der französische Galeeren-sträfling». Der ganze übrige Artikel ist, seiner Richtung nach, im Grunde nur die Entwicklung dieses Satzes. Werden Sie einem Russen zwei kurze Bemerkungen hierüber gestatten? Diese schönen Dinge schreibt und veröffentlicht man in Deutschland im Jahr 1844. Nun, die Leute, welche man auf solche Weise den Galeerensträflingen zur Seite stellt, sind dieselben die vor kaum dreißig Jahren auf den Schlachtfeldern ihres Vaterlandes in Strömen ihr Blut vergossen, um Deutschlands Befreiung zu sichern, das Blut

dieser Galeerensträflinge, das in eins zusammengeflossen mit dem Ihrer Väter und Ihrer Brüder, hat Deutschlands Schmach abgewaschen und ihm seine Unabhängigkeit und Ehre wieder errungen. Dies meine erste Bemerkung. Die zweite ist folgende: wenn Sie einem Veteranen der Napoleonischen Heere begegnen, ihn an seine ruhmreiche Vergangenheit erinnern und fragen, wer unter den Gegnern, die er auf allen Schlachtfeldern Europa's zu bekämpfen gehabt, derjenige gewesen den er am meisten geschätzt, der nach einzelnen Niederlagen den stolzesten Blick gezeigt: so läßt sich zehn gegen eins wetten der Napoleonische Veteran werde Ihnen den russischen Soldaten nennen. Durchwandern Sie die Departemente Frankreichs, in welchen der fremde Einfall im Jahre 1814 seine Furchen gezogen, und fragen Sie jetzt die Bewohner dieser Provinzen welcher Soldat unter den Truppen des feindlichen Heeres beständig die größte Menschlichkeit, die höchste Mannszucht, die geringste Feindseligkeit gegen den friedlichen Einwohner, den entwaffneten Bürger gezeigt, so läßt sich hundert gegen eins wetten, man werde

Ihnen den russischen Soldaten nennen. Wollen Sie aber wissen welches der ungezügeltste, der raubsüchtigste gewesen, o dann — ist es nicht mehr der russische Soldat. Dies die wenigen Betrachtungen, die ich Ihnen über den fraglichen Artikel zu machen hatte; ich verlange nicht, daß Sie dieselben Ihren Lesern mittheilen. Diese und viele andere daran sich knüpfende Betrachtungen leben — Sie wissen es so gut wie ich — in Deutschland in aller Herzen, und darum bedürfen sie auch durchaus keines Raumes in einem öffentlichen Blatte. In unsern Tagen gibt es — Dank der Presse — jenes unverletzliche Geheimnis nicht mehr, das die Franzosen das Geheimnis der Komödie nennen; man ist in allen Ländern, wo Öffentlichkeit der Presse herrscht, dahin gekommen, daß niemand über den innersten Grund einer gegebenen Lage zu sagen wagt, was jedermann davon denkt. Dies ist auch der Grund, warum ich Ihnen das Wort des Räthsels über die Stimmung der Gemüther in Deutschland gegen die Russen nur leise zuflüstere. Die Deutschen haben, nach Jahrhunderten der Zerrissenheit und nach Jahren politischen Todes, ihre Nationalität nur

mit dem hochherzigen Beistande Rußlands wieder gewinnen können; jetzt bilden sie sich ein, sie könnten sie vervollständigen durch Undankbarkeit. Ach, sie täuschen sich. Sie beweisen damit bloß, daß sie sich annoch schwach fühlen.

Lettre à M. le docteur Gustave Kolb, rédacteur de la «Gazette Universelle»*

Monsieur le Rédacteur,
L'accueil que vous avez fait dernièrement à quelques observations que j'ai pris la liberté de vous adresser, ainsi que le commentaire modéré et raisonnable dont vous les avez accompagnées, m'ont suggéré une singulière idée. Que serait-ce, monsieur, si nous essayions de nous entendre sur le fond même de la question? Je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement. En vous écrivant c'est donc à la «Gazette Universelle d'Augsbourg» que je m'adresse. Or, dans l'état actuel de l'Allemagne, la «Gazette d'Augsbourg» est quelque chose de plus, à mes yeux, qu'un journal. C'est la première de ses tribunes politiques... Si l'Allemagne avait le bonheur d'être *une*, son gouvernement pourrait à plusieurs

égards adopter ce journal pour l'organe légitime de sa pensée. Voilà pourquoi je m'adresse à vous. Je suis Russe, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, Russe de cœur et d'âme, profondément dévoué à mon pays, en paix avec mon gouvernement et, de plus, tout à fait indépendant par ma position. C'est donc une opinion russe, mais *libre* et parfaitement *désintéressée*, que j'essayerai d'exprimer ici... Cette lettre, comprenez-moi bien, s'adresse plus encore à vous, monsieur, qu'au public. Toutefois vous pouvez en faire tel usage qu'il vous plaira. La publicité m'est indifférente. Je n'ai pas plus de raisons de l'éviter que de la rechercher... Et ne craignez pas, monsieur, qu'en ma qualité de Russe, je m'engage à mon tour dans la pitoyable polémique qu'a soulevée dernièrement un pitoyable pamphlet. Non, monsieur, cela n'est pas assez sérieux.

...Le livre de M. de Custine est un témoignage de plus de ce dévergondage de l'esprit, de cette démoralisation intellectuelle, trait caractéristique de notre époque, en France surtout, qui fait qu'on se laisse aller à traiter les questions les plus graves et les plus hautes, bien moins avec la

raison qu'avec les nerfs, qu'on se permet de juger un Monde avec moins de sérieux qu'on n'en mettrait autrefois à faire l'analyse d'un vaudeville. Quant aux adversaires de M. de Custine, aux soi-disant défenseurs de la Russie, ils sont certainement plus sincères, mais ils sont bien niais... Ils me font l'effet de gens qui, par un excès de zèle, ouvriraient précipitamment leur parasol pour protéger contre l'ardeur du jour la cime du Mont-Blanc... Non, monsieur, ce n'est pas de l'apologie de la Russie qu'il sera question dans cette lettre. L'apologie de la Russie!.. Eh, mon Dieu, c'est un plus grand maître que nous tous qui s'est chargé de cette tâche et qui, ce me semble, s'en est jusqu'à présent assez glorieusement acquitté. Le véritable apologiste de la Russie c'est l'Histoire, qui depuis trois siècles ne se lasse pas de lui faire gagner tous les procès dans lesquels elle a successivement engagé ses mystérieuses destinées... En m'adressant à vous, monsieur, c'est de vous-même, de votre propre pays, que je prétends vous entretenir, de ses intérêts les plus essentiels, les plus évidents, et s'il est question de la Russie, ce ne sera que dans ses rapports immédiats avec les destinées de

l'Allemagne.

A aucune époque, je le sais, les esprits en Allemagne n'ont été aussi préoccupés qu'ils le sont de nos jours du grand problème de l'unité germanique... Eh bien, monsieur, vous surprendrai-je beaucoup, vous, sentinelle vigilante et avancée, si je vous disais qu'au beau milieu de cette préoccupation générale un œil un peu attentif pourrait signaler bien des tendances, qui, si elles venaient à grandir, compromettraient terriblement cette œuvre de l'unité à laquelle tout le monde a l'air de travailler... Il y en a une surtout fatale entre toutes... Je ne dirai rien qui ne soit dans la pensée de tout le monde, et cependant je ne pourrais pas dire un mot de plus, sans toucher à des questions brûlantes; mais j'ai la croyance, que de nos jours, comme au Moyen-Age, quand on a les mains pures et les intentions droites, on peut impunément toucher à tout...

Vous savez, monsieur, quelle est la nature des rapports qui unissent, depuis trente ans, les gouvernements de l'Allemagne, grands et petits, à la Russie. Ici je ne vous demande pas ce que pensent de ces rapports telle ou telle opinion, tel ou tel parti; il s'agit d'un fait. Or le fait est que

jamais ces rapports n'ont été plus bienveillants, plus intimes, que jamais entente plus sincèrement cordiale n'a existé entre ces différents gouvernements et la Russie... Monsieur, pour qui vit sur le terrain de la réalité et non dans le monde des phrases, il est clair que cette politique est la vraie, la légitime politique de l'Allemagne, sa politique normale, et que ses souverains, en maintenant intacte cette grande tradition de votre époque de régénération, n'ont fait qu'obéir aux inspirations du patriotisme le plus éclairé... Mais encore une fois, monsieur, je ne prétends pas au don des miracles, je ne prétends pas faire partager cette opinion à tout le monde, surtout pas à ceux qui la considèrent comme leur ennemie personnelle... Aussi bien ce n'est pas d'une opinion qu'il s'agit pour le moment, c'est d'un fait, et le fait, ce me semble, est assez visible et assez palpable pour rencontrer peu d'incrédules...

A côté et en regard de cette direction politique de vos gouvernements, ai-je besoin de vous dire, monsieur, quelle est l'impulsion, quelles sont les tendances que depuis une dizaine d'années on travaille sans relâche à imprimer à l'opinion

allemande à l'égard de la Russie? Ici encore je m'abstiendrai pour le moment d'apprécier à leur juste valeur les griefs, les accusations de tout genre qu'on ne cesse d'accumuler contre elle avec une persévérance vraiment étonnante. Il ne s'agit ici que du résultat obtenu. Ce résultat, il faut l'avouer, s'il n'est pas consolant, est à peu près complet. Les travailleurs sont en droit d'être contents de leur journée. — Cette même puissance que les grandes générations de 1813 saluaient de leur enthousiaste reconnaissance, cette puissance dont l'alliance fidèle, dont l'amitié active et désintéressée n'a pas failli une seule fois depuis trente ans ni aux peuples, ni aux souverains de l'Allemagne, on a réussi, grâce aux refrains dont on a bercé l'enfance de la génération actuelle, on a presque réussi, dis-je, à transformer cette même puissance en épouvantail pour un grand nombre d'hommes appartenant à notre génération, et bien des intelligences viriles de notre époque n'ont pas hésité à rétrograder jusqu'à la candide imbécillité du premier âge, pour se donner la satisfaction de voir dans la Russie l'ogre du XIX-e siècle.

Tout cela est vrai. Les ennemis de la Russie

trionpheront peut-être de ces aveux; mais qu'ils me permettent de continuer.

Voilà donc deux tendances bien décidément opposées; le désaccord est flagrant et il s'aggrave tous les jours. D'un côté vous avez les souverains, les cabinets de l'Allemagne avec leur politique sérieuse et réfléchie, avec leur direction déterminée, et d'autre part un autre souverain de l'époque — l'opinion, qui s'en va où les vents et les flots la poussent.

Monsieur, permettez-moi de m'adresser à votre patriotisme et à vos lumières: que pensez-vous d'un pareil état de choses? Quelles conséquences en attendez-vous pour les intérêts, pour l'avenir de votre patrie? Car, comprenez-moi bien, ce n'est que de l'Allemagne qu'il s'agit en ce moment... Mon Dieu, si l'on pouvait se douter, parmi vous, combien peu la Russie est atteinte par toutes ces violences dirigées contre elle, peut-être cela ferait réfléchir jusqu'à ses ennemis les plus acharnés...

Il est évident qu'aussi longtemps que la paix durera, ce désaccord n'amènera aucune perturbation grave et manifeste; le mal continuera à couler sous terre; vos

gouvernements, comme de raison, ne changeront pas leur direction, ne bouleverseront pas de fond en comble toute la politique extérieure de l'Allemagne pour se mettre à l'unisson de quelques esprits fanatiques ou brouillons; ceux-ci, sollicités, poussés par la contradiction, ne croiront pas pouvoir s'engager assez avant dans la direction la plus opposée à celle qu'ils réprouvent, et c'est ainsi que, tout en continuant à parler de l'unité de l'Allemagne, les yeux toujours tournés vers l'Allemagne, ils s'approcheront pour ainsi dire à reculons vers la pente fatale, vers la pente de l'abîme, où votre patrie a déjà glissé plus d'une fois... Je sais bien, monsieur, que tant que nous conserverons la paix, le péril que je signale ne sera qu'imaginaire... Mais vienne la crise, cette crise dont le pressentiment pèse sur l'Europe, viennent ces jours d'orage, qui mûrissent tout en quelques heures, qui poussent toutes les tendances à leurs conséquences les plus extrêmes, qui arrachent leur dernier mot à toutes les opinions, à tous les partis... monsieur, qu'arrivera-t-il alors? Serait-il donc vrai qu'il y ait pour les nations plus encore que pour les individus une fatalité inexorable,

inexpiable? Faut-il croire qu'il y ait en elles des tendances plus fortes que toute leur volonté, que toute leur raison, des maladies organiques que nul art, nul régime ne peuvent conjurer?.. En serait-il ainsi de cette terrible tendance au déchirement que l'on voit, comme un phénix de malheur, renaître à toutes les grandes époques de l'histoire de votre noble patrie? Cette tendance, qui a éclaté au Moyen-Age par le duel impie et antichrétien du Sacerdoce et de l'Empire, qui a déterminé cette lutte parricide entre l'empereur et les princes, puis, un moment affaiblie par l'épuisement de l'Allemagne, est venue se retremper et se rajeunir dans la Réformation, et, après avoir accepté d'elle une forme définitive et comme une conjuration légale, s'est remise à l'œuvre avec plus de zèle que jamais, adoptant tous les drapeaux, épousant toutes les causes, toujours la même sous des noms différents jusqu'au moment où, parvenue à la crise décisive de la guerre de Trente Ans, elle appelle à son secours l'étranger d'abord, la Suède, puis s'associe définitivement l'ennemi, la France, et grâce à cette association de forces, achève glorieusement en moins de deux siècles la

mission de mort dont elle était chargée.

Ce sont là de funestes souvenirs. Comment se fait-il qu'en présence de souvenirs pareils vous ne vous sentiez pas plus alarmé par tout symptôme qui annonce un antagonisme naissant dans les dispositions de votre pays? Comment ne vous demandez-vous pas avec effroi si ce n'est pas là le réveil de votre ancienne, de votre terrible maladie?

Les trente années qui viennent de s'écouler peuvent assurément être comptées parmi les plus belles de votre histoire; depuis les grands règnes de ses empereurs saliques jamais de plus beaux jours n'avaient lui sur l'Allemagne; depuis bien des siècles l'Allemagne ne s'était aussi complètement appartenue, ne s'était sentie aussi *une*, aussi elle-même; depuis bien des siècles elle n'avait eu vis-à-vis de son éternelle rivale une attitude plus forte, plus imposante. Elle l'a tenue en échec sur tous les points. Voyez vous-même: au delà des Alpes vos plus glorieux empereurs n'ont jamais exercé une autorité plus réelle que celle qu'y exerce maintenant

une puissance allemande. Le Rhin est redevenu allemand de cœur et d'âme; la

Belgique, que la dernière secousse européenne semblait devoir précipiter dans les bras de la France, s'est arrêtée sur la pente, et maintenant il est évident qu'elle remonte vers vous; le cercle de Bourgogne se reforme, la Hollande, tôt ou tard, ne saurait manquer de vous revenir. Telle a donc été l'issue définitive du grand duel engagé il y a plus de deux siècles entre la France et vous; vous avez pleinement triomphé, vous avez eu le dernier mot. Et cependant, convenez-en: pour qui avait assisté à cette lutte depuis son origine, pour qui l'avait suivie à travers toutes les phases, à travers toutes ses vicissitudes, jusqu'à la veille du jour suprême et décisif, il eût été difficile de prévoir une pareille issue; les apparences n'étaient pas pour vous, les chances n'étaient pas en votre faveur. Depuis la fin du Moyen-Age, malgré quelque temps d'arrêt, la puissance de la France n'avait cessé de grandir, en se concentrant et en se disciplinant, et c'est à partir de cette époque que l'Empire, grâce à sa scission religieuse, est entré dans son dernier période, dans le période de sa désorganisation légale; les victoires même que vous remportiez étaient stériles pour vous, car ces victoires n'arrêtaient

pas la désorganisation intérieure, où souvent même elles ne faisaient que la précipiter. Sous Louis XIV, bien que le grand roi eût échoué, la France triompha, son influence domina souverainement l'Allemagne; enfin vint la Révolution, qui, après avoir extirpé de la nationalité française jusqu'aux derniers vestiges de ses origines, de ses affinités germaniques, après avoir rendu à la France son caractère exclusivement romain, engagea contre l'Allemagne, contre le principe même de son existence, une dernière lutte, une lutte à mort; et c'est au moment où le soldat couronné de cette Révolution faisait représenter sa parodie de l'empire de Charlemagne sur les débris mêmes de l'empire fondé par Charlemagne, obligeant pour dernière humiliation les peuples de l'Allemagne d'y jouer aussi leur rôle, c'est dans ce moment suprême que la péripétie eut lieu, et que tout fut changé.

Comment s'était-elle faite, cette prodigieuse péripétie? Par qui? Par quoi avait-elle été amenée?.. Elle a été amenée par l'arrivée d'un tiers sur le champ de bataille de l'Occident européen; mais ce tiers, c'était tout un monde...

Ici, monsieur, pour nous entendre, il faut que vous me permettiez une courte digression. On parle beaucoup de la Russie; de nos jours elle est l'objet d'une ardente, d'une inquiète curiosité. Il est clair qu'elle est devenue une des grandes préoccupations du siècle; mais, bien différent des autres problèmes qui le passionnent, celui-ci, il faut l'avouer, pèse sur la pensée contemporaine, plus encore qu'il ne l'excite... Et il ne pouvait en être autrement: la pensée contemporaine, fille de l'Occident, se sent là en présence d'un élément sinon hostile, du moins décidément étranger, d'un élément qui ne relève pas d'elle, et l'on dirait qu'elle a peur de se manquer à elle-même, de mettre en cause sa propre légitimité, si elle acceptait comme pleinement légitime la question qui lui est posée, si elle s'appliquait sérieusement, consciencieusement à la comprendre et à la résoudre... Qu'est-ce que la Russie? Quelle est sa raison d'être, sa loi historique? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Que représente-t-elle? Le monde, il est vrai, lui a fait une place au soleil, mais la philosophie de l'histoire n'a pas encore daigné lui en assigner une. Quelques rares intelligences, deux ou trois en Allemagne, une ou deux en

France, plus libres, plus avancées que le gros de l'armée, ont bien entrevu le problème, ont bien soulevé un coin du voile, mais leurs paroles jusqu'à présent ont été peu comprises, ou peu écoutées.

Pendant longtemps la manière dont on a compris la Russie, dans l'Occident, a ressemblé, à quelques égards, aux premières impressions des contemporains de Colomb. C'était la même erreur, la même illusion d'optique. Vous savez que pendant longtemps les hommes de l'ancien continent, tout en applaudissant à l'immortelle découverte, s'étaient obstinément refusés à admettre l'existence d'un continent nouveau; ils trouvaient plus simple et plus rationnel de supposer que les terres qui venaient de leur être révélées n'étaient que l'appendice, le prolongement du continent qu'ils connaissaient déjà. Ainsi en a-t-il été des idées qu'on s'est longtemps faites de cet autre nouveau monde, l'Europe orientale, dont la Russie a de tout temps été l'âme, le principe moteur et auquel elle était appelée à imposer son glorieux nom, pour prix de l'existence historique que ce monde a déjà reçue d'elle, ou qu'il en attend... Pendant des siècles,

l'Occident européen avait cru avec une bonne foi parfaite qu'il n'y avait point, qu'il ne pouvait pas y avoir d'autre Europe que lui. Il savait, à la vérité, qu'au-delà de ses frontières il y avait encore des peuples, des souverainetés, qui se disaient chrétiens; aux temps de sa puissance il avait même entamé les bords de ce monde sans nom, il en avait arraché quelques lambeaux qu'il s'était incorporés tant bien que mal, en les dénaturant, en les dénationalisant; mais que, par-delà cette limite extrême, il y eût une autre Europe, une Europe orientale, sœur bien légitime de l'Occident chrétien, chrétienne comme lui, point féodale, point hiérarchique, il est vrai, mais par-là même plus intimement chrétienne; qu'il y eût là tout un Monde, Un dans son Principe, solidaire de ses parties, vivant de sa vie propre, organique, originale: voilà ce qu'il était impossible d'admettre, voilà ce que bien des gens aimeraient à révoquer en doute, même de nos jours... Longtemps l'erreur avait été excusable; pendant des siècles le principe moteur était resté comme enseveli sous le chaos: son action avait été lente et presque imperceptible; un épais nuage enveloppait cette lente élaboration d'un

monde... Mais enfin, quand les temps furent accomplis, la main d'un géant abattit le nuage, et l'Europe de Charlemagne se trouva face à face avec l'Europe de Pierre le Grand...

Ceci une fois reconnu, tout devient clair, tout s'explique: on comprend maintenant la véritable raison de ces rapides progrès, de ces prodigieux accroissements de la Russie, qui ont étonné le monde. On comprend que ces prétendues conquêtes, ces prétendues violences ont été l'œuvre la plus organique et la plus légitime que jamais l'histoire ait réalisée, c'était tout bonnement une immense restauration qui s'accomplissait. On comprendra aussi pourquoi on a vu successivement périr et s'effacer sous sa main tout ce que la Russie a rencontré sur sa route de tendances anormales, de pouvoirs et d'institutions infidèles au grand principe qu'elle représentait... pourquoi la Pologne a dû périr... non pas l'originalité de sa race polonaise, à Dieu ne plaise, mais la fausse civilisation, la fausse nationalité, qui lui avaient été imputées. C'est aussi de ce point de vue que l'on appréciera le mieux la véritable signification de ce qu'on appelle la question de l'Orient, de cette question

que l'on affecte de proclamer insoluble, précisément parce que tout le monde en a depuis longtemps prévu l'inévitable solution... Il s'agit en effet de savoir si l'Europe orientale, déjà aux trois quarts constituée, si ce véritable empire de l'Orient, dont le premier, celui des césars de Byzance, des anciens empereurs orthodoxes, n'avait été qu'une faible et imparfaite ébauche, si l'Europe orientale recevra ou non son dernier, son plus indispensable complément, si elle l'obtiendra par le progrès naturel des choses, ou si elle se verra forcée de le demander à la fortune par les armes, au risque des plus grandes calamités pour le monde. Mais revenons à notre sujet.

Voilà, monsieur, quel était le tiers dont l'arrivée sur le théâtre des événements a brusquement décidé le duel séculaire de l'Occident européen; la seule apparition de la Russie dans vos rangs y a ramené l'unité, et l'unité vous a donné la victoire.

Et maintenant, pour se rendre un compte vrai de la situation actuelle des choses, on ne saurait assez se pénétrer d'une vérité, c'est que depuis cette intervention de l'Orient constitué dans les

affaires de l'Occident, tout est changé en Europe: jusque-là vous y étiez à deux, maintenant nous y sommes à trois. Les longues luttes y sont devenues impossibles.

De l'état actuel des choses peuvent sortir les trois combinaisons suivantes, les seules possibles désormais. L'Allemagne, alliée fidèle de la Russie, gardera sa prépondérance au centre de l'Europe; ou bien cette prépondérance passerait aux mains de la France. Or, savez-vous, monsieur, ce que serait pour vous la prépondérance aux mains de la France? Ce serait, sinon la mort subite, au moins dépérissement certain de l'Allemagne. Reste la troisième combinaison, celle qui sourirait peut-être le plus à certaines gens: l'Allemagne alliée à la France contre la Russie... Hélas, monsieur, cette combinaison a déjà été essayée en 1812 et, comme vous savez, elle a eu peu de succès. D'ailleurs je ne pense pas qu'après l'issue des trente années qui viennent de s'écouler, l'Allemagne fût d'humeur à accepter les conditions d'existence d'une nouvelle confédération du Rhin: car toute alliance intime avec la France ne peut jamais être que cela, pour l'Allemagne, et savez-vous, monsieur, ce que la

Russie a entendu faire, lorsque, intervenant dans cette lutte engagée entre les deux principes, les deux grandes nationalités qui depuis des siècles se disputaient l'Occident européen, elle l'a décidée au profit de l'Allemagne, du principe germanique? Elle a voulu donner gain de cause une fois pour toutes au droit, à la légitimité historique, sur le procédé révolutionnaire. Et pourquoi a-t-elle voulu cela? Parce que le droit, la légitimité historique, c'est sa cause à elle, sa cause propre, la cause de bon avenir, c'est là le droit qu'elle réclame pour elle-même et pour les siens. Il n'y a que la plus aveugle ignorance, celle qui ferme volontairement les yeux à la lumière, qui puisse encore méconnaître cette grande vérité, car enfin n'est-ce pas au nom de ce droit, de cette légitimité historique, que la Russie a relevé toute une race, tout un monde de sa déchéance, qu'elle l'a appelé à vivre de sa vie propre, qu'elle lui a rendu son autonomie, qu'elle l'a constitué? Et c'est aussi au nom de ce même droit qu'elle saura bien empêcher que les faiseurs d'expériences politiques ne viennent arracher ou escamoter des populations entières à leur centre d'unité vivante, pour pouvoir ensuite plus aisément les

tailler et les façonner comme des choses mortes, au gré de leurs mille fantaisies, qu'ils ne viennent en un mot détacher des membres vivants du corps auquel ils appartiennent, sous prétexte de leur assurer par là une plus grande liberté de mouvement...

L'immortel honneur du Souverain qui est maintenant sur le trône de Russie, c'est de s'être fait plus pleinement, plus énergiquement qu'aucun de ses devanciers le représentant intelligent et inflexible de ce droit, de cette légitimité historique. Une fois que son choix a été fait, l'Europe sait si depuis trente ans la Russie y est restée fidèle. On peut affirmer, l'histoire à la main, qu'il serait bien difficile de trouver dans les annales politiques du monde un second exemple d'une alliance aussi profondément morale que celle qui unit depuis trente ans les souverains de l'Allemagne à la Russie, et c'est ce grand caractère de moralité qui l'a fait durer, qui l'a aidée à résoudre bien des difficultés, à surmonter bien des obstacles, et maintenant, après l'épreuve des bons et des mauvais jours, cette alliance a triomphé d'une dernière épreuve, la plus significative de toutes: l'inspiration qui l'avait

fondée s'est transmise, sans choc et sans altération, des premiers fondateurs à leurs héritiers.

Eh bien, monsieur, demandez à vos gouvernements si depuis ces trente années la sollicitude de la Russie pour les grands intérêts politiques de l'Allemagne s'est démentie un seul instant? Demandez aux hommes qui ont été dans les affaires si maintes fois et sur bien des questions cette sollicitude n'a pas devancé vos propres inspirations patriotiques? Vous voilà depuis quelques années vivement préoccupés en Allemagne de la grande question de l'unité germanique. Il n'en a pas toujours été ainsi, vous le savez. Moi qui depuis longtemps demeure parmi vous, je pourrais au besoin me rappeler l'époque précise où cette question a commencé à passionner les esprits; assurément il était peu question de cette unité, au moins dans la presse, à l'époque où il n'y avait pas de feuille libérale qui ne se crût obligée en conscience de saisir chaque occasion d'adresser à l'Autriche et à son gouvernement les mêmes injures que l'on prodigue maintenant à la Russie... C'est donc là une préoccupation très louable, très légitime à

coup sûr, mais d'une date assez récente. La Russie, il est vrai, n'a jamais prêché l'unité de l'Allemagne; mais depuis trente ans elle n'a cessé dans toutes les occasions et sur tous les tons de recommander à l'Allemagne l'union, la concorde, la confiance réciproque, la subordination volontaire des intérêts particuliers à la grande cause de l'intérêt général, et ces conseils, ces exhortations, elle ne s'est pas lassée de les reproduire, de les multiplier, avec toute cette énergique franchise d'un zèle qui se sait parfaitement désintéressé.

Un livre qui a eu, il y a quelques années, un grand retentissement en Allemagne et auquel on a bien faussement attribué une origine officielle, a semblé accréditer parmi vous l'opinion que la Russie, à une certaine époque, aurait eu pour système de s'attacher plus particulièrement les Etats allemands de second ordre au préjudice de l'influence légitime des deux grands Etats de la Confédération. Jamais la supposition n'a été plus gratuite, et même, il faut le dire, plus contraire de tout point à la réalité.

Consultez là-dessus les hommes compétents, ils vous diront ce qui en est; peut-être vous

diront-ils que dans sa constante préoccupation d'assurer avant tout l'indépendance politique de l'Allemagne, la diplomatie russe s'est exposée quelquefois à froisser d'excusables susceptibilités, en recommandant avec trop d'insistance aux petites cours d'Allemagne une adhésion à toute épreuve au système des deux grandes puissances. Ce serait peut-être ici le lieu d'apprécier à sa juste valeur une autre accusation mille fois reproduite contre la Russie et qui n'en est pas plus vraie. Que n'a-t-on pas dit pour faire croire que c'est son influence avant tout qui a contrarié en Allemagne le développement du régime constitutionnel? En thèse générale il est souverainement déraisonnable de chercher à transformer la Russie en adversaire systématique de telle ou telle forme de gouvernement; et comment, grand Dieu, serait-elle devenue ce qu'elle est, comment exercerait-elle sur le monde l'influence qui lui appartient, avec une pareille étroitesse de ses idées! Ensuite, dans le cas spécial dont il s'agit, il est rigoureusement vrai de dire que la Russie s'est toujours énergiquement prononcée pour le maintien loyal des institutions établies, pour le respect religieux des

engagements contractés; après cela il est très possible qu'elle ait pensé qu'il ne serait pas prudent, dans l'intérêt le plus vital de l'Allemagne (celui de son unité) de donner dans les Etats constitutionnels de la Confédération à la prérogative parlementaire la même extension qu'elle a, par exemple, en Angleterre, en France; que si, même à présent, il n'était pas toujours facile d'établir entre les Etats cet accord, cette intelligence parfaite, que nécessite une action collective, le problème deviendrait tout bonnement insoluble dans une Allemagne dominée, c'est-à-dire divisée par une demi-douzaine de tribunes parlementaires souveraines. C'est là une de ces vérités acceptées à l'heure qu'il est par tous les bons esprits en Allemagne. Le tort de la Russie serait de l'avoir comprise une dizaine d'années plus tôt.

Maintenant, si de ces questions de l'intérieur nous passons à la situation du dehors, vous parlerai-je, monsieur, de la révolution de Juillet et des conséquences probables qu'elle devait avoir pour votre patrie et qu'elle n'a pas eues? Ai-je besoin de vous dire que le principe de cette explosion, que l'âme même de ce mouvement

c'était avant tout le besoin d'une revanche éclatante contre l'Europe, et principalement contre vous, c'était l'irrésistible besoin de ressaisir cette prépondérance de l'Occident, dont la France avait si longtemps joui et qu'elle voyait avec dépit fixée depuis trente ans dans vos mains? Je rends assurément toute justice au roi des Français, j'admire son habileté, je souhaite une longue vie à lui et à son système... Mais que serait-il arrivé, monsieur, si, chaque fois que le gouvernement français a essayé depuis 1835 de porter ses regards par-dessus l'horizon de l'Allemagne, il n'avait pas constamment rencontré sur le trône de Russie la même attitude ferme et décidée, la même réserve, la même froideur, et surtout la même fidélité à toute épreuve, aux alliances établies, aux engagements contractés? S'il avait pu surprendre un seul instant de doute, d'hésitation, ne pensez-vous pas que le Napoléon de la paix lui-même se serait finalement lassé de retenir toujours cette France, frémissante sous sa main, et qu'il l'aurait laissée aller?.. Et que serait-ce, s'il avait pu compter sur de la connivence?..

Monsieur, je me trouvais en Allemagne à

l'époque où M. Thiers, cédant à une impulsion pour ainsi dire instinctive, se disposait à faire ce qui lui paraissait la chose du monde la plus simple et la plus naturelle, c'est-à-dire à se venger sur l'Allemagne des échecs de sa diplomatie en Orient; j'ai été témoin de cette explosion, de la colère vraiment nationale que cette naïve insolence avait provoquée parmi vous, et je me félicite de l'avoir vue; depuis j'ai toujours entendu avec beaucoup de plaisir chanter le *Rheinlied*. Mais, monsieur, comment se fait-il que votre presse politique qui sait tout, qui sait par exemple le chiffre exact de tous les coups de poing qui s'échangent sur la frontière de Prusse entre les douaniers russes et les contrebandiers prussiens, comment, dis-je, n'a-t-elle pas su ce qui s'est passé à cette époque entre les cours d'Allemagne et la Russie? Comment n'a-t-elle pas su, ou ne vous a-t-elle pas informé qu'à la première démonstration d'hostilité de la part de la France, 80 000 hommes de troupes russes devaient marcher au secours de votre indépendance menacée, et que 200 000 hommes les auraient suivis dans les six semaines? Eh bien, monsieur, cette circonstance n'est pas restée

ignorée à Paris, et peut-être penserez-vous comme moi, quel que soit d'ailleurs le cas que je fasse du *Rheinlied*, qu'elle n'a pas peu contribué à décider la vieille *Marseillaise* à battre si promptement en retraite devant sa jeune rivale.

J'ai nommé la presse. Ne croyez pas, monsieur, que j'aie des préventions systématiques contre la presse allemande, ou que je lui garde rancune de son inexprimable malveillance à notre égard. Il n'en est rien, je vous assure; je suis très disposé à lui faire honneur des bonnes qualités qu'elle a, et j'aimerais bien pouvoir attribuer en partie au moins ses torts et ses aberrations au régime exceptionnel sous lequel elle vit. Ce n'est certes ni le talent, ni les idées, ni même le patriotisme qui manquent à votre presse périodique; à beaucoup d'égards elle est la fille légitime de votre noble et grande littérature, de cette littérature qui a restauré parmi vous le sentiment de votre identité nationale. Ce qui manque à votre presse, et cela à un degré compromettant, c'est le tact politique, l'intelligence vive et sûre de la situation donnée, du milieu réel dans lequel elle vit. Aussi remarque-t-on, dans ses manifestations comme

dans ses tendances, je ne sais quoi d'imprévoyant, d'inconsidéré, en un mot de moralement irresponsable qui provient peut-être de cet état de minorité prolongée où on la retient.

Comment s'expliquer en effet, si ce n'est par cette conscience de son irresponsabilité morale, cette hostilité ardente, aveugle, forcenée, à laquelle elle se livre depuis des années à l'égard de la Russie? Pourquoi? Dans quel but? Au profit de quoi? A-t-elle l'air d'avoir une seule fois sérieusement examiné, au point de vue de l'intérêt politique de l'Allemagne, les conséquences possibles, probables, de ce qu'elle faisait? S'est-elle une seule fois sérieusement demandé si, en s'appliquant comme elle le fait, depuis des années, avec cet incroyable acharnement, à aigrir, à envenimer, à compromettre sans retour les dispositions réciproques des deux pays, elle ne travaillait pas à ruiner par sa base le système d'alliance sur lequel repose la puissance relative de l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe? Si, à la combinaison politique la plus favorable que l'histoire eût réalisée jusqu'à présent pour votre patrie, elle ne cherchait par tous les moyens en son pouvoir de

substituer la combinaison la plus décidément funeste? Cette pétulante imprévoyance ne vous rappelle-t-elle pas, monsieur, à la gentillesse près toutefois, une espièglerie de l'enfance de votre grand Gœthe, si gracieusement racontée dans ses mémoires? Vous vous souvenez de ce jour où le petit Wolfgang, resté seul dans la maison paternelle, n'a pas cru pouvoir mieux utiliser le loisir que l'absence de ses parents lui avait fait, qu'en faisant passer successivement par la fenêtre tous les ustensiles du ménage de sa mère qui lui tombaient sous la main, s'amusant et se réjouissant beaucoup du bruit qu'ils faisaient en tombant et en se brisant sur le pavé? Il est vrai qu'il y avait dans la maison vis-à-vis un méchant voisin qui par ses encouragements provoquait l'enfant à continuer l'ingénieux passe-temps; mais vous, monsieur, vous n'avez pas même l'excuse d'une provocation semblable...

Encore si dans tout ce débordement de déclamation haineuse contre la Russie on pouvait découvrir un motif sensé, un motif avouable pour justifier tant de haine! Je sais que je trouverai au besoin des fous qui viendront me dire le plus sérieusement possible: «Nous devons vous haïr;

vosre principe, le principe même de vosre civilisation, nous est antipathique à nous autres Allemands, à nous autres Occidentaux; vous n'avez eu ni *Féodalité*, ni *Hiérarchie Pontificale*; vous n'avez passé ni par les guerres *du Sacerdoce et de l'Empire*, ni par les guerres *de Religion*, ni même par *l'Inquisition*; vous n'avez pas pris part aux Croisades, vous n'avez pas connu la Chevalerie, vous êtes arrivé il y a quatre siècles à l'unité que nous cherchons encore, vosre principe ne fait pas une part assez large à la liberté de l'individu, il n'autorise pas assez la division, le morcellement». Tout cela est vrai; mais tout cela, soyez juste, nous a-t-il empêché de vous aider bravement et loyalement dans l'occasion, lorsqu'il s'est agi de revendiquer, de reconquérir vosre indépendance politique, vosre nationalité, et maintenant n'est-ce pas le moins que vous puissiez faire, que de nous pardonner la nôtre? Parlons sérieusement, car la chose en vaut la peine. La Russie ne demande pas mieux que de respecter vosre légitimité historique, la légitimité historique des peuples de l'Occident; elle s'est dévouée avec vous, il y a trente ans à peine, à la relever de sa chute, à la replacer sur sa base;

elle est donc très disposée à la respecter non seulement dans son principe, mais même dans ses conséquences les plus extrêmes, même dans ses écarts, même dans ses défaillances; mais vous aussi, apprenez à votre tour à nous respecter dans notre unité et dans notre force.

Viendrait-on me dire que ce sont les imperfections de notre régime social, les vices de notre administration, la condition de nos classes inférieures, etc., etc., que c'est tout cela qui irrite l'opinion contre la Russie. Eh quoi, serait-ce vrai? Et moi qui croyais tout à l'heure avoir à me plaindre d'un excès de malveillance, me verrai-je obligé maintenant de protester contre une exagération de sympathie? Car enfin, nous ne sommes pas seuls au monde, et si vous avez en effet un fond aussi surabondant de sympathie humaine, et que vous ne trouviez pas à le placer chez vous et au profit des vôtres, ne serait-il pas juste au moins que vous le répartissiez d'une manière plus équitable entre les différents peuples de la terre? Tous, hélas, ont besoin qu'on les plaigne; voyez l'Angleterre par exemple, qu'en dites-vous? Voyez sa population manufacturière; voyez l'Irlande, et si vous étiez à même d'établir

en parfaite connaissance le bilan respectif des deux pays, si vous pouviez peser dans des balances équitables les misères qu'entraînent à leur suite la barbarie russe et la civilisation anglaise, peut-être trouveriez-vous plus de singularité que d'exagération dans l'assertion de cet homme qui, également étranger aux deux pays, mais les connaissant tous deux à fond, affirmait avec une conviction entière «qu'il y avait dans le Royaume-Uni un million d'hommes, au moins, qui gagneraient beaucoup à être envoyés en Sibérie»...

Ah, monsieur, pourquoi faut-il que vous autres Allemands, qui avez sur vos voisins d'outre-Rhin une supériorité morale incontestable à tant d'égards, pourquoi faut-il que vous ne puissiez pas leur emprunter un peu de ce bon sens pratique, de cette intelligence vive et sûre de leurs intérêts, qui les distinguent!.. Eux aussi ils ont une presse, des journaux, qui nous invectivent, qui nous déchirent à qui mieux mieux, sans relâche, sans mesure, sans pudeur... Voyez par exemple cette hydre aux cent têtes de la presse parisienne, toutes lançant feu et flamme contre nous.

Quelles fureurs! Quels éclats! Quel tapage!.. Eh bien, qu'on acquière aujourd'hui même la certitude, à Paris, que ce rapprochement si ardemment convoité est en train de se faire, que les avances si souvent reproduites ont enfin été accueillies, et dès demain vous verrez tout ce bruit de haine tomber, toute cette brillante pyrotechnie d'injures s'évanouir, et de ces cratères éteints, de ces bouches pacifiées vont sortir, avec le dernier flocon de fumée, des voix diversement modulées, mais toutes également mélodieuses, célébrant, à l'envie l'une de l'autre, notre heureuse réconciliation.

Mais cette lettre est trop longue, il est temps de finir. Permettez-moi, monsieur, en finissant de résumer en peu de mots ma pensée.

Je me suis adressé à vous, sans autre mission que celle que je tiens de ma conviction libre et personnelle. Je ne suis aux ordres de personne, je ne suis l'organe de personne; ma pensée ne relève que d'elle-même. Mais j'ai certainement tout lieu de croire que si le contenu de cette lettre était connu en Russie, l'opinion publique n'hésiterait pas à l'avouer. L'opinion russe jusqu'à présent ne s'est que médiocrement émue

de toutes ces clameurs de la presse allemande, non pas que l'opinion, non pas que les sentiments de l'Allemagne lui parussent une chose indifférente, bien certainement non... mais toutes ces violences de la parole, tous ces coups de fusil tirés en l'air, à l'intention de la Russie, il lui répugnait de prendre tout ce bruit au sérieux; elle n'y a vu tout au plus qu'un divertissement de mauvais goût... L'opinion russe se refuse décidément à admettre qu'une nation grave, sérieuse, loyale, profondément équitable, telle enfin que le monde a connu l'Allemagne à toutes les époques de son histoire, que cette nation, dis-je, ira dépouiller sa nature pour en révéler une autre faite à l'image de quelques esprits fantasques ou brouillons, de quelques déclamateurs passionnés ou de mauvaise foi, que, reniant le passé, méconnaissant le présent et compromettant l'avenir, l'Allemagne consentira à accueillir, à nourrir un mauvais sentiment, un sentiment indigne d'elle, simplement pour avoir le plaisir de faire une grande bévée politique. Non, c'est impossible.

Je me suis adressé à vous, monsieur, parce que, ainsi que je l'ai reconnu, la «Gazette

Universelle» est plus qu'un journal pour l'Allemagne; c'est un pouvoir, et un pouvoir qui, je le déclare bien volontiers, réunit à un haut degré le sentiment national et l'intelligence politique: c'est au nom de cette double autorité que j' ai essayé de vous parler.

La disposition d'esprit que l'on a créée, que l'on cherche à propager en Allemagne à l'égard de la Russie, n'est pas encore un danger; mais elle est bien près de le devenir... Cette disposition d'esprit ne changera rien, j'en ai la conviction, aux rapports actuellement existants entre les gouvernements allemands et la Russie; mais elle tend à fausser de plus en plus la conscience publique sur une des questions les plus graves qu'il y ait pour une nation, sur la question de ses alliances... Elle tend en présentant sous les couleurs les plus mensongères la politique la plus nationale que l'Allemagne ait jamais suivie, à jeter la division dans les esprits, à pousser les plus ardents, les plus inconsiderés dans des voies pleines de péril, dans des voies où la fortune de l'Allemagne s'est déjà fourvoyée plus d'une fois... Qu'une crise éclate en Europe, que la querelle séculaire, décidée il y a trente ans en votre

faveur, vienne à se rallumer, la Russie certainement ne manquera pas à vos souverains, pas plus que ceux-ci ne manqueront à la Russie; mais c'est alors aussi qu'on aura probablement à récolter ce que l'on sème aujourd'hui: la division des esprits aura porté ses fruits, et ces fruits pourraient être amers pour l'Allemagne; ce seraient, je le crains bien, de nouvelles défections et des déchirements nouveaux. Et alors, monsieur, vous auriez trop cruellement expié le tort d'avoir été un moment injustes envers nous.

Voilà, monsieur, ce que j'avais à vous dire. Vous ferez de ma parole l'usage qui vous paraîtra le plus convenable.

Agréez, etc.

1844

Записка*

En allant au fond de cette malveillance qui se manifeste contre nous en Europe et si l'on met de côté les déclamations, les lieux communs de la polémique quotidienne, on y trouve cette idée:

«La Russie tient une place énorme dans le monde et cependant elle ne représente que la force matérielle, rien que cela».

Voilà le véritable grief, tous les autres sont accessoires ou imaginaires.

Comment est née cette idée et quelle en est la valeur?

Elle est le produit d'une double ignorance: de celle de l'Europe et de la notre propre. L'une est la conséquence de l'autre. Dans l'ordre moral, une société, une civilisation qui a son principe en elle-même, ne saurait être comprise des autres qu'autant qu'elle se comprend elle-même: la Russie est un monde qui commence à peine à avoir la conscience de son principe. Or, c'est la conscience de son principe qui constitue pour un pays sa légitimité historique. Le jour où la Russie aura pleinement reconnu le sien, elle l'aura de fait imposé au monde. En effet de quoi s'agit-il

entre l'Occident et nous? Est-ce de bonne foi que l'Occident a l'air de se méprendre sur ce que nous sommes? Est-ce sérieusement qu'il prétend ignorer nos titres historiques? —

Avant que l'Europe occidentale ne se fût constituée, nous existions déjà et certes nous existions glorieusement. Toute la différence c'est qu'alors on nous appelait l'Empire d'Orient, l'Eglise d'Orient; ce que nous étions alors, nous le sommes encore.

Qu'est-ce que l'Empire d'Orient? C'est la transmission légitime et directe du pouvoir suprême du pouvoir des Césars. C'est la souveraineté pleine et entière, ne relevant pas, n'émanant pas, comme les pouvoirs de l'Occident, d'une autorité extérieure quelle qu'elle puisse être, portant son principe d'autorité en elle-même, mais réglée, contenue et sanctifiée par le Christianisme.

Qu'est-ce que l'Eglise d'Orient? C'est l'Eglise universelle.

Voilà les deux seules questions sur lesquelles doit rouler toute polémique sérieuse entre l'Occident et nous. Tout le reste n'est que du verbiage. Plus nous nous serons pénétrés de ces

deux questions et plus nous serons forts vis-à-vis de notre adversaire. Plus nous serons nous-mêmes. A bien considérer les choses, la lutte entre l'Occident et nous n'a jamais cessé. Il n'y a pas même eu de trêve, il n'y a eu que des intermittences de combat. Maintenant, à quoi bon se le dissimuler? Cette lutte est sur le point de se rallumer plus ardente que jamais et cette fois encore comme autrefois, comme toujours, c'est l'Eglise de Rome, l'Eglise latine qui est à l'avant-garde de l'ennemi.

Eh bien, acceptons le combat, franchement, résolument. Qu'en face de Rome l'Eglise d'Orient n'oublie pas un seul instant qu'elle est l'héritière légitime de l'Eglise universelle.

A toutes les attaques de Rome, à toutes ses hostilités, nous n'avons qu'une arme à opposer, mais elle est terrible: c'est son histoire, c'est l'histoire de son passé. Qu'a fait Rome? Comment a-t-elle acquis le pouvoir qu'elle s'est arrogé? Par une usurpation flagrante des droits, des attributions de l'Eglise universelle.

Comment a-t-elle cherché à justifier cette usurpation? Par la nécessité de maintenir l'unité de la foi. Et pour arriver à ce résultat, elle ne s'est

refusé aucun moyen, ni la violence, ni la ruse, ni les bûchers, ni les Jésuites. Pour maintenir l'unité de la foi elle n'a pas craint de dénaturer le Christianisme. Eh bien, où en est depuis trois siècles l'unité de la foi dans l'Eglise occidentale? Rome il y a trois siècles a livré la moitié de l'Europe à l'hérésie et l'hérésie l'a livrée à l'incrédulité. Tel est le fruit que le monde chrétien a recueilli de cette dictature de plusieurs siècles que le siège de Rome s'est arrogée sur l'Eglise au mépris des conciles. Il n'a pas craint de se mettre en rébellion contre l'Eglise universelle; d'autres n'ont pas hésité à se révolter contre lui. Ceci n'est que de la justice Providentielle qui est au fond de toutes les choses du monde.

Voilà pour la question purement religieuse dans ces différends avec Rome. Maintenant si on en venait à apprécier l'action politique que Rome a exercée sur les différents états de l'Europe

Occidentale, bien qu'elle nous touchât de moins près, quelle terrible accusation n'aurait-on pas à faire peser sur elle! —

N'est-ce pas Rome, n'est-ce pas la politique ultramontaine qui a désorganisé, déchiré l'Allemagne, qui a tué l'Italie? L'Allemagne, elle

l'a désorganisée en y minant le pouvoir impérial; elle l'a déchirée en y provoquant la réformation. Quant à l'Italie, la politique de Rome l'a tuée en empêchant par tous les moyens et à toutes les époques l'établissement dans ce pays d'une autorité souveraine, légitime et nationale. Ce fait a déjà été signalé il y a plus de trois siècles par le plus grand des historiens de l'Italie moderne.

Et en France, pour ne parler que des temps les plus rapprochés de nous, n'est-ce pas l'influence ultramontaine qui a écrasé, qui a éteint ce qu'il y avait de plus pur, de plus vraiment chrétien dans l'Eglise gallicane? N'est-ce pas Rome qui a détruit le Port-Royal et qui après avoir désarmé le Christianisme de ses plus nobles défenseurs, l'a pour ainsi dire livré par les mains des Jésuites aux attaques de la Philosophie du dix-huitième siècle? Tout ceci, hélas, c'est de l'Histoire, et de l'Histoire contemporaine.

Maintenant pour ce qui nous concerne personnellement, lors même que nous passerions sous silence nos propres injures, l'histoire de nos malheurs au dix-septième siècle, comment pouvons-nous taire ce que la politique de cette cour a été, pour ces peuples qu'une fraternité de

race et de langue rattache à la Russie et que la fatalité en a séparés. On peut dire avec toute justice que si l'Église latine par ses abus et ses excès a été funeste à d'autres pays, elle a été par principe l'ennemie personnelle de la race Slave. La conquête allemande elle-même n'a été qu'une arme, qu'un glaive docile entre ses mains. C'est Rome qui en a dirigé et assuré les coups. Partout où Rome a mis le pied parmi les peuples slaves, elle a engagé une guerre à mort contre leur nationalité. Elle l'a anéantie ou elle l'a dénaturée. Elle a dénationalisé la Bohême et démoralisé la Pologne; elle en aurait fait autant de toute la race si elle n'avait pas rencontré la Russie sur son chemin. De là la haine implacable qu'elle nous a vouée. Rome comprend que dans tout pays slave où la nationalité de la race n'est pas encore tout à fait morte, la Russie par sa seule présence, par le seul fait de son existence politique l'empêchera de mourir et que partout où cette nationalité tendrait à renaître, elle ferait courir de terribles chances à l'établissement Romain. Voilà où nous en sommes vis-à-vis de la cour de Rome. Voilà le bilan exact de notre situation respective. Eh bien, est-ce avec de pareils antécédents historiques que

nous craindrions d'accepter le défi qu'elle pourrait nous jeter? Comme Eglise nous avons à lui demander compte au nom de l'Eglise universelle de ce dépôt de la foi, dont elle a cherché à s'attribuer la possession exclusive même au prix d'un schisme. Comme puissance politique, nous avons pour alliée contre elle l'histoire de son passé, les rancunes de la moitié de l'Europe et les trop justes griefs de notre propre race.

Quelques-uns s'imaginent que la réaction religieuse dont l'Europe est en ce moment travaillée pouvait tourner au profit exclusif de l'Eglise latine; c'est selon moi une grande illusion. Il y aura, je le sais bien, dans l'Eglise Protestante beaucoup de conversions partielles, jamais une conversion générale. Ce qui a survécu du principe catholique dans l'Eglise latine, attirera toujours tous ceux parmi les protestants qui, fatigués des fluctuations de la réforme, aspirent à rentrer au port, à se replacer sous la loi de l'autorité catholique, mais les souvenirs de la cour de la Rome, mais l'ultramontanisme enfin, les repoussent éternellement.

Le mot historiquement si vrai sur l'Eglise

latine est aussi le mot de la situation actuelle.

Le catholicisme a de tout temps fait toute la force du Papisme, comme le Papisme fait toute la faiblesse du catholicisme.

La force sans faiblesse n'est que dans l'Eglise universelle. Qu'elle se montre, qu'elle intervienne dans le débat et l'on verra de nos jours ce qu'on a déjà vu dans les tous premiers jours de la réformation, alors que les chefs de ce mouvement religieux qui avaient déjà rompu avec le siège de Rome, mais qui hésitaient encore à rompre avec les traditions de l'Eglise Catholique, en appelaient unanimement à l'Eglise d'Orient. Maintenant comme alors la réconciliation religieuse ne peut venir que d'elle; elle porte dans son sein l'avenir chrétien.

Telle est la première, la plus haute question que nous ayons à débattre avec l'Europe Occidentale, c'est la question vitale par excellence.

Il y en a une autre bien grave aussi; c'est celle que l'on appelle communément la question d'Orient; c'est la question de l'Empire.

Ici, il ne s'agit pas de diplomatie; on sait trop bien que tant que durera le Statu quo, la Russie

plus qu'aucune autre puissance respectera les traités. Mais les traités, mais la diplomatie ne règlent après tout que les choses du jour. Les intérêts permanents, les rapports éternels c'est l'histoire seule qui en connaît. Or que nous dit l'histoire?

Elle nous dit que l'Orient orthodoxe, tout ce monde immense qui relève de la croix grecque, est un dans son principe, étroitement solidaire dans toutes ses parties, vivant de sa vie propre, originale, indestructible. Il peut être matériellement fractionné, moralement il sera toujours un et indivisible. Il a subi momentanément la domination latine, il a subi pendant des siècles l'invasion des races asiatiques, il n'a jamais accepté ni l'une ni l'autre.

Il y a parmi les Chrétiens de l'Orient un dicton populaire qui exprime naïvement ce fait; ils ont l'habitude de dire, que tout dans la création de Dieu est bien fait, bien ordonné, deux choses exceptées, et ces deux choses sont: le Pape et le Turc.

— Mais Dieu, — ont-ils soin d'ajouter, — a voulu dans sa sagesse infinie rectifier ces deux erreurs et c'est pour cela qu'il crée le Czar

moscovite.

Nul traité, nulle combinaison politique ne prévaudra jamais contre ce simple dicton populaire. C'est le résumé de tout le passé et la révélation de tout un avenir.

— En effet, quoiqu'on fasse ou qu'on s'imagine, pourvu que la Russie reste ce qu'elle est, l'empereur de Russie sera nécessairement, irrésistiblement le seul souverain légitime de l'Orient orthodoxe, sous quelque forme d'ailleurs qu'il juge convenable d'exercer cette souveraineté. Faites ce que vous voudrez, mais encore une fois, à moins que vous n'ayez détruit la Russie, vous n'empêcherez jamais ce fait de se produire.

Qui ne voit que l'Occident avec toute sa philanthropie, avec son prétendu respect pour le droit des nationalités et tout en se déchaînant contre l'ambition insatiable de la Russie, ne voit dans

les populations qui habitent la Turquie qu'une seule chose: une proie à dépecer.

Il voudrait tout bonnement recommencer au dix-neuvième siècle ce qu'il avait essayé de faire au treizième et ce qui déjà alors lui avait si mal

réussi. C'est la même tentative sous d'autres noms et au moyen de procédés un peu différents. C'est toujours cette ancienne, cette incurable prétention de fonder dans l'Orient orthodoxe un Empire latin, de faire de ces pays une annexe, une dépendance de l'Europe occidentale.

Il est vrai que pour arriver à ce résultat, il faudrait commencer par éteindre dans ces populations tout ce qui jusqu'à présent a constitué leur vie morale, par détruire en elles ce que les Turcs eux-mêmes ont épargné. Mais ce n'est pas là une considération qui pouvait arrêter un seul instant le prosélitisme occidental, persuadé qu'il est que toute société qui n'est pas exactement faite à l'image de celle de l'Occident n'est pas digne de vivre, et fort de cette conviction il se mettrait bravement à l'œuvre pour délivrer ces populations de leur nationalité comme d'un reste de barbarie.

Mais cette Providence historique qui est au fond des choses humaines y a heureusement pourvu. Déjà au treizième siècle l'Empire d'Orient, tout mutilé, tout énervé qu'il était, a trouvé en lui-même assez de vie pour rejeter de son sein la domination latine après soixante et

quelques années d'une existence contestée; et certes il faut convenir que depuis lors le véritable Empire d'Orient, l'Empire orthodoxe, s'est grandement relevé de sa déchéance.

C'est ici une question sur laquelle la science occidentale malgré ses prétentions à l'infailibilité a toujours été en défaut. L'Empire d'Orient est constamment resté une énigme pour elle; elle a bien pu le calomnier, elle ne l'a jamais compris. Elle a traité l'Empire d'Orient comme Monsieur de Custine vient de traiter la Russie, après l'avoir étudié à travers sa haine doublée de son ignorance. On n'a su jusqu'à présent se rendre un compte vrai ni du principe de vie qui a assuré à l'Empire d'Orient ses mille ans d'existence, ni de la circonstance fatale qui a fait que cette vie si tenace a toujours été contestée et à quelques égards si débile.

Ici, pour rendre ma pensée avec une précision suffisante, je devrais entrer dans des développements historiques que ne comportent point les bornes de cette notice. Mais telle est l'analogie réelle, telle est l'affinité intime et profonde qui rattache la Russie à ce glorieux antécédent de l'Empire d'Orient, qu'à défaut

d'études historiques assez approfondies il suffit à chacun de nous de consulter ses impressions les plus habituelles et pour ainsi dire les plus élémentaires, pour comprendre d'instinct ce que c'était que ce principe de vie, cette âme puissante qui pendant mille ans a fait vivre et durer ce corps si frêle de l'Empire d'Orient. Cette âme, ce principe, c'était le Christianisme, c'était l'élément Chrétien tel que l'avait formulé l'Eglise d'Orient, combiné ou pour mieux dire identifié non seulement avec l'élément national de l'état, mais encore avec la vie intime de la société. Des combinaisons analogues ont été tentées, ont été accomplies ailleurs, mais elles n'ont eu nulle part ce caractère profond et original. Ici, ce n'était pas simplement une Eglise se faisant nationale dans l'acception ordinaire du mot comme cela s'est vu ailleurs, c'était l'Eglise se faisant la forme essentielle, l'expression suprême d'une nationalité déterminée, de la nationalité de toute une race, de tout un monde. Voilà aussi, soit dit en passant, comment il a pu se faire que plus tard cette même Eglise d'Orient est devenue comme le synonyme de la Russie, l'autre nom, le nom sacré de l'Empire, triomphante partout où elle règne,

militante partout où la Russie n'a pas encore fait pleinement reconnaître sa domination. En un mot si intimement associée à ses destinées qu'il est vrai de dire qu'à des degrés divers il y a de la Russie partout où se rencontre l'Eglise orthodoxe.

Quant à l'ancien, à ce premier Empire d'Orient, la circonstance fatale qui a pesé sur ses destinées, c'est qu'il n'a jamais pu mettre en œuvre qu'une portion minime de la race sur laquelle il aurait dû principalement s'appuyer. Il n'a occupé que la lisière du monde que la Providence tenait en réserve pour lui; c'est le corps cette fois qui a manqué à l'âme. Voilà pourquoi cet Empire, malgré la grandeur de son principe, est constamment resté à l'état de l'ébauche, pourquoi il n'a pu opposer à la longue une résistance efficace aux ennemis qui l'enveloppaient de toutes parts. Son assiette territoriale a toujours manqué de base et de profondeur, c'était, pour tout dire, une tête séparée de son tronc. Aussi, par une de ces combinaisons Providentielles qui sont en même temps profondément naturelles et historiques, c'est le lendemain du jour où l'Empire d'Orient a paru définitivement succomber sous les coups de

la destinée qu'il a en réalité pris possession de son existence définitive. Constantinople tombait aux mains des Turcs en 1453 et neuf ans après, en 1462, le grand Ivan III arrivait au trône de Moscou.

Qu'on ne s'effarouche pas de grâce de toutes ces généralités historiques quelquehasardées qu'elles puissent paraître à la première vue. Qu'on se dise bien que ces prétendues abstractions, c'est nous-même, c'est notre passé, notre présent, notre avenir. Nos ennemis le savent bien, tâchons de le savoir comme eux. C'est parce qu'ils le savent, c'est parce qu'ils ont compris que tous ces pays, toutes ces populations qu'ils voudraient conquérir au système occidental, tiennent à la Russie historiquement parlant comme des membres vivants tiennent au corps dont ils font partie, qu'ils travaillent à relâcher, à rompre s'il est possible, le lien organique qui les rattache à nous.

Ils ont compris que tant que ce lien subsiste, tous leurs efforts pour éteindre dans ces populations la vie qui leur est propre resteraient éternellement stériles. Encore une fois le bût qu'on se propose est le même qu'au treizième

siècle, mais les moyens différents. A cette époque l'Eglise latine voulait brutalement se substituer dans tout l'Orient Chrétien à l'Eglise orthodoxe; maintenant on cherchera à ruiner les fondements de cette Eglise par la prédication philosophique.

Au treizième siècle la domination de l'Occident prétendait s'approprier ces pays directement et les gouverner en son propre nom; maintenant faute de mieux on cherchera à y provoquer, à y favoriser l'établissement de petites nationalités bâtardes, de petites existences politiques, soi-disant indépendantes, vains simulacres bien mensongers, bien hypocrites, bons, tout au plus, à masquer la réalité, et cette réalité ce serait maintenant comme alors: la domination de l'Occident.

Ce qui vient d'être tenté en Grèce est une grande révélation et devrait servir d'enseignement à tout le monde. Il est vrai que jusqu'à présent la tentative ne paraît guère avoir profité à ceux qui en ont été les instigateurs. L'arme a répercuté contre la main qui s'en est servie. Et cette révolution qui après avoir annulé un pouvoir d'origine étrangère paraît avoir

restitué l'initiative à des influences plus nationales, pourrait fort bien en définitive aboutir à resserrer le lien qui rattache ce petit pays au grand tout, dont il n'est qu'une fraction.

Il faut se dire d'ailleurs que tout ce qui se passe ou se passerait en Grèce ne sera jamais qu'un épisode, un détail de la grande lutte entre l'Occident et nous. Ce n'est pas là-bas, aux extrémités que l'immense question sera décidée. C'est ici, parmi nous, au centre, au cœur même de ce monde de l'Orient Chrétien, de l'Orient Européen que nous représentons, de ce monde qui est nous-même. Ses destinées définitives qui sont aussi les nôtres, ne dépendent que de nous; elles dépendent avant tout du sentiment plus ou moins énergique qui nous lie, qui nous identifie l'un à l'autre.

Répetons-le donc et ne nous lassons pas de le redire: l'Eglise d'Orient est l'Empire orthodoxe, l'Eglise d'Orient héritière légitime de l'Eglise universelle, l'Empire orthodoxe identique dans son principe, étroitement solidaire dans toutes ses parties. Est-ce là ce que nous sommes? ce que nous voulons être? Est-ce là ce que l'on prétend nous contester?

Voilà, pour qui sait voir, toute la question entre nous et la propagande occidentale; c'est le fond même du débat. Tout ce qui n'est pas cela, tout ce qui dans la polémique de la presse étrangère ne se rattache pas à cette grande question plus ou moins directement comme une conséquence à son principe, ne mérite pas un instant d'occuper notre attention. C'est de la déclamation pure.

Pour nous, nous ne saurions nous pénétrer assez intimement de ce double principe historique de notre existence nationale. C'est le seul moyen de tenir tête à l'esprit de l'Occident, de mettre un frein à ses prétentions comme à ses hostilités.

Jusqu'à présent, avouons-le, dans les rares occasions où nous avons pris la parole pour nous défendre contre ses attaques, nous l'avons fait, à une ou deux exceptions près, d'une manière trop peu digne de nous. Nous avons trop l'air d'écoliers cherchant par de gauches apologies à désarmer la mauvaise humeur de leur maître.

Quand nous saurons mieux qui nous sommes, nous ne nous aviserons plus de faire amende honorable à qui que ce soit d'être ce que nous

sommes.

Et que l'on ne s'imagine pas qu'en proclamant hautement nos titres nous ajouterions à l'hostilité de l'opinion étrangère à notre égard. Ce serait bien peu connaître l'état actuel des esprits en Europe.

Encore une fois ce qui fait le fond de cette hostilité, ce qui vient en aide à la malveillance qu'ils exploitent contre nous, c'est cette opinion absurde et pourtant si générale que tout en reconnaissant, en s'exagérant peut-être nos forces matérielles, on en est encore à se demander si toute cette puissance est animée d'une vie morale, d'une vie historique qui soit propre. Or, l'homme est ainsi fait, surtout l'homme de notre époque, qu'il ne se résigne à la puissance physique qu'en raison de la grandeur morale qu'il y voit attaché.

Chose bizarre en effet, et qui dans quelques années paraîtra inexplicable. Voilà un Empire qui par une rencontre sans exemple peut-être dans l'histoire du monde, se trouve à lui seul représenter deux choses immenses: les destinées d'une race toute entière et la meilleure, la plus saine moitié de l'Eglise Chrétienne.

Et il y a encore des gens qui se demandent sérieusement quels sont les titres de cet Empire, quelle est sa place légitime dans le monde!.. Serait-ce que la génération contemporaine est encore tellement perdue dans l'ombre de la montagne qu'elle a de la peine à en apercevoir le sommet?..

Il ne faut pas l'oublier d'ailleurs: pendant des siècles l'Occident Européen a été en droit de croire que moralement parlant il était seul au monde, qu'à lui seul il était l'Europe toute entière. Il a grandi, il a vécu, il a vieilli dans cette idée, et voilà qu'il s'aperçoit maintenant qu'il s'était trompé, qu'il y avait à côté de lui une autre Europe, sa sœur cadette peut-être, mais en tout cas sa sœur bien légitime, qu'en un mot il n'était lui que la moitié du grand tout. Une pareille découverte est une révolution tout entière entraînant après elle le plus grand déplacement d'idées qui se soit jamais accompli dans le monde des intelligences.

Est-il étonnant que de vieilles convictions luttent de tout leur pouvoir contre une évidence qui les ébranle, qui les supprime? et ne serait-ce pas à nous de venir en aide à cette évidence, à la

rendre invincible, inévitable? Que faudrait-il faire pour cela?

Ici je touche à l'objet même de cette courte notice. Je conçois que le gouvernement Impérial ait de très bonnes raisons pour ne pas désirer qu'à l'intérieur, dans la presse indigène, l'opinion s'anime trop sur des questions bien graves, bien délicates en effet, sur des questions qui touchent aux racines mêmes de l'existence nationale; mais au dehors, mais dans la presse étrangère, quelles raisons aurions-nous pour nous imposer la même réserve? Quels ménagements avons-nous encore à garder vis-à-vis d'une opinion ennemie qui, se prévalant de notre silence, s'empare tout à son aise de ces questions et les résout l'une après l'autre, sans contrôle, sans appel, et toujours dans le sens le plus hostile, le plus contraire à nos intérêts. Ne nous devons-nous pas à nous-même de faire cesser un pareil état de choses? Pouvons-nous encore nous en dissimuler les grands inconvénients? et qu'est-il nécessaire de rappeler le déplorable scandale d'apostasie récente tant politique que religieuse... et ces apostasies auraient-elles été possibles si nous n'avions pas bénévolement, gratuitement livré à l'opinion

ennemie le monopole de la discussion?

Je prévois l'objection que l'on va me faire. On est, je le sais, trop disposé chez nous à s'exagérer l'insuffisance de nos moyens, à se persuader que nous ne sommes pas de force à engager avec succès la lutte sur un pareil terrain. Je crois que l'on se trompe; je suis persuadé que nos ressources sont plus grandes qu'on ne se l'imagine; mais même en laissant de côté nos ressources indigènes, ce qui est certain, c'est que l'on ne connaît pas assez chez nous les forces auxiliaires que nous pourrions trouver au dehors. En effet, quelque soit la malveillance apparente et souvent trop réelle de l'opinion étrangère à notre égard, nous n'apprécions pas assez ce que dans l'état de fractionnement où sont tombés en Europe les opinions aussi bien que les intérêts, une grande, une importante unité comme l'est la nôtre, peut exercer d'ascendant et de prestige sur des esprits que ce fractionnement poussé à l'extrême a réduit au dernier degré de lassitude.

Nous ne savons pas assez combien on y est avide de tout ce qui offre des garanties de durée et des promesses d'avenir... comme on y éprouve

le besoin de se rallier ou même de se convertir à ce qui est grand et fort. Dans l'état actuel des esprits en Europe, l'opinion publique, toute indisciplinée, toute indépendante qu'elle paraisse, ne demande pas mieux au fond que d'être violentée avec grandeur. Je le dis avec une conviction profonde: l'essentiel, le plus difficile pour nous, c'est d'avoir foi en nous-même; d'oser nous avouer à nous-même toute la portée de nos destinées, d'oser l'accepter tout entière. Ayons cette foi, ce courage. Ayons le courage d'arborer notre véritable drapeau dans la mêlée des opinions qui se disputent l'Europe, et il nous fera trouver des auxiliaires là même où jusqu'à présent nous n'avions rencontré que des adversaires. Et nous verrons se réaliser une magnifique parole, dite dans une circonstance mémorable. Nous verrons ceux-là même qui jusqu'à présent se déchaînaient contre la Russie ou cabalaient en secret contre elle, se sentir heureux et fiers de se rallier à elle, de lui appartenir.

Ce que je dis là n'est pas une simple supposition. Plus d'une fois des hommes éminents par leur talents aussi que par l'autorité

que ce talent leur avait acquise sur l'opinion, m'ont donné des témoignages non équivoques de leur bonne volonté, de leurs bonnes dispositions à notre égard. Leurs offres de service étaient telles qu'elles n'avaient rien de compromettant ni pour ceux qui les faisaient, ni pour celui qui les aurait acceptées. Ces hommes assurément n'entendaient pas se vendre à nous, mais ils n'auraient pas mieux demandé que de nous savoir chacun dans la ligne et dans la mesure de son opinion. L'essentiel eût été de coordonner ces efforts, de les diriger tous vers un but déterminé, de faire concourir ces diverses opinions, ces diverses tendances au service des intérêts permanents de la Russie, tout en conservant à leur langage cette franchise d'assaut sans laquelle on ne fait pas d'impression sur les esprits.

Il va sans dire qu'il ne saurait être question d'engager avec la presse étrangère une polémique quotidienne minutieuse portant sur des petits faits, sur des petits détails; mais ce qui serait vraiment utile, ce serait par exemple de prendre pied dans le journal le plus accrédité de l'Allemagne, d'y avoir des organes graves,

sérieux, sachant se faire écouter du public — et tendant par des voies différentes, mais avec un certain ensemble vers un but déterminé.

Mais à quelles conditions réussirait-on à imprimer à ce concours de forces individuelles et jusqu'à un certain point indépendantes une direction commune et salutaire? A la condition d'avoir sur les lieux un homme intelligent, doué d'énergiques sentiments de nationalité, profondément dévoué au service de l'Empereur et qui par une longue expérience de la presse aurait acquis une connaissance suffisante du terrain sur lequel il serait appelé à agir.

Quant aux dépenses que nécessiterait l'établissement d'une presse russe à l'étranger, elles seraient minimales comparativement au résultat qu'on pourrait en attendre.

Si cette idée était agréée, je m'estimerais trop heureux de mettre aux pieds de l'Empereur tout ce qu'un homme peut offrir et promettre: la pureté de l'intention et le zèle du dévouement le plus absolu.

La Russie et la Révolution*

Pour comprendre de quoi il s'agit dans la crise suprême où l'Europe vient d'entrer, voici ce qu'il faudrait se dire. Depuis longtemps il n'y a plus en Europe que deux puissances réelles: «la Révolution et la Russie». — Ces deux puissances sont maintenant en présence, et demain peut-être elles seront aux prises. Entre l'une et l'autre il n'y a ni traité, ni transaction possibles. La vie de l'une est la mort de l'autre. De l'issue de la lutte engagée entre elles, la plus grande des luttes dont le monde ait été témoin, dépend pour des siècles tout l'avenir politique et religieux de l'humanité.

Le fait de cet antagonisme éclate maintenant à tous les yeux, et cependant, telle est l'intelligence d'un siècle hébété par le raisonnement, que tout en vivant en présence de ce fait immense, la génération actuelle est bien loin d'en avoir saisi le véritable caractère et apprécié les raisons.

Jusqu'à présent c'est dans une sphère d'idées purement politiques qu'on en a cherché l'explication; c'est par des différences de principes d'ordre purement humain qu'on avait

essayé de s'en rendre compte. Non, certes, la querelle qui divise la Révolution et la Russie tient à des raisons bien autrement profondes; elles peuvent se résumer en deux mots.

La Russie est avant tout l'empire chrétien; le peuple russe est chrétien non seulement par l'orthodoxie de ses croyances, mais encore par quelque chose de plus intime encore que la croyance. Il l'est par cette faculté de renoncement et de sacrifice qui fait comme le fond de sa nature morale. La Révolution est avant tout anti-chrétienne. L'esprit anti-chrétien est l'âme de la Révolution; c'est là son caractère propre, essentiel. Les formes qu'elle a successivement revêtues, les mots d'ordre qu'elle a tour à tour adoptés, tout, jusqu'à ses violences et ses crimes, n'a été qu'accessoire ou accidentel; mais ce qui ne l'est pas, c'est le principe anti-chrétien

qui l'anime, et c'est lui aussi (il faut bien le dire) qui lui a valu sa terrible puissance sur le monde. Quiconque ne comprend pas cela, assiste en aveugle depuis soixante ans au spectacle que le monde lui offre.

Le moi humain, ne voulant relever que de lui-même, ne reconnaissant, n'acceptant d'autre loi

que celle de son bon plaisir, le moi humain, en un mot, se substituant à Dieu, ce n'est certainement pas là une chose nouvelle parmi les hommes; mais ce qui l'était, c'est cet absolutisme du moi humain érigé en droit politique et social et aspirant à ce titre à prendre possession de la société. C'est cette nouveauté-là qui en 1789 s'est appelée la Révolution Française.

Depuis lors, et à travers toutes ses métamorphoses, la Révolution est restée conséquente à sa nature, et peut-être à aucun moment de sa durée ne s'est-elle sentie plus elle-même, plus intimement anti-chrétienne que dans le moment actuel, où elle vient d'adopter le mot d'ordre du christianisme: la fraternité. C'est même là ce qui pourrait faire croire qu'elle touche à son apogée. En effet, à entendre toutes ces déclamations naïvement blasphématoires qui sont devenues comme la langue officielle de l'époque, qui ne croirait que la nouvelle République Française n'a été unie au monde que pour accomplir la loi de l'Évangile? C'est bien là aussi la mission que les pouvoirs qu'elle a créés se sont solennellement attribuée, sauf toutefois un amendement que la Révolution s'est réservé

d'y introduire, c'est qu'à l'esprit d'humilité et de renoncement à soi-même qui est tout le fond du christianisme, elle entend substituer l'esprit d'orgueil et de prépotence, à la charité libre et volontaire, la charité forcée, et qu'à la place d'une fraternité prêchée et acceptée au nom de Dieu, elle prétend établir une fraternité imposée par la crainte du peuple-souverain. A ces différences près, son règne promet en effet d'être celui du Christ.

Et qu'on ne se laisse pas induire en erreur par cette espèce de bienveillance dédaigneuse que les nouveaux pouvoirs ont jusqu'ici témoignée à l'Eglise catholique et à ses ministres. Ceci est peut-être le symptôme le plus grave de la situation et l'indice le plus certain de la toute-puissance que la Révolution a obtenue. Pourquoi, en effet, la Révolution se montrerait-elle rébarbative envers un clergé, envers des prêtres chrétiens qui, non contents de la subir, l'acceptent et l'adoptent, qui pour la conjurer glorifient toutes ses violences et qui, sans y croire, s'associent à tous ses mensonges? Si dans une pareille conduite il n'y avait que du calcul, ce calcul déjà serait de l'apostasie; mais s'il y entre

de la conviction, c'en est une bien plus grande encore.

Et cependant il est à prévoir que les persécutions ne manqueront pas; car le jour où la limite des concessions sera atteinte, le jour où l'Eglise catholique croira devoir résister, on verra qu'elle ne pourra le faire qu'en rétrogradant jusqu'au martyr. On peut s'en fier à la Révolution: elle se montrera en toutes choses fidèle à elle-même et conséquente jusqu'au bout.

L'explosion de Février a rendu ce grand service au monde, c'est qu'elle a fait crouler jusqu'à terre tout l'échafaudage des illusions dont on avait masqué la réalité. Les moins intelligents doivent avoir compris maintenant que l'histoire de l'Europe depuis trente-trois ans n'a été qu'une longue mystification. En effet, de quelle lumière inexorable tout ce passé, si récent et déjà si loin de nous, ne s'est-il pas tout à coup illuminé? Qui, par exemple, ne comprend pas maintenant tout ce qu'il y avait de ridicule prétention dans cette sagesse du siècle qui s'était béatement persuadée qu'elle avait réussi à dompter la Révolution par l'exorcisme constitutionnel, à lier sa terrible énergie par une formule de légalité? Qui pourrait

douter encore, après ce qui s'est passé, que du moment où le principe révolutionnaire est entré dans le sang d'une société, tous ses procédés, toutes ses formules de transactions ne sont plus que des narcotiques qui peuvent bien momentanément endormir le malade, mais qui n'empêchent pas le mal de poursuivre son cours?

Et voilà pourquoi, après avoir dévoré la Restauration qui lui était personnellement odieuse comme un dernier débris de l'autorité légitime en France, la Révolution n'a pas mieux supporté cet autre pouvoir, né d'elle-même, qu'elle avait bien accepté en 1830 pour lui servir de compère vis-à-vis de l'Europe, mais qu'elle a brisé le jour où, au lieu de la servir, ce pouvoir s'est avisé de se croire son maître.

A cette occasion, qu'il me soit permis de faire une réflexion. Comment ce fait-il que parmi tous les souverains de l'Europe, aussi bien que parmi les hommes politiques qui l'ont dirigée dans ces derniers temps, il n'y en a eu qu'un seul qui de prime abord ait reconnu et signalé la grande illusion de 1830 et qui depuis, seul en Europe, seul peut-être au milieu de son entourage, ait constamment refusé à s'en laisser envahir? C'est

que cette fois-ci il y avait heureusement sur le trône de Russie un Souverain en qui la pensée russe s'est incarnée, et que dans l'état actuel du monde la pensée russe est la seule qui soit placée assez en dehors du milieu révolutionnaire pour pouvoir apprécier sainement les faits qui s'y produisent.

Ce que l'Empereur avait prévu dès 1830, la Révolution n'a pas manqué de le réaliser de point en point. Toutes les concessions, tous les sacrifices des principes faits par l'Europe monarchique à l'établissement de Juillet dans l'intérêt d'un simulacre de *statu quo*, la Révolution s'en empara pour les utiliser au profit du bouleversement qu'elle méditait, et tandis que les pouvoirs légitimes faisaient de la diplomatie plus ou moins habile avec de la quasi-légitimité et que les hommes d'Etat et les diplomates de toute l'Europe assistaient en amateurs curieux et bienveillants aux joutes parlementaires de Paris, le parti révolutionnaire, sans presque se cacher, travaillait sans relâche à miner le terrain sous leurs pieds.

On peut dire que la grande tâche du parti, durant ces dernières dix-huit années, a été de

révolutionner de fond en comble l'Allemagne, et l'on peut juger maintenant si cette tâche a été bien remplie.

L'Allemagne assurément est le pays sur lequel on s'est fait le plus longtemps les plus étranges illusions. On le croyait un pays d'ordre, parce qu'il était tranquille, et on ne voulait pas voir l'épouvantable anarchie qui y avait envahi et qui y ravageait les intelligences.

Soixante ans d'une philosophie destructive y avaient complètement dissous toutes les croyances chrétiennes et développé, dans ce néant de toute foi, le sentiment révolutionnaire par excellence: l'orgueil de l'esprit, si bien qu'à l'heure qu'il est, nulle part peut-être cette plaie du siècle n'est plus profonde et plus envenimée qu'en Allemagne. Par une conséquence nécessaire, à mesure que l'Allemagne se révolutionnait, elle sentait grandir sa haine contre la Russie. En effet, sous le coup des bienfaits qu'elle en avait reçus, une Allemagne révolutionnaire ne pouvait avoir pour la Russie qu'une haine implacable. Dans le moment actuel, ce paroxysme de haine paraît avoir atteint son point culminant; car il a triomphé en elle, je ne

dis pas de toute raison, mais même du sentiment de sa propre conservation.

Si une aussi triste haine pouvait inspirer autre chose que de la pitié, la Russie certes se trouverait suffisamment vengée par le spectacle que l'Allemagne vient de donner au monde à la suite de la révolution de Février. Car c'est peut-être un fait sans précédent dans l'histoire que de voir tout un peuple se faisant le plagiaire d'un autre au moment même où il se livre à la violence la plus effrénée.

Et qu'on ne dise pas, pour justifier tous ces mouvements si évidemment factices qui viennent de bouleverser tout l'ordre politique de l'Allemagne et de compromettre jusqu'à l'existence de l'ordre social lui-même, qu'ils ont été inspirés par un sentiment sincère généralement éprouvé, par le besoin de l'unité allemande. Ce sentiment est sincère, soit; ce vœu est celui de la grande majorité, je le veux bien; mais qu'est-ce que cela prouve?.. C'est encore là une des plus folles illusions de notre époque que de s'imaginer qu'il suffise qu'une chose soit vivement, ardemment convoitée par le grand nombre, pour qu'elle devienne par cela seul

nécessairement réalisable. D'ailleurs, il faut bien le reconnaître, il n'y a pas dans la société de nos jours ni vœu, ni besoin (quelque sincère, quelque légitime qu'il soit) que la Révolution en s'emparant ne dénature et ne convertisse en mensonge, et c'est précisément ce qui est arrivé avec la question de l'unité allemande: car pour qui n'a pas abdiqué toute faculté de reconnaître l'évidence, il doit être clair dès à présent que dans la voie où l'Allemagne vient de s'engager à la recherche de la solution du problème, ce n'est pas à l'unité qu'elle aboutira, mais bien à un effroyable déchirement, à quelque catastrophe suprême et irréparable.

Oui, certes, on ne tardera pas à reconnaître que la seule unité qui fût possible, non pas pour l'Allemagne telle que les journaux la font, mais pour l'Allemagne réelle que son histoire l'a faite, la seule chance d'unité sérieuse et pratique pour ce pays était indissolublement liée au système politique qu'il vient de briser.

Si, pendant ces dernières trente-trois années, les plus heureuses peut-être de toute son histoire, l'Allemagne a formé un corps politique hiérarchiquement constitué et fonctionnant

d'une manière régulière, à quelles conditions un pareil résultat a-t-il pu être obtenu et assuré? C'était évidemment à la condition d'une entente sincère entre les deux grandes puissances qui représentent en Allemagne les deux principes qui se disputent ce pays depuis plus de trois siècles. Mais cet accord lui-même, si lent à s'établir, si difficile à conserver, croit-on qu'il eût été possible, qu'il eût pu durer aussi longtemps, si l'Autriche et la Prusse, à l'issue des grandes guerres contre la France, ne se fussent intimement ralliées à la Russie, fortement appuyées sur elle? Voilà la combinaison politique qui, en réalisant pour l'Allemagne le seul système d'unité qui lui fût applicable, lui a valu cette trêve de trente-trois ans qu'elle vient de rompre.

Il n'y a ni haine, ni mensonge qui pourront jamais prévaloir contre ce fait-là. Dans un accès de folie, l'Allemagne a bien pu briser une alliance qui, sans lui imposer aucun sacrifice, assurait et protégeait son indépendance nationale, mais par là même elle s'est privée à jamais de toute base solide et durable.

Voyez plutôt la démonstration de cette vérité par la contre-épreuve des événements, dans ce

terrible moment où les événements marchent presque aussi vite que la parole humaine. Il y a à peine deux mois que la Révolution en Allemagne s'est mise à la besogne, et déjà il faut lui rendre cette justice, l'œuvre de la démolition dans ce pays est plus avancée qu'elle ne l'était sous la main de Napoléon après dix de ses foudroyantes campagnes.

Voyez l'Autriche plus compromise, plus abattue, plus démantelée qu'en 1809. Voyez la Prusse vouée au suicide par sa connivence fatale et forcée avec le parti polonais. Voyez les bords du Rhin, où, en dépit des chansons et des phrases, la confédération Rhénane n'aspire qu'à renaître. L'anarchie partout, l'autorité nulle part, et tout cela sous le coup d'une France où bout une révolution sociale qui ne demande qu'à déborder dans la révolution politique qui travaille l'Allemagne.

Dès à présent, pour tout homme sensé la question de l'unité allemande est une question jugée. Il faudrait avoir ce genre d'ineptie propre aux idéologues allemands pour se demander sérieusement si ce tas de journalistes, d'avocats et de professeurs qui se sont réunis à Francfort,

en se donnant la mission de recommencer Charlemagne, ont quelque chance appréciable de réussir dans l'œuvre qu'ils ont entreprise, si sur ce sol qui tremble ils auront la main assez puissante et assez habile pour relever la pyramide renversée en la faisant tenir sur la pointe.

La question n'est plus là; il ne s'agit plus de savoir si l'Allemagne sera une, mais si de ces déchirements intérieurs compliqués probablement d'une guerre étrangère elle parviendra à sauver un lambeau quelconque de son existence nationale.

Les partis qui vont déchirer ce pays commencent déjà à se dessiner. Déjà sur différents points la République a pris pied en Allemagne, et l'on peut compter qu'elle ne se retirera pas sans avoir combattu, car elle a pour elle la logique et derrière elle la France. Aux yeux de ce parti la question de nationalité n'a ni sens, ni valeur. Dans l'intérêt de sa cause il n'hésitera pas un instant à immoler l'indépendance de son pays, et il enrôlerait l'Allemagne tout entière plutôt aujourd'hui que demain sous le drapeau de la France, fût-ce même sous le drapeau rouge.

Ses auxiliaires sont partout; il trouve aide et appui dans les hommes comme dans les choses, aussi bien dans les instincts anarchiques des masses que dans les institutions anarchiques que viennent d'être semées avec tant de profusion à travers toute l'Allemagne. Mais ses meilleurs, ses plus puissants auxiliaires sont précisément les hommes qui d'un moment à l'autre peuvent être appelés à la combattre: tant les hommes se trouvent liés à elle par la solidarité des principes. Maintenant, toute la question est de savoir si la lutte éclatera avant que les prétendus conservateurs aient eu le temps de compromettre par leurs divisions et leurs folies tous les éléments de force et de résistance dont l'Allemagne dispose encore; si, en un mot, attaqués par le parti républicain, ils se décident à voir en lui ce qu'il est en effet l'avant-garde de l'invasion française, et retrouvent, dans le sentiment du danger dont l'indépendance nationale serait menacée, assez d'énergie pour combattre la république à toute outrance; ou bien si pour s'épargner la lutte ils aimeront mieux accepter quelque faux semblant de transaction qui ne serait au fond de leur part

qu'une capitulation déguisée. Dans le cas où cette dernière supposition viendrait à se réaliser, alors (il faut le reconnaître) l'éventualité d'une croisade contre la Russie, de cette croisade qui a toujours été le rêve chéri de la Révolution et qui maintenant est devenu son cri de guerre — cette éventualité se convertirait en une presque certitude; le jour de la lutte décisive serait presque arrivé, et c'est la Pologne qui servirait de champ de bataille. Voilà du moins la chance que caressent avec amour les révolutionnaires de tous les pays; mais il y a toutefois un élément de la question dont ils ne tiennent pas assez compte, et cette omission pourrait singulièrement déranger leurs calculs.

Le parti révolutionnaire, en Allemagne surtout, paraît s'être persuadé que puisque lui-même faisait si bon marché de l'élément national, il en serait de même dans tous les pays soumis à son action et que partout et toujours la question de principe primerait la question de nationalité. Déjà les événements de la Lombardie ont dû faire faire de singulières réflexions aux étudiants réformateurs de Vienne, qui s'étaient imaginé qu'il suffisait de chasser le prince de

Metternich et de proclamer la liberté de la presse pour résoudre les formidables difficultés qui pèsent sur la monarchie autrichienne. Les Italiens n'en persistent pas moins à ne voir en eux que des *Tedeschi* et des *Barbari*, tout comme s'ils ne s'étaient pas régénérés dans les eaux lustrales de l'émeute. Mais l'Allemagne révolutionnaire ne tardera pas à recevoir à cet égard une leçon plus significative et plus sévère encore, car elle lui sera administrée de plus près. En effet, on n'a pas pensé qu'en brisant ou en affaiblissant tous les anciens pouvoirs, qu'en remuant jusque dans ses profondeurs tout l'ordre politique de ce pays, on allait y réveiller la plus redoutable des complications, une question de vie et de mort pour son avenir — la question des races. On avait oublié qu'au cœur même de cette Allemagne, dont on rêve

l'unité, il y avait dans le bassin de la Bohême et dans les pays slaves qui l'entourent six à sept millions d'hommes pour qui, de générations en générations, l'Allemand depuis des siècles n'a pas cessé d'être un seul instant quelque chose de pis qu'un étranger, pour qui l'Allemand est toujours un *Немец*... Il ne s'agit pas ici bien entendu du

patriotisme littéraire de quelques savants de Prague, tout honorable qu'il puisse être; ces hommes ont rendu sans doute de grands services à la cause de leur pays et ils lui en rendront encore; mais la vie de la Bohême n'est pas là. La vie d'un peuple n'est jamais dans les livres que l'on imprime pour lui, à moins toutefois que ce ne soit le peuple allemand; la vie d'un peuple est dans ses instincts et dans ses croyances, et les livres, il faut l'avouer, sont bien plus puissants pour les énerver et les flétrir que pour les ranimer et les faire vivre. Tout ce qui reste donc à la Bohême de vraie vie nationale est dans ses croyances *Hussites*, dans cette protestation toujours vivante de sa nationalité slave opprimée contre l'usurpation de l'Eglise romaine, aussi bien que contre la domination allemande. C'est là le lien qui l'unit à tout son passé de luttes et de gloire, et c'est là aussi le chaînon qui pourra rattacher un jour le *Chef* de la Bohême à ses frères d'Orient. On ne saurait assez insister sur ce point, car ce sont précisément ces réminiscences sympathiques de l'Eglise d'Orient, ce sont ces retours vers *la vieille foi* dont le hussitisme dans son temps n'a été qu'une expression imparfaite

et défigurée, qui établissent une différence profonde entre la Pologne et la Bohême: entre la Bohême ne subissant que malgré elle le joug de la communauté occidentale, et cette Pologne factieusement catholique — séide fanatique de l'Occident et toujours traître vis-à-vis des siens.

Je sais que pour le moment la véritable question en Bohême ne s'est pas encore posée et que ce qui s'agite et se remue à la surface du pays, c'est du libéralisme le plus vulgaire mêlé de communisme dans les villes et probablement d'un peu de jacquerie dans les campagnes. Mais toute cette ivresse tombera bientôt, et au train dont vont les choses le fond de la situation ne tardera pas à paraître. Alors la question pour la Bohême sera celle-ci: une fois l'Empire d'Autriche dissous par la perte de la Lombardie et par l'émancipation maintenant complète de la Hongrie, que fera la Bohême avec ces peuples qui l'entourent, Moraves, Slovaques, c'est-à-dire sept à huit millions d'hommes de même langue et de même race qu'elle? Aspirera-t-elle à se constituer d'une manière indépendante, ou se prêtera-t-elle à entrer dans le cadre ridicule de cette future Unité Germanique qui ne sera jamais que l'Unité

du Chaos? Il est peu probable que ce dernier parti la tente beaucoup. Dès lors elle se trouvera infailliblement en butte à toutes sortes d'hostilités et d'agressions, et pour y résister ce n'est certes pas sur la Hongrie qu'elle pourra s'appuyer. Pour savoir donc quelle est la puissance vers laquelle la Bohême, en dépit des idées qui dominent aujourd'hui et des institutions qui la régiront demain, se trouvera forcément entraînée, je n'ai besoin de me rappeler que ce que me disait en 1841 à Prague le plus national des patriotes de ce pays. «La Bohême, me disait Hancka, ne sera libre et indépendante, ne sera réellement en possession d'elle-même que le jour où la Russie sera rentrée en possession de la Gallicie». En général c'est une chose digne de remarque que cette faveur persévérante que la Russie, le nom russe, sa gloire, son avenir, n'ont cessé de rencontrer parmi les hommes nationaux de Prague; et cela au moment même où notre fidèle alliée l'Allemagne se faisait avec plus de désintéressement que d'équité la doublure de l'émigration polonaise, pour ameuter contre nous l'opinion publique de l'Europe entière. Tout

Russe qui a visité Prague dans le courant de ces dernières années pourra certifier que le seul grief qu'il y ait entendu exprimer contre nous, c'était de voir la réserve et la tiédeur avec lesquelles les sympathies nationales de la Bohême étaient accueillies parmi nous. De hautes, de généreuses considérations nous imposaient alors cette conduite; maintenant assurément ce ne serait plus qu'un contresens: car les sacrifices que nous faisons alors à la cause de l'ordre, nous ne pourrions les faire désormais qu'au profit de la Révolution.

Mais s'il est vrai de dire que la Russie dans les circonstances actuelles a moins que jamais le droit de décourager les sympathies qui viendraient à elle, il est juste de reconnaître d'autre part une loi historique qui jusqu'à présent a providentiellement régi ses destinées: c'est que ce sont toujours ses ennemis les plus acharnés qui ont travaillé avec le plus de succès au développement de sa grandeur. Cette loi providentielle vient de lui en susciter un qui certainement jouera un grand rôle dans les destinées de son avenir et qui ne contribuera pas médiocrement à en hâter l'accomplissement. Cet

ennemi c'est la Hongrie, j'entends la Hongrie magyare. De tous les ennemis de la Russie c'est peut-être celui qui la hait de la haine la plus furieuse. Le peuple magyar, en qui la ferveur révolutionnaire vient de s'associer par la plus étrange des combinaisons à la brutalité d'une horde asiatique et dont on pourrait dire, avec tout autant de justice que des Turcs, qu'il ne fait que camper en Europe, vit entouré de peuples slaves qui lui sont tous également odieux. Ennemi personnel de cette race, dont il a pendant si longtemps abîmé les destinées, il se retrouve après des siècles d'agitations et de turbulence toujours encore emprisonné au milieu d'elle. Tous ces peuples qui l'entourent: Serbes, Croates, Slovaques, Transylvaniens et jusqu'aux Petits-Russiens des Carpathes, sont les anneaux d'une chaîne qu'il croyait à tout jamais brisée. Et maintenant il sent au-dessus de lui une main qui pourra, quand il lui plaira, rejoindre ces anneaux et resserrer la chaîne à volonté. De là sa haine instinctive contre la Russie. D'autre part, sur la foi du journalisme étranger, les meneurs actuels du parti se sont sérieusement persuadés que le peuple magyare avait une grande mission à

remplir dans l'Orient Orthodoxe; que c'était à lui, en un mot, à tenir en échec les destinées de la Russie... Jusqu'à présent l'autorité modératrice de l'Autriche avait tant bien que mal contenu toute cette turbulence et cette déraison; mais maintenant que le dernier lien a été brisé et que c'est le pauvre vieux père, tombé en enfance, qui a été mis en tutelle, il est à prévoir que le Magyarisme complètement émancipé va donner libre cours à toutes ces excentricités et courir les aventures les plus folles. Déjà il a été question de l'incorporation définitive de la Transylvanie. On parle de faire revivre d'anciens droits sur les principautés du Danube et sur la Serbie. On va redoubler de propagande dans tous ces pays-là pour les ameuter contre la Russie, et quand on y aura mis la confusion partout, on compte bien un beau jour s'y présenter en armes pour revendiquer, au nom de l'Occident lésé dans ses droits, la possession des bouches du Danube et dire à la Russie d'une voix impérieuse: «Tu n'iras pas plus loin». — Voilà certainement quelques articles du programme qui s'élabore maintenant à Presbourg. L'année dernière tout cela n'était encore que phrases de journal, maintenant cela

peut, d'un moment à l'autre, se traduire par des tentatives très sérieuses et très compromettantes. Ce qui paraît néanmoins le plus imminent, c'est un conflit entre la Hongrie et les deux royaumes slaves qui en dépendent. En effet, la Croatie et la Slavonie, ayant prévu que l'affaiblissement de l'autorité légitime à Vienne allait les livrer infailliblement à la discrétion du Magyarisme, ont, à ce qu'il paraît, obtenu du gouvernement autrichien la promesse d'une organisation séparée pour elles, en y joignant la Dalmatie et la frontière militaire. Cette attitude que ces pays ainsi groupés essaient de prendre vis-à-vis de la Hongrie ne manquera pas d'exaspérer tous les anciens différends et ne tardera pas à y faire éclater une franche guerre civile, et comme l'autorité du gouvernement autrichien se trouvera probablement trop débile pour s'interposer avec quelque chance de succès entre les combattants, les Slaves de la Hongrie qui sont les plus faibles succomberaient probablement dans la lutte sans une circonstance qui doit tôt ou tard leur venir nécessairement en aide: c'est que l'ennemi qu'ils ont à combattre est avant tout l'ennemi de la Russie, et c'est qu'aussi sur toute

cette frontière militaire, composée aux trois quarts de Serbes orthodoxes, il n'y a pas une cabane de colon (au dire même des voyageurs autrichiens) où, à côté du portrait de l'empereur d'Autriche, l'on ne découvre le portrait d'un autre Empereur que ces races fidèles s'obstinent à considérer comme le seul légitime. D'ailleurs (pourquoi se le dissimuler) il est peu probable que toutes ces secousses de tremblement de terre qui bouleversent l'Occident s'arrêtent au seuil des pays d'Orient; et comment pourrait-il se faire que dans cette guerre à outrance, dans cette croisade d'impiété que la Révolution, déjà maîtresse des trois quarts de l'Europe Occidentale, prépare à la Russie, l'Orient Chrétien, l'Orient Slave-Orthodoxe, lui dont la vie est indissolublement liée à la nôtre, ne se trouvât entraîné dans la lutte à notre suite, et c'est peut-être même par lui que la guerre commencera: car il est à prévoir que toutes ces propagandes qui le travaillaient déjà, propagande catholique, propagande révolutionnaire, etc., etc... toutes opposées entre elles, mais réunies dans un sentiment de haine commune contre la Russie, vont maintenant se mettre à l'œuvre avec plus

d'ardeur que jamais. On peut être certain qu'elles ne reculeront devant rien pour arriver à leurs fins... Et quel serait, juste Ciel! le sort de toutes ces populations chrétiennes comme nous, si, en butte, comme elles le sont déjà à toutes ces influences abominables, si la seule autorité qu'elles invoquent dans leurs prières venait à leur faire défaut, dans un pareil moment? — En un mot, quelle ne serait pas l'horrible confusion où tomberaient ces pays d'Orient aux prises avec la Révolution, si le légitime Souverain, si l'Empereur Orthodoxe d'Orient tardait encore longtemps à y apparaître!

Non, c'est impossible. Des pressentiments de mille ans ne trompent point. La Russie, pays de foi, ne manquera pas de foi dans le moment suprême. Elle ne s'effraiera pas de la grandeur de ses destinées et ne reculera pas devant sa mission.

Et quand donc cette mission a-t-elle été plus claire et plus évidente? On peut dire que Dieu l'écrit en traits de feu sur ce Ciel tout noir de tempêtes. L'Occident s'en va, tout croule, tout s'abîme dans une conflagration générale, l'Europe de Charlemagne aussi bien que l'Europe

des traités de 1815; la papauté de Rome et toutes les royautés de l'Occident; le Catholicisme et le Protestantisme; la foi depuis longtemps perdue et la raison réduite à l'absurde; l'ordre désormais impossible, la liberté désormais impossible, et sur toutes ces ruines amoncelées par elle, la civilisation se suicidant de ses propres mains...

Et lorsque au-dessus de cet immense naufrage nous voyons comme une Arche Sainte surnager cet Empire plus immense encore, qui donc pourrait douter de sa mission, et serait-ce à nous, ses enfants, à nous montrer sceptiques et pusillanimes?..

12 avril 1848

La question Romaine*

Si, parmi les questions du jour ou plutôt du siècle, il en est une qui résume et concentre comme dans un foyer toutes les anomalies, toutes les contradictions et toutes les impossibilités contre lesquelles se débat l'Europe Occidentale, c'est assurément la question romaine.

Et il n'en pouvait être autrement, grâce à cette inexorable logique que Dieu a mise, comme une justice cachée, dans les événements de ce monde. La profonde et irréconciliable scission qui travaille depuis des siècles l'Occident, devait trouver enfin son expression suprême, elle devait pénétrer jusqu'à la racine de l'arbre. Or, c'est un titre de gloire que personne ne contestera à Rome: elle est encore de nos jours, comme elle l'a toujours été, la racine du monde occidental. Il est douteux toutefois, malgré la vive préoccupation que cette question suscite, qu'on se soit rendu un compte exact de tout ce qu'elle contient.

Ce qui contribue probablement à donner le change sur la nature et sur la portée de la question telle qu'elle vient de se poser, c'est d'abord la fausse analogie de ce que nous avons

vu arriver à Rome avec certains antécédents de ses révolutions antérieures; c'est aussi la solidarité très réelle qui rattache le mouvement actuel de Rome au mouvement général de la révolution européenne. Toutes ces circonstances accessoires, qui paraissent expliquer au premier abord la question romaine, ne servent en réalité qu'à en dissimuler la profondeur.

Non, certes, ce n'est pas là une question comme une autre — car non seulement elle touche à tout dans l'Occident, mais on peut même dire qu'elle le déborde.

On ne serait assurément pas accusé de soutenir un paradoxe ou d'avancer une calomnie en affirmant qu'à l'heure qu'il est, tout ce qui reste encore de Christianisme positif à l'Occident, se rattache, soit explicitement, soit par des affinités plus ou moins avouées, au Catholicisme Romain dont la Papauté, telle que les siècles l'ont faite, est évidemment la clef de voûte et la condition d'existence.

Le Protestantisme avec ses nombreuses ramifications, après avoir fourni à peine une carrière de trois siècles, se meurt de décrépitude dans tous les pays où il avait régné jusqu'à

présent, l'Angleterre seule exceptée; — ou s'il révèle encore quelques éléments de vie, ces éléments aspirent à rejoindre Rome. Quant aux doctrines religieuses qui se produisent en dehors de toute communauté avec l'un ou l'autre de ces deux symboles, ce ne sont évidemment que des opinions individuelles.

En un mot: la Papauté — telle est la colonne unique qui soutient tant bien que mal en Occident tout ce pan de l'édifice chrétien resté debout après la grande ruine du seizième siècle et les écroulements successifs qui ont eu lieu depuis. Maintenant c'est cette colonne que l'on se dispose à attaquer par sa base.

Nous connaissons fort bien toutes les banalités, tant de la presse quotidienne que du langage officiel de certains gouvernements, dont on a l'habitude de se servir pour masquer la réalité: on ne veut pas toucher à l'institution religieuse de la Papauté, — on est à genoux devant elle, — on la respecte, on la maintiendra, — on ne conteste même pas à la Papauté son autorité temporelle, — on prétend seulement en modifier l'exercice. On ne lui demandera que des concessions reconnues

indispensables et on ne lui imposera que des réformes parfaitement légitimes. Il y a dans tout ceci passablement de mauvaise foi et surabondamment d'illusions.

Il y a certainement de la mauvaise foi, même de la part des plus candides, à faire semblant de croire que des réformes sérieuses et sincères, introduites dans le régime actuel de l'Etat Romain, puissent ne pas aboutir dans un temps donné à une sécularisation complète de cet Etat.

Mais la question n'est même pas là: la véritable question est de savoir au profit de qui se ferait cette sécularisation, c'est-à-dire quels seront: la nature, l'esprit et les tendances du pouvoir auquel vous remettriez l'autorité temporelle après en avoir dépouillé la Papauté? — Car, vous ne sauriez vous le dissimuler, c'est sous la tutelle de ce nouveau pouvoir que la Papauté serait désormais appelée à vivre.

Et c'est ici que les illusions abondent. Nous connaissons le fétichisme des Occidentaux pour tout ce qui est forme, formule et mécanisme politique. Ce fétichisme est devenu comme une dernière religion de l'Occident; mais, à moins

d'avoir les yeux et l'esprit complètement fermés et scellés à toute expérience comme à toute évidence, comment, après ce qui vient de se passer, parviendrait-on encore à se persuader que dans l'état actuel de l'Europe, de l'Italie, de Rome, les institutions libérales ou semi-libérales que vous aurez imposées au Pape resteraient longtemps aux mains de cette opinion moyenne, modérée, mitigée, telle que vous vous plaisez à la rêver dans l'intérêt de votre thèse, qu'elles ne seraient point promptement envahies par la révolution et transformées aussitôt en machines de guerre pour battre en brèche, non pas seulement la souveraineté temporelle du Pape, mais bien l'institution religieuse elle-même. Car vous auriez beau recommander au principe révolutionnaire, comme l'Eternel à Satan, de ne molester que le corps du fidèle Job sans toucher à son âme, soyez bien convaincus que la révolution, moins scrupuleuse que l'ange des ténèbres, ne tendrait nul compte de vos injonctions.

Toute illusion, toute méprise à cet égard sont impossibles pour qui a bien réellement compris ce qui fait le fond du débat qui s'agite en

Occident — ce qui en est devenu depuis des siècles la vie même; vie anormale mais réelle, maladie qui ne date pas d'hier et qui est toujours encore en voie de progrès. Et s'il se rencontre si peu d'hommes qui ont le sentiment de cette situation, cela prouve seulement que la maladie est déjà bien avancée.

Nul doute, quant à la question romaine, que la plupart des intérêts qui réclament des réformes et des concessions de la part du Pape sont des intérêts honnêtes, légitimes et sans arrière-pensée; qu'une satisfaction leur est due et que même elle ne saurait leur être plus longtemps refusée. Mais telle est l'incroyable fatalité de la situation, que ces intérêts d'une nature toute locale et d'une valeur comparativement médiocre dominant et compromettent une question immense. Ce sont de modestes et inoffensives habitations de particuliers situées de telle sorte qu'elles commandent une place de guerre et, malheureusement, l'ennemi est aux portes.

Car encore une fois la sécularisation de l'Etat romain est au bout de toute réforme sincère et sérieuse qu'on voudrait y introduire, et d'autre

part la sécularisation dans les circonstances présentes ne serait qu'un désarmement devant l'ennemi — une capitulation...

Eh bien, qu'est-ce à dire? que la question romaine posée dans ces termes est tout bonnement un labyrinthe sans issue; que l'institution papale par le développement d'un vice caché en est arrivée après une durée de quelques siècles à cette période de l'existence où la vie, comme on l'a dit, ne se faisait plus sentir que par une difficulté d'être? Que Rome qui a fait l'Occident à son image se trouve comme lui acculée à une impossibilité? Nous ne disons pas le contraire...

Et c'est ici qu'éclate visible comme le soleil cette logique providentielle qui régit comme une loi intérieure les événements de ce monde.

Huit siècles seront bientôt révolus depuis le jour où Rome a brisé le dernier lien qui la rattachait à la tradition orthodoxe de l'Eglise universelle. — Ce jour-là Rome en se faisant une destinée à part a décidé pour des siècles de celle de l'Occident.

On connaît généralement les différences dogmatiques qui séparent Rome de l'Eglise

orthodoxe. Au point de vue de la raison humaine cette différence, tout en motivant la séparation, n'explique pas suffisamment l'abîme qui c'est creusé non pas entre les deux Eglises — puisque l'Eglise est Une et Universelle — mais entre les deux mondes, les deux humanités pour ainsi dire qui ont suivi ces deux drapeaux différents.

Elle n'explique pas suffisamment comment ce qui a dévié alors, a dû de toute nécessité aboutir au terme où nous le voyons arriver aujourd'hui.

Jésus-Christ avait dit: «Mon Royaume n'est pas de ce monde»; — eh bien, il s'agit de comprendre comment Rome, après s'être séparée de l'Unité, s'est crue en droit, dans un intérêt qu'elle a identifié avec l'intérêt même du christianisme, d'organiser un Royaume du Christ comme un royaume du monde.

Il est très difficile, nous le savons bien, dans les idées de l'Occident de donner à cette parole sa signification légitime; on sera toujours tenter de l'expliquer, non pas dans le sens orthodoxe, mais dans un sens protestant. Or, il y a entre ces deux sens la distance, qui sépare ce qui est divin de ce qui est humain. Mais pour être séparée par cette

incommensurable distance, la doctrine orthodoxe, il faut le reconnaître, n'est guère plus rapprochée de celle de Rome — et voici pourquoi:

Rome, il est vrai, n'a pas fait comme le Protestantisme, elle n'a point supprimé le centre chrétien qui est l'Eglise, au profit du moi humain — mais elle l'a absorbé dans le moi romain. — Elle n'a point nié la tradition, elle s'est contentée de la confisquer à son profit. Mais usurper sur ce qui est divin n'est-ce pas aussi le nier?.. Et voilà ce qui établit cette redoutable, mais incontestable solidarité qui rattache à travers les temps l'origine du Protestantisme aux usurpations de Rome. Car l'usurpation a cela de particulier que non-seulement elle suscite la révolte, mais crée encore à son profit une apparence de droit.

Aussi l'école révolutionnaire moderne ne s'y est-elle pas trompée. La révolution, qui n'est que l'apothéose de ce même moi humain arrivé à son entier et plein épanouissement, n'a pas manqué de reconnaître pour siens et de saluer comme ses deux glorieux maîtres Luther aussi bien que Grégoire VII. La voix du sang lui a parlé et elle a adopté l'un en dépit de ses croyances chrétiennes

comme elle a presque canonisé l'autre, tout pape qu'il était.

Mais si le rapport évident qui lie les trois termes de cette série est le fond même de la vie historique de l'Occident, il est tout aussi incontestable qu'on ne saurait lui assigner d'autre point de départ que cette altération profonde que Rome a fait subir au principe chrétien par l'organisation qu'elle lui a imposée.

Pendant des siècles l'Eglise d'Occident, sous les auspices de Rome, avait presque entièrement perdu le caractère que la loi de son origine lui assignait. Elle avait cessé d'être au milieu de la grande société humaine une société de fidèles librement réunie en esprit et en vérité sous la loi du Christ. Elle était devenue une institution, une puissance politique — un Etat dans l'Etat. A vrai dire, pendant la durée du moyen-âge, l'Eglise en Occident n'était autre chose qu'une colonie romaine établie dans un pays conquis.

C'est cette organisation qui, en rattachant l'Eglise à la glèbe des intérêts terrestres, lui avait fait, pour ainsi dire, des destinées mortelles. En incarnant l'élément divin dans un corps infirme et périssable, elle lui a fait contracter toutes les

infirmités comme tous les appétits de la chair. De cette organisation est sortie pour l'Eglise romaine, par une fatalité providentielle, — la nécessité de la guerre, de la guerre matérielle, nécessité qui, pour une institution comme l'Eglise, équivalait à une condamnation absolue. De cette organisation sont nés ce conflit de prétentions et cette rivalité d'intérêts qui devaient forcément aboutir à une lutte acharnée entre le Sacerdoce et l'Empire — à ce duel vraiment impie et sacrilège qui en se prolongeant à travers tout le moyen-âge a blessé à mort en Occident le principe même de l'autorité.

De là tant d'excès, de violences, d'énormités accumulés pendant des siècles pour étayer ce pouvoir matériel dont Rome ne croyait pas pouvoir se passer pour sauvegarder l'Unité de l'Eglise et qui néanmoins ont fini, comme ils devaient finir, par briser en éclats cette Unité prétendue. Car, on ne saurait le nier, l'explosion de la Réforme au seizième siècle n'a été dans son origine que la réaction du sentiment chrétien trop longtemps froissé, contre l'autorité d'une Eglise qui sous beaucoup de rapports ne l'était plus que de nom. — Mais comme depuis des

siècles Rome s'était soigneusement interposée entre l'Eglise universelle et l'Occident, les chefs de la Réforme, au lieu de porter leurs griefs au tribunal de l'autorité légitime et compétente, aimèrent mieux en appeler au jugement de la conscience individuelle — c'est-à-dire qu'ils se firent juges dans leur propre cause.

Voilà l'écueil sur lequel la réforme du seizième siècle est venue échouer. Telle est, n'en déplaise à la sagesse des docteurs de l'Occident, la véritable et la seule cause qui a fait dévier ce mouvement de la réforme — chrétien à son origine, jusqu'à la faire aboutir à la négation de l'autorité de l'Eglise et, par suite, du principe même de toute autorité. Et c'est par cette brèche, que le

Protestantisme a ouverte pour ainsi dire à son insu, que le principe anti-chrétien a fait plus tard irruption dans la société de l'Occident.

Ce résultat était inévitable, car le moi humain livré à lui-même est anti-chrétien par essence. La révolte, l'usurpation du moi ne datent pas assurément des trois derniers siècles, mais ce qui alors était nouveau, ce qui se produisait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'était

de voir cette révolte, cette usurpation élevées à la dignité d'un principe et s'exerçant à titre d'un droit essentiellement inhérent à la personnalité humaine.

Il ne fallait pas moins que la venue au monde du Christianisme pour inspirer à l'homme des prétentions aussi altièeres, comme il ne fallait pas moins que la présence du souverain légitime pour rendre la révolte complète et l'usurpation flagrante.

Depuis ces trois derniers siècles la vie historique de l'Occident n'a donc été, et n'a pu être, qu'une guerre incessante, un assaut continuel livré à tout ce qu'il y avait d'éléments chrétiens dans la composition de l'ancienne société occidentale. Ce travail de démolition a été long, car avant de pouvoir s'attaquer aux institutions il avait fallu détruire ce qui en faisait le ciment: c'est-à-dire les croyances.

Ce qui fait de la première révolution française une date à jamais mémorable dans l'histoire du monde, c'est qu'elle a inauguré pour ainsi dire l'avènement de l'idée anti-chrétienne aux gouvernements de la société politique.

Que cette idée est le caractère propre et

comme l'âme elle-même de la Révolution, il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner quel est son dogme essentiel, — le dogme nouveau qu'elle a apporté au monde. C'est évidemment le dogme de la souveraineté du peuple. Or, qu'est-ce que la souveraineté du peuple, sinon celle du moi humain multiplié par le nombre — c'est-à-dire appuyé sur la force? Tout ce qui n'est pas ce principe n'est plus la révolution et ne saurait avoir qu'une valeur purement relative et contingente. Voilà pourquoi, soit dit en passant, rien n'est plus niais, ou plus perfide que d'attribuer aux institutions politiques que la Révolution a créées, une autre valeur que celle-là. Ce sont des machines de guerre admirablement appropriées à l'usage pour lequel elles ont été faites, mais qui en dehors de cette destination ne sauraient jamais, dans une société régulière, trouver d'emploi convenable.

La Révolution d'ailleurs a pris soin elle-même de ne nous laisser aucun doute sur sa véritable nature en formulant ainsi ses rapports vis-à-vis du christianisme: «l'Etat comme tel n'a point de religion». — Car tel est le Credo de l'Etat moderne.

Voilà, à vrai dire, la grande nouveauté que la Révolution a apportée au monde. Voilà son oeuvre propre, essentielle — un fait sans antécédents dans l'histoire des sociétés humaines.

C'était la première fois qu'une société politique acceptait pour la régir un Etat parfaitement étranger à toute sanction supérieure à l'homme; un Etat qui déclarait qu'il n'avait point d'âme ou que s'il en avait une, cette âme n'était point religieuse. — Car, qui ne sait que même dans l'antiquité païenne, dans tout ce monde de l'autre côté de la croix, placé sous l'empire de la tradition universelle que le paganisme a bien pu défigurer mais sans l'interrompre, — la cité, l'Etat, étaient avant tout une institution religieuse. C'était comme un fragment détaché de la tradition universelle qui en s'incarnant dans une société particulière se constituait comme un centre indépendant. C'était pour ainsi dire de la religion localisée, matérialisée.

Nous savons fort bien que cette prétendue neutralité en matière religieuse n'est pas une chose sérieuse de la part de la Révolution. Elle-

même connaît trop bien la nature de son adversaire pour ne pas savoir que vis-à-vis de lui la neutralité est impossible: «Qui n'est pas pour moi est contre moi». En effet, pour offrir la neutralité au christianisme il faut déjà avoir cessé d'être chrétien. Le sophisme de la doctrine moderne échoue ici contre la nature toute-puissante des choses. Pour que cette prétendue neutralité eût un sens, pour qu'elle fût autre chose qu'un mensonge et un piège, il faudrait de toute nécessité que l'Etat moderne consentît à se dépouiller de tout caractère d'autorité morale, qu'il se résignât à n'être qu'une simple institution de police, un simple fait matériel, incapable par nature d'exprimer une idée morale quelconque. — Soutiendra-t-on sérieusement que la Révolution accepte pour l'Etat qu'elle a créé et qui la représente une condition semblable, non seulement humble, mais impossible?.. Elle l'accepte si peu que d'après sa doctrine bien connue elle ne fait dériver l'incompétence de la loi moderne en matière religieuse que de la conviction où elle est que la morale, dépouillée de toute sanction surnaturelle, suffit aux destinées de la société humaine. Cette proposition

peut être vraie ou fausse, mais cette proposition, on l'avouera, est toute une doctrine, et, pour tout homme de bonne foi, une doctrine qui équivaut à la négation la plus complète de la vérité chrétienne.

Aussi, en dépit de cette prétendue incompétence et de sa neutralité constitutionnelle en matière de religion, nous voyons que partout où l'Etat moderne s'est établi, il n'a pas manqué de réclamer et d'exercer vis-à-vis de l'Eglise la même autorité et les mêmes droits que ceux qui avaient appartenu aux anciens pouvoirs. Ainsi en France, par exemple, dans ce pays de logique par excellence, la loi a beau déclarer que l'Etat comme tel n'a point de religion, celui-ci, dans ses rapports à l'égard de l'Eglise catholique, n'en persiste pas moins à se considérer comme l'héritier parfaitement légitime du Roi très chrétien, — du fils aîné de cette Eglise.

Rétablissons donc la vérité des faits. L'Etat moderne ne proscriit les religions d'Etat que parce qu'il a la sienne — et cette religion c'est la Révolution. Maintenant, pour en revenir à la question romaine, on comprendra sans peine la

position impossible que l'on prétend faire à la Papauté en l'obligeant à accepter pour sa souveraineté temporelle les conditions de l'Etat moderne. La Papauté sait fort bien quelle est la nature du principe dont il relève. Elle le comprend d'instinct, la conscience chrétienne du prêtre dans le Pape l'en avertirait au besoin. Entre la Papauté et ce principe il n'y a point de transaction possible; car ici une transaction ne serait pas une pure concession de pouvoir, ce serait tout bonnement une apostasie. — Mais, dira-t-on, pourquoi le Pape n'accepterait-il pas les institutions sans le principe? — C'est encore là une des illusions de cette opinion soi-disant modérée, qui se croit éminemment raisonnable et qui n'est qu'inintelligente. Comme si des institutions pouvaient se séparer du principe qui les a créées et qui les fait vivre... Comme si le matériel d'institutions privées de leur âme était autre chose qu'un attirail mort et sans utilité — un véritable encombrement. D'ailleurs les institutions politiques ont toujours en définitive la signification que leur attribuent, non pas ceux qui les donnent, mais ceux qui les obtiennent — surtout quand ils vous les imposent.

Si le Pape n'eût été que prêtre, c'est-à-dire si la Papauté fût restée fidèle à son origine, la Révolution n'aurait eu aucune prise sur elle, car la persécution n'en est pas une. Mais c'est l'élément mortel et périssable qu'elle s'est identifié qui la rend maintenant accessible à ses coups. C'est là le gage que depuis des siècles la Papauté romaine a donné par avance à la Révolution.

Et c'est ici, comme nous l'avons dit, que la logique souveraine de l'action providentielle s'est manifestée avec éclat. De toutes les institutions que la Papauté a enfantées depuis sa séparation d'avec l'Eglise Orthodoxe, celle qui a le plus profondément marqué cette séparation, qui la le plus aggravée, le plus consolidée, c'est sans nul doute la souveraineté temporelle du Pape. Et c'est précisément contre cette institution que nous voyons la Papauté venir se heurter aujourd'hui.

Depuis longtemps assurément le monde n'avait rien eu de comparable au spectacle qu'a offert la malheureuse Italie pendant les derniers temps qui ont précédé ses nouveaux désastres. Depuis longtemps nulle situation, nul fait historique n'avaient eu cette physionomie

étrange. Il arrive parfois que des individus à la veille de quelque grand malheur se trouvent, sans motif apparent, subitement pris d'un accès de gaieté frénétique, d'hilarité furieuse — eh bien, ici c'est un peuple tout entier qui a été tout à coup saisi d'un accès de cette nature. Et cette fièvre, ce délire s'est soutenu, s'est propagé pendant des mois. Il y a eu un moment où il avait enlacé comme d'une chaîne électrique toutes les classes, toutes les conditions de la société et ce délire si intense, si général, avait adopté pour mot d'ordre le nom d'un Pape!..

Que de fois le pauvre prêtre chrétien au fond de sa retraite n'a-t-il pas dû frémir au bruit de cette orgie dont on le faisait le dieu! Que de fois ces vociférations d'amour, ces convulsions d'enthousiasme n'ont-elles pas dû porter la consternation et le doute dans l'âme de ce chrétien livré en proie à cette effrayante popularité!

Ce qui surtout devait le consterner, lui, le Pape, c'est qu'au fond de cette popularité immense, à travers toute cette exaltation des masses, quelque effrénée qu'elle fût, il ne pouvait méconnaître un calcul et une arrière-pensée.

C'était la première fois que l'on affectait d'adorer le Pape en le séparant de la Papauté. Ce n'est pas assez dire: tous ces hommages, toutes ces adorations ne s'adressaient à l'homme que parce que l'on espérait trouver en lui un complice contre l'institution. En un mot, on voulait fêter le Pape en faisant un feu de joie de la Papauté. Et ce qu'il y avait de particulièrement redoutable dans cette situation, c'est que ce calcul, cette arrière-pensée n'étaient pas seulement dans l'intention des partis, ils se retrouvaient aussi dans le sentiment instinctif des masses. Et rien assurément ne pouvait mieux mettre à nu toute la fausseté et toute l'hypocrisie de la situation que de voir l'apothéose décernée au chef de l'Eglise Catholique, au moment même où la persécution se déchaînait plus ardente que jamais contre l'ordre des Jésuites.

L'institution des Jésuites sera toujours un problème pour l'Occident. C'est encore là une de ces énigmes dont la clef est ailleurs. On peut dire avec vérité que la question des Jésuites tient de trop près à la conscience religieuse de l'Occident pour qu'il puisse jamais la résoudre d'une manière entièrement satisfaisante.

En parlant des jésuites, en cherchant à les soumettre à une appréciation équitable, il faut commencer par mettre hors de cause tous ceux (et leur nom est légion) pour qui le mot de jésuite n'est plus qu'un mot de passe, un cri de guerre. Certes, de toutes les apologies que l'on a essayées en faveur de cet ordre, il n'en est pas de plus éloquente, de plus convaincante que la haine, cette haine furieuse et implacable que lui ont vouée tous les ennemis de la Religion Chrétienne. Mais, ceci admis, on ne saurait se dissimuler que bien des catholiques romains les plus sincères, les plus dévoués à leur Eglise, depuis Pascal jusqu'à nos jours, n'ont cessé de génération en génération de nourrir une antipathie déclarée insurmontable contre cette institution. Cette disposition d'esprit dans une fraction considérable du monde catholique constitue peut-être une des situations les plus réellement saisissantes et les plus tragiques où il soit donné à l'âme humaine de se trouver placée.

En effet, que peut-on imaginer de plus profondément tragique que le combat qui doit se livrer dans le cœur de l'homme, lorsque, partagé entre le sentiment de la vénération religieuse, de

ce sentiment de piété plus que filiale, et une odieuse évidence, il s'efforce de récuser, de refouler le témoignage de sa propre conscience plutôt que de s'avouer: la solidarité réelle et incontestable qui lie l'objet de son culte à celui de son aversion. — Et cependant telle est la situation de tout catholique fidèle qui, aveuglé par son inimitié contre les jésuites, cherche à se dissimuler un fait d'une éclatante évidence, à savoir: la profonde, l'intime solidarité qui lie cet ordre, ses tendances, ses doctrines, ses destinées, aux tendances, aux doctrines, aux destinées de l'Eglise romaine et l'impossibilité absolue de les séparer l'un de l'autre, sans qu'il en résulte une lésion organique et une mutilation évidente. Car si, en se dégageant de toute prévention, de toute préoccupation de parti, de secte et même de nationalité, l'esprit appliqué à l'impartialité la plus absolue et le cœur rempli de charité chrétienne, on se place en présence de l'histoire et de la réalité et que, après les avoir interrogées l'une et l'autre, on se pose de bonne foi cette question: Qu'est-ce que les jésuites? voici, nous pensons, la réponse que l'on se fera: les jésuites sont des hommes pleins d'un zèle ardent,

infatigable, souvent héroïque, pour la cause chrétienne et qui pourtant se sont rendus coupables d'un bien grand crime vis-à-vis du christianisme; — c'est que, dominés par le moi humain, non pas comme individus mais comme ordre, ils ont cru la cause chrétienne tellement liée à la leur propre — ils ont dans l'ardeur de la poursuite et dans l'émotion du combat si complètement oublié cette parole du Maître: «Que Ta volonté soit faite et non pas la mienne!» — qu'ils ont fini par rechercher la victoire de Dieu à tout prix, sauf celui de leur satisfaction personnelle. Or, cette erreur, qui a sa racine dans la corruption originelle de l'homme et qui a été d'une portée incalculable dans ses conséquences pour les intérêts du christianisme, n'est pas, tant s'en faut, un fait particulier à la Société de Jésus. Cette erreur, cette tendance, lui est si bien commune avec l'Eglise de Rome elle-même que l'on pourrait à bon droit dire que c'est elle qui les rattache l'une à l'autre par une affinité vraiment organique, par un véritable lien du sang. C'est cette communauté, cette identité de tendances qui fait de l'Institut des jésuites l'expression concentrée mais littéralement fidèle

du catholicisme romain, qui fait pour tout dire que c'est le catholicisme romain lui-même, mais à l'état d'action, à l'état militant.

Et voilà pourquoi cet ordre: «*ballotté d'âge en âge*» à travers les persécutions et le triomphe, l'outrage et l'apothéose, n'a jamais trouvé, et ne saurait trouver, en Occident, ni des convictions religieuses suffisamment désintéressées dans sa cause pour pouvoir l'apprécier, ni une autorité religieuse compétente pour le juger. Une fraction de la société occidentale, celle qui a résolument rompu avec le principe chrétien, ne s'attaque aux jésuites que pour pouvoir à couvert de leur impopularité mieux assurer les coups qu'elle adresse à son véritable ennemi. Quant à ceux des catholiques restés fidèles à Rome qui se sont faits les adversaires de cet ordre, bien qu'individuellement parlant ils puissent comme chrétiens être dans le vrai, toutefois comme catholiques romains ils sont sans armes contre lui, car en l'attaquant ils s'exposeraient toujours au danger de blesser l'Eglise romaine elle-même.

Mais ce n'est pas seulement contre les jésuites, cette force vive du catholicisme, qu'on a cherché à exploiter la popularité moitié factice, moitié

sincère dont on avait enveloppé le pape Pie IX. Un autre parti encore comptait aussi sur lui — une autre mission lui était réservée.

Les partisans de l'indépendance nationale espéraient que, sécularisant tout à fait la Papauté au profit de leur cause, celui qui avant tout est prêtre, consentirait à se faire le gonfalonier de la liberté italienne. C'est ainsi que les deux sentiments les plus vivaces et les plus impérieux de l'Italie contemporaine: l'antipathie pour la domination séculière du clergé et la haine traditionnelle de l'étranger, du barbare, de l'Allemand, revendiquaient tous deux, au profit de leur cause, la coopération du Pape. Tout le monde le glorifiait, le défiait même, mais à la condition qu'il se ferait le serviteur de tout le monde, et cela dans un sens qui n'était nullement celui de l'humilité chrétienne.

Parmi les opinions ou les influences politiques qui venaient ainsi briguer son patronage en lui offrant leur concours, il y en avait une qui avait jeté précédemment quelque éclat parce qu'elle avait eu pour interprètes et pour apôtres quelques hommes d'un talent littéraire peu commun. A en croire les doctrines naïvement

ambitieuses de ces théoriciens politiques, l'Italie contemporaine allait sous les auspices du Pontificat romain récupérer la primauté universelle et ressaisir pour la troisième fois le sceptre du monde. C'est-à-dire qu'au moment où l'établissement papal était secoué jusque dans ses fondements, ils proposaient sérieusement au Pape de renchérir encore sur les données du moyen-âge et lui offraient quelque chose comme un Califat chrétien — à la condition, bien entendu, que cette théocratie nouvelle s'exercerait avant tout dans l'intérêt de la nationalité italienne.

On ne saurait, en vérité, assez s'émerveiller de cette tendance vers le chimérique et l'impossible qui domine les esprits de nos jours et qui est un des traits distinctifs de l'époque. Il faut qu'il y ait une affinité réelle entre l'utopie et la Révolution, car chaque fois que celle-ci, un moment infidèle à ses habitudes, veut créer au lieu de détruire, elle tombe infailliblement dans l'utopie. Il est juste de dire que celle à laquelle nous venons de faire allusion est encore une des plus inoffensives.

Enfin vint un moment dans la situation

donnée où, l'équivoque n'étant plus possible, la Papauté, pour ressaisir son droit, se vit obligée de rompre en visière aux prétendus amis du Pape. C'est alors que la Révolution jeta à son tour le masque et apparut au monde sous les traits de la république romaine.

Quant à ce parti on le connaît maintenant, on l'a vu à l'œuvre. C'est le véritable, le légitime représentant de la Révolution en Italie. Ce parti-là considère la Papauté comme son ennemi personnel à cause de l'élément chrétien qu'il découvre en elle. Aussi n'en veut-il à aucun prix, pas même pour l'exploiter. Il voudrait tout simplement la supprimer et c'est par un motif semblable qu'il voudrait aussi supprimer tout le passé de l'Italie, toutes les conditions historiques de son existence comme entachées et infectées de catholicisme, se réservant de rattacher, par une pure abstraction révolutionnaire, l'existence du régime qu'il prétend fonder, aux antécédents républicains de l'ancienne Rome.

Eh bien, ce qu'il y a de particulier dans cette brutale utopie, c'est que, quel que soit le caractère profondément anti-historique dont elle est empreinte, elle aussi a sa tradition bien

connue dans l'histoire de la civilisation italienne. — Elle n'est après tout que la réminiscence classique de l'ancien monde païen, de la civilisation païenne, — tradition qui a joué un grand rôle dans l'histoire de l'Italie, qui s'est perpétuée à travers tout le passé de ce pays, qui a eu ses représentants, ses héros et même ses martyrs et qui, non contente de dominer presque exclusivement ses arts et sa littérature, a tenté à plusieurs reprises de se constituer politiquement pour s'emparer de la société tout entière. Et, chose remarquable, — chaque fois que cette tradition, cette tendance a essayé de renaître, elle est toujours apparue à la manière des revenants, invariablement attachée à la même localité — à celle de Rome.

Arrivée jusqu'à nos jours, le principe révolutionnaire ne pouvait guère manquer de l'accueillir et de se l'approprier à cause de la pensée anti-chrétienne qui était en elle. Maintenant ce parti vient d'être abattu et l'autorité du Pape en apparence restaurée. Mais si quelque chose, il faut en convenir, pouvait encore grossir le trésor de fatalités que cette question romaine renferme, c'était de voir ce

double résultat obtenu par une intervention de la France.

Le lieu commun de l'opinion courante au sujet de cette intervention c'est de n'y voir, comme on le fait assez généralement, qu'un coup de tête ou une maladresse du gouvernement français. Ce qu'il y a de vrai à dire, à ce sujet, c'est que si le gouvernement français, en s'engageant dans cette question insoluble en elle-même, s'est dissimulé qu'elle était plus insoluble pour lui que pour tout autre, cela prouverait seulement de sa part une complète inintelligence tant de sa propre position que de celle de la France... ce qui d'ailleurs est fort possible, nous en convenons.

En général on s'est trop habitué en Europe, dans ces derniers temps, à résumer l'appréciation que l'on fait des actes ou plutôt des velléités d'action de la politique française par une phrase devenue proverbiale: «La France ne sait ce qu'elle veut». — Cela peut être vrai, mais pour être parfaitement juste on devrait ajouter que la France ne peut pas savoir ce qu'elle veut. Car pour y réussir il faut avant tout avoir *Une* volonté — et la France depuis soixante ans est condamnée à en avoir deux.

Et ici il ne s'agit pas de ce désaccord, de cette divergence d'opinions politiques ou autres qui se rencontrent dans tous les pays où la société par la fatalité des circonstances se trouve livrée au gouvernement des partis. Il s'agit d'un fait bien autrement grave; il s'agit d'un antagonisme permanent, essentiel et à tout jamais insoluble, qui depuis soixante ans constitue, pour ainsi dire, le fond même de la conscience nationale en France. C'est l'âme de la France qui est divisée.

La Révolution, depuis qu'elle s'est emparée de ce pays, a bien pu le bouleverser, le modifier, l'altérer profondément, mais elle n'a pu, ni ne pourra jamais se l'assimiler entièrement. Elle aura beau faire, il y a des éléments, des principes dans la vie morale de la France qui résisteront toujours — ou du moins aussi longtemps qu'il y aura une France au monde; tels sont: l'Eglise catholique avec ses croyances et son enseignement; le mariage chrétien et la famille, et même la propriété. D'autre part, comme il est à prévoir que la Révolution, qui est entrée non-seulement dans le sang, mais dans l'âme même de cette société, ne se décidera jamais à lâcher prise volontairement, et comme dans l'histoire du

monde nous ne connaissons pas une formule d'exorcisme applicable à une nation tout entière, il est fort à craindre que l'état de lutte, mais d'une lutte intime et incessante, de scission permanente et pour ainsi dire organique, ne soit devenu pour bien longtemps la condition normale de la nouvelle société française.

Et voilà pourquoi dans ce pays, où nous voyons depuis soixante ans se réaliser cette combinaison d'un Etat révolutionnaire par principe traînant à la remorque une société qui n'est que révolutionnée, le gouvernement, le pouvoir qui tient nécessairement des deux sans parvenir à les concilier, s'y trouve fatalement condamné à une position fautive, précaire, entourée de périls et frappée d'impuissance. Aussi avons-nous vu que depuis cette époque tous les gouvernements en France — moins un, celui de la Convention pendant la Terreur, — quelque fût la diversité de leur origine, de leurs doctrines et de leurs tendances, ont eu ceci en commun: c'est que tous, sans excepter même celui du lendemain de Février, ils ont subi la Révolution bien plus qu'ils ne l'ont représentée. Et il n'en pouvait être autrement. Car ce n'est

qu'à la condition de lutter contre elle, tout en la subissant, qu'ils ont pu vivre. Mais il est vrai de dire que, jusqu'à présent du moins, ils ont tous péri à la tâche.

Comment donc un pouvoir ainsi fait, aussi peu sûr de son droit, d'une nature aussi indécise, aurait-il eu quelque chance de succès en intervenant dans une question comme l'est cette question romaine? En se présentant comme médiateur ou comme arbitre entre la Révolution et le Pape, il ne pouvait guère espérer de concilier ce qui est inconciliable par nature. Et d'autre part il ne pouvait donner gain de cause à l'une des parties adverses sans se blesser lui-même, sans renier pour ainsi dire une moitié de lui-même. Ce qu'il pouvait donc obtenir par cette intervention à double tranchant, quelque émoussé qu'il fût, c'était d'embrouiller encore davantage ce qui déjà était inextricable, d'envenimer la plaie en l'irritant. C'est à quoi il a parfaitement réussi.

Maintenant quelle est au vrai la situation du Pape à l'égard de ses sujets? Et quel est le sort probable réservé aux nouvelles institutions qu'il vient de leur accorder? — Ici malheureusement les plus tristes prévisions sont seules de droit.

C'est le doute qui ne l'est pas.

La situation, — c'est l'ancien état des choses, celui antérieur au règne actuel, celui qui dès lors croulait déjà sous le poids de son impossibilité, mais démesurément aggravé par tout ce qui est arrivé depuis. Au moral, par d'immenses déceptions et d'immenses trahisons; au matériel, par toutes les ruines accumulées.

On connaît ce cercle vicieux où depuis quarante ans nous avons vu rouler et se débattre tant de peuples et tant de gouvernements. Des gouvernés n'acceptant les concessions que leur faisait le pouvoir, que comme un faible acompte payé à contrecœur par un débiteur de mauvaise foi. Des gouvernements qui ne voyaient dans les demandes qu'on leur adressait que les embûches d'un ennemi hypocrite. Eh bien, cette situation, cette réciprocité de mauvais sentiments, détestable et démoralisante partout et toujours, est encore grandement envenimée ici par le caractère particulièrement sacré du pouvoir et par la nature tout exceptionnelle de ses rapports avec ses sujets. Car, encore une fois, dans la situation donnée et sur la pente où l'on se trouve placé, non seulement par la passion des hommes,

mais par la force même des choses, — toute concession, toute réforme, pour peu qu'elle soit sincère et sérieuse, pousse infailliblement l'Etat romain vers une sécularisation complète. La sécularisation, nul n'en doute, est le dernier mot de la situation. Et cependant le Pape, sans droit pour l'accorder même dans les temps ordinaires, puisque la souveraineté temporelle n'est pas son bien, mais celui de l'Eglise de Rome, — pourrait bien moins encore y consentir maintenant qu'il a la certitude que cette sécularisation, lors même qu'elle serait accordée à des nécessités réelles, tournerait en définitive au profit des ennemis jurés, non pas de son pouvoir seulement, mais de l'Eglise elle-même. Y consentir, ce serait se rendre coupable d'apostasie et de trahison tout à la fois. Voici pour le Pouvoir. Pour ce qui est des sujets, il est clair que cette antipathie invétérée contre la domination des prêtres, qui constitue tout l'esprit public de la population romaine, n'aura pas diminué par suite des derniers événements.

Et si d'une part une semblable disposition des esprits suffit à elle seule pour faire avorter les réformes les plus généreuses et les plus loyales, d'autre part l'insuccès de ces réformes ne peut

qu'ajouter infiniment à l'irritation générale, confirmer l'opinion dans sa haine pour l'autorité rétablie et — *recruter pour l'ennemi*.

Voilà certes une situation parfaitement déplorable et qui a tous les caractères d'un châtiment providentiel. Car pour un prêtre chrétien quel plus grand malheur peut-on imaginer que celui de se voir ainsi fatalement investi d'un pouvoir qu'il ne peut exercer qu'au détriment des âmes et pour la ruine de la Religion!.. Non, en vérité, cette situation est trop violente, trop contre nature pour pouvoir se prolonger. Châtiment ou épreuve, il est impossible que la Papauté romaine reste longtemps encore enfermée dans ce cercle de feu sans que Dieu dans Sa miséricorde lui vienne en aide et lui ouvre une voie, une issue merveilleuse, éclatante, inattendue — ou, disons mieux, attendue depuis des siècles.

Peut-être en est-elle séparée encore, elle — la Papauté — et l'Eglise soumise à ses lois, par bien des tribulations et bien des désastres; peut-être n'est-elle encore qu'à l'entrée de ces temps calamiteux. Car ce ne sera pas une petite flamme, ce ne sera pas un incendie de quelques heures

que celui qui, en dévorant et réduisant en cendres des siècles entiers de préoccupations mondaines et d'inimitiés anti-chrétiennes, fera enfin crouler devant elle cette fatale barrière qui lui cachait l'issue désirée.

Et comment à la vue de ce qui se passe, en présence de cette organisation nouvelle du principe du mal, la plus savante et la plus formidable que les hommes aient jamais vue, — en présence de ce monde du mal tout constitué et tout armé, avec son église d'irréligion et son gouvernement de révolte, — comment, disons-nous, serait-il interdit aux chrétiens d'espérer que Dieu daignera proportionner les forces de Son Eglise à Lui, à la nouvelle tâche qu'Il lui assigne? — Qu'à la veille des combats qui se préparent Il daignera lui restituer la plénitude de ses forces, et qu'à cet effet Lui-même, à son heure, viendra, de Sa main miséricordieuse, guérir au flanc de Son Eglise la plaie que la main des hommes y a faite — cette plaie ouverte qui saigne depuis huit cents ans!..

L'Eglise Orthodoxe n'a jamais désespéré de cette guérison. Elle l'attend — elle y compte — non pas avec confiance, mais avec certitude.

Comment ce qui est *Un* par principe, ce qui est *Un* dans l'Eternité, ne triompherait-il pas de la désunion dans le temps? En dépit de la séparation de plusieurs siècles et à travers toutes les préventions humaines elle n'a cessé de reconnaître que le principe chrétien n'a jamais péri dans l'Eglise de Rome; qu'il a toujours été plus fort en elle que l'erreur et la passion des hommes, et voilà pourquoi elle a la conviction intime qu'il sera plus fort que tous ses ennemis. Elle sait, de plus, qu'à l'heure qu'il est, comme depuis des siècles, les destinées chrétiennes de l'Occident sont toujours encore entre les mains de l'Eglise de

Rome et elle espère qu'au jour de la grande réunion elle lui restituera intact ce dépôt sacré.

Qu'il nous soit permis de rappeler, en finissant, un incident qui se rattache à la visite que l'Empereur de Russie a faite à Rome en 1846. On s'y souviendra peut-être encore de l'émotion générale qui l'a accueilli à son apparition dans l'église de Saint-Pierre — l'apparition de l'Empereur orthodoxe revenu à Rome après plusieurs siècles d'absence! et du mouvement électrique qui a parcouru la foule, lorsqu'on l'a

vu aller prier au tombeau des Apôtres. Cette émotion était juste et légitime. L'Empereur prosterné n'y était pas seul. Toute la Russie était là prosternée avec lui. — Espérons qu'il n'aura pas prié en vain devant les saintes reliques.

La Russie et l'Occident*

<ГЛАВА I>

<1>

LA SITUATION EN 1849

Le mouvement de Février, en bonne logique, aurait dû aboutir à une croisade de tout l'Occident *révolutionné* contre la Russie... Si cela n'a pas eu lieu, c'est la preuve que la Révolution n'a pas la vitalité nécessaire, ne fût-ce même que pour organiser la destruction en grand. En d'autres termes, la Révolution est la maladie qui dévore l'Occident. Elle n'est pas l'âme qui fait mouvement.

De là la possibilité de la réaction, comme celle inaugurée par les journées de juin de l'année dernière. C'est la réaction des parties non encore entamées de l'organisme souffrant contre l'envahissement progressif de la maladie. — Cette

résistance de Juin et toutes celles qu'elle a déterminées à sa suite sont un grand fait, une grande Révélation. Il est clair maintenant que la Révolution ne peut plus espérer nulle part de se faire *gouvernement*. Et s'emparât-elle momentanément du Pouvoir, elle ne ferait que déterminer une guerre civile, une guerre intestine. C'est-à-d <ire> elle minera et désorganisera la société, mais elle ne pourra ni la posséder en propre, ni la gouverner en son nom. Voilà un résultat acquis, et il est immense. Car ce n'est pas seulement l'impuissance de la Révolution, c'est aussi l'impuissance de l'Occident. Toute action au-dehors lui est interdite. Il est radicalement scindé.

Pour le moment la Révolution est matériellement désarmée.

La répression de juin 1848 lui a paralysé les bras, la victoire de la Russie en Hongrie lui a fait tomber les armes des mains. Il va sans dire que pour être désarmée la Révolution n'en est pas moins pleine de vie et de vigueur. Elle se retire pour le moment du champ de bataille, elle l'abandonne à ses vainqueurs. Que vont-ils faire de leur victoire?..

Et d'abord, où en sont maintenant les Pouvoirs réguliers en Occident? Car pour préjuger quels peuvent être à l'avenir leurs rapports vis-à-vis de la Révolution, il faudrait déterminer au préalable quelles sont les conditions morales de leur existence à eux-mêmes. En un mot, quel est le symbole de foi qu'ils ont à opposer au symbole de la Révolution?

Quant au symbole révolutionnaire, nous le connaissons, et précisément, parce que nous le connaissons, nous nous expliquons fort bien d'où lui vient son ascendant irrésistible sur l'Occident, — les méprises ne sont plus possibles, toute équivoque volontaire ou involontaire serait hors de saison.

La Révolution, à la considérer dans son principe le plus essentiel, le plus élémentaire, est le produit net, le dernier mot, le mot suprême de ce que l'on est convenu d'appeler depuis 3 siècles la civilisation de l'Occident. C'est la pensée moderne toute entière depuis sa rupture avec l'Eglise.

Cette pensée est celle-ci: l'homme, en définitive, ne relève que de lui-même, tant pour la direction de sa raison que pour celle de sa

volonté. Tout pouvoir vient de l'homme, tout autorité qui se réclame d'un titre supérieur à l'homme n'est qu'une illusion ou une déception. En un mot, c'est l'apothéose du *moi* humain dans le sens le plus littéral du mot.

Tel est qui l'ignore, le credo de l'école révolutionnaire; mais, sérieusement parlant, la société de l'Occident, la civilisation de l'Occident en a-t-elle un autre?..

Et les Pouvoirs publics de cette société, eux, qui depuis des générations n'ont eu pour y vivre d'autre milieu intellectuel que celui-là, comment feront-ils maintenant pour en sortir? Et comment, sans en sortir, trouveront-ils le point d'Archimède dont ils ont besoin pour y placer leur levier?

M-r Guizot lui-même a beau tonner maintenant contre la démocratie européenne, a beau lui reprocher, comme le principe de toutes ses erreurs et de tous ses méfaits, son idolâtrie pour elle-même: la démocratie occidentale, en se prenant pour l'objet de son culte, n'a fait, il faut bien le reconnaître, que suivre aveuglement les instincts que vous-même et vos propres doctrines ont contribué, autant que quoi que soit, à

développer en elle? En effet, qui donc, plus que vous et votre école a réclamé, a revendiqué pour la raison de l'homme les droits de l'autonomie; qui nous a enseigné à voir dans la réformation religieuse du 16-ième siècle moins encore un mouvement de réaction contre les abus et les prétentions illégitimes du catholicisme romain qu'une ère de l'émancipation définitive de la raison humaine, salué dans la philosophie moderne la formule scientifique de cette émancipation et glorifié dans le mouvement révolutionnaire de 1789 l'avènement au pouvoir, la prise de possession de la société moderne, par cette raison de l'homme, ainsi émancipé et ne relevant plus que d'elle-même? Après de pareils enseignements comment voulez-vous que le *moi* humain, cette molécule constitutive de la démocratie moderne, ne se prendrait-il pour l'objet de son idolâtrie, et puisque, de compte fait, il n'est tenu à reconnaître d'autre autorité que la sienne et qui prétendez-vous qu'il adore si ce n'est lui-même? S'il ne le faisait pas, ce serait, ma foi, <Hp36.> modestie de sa part.

Reconnaissons-le donc, la Révolution, variée à l'infini dans ses degrés et ses manifestations, est

une et identique dans son principe, et c'est de ce principe, il faut bien l'avouer, qu'est sortie la civilisation actuelle de l'Occident.

Nous ne nous dissimulons pas l'immense portée de cet aveu. Nous savons fort bien que c'est le fait que nous venons d'énoncer qui imprime à la dernière catastrophe européenne le cachet d'une époque tragique entre toutes les époques de l'histoire du monde. Nous assistons, très probablement, à la banqueroute d'une civilisation toute entière...

En effet, voilà depuis mainte et mainte générations que nous vous voyons, hommes de l'Occident, tous occupés, peuples et gouvernements, riches et pauvres, les doctes et les ignorants, les philosophes et les gens du monde, tous occupés à lire en commun dans le même livre, dans le livre de la raison humaine émancipée, lorsqu'en février de l'année 1848 une fantaisie subite est venue à quelques-uns d'entre vous, les plus impatients, les plus aventureux, de retourner la dernière page du livre et d'y lire la terrible révélation que vous savez... Maintenant on a beau se récrier, se gendarmer contre les téméraires. Comment faire, hélas, que ce qui a été

lu, n'ait pas été lu... Réussira-t-on à sceller cette formidable dernière page? Là est le problème.

Je sais bien que dans les sociétés humaines tout n'est pas doctrine ou principe, qu'indépendamment des uns et des autres il y a les intérêts matériels qui suffisent ou à peu près, dans les temps ordinaires, à assurer leur marche, il y a, comme dans tout organisme vivant, l'instinct de la conservation, qui peut pendant quelque temps lutter énergiquement contre une destruction imminente. Mais l'instinct de la conservation qui n'a jamais pu sauver une armée battue, pourrait-il à la longue protéger efficacement une société en déroute?

Pour cette fois encore les Pouvoirs publics et la société à leur suite ont repoussé, il est vrai, le dernier assaut que leur a livré la Révolution. Mais est-ce bien avec ses propres forces, est-ce bien avec ses armes légitimes que la civilisation moderne, que la civilisation libérale de l'Occident, s'est protégée et défendue contre ses agresseurs?

Certes, s'il y a eu un fait grandement significatif dans l'histoire de ces derniers temps, c'est à coup sûr celui-ci: le lendemain du jour

où la société europ<éenne> avait proclamé le suffrage universel comme l'arbitre suprême de ses destinées, c'est à la force armée, c'est à la discipline militaire qu'elle a été obligée de s'adresser pour sauver la civilisation. Or, la force armée, la discipline militaire, qu'est-ce autre chose qu'un legs, un débris, si l'on veut, du vieux monde, d'un monde depuis longtemps submergé. Et c'est pourtant en s'accrochant à ce débris-là que la société contemporaine est parvenue à se sauver du nouveau déluge qui allait l'engloutir à son tour.

Mais si la répression militaire, qui dans le système établi n'est qu'une anomalie, qu'un heureux accident, a pu, dans un moment donné, sauver la société menacée, suffit-elle pour en assurer les destinées? En un mot, l'état de siège pourra-t-il jamais devenir un système de gouvernement?..

Et puis, encore une fois, la Révolution n'est pas seulement un ennemi en chair et en os. C'est <принцип.> plus qu'un Principe. C'est un Esprit, une Intelligence, et pour le vaincre il faudrait savoir le conjurer.

Je sais bien que les derniers événements ont

jeté dans tous les esprits d'immenses doutes et d'immenses désenchantements et que bien des enfants de la génération actuelle ont révoqué en doute la sagesse révolutionnaire de leurs pères. On a touché au doigt l'inanité des résultats obtenus. Mais si des illusions, qu'on pourrait déjà qualifier de séculaires ont été emportées par la dernière tempête, nulle foi ne les a remplacées... Le doute s'est creusé, et voilà tout. Car la pensée moderne peut bien batailler contre la Révolution sur telle ou telle autre de ses conséquences, le socialisme, le communisme, voire même l'athéisme, mais pour en résoudre le Principe il faudrait qu'elle se reniât elle-même. Et voilà pourquoi aussi la société occidentale, qui est l'expression de cette pensée, en se voyant acculée à l'abîme par la catastrophe de Février, a bien pu se rejeter en arrière par un mouvement instinctif, mais il lui faudrait des ailes pour franchir le précipice ou un miracle, sans précédent dans l'histoire des Sociétés humaines, pour revenir sur ses pas.

Telle est la situation actuelle du monde. Elle est, certainement, claire pour la divine Providence, mais elle est insoluble pour la raison

contemporaine.

C'est sous l'empire de pareilles circonstances que les Pouvoirs publics de l'Occident sont appelés à régir la Société, à la raffermir, à la rasseoir sur ses bases, et ils sont tenus à travailler à cette œuvre avec les instruments qu'ils ont reçus des mains de la Révolution et qui ont été fabriqués pour son usage.

Mais indépendamment de cette tâche de pacification générale, qui est commune à tous les gouvernements, il y a dans chacun des grands Etats de l'Occident des questions spéciales, qui sont le produit et comme le résumé de leur histoire particulière et qui, ayant été, pour ainsi dire, mises à l'ordre du jour par la Providence historique, réclament une solution imminente.

C'est à ces questions que s'est attaquée dans les différents pays la Révolution européenne, mais elle n'a su y trouver qu'un champ de bataille contre le Pouvoir et la Société. Maintenant qu'elle a honteusement échoué dans tous ses efforts et dans toutes ses tentatives et qu'au lieu de résoudre les questions elle n'a fait que les envenimer, c'est aux gouvernements à s'y essayer, à leur tour, en travaillant à leur solution

en présence même et, p<our> ainsi dire, sous le contrôle de l'ennemie qu'ils ont vaincue.

Mais avant tout passons en revue les différentes questions.

<2>

Pour qui observe, en témoin intelligent, mais *du dehors*, le mouvement de l'Europe Occidentale, il n'y a assurément rien de plus remarquable et de plus instructif que, d'une part, le désaccord constant, la contradiction manifeste et continue entre les idées qui y ont prévalu, entre ce qu'il faut bien appeler l'opinion du siècle, l'opinion publique, l'opinion libérale et la réalité des faits, le cours des événements, et, d'autre part, le peu d'impression que ce désaccord, cette contradiction si flagrante, paraît faire sur les esprits.

Pour nous, qui regardons *du dehors*, rien n'est plus facile, assurément que de distinguer dans l'Europe Occidentale le monde des faits, des réalités historiques, d'avec ce mirage immense et persistant, dont l'opinion révolutionnaire, armée de la presse périodique, <Hp3б.> comme recouvert la Réalité. Et c'est dans ce mirage que vit et se meut, comme dans son élément naturel,

depuis 30 à 40 ans, cette puissance aussi fantastique que réelle que l'on appelle l'Opinion publique...

C'est une étrange chose, après tout, que cette fraction de la <société> — le Public. C'est là, à proprement parler, la vie <du> peuple, le peuple élu de la Révolution. C'est cette minorité de la société occidentale qui (sur le continent au moins), grâce à la direction nouvelle, a rompu avec la vie historique des masses et a secoué toutes les croyances positives... Ce peuple anonyme est le même dans tous les pays. C'est le peuple de l'individualisme, de la négation. Il y a cependant en lui un élément qui, tout négatif qu'il est, lui sert de lien et lui fait comme une sorte de religion. C'est la haine de l'autorité sous toutes les formes et à tous ses degrés, la haine de l'autorité comme principe. Cet élément parfaitement négatif, dès qu'il s'agit d'édifier et de conserver, devient terriblement positif, dès qu'il est question de renverser et de détruire. — Et c'est là, soit dit en passant, ce qui explique les destinées du gouvernement représentatif sur le continent. Car ce que les institutions nouvelles ont appelé jusqu'à présent la représentation, ce

n'est pas, quoi qu'on en dise, la société elle-même, la société réelle avec ses intérêts et ses croyances, mais c'est ce quelque chose d'abstrait et de révolutionnaire qui s'appelle le public, représentant des opinions et rien de plus. Aussi ces institutions ont bien pu fomenter sachant l'opposition, mais nulle part jusqu'à présent elles n'ont <прзб.> fondé un gouvernement...

Le monde réel, toutefois, le monde de la réalité historique, même sous le mirage n'en est pas moins resté ce qu'il est et n'en a pas moins poursuivi son chemin tout à côté de ce monde de l'opinion publique qui, grâce à l'acquiescement général, avait aussi acquis une sorte de réalité.

<3>

Après que le parti révolutionnaire nous a donné le spectacle de son impuissance, vient maintenant le tour des gouvernements qui ne tarderont pas à prouver que s'ils sont encore assez forts pour s'opposer à une destruction complète, ils ne le sont plus assez pour rien réédifier. Ils sont comme ces malades qui réussissent à triompher de la maladie, mais après que la maladie a profondément altéré leur constitution, et dont la vie désormais n'est plus

qu'une lente agonie. L'année 1848 a été un tremblement de terre qui n'a pas renversé de fond en comble tous les édifices qu'elle a ébranlés, mais ceux même qui sont restés debout ont tellement été lézardés par la secousse, que leur chute définitive est toujours imminente.

En Allemagne la guerre civile est le fond même de sa situation politique. C'est plus que jamais l'Allemagne de la guerre de Trente ans, le Nord contre le Midi, les souverainetés locales contre le Pouvoir unitaire, mais tout cela démesurément accru et renforcé par l'action du principe révolutionnaire. En Italie ce n'est pas seulement comme autrefois la rivalité de l'Allemagne et de la France ou la haine de l'Italie contre le Barbare ultramontain. Il y a de plus encore la guerre à mort déclarée par la Révolution armée du sentiment de la nationalité italienne contre le catholicisme compromis à la suite de la papauté romaine. Quant à la France qui ne peut plus vivre sans renier à chaque pas ce qui, depuis 60 ans, est devenu son principe de vie, la Révolution, — c'est un pays, logiquement et fatalement condamné à l'impuissance. C'est une société condamnée par l'instinct de sa

conservation à ne se servir d'un de ses bras que pour enchaîner l'autre.

Telle est selon nous la situation actuelle de l'Occident. La Révolution, conséquence logique et résumé définitif de la civilisation moderne, de la civilisation que le rationalisme anti-chrétien a conquise sur l'Eglise romaine, — la Révolution, convaincue par le fait d'une impuissance absolue comme organisation, mais d'une puissance presque aussi grande comme dissolvant, — d'autre part, ce qui restait à l'Europe des éléments de l'ancienne société, assez vivants encore, pour refouler, au besoin, sur un point donné l'action matérielle de la Révolution, mais tellement eux aussi, pénétrés, saturés et altérés par le principe révolutionnaire, qu'ils en sont devenus comme impuissants à produire quelque chose, qui fût généralement accepté par la société européenne, comme une autorité légitime, — tel est le dilemme, qui se pose en ce moment dans toute son immense gravité. La part d'incertitude que l'avenir se réserve ne porte que sur un seul point: c'est de savoir combien de temps il faudra à une situation semblable, pour produire toutes ces conséquences. Quant à la nature de ces

conséquences, on ne saurait les pressentir qu'en sortant complètement du point de vue occidental et en se résignant à comprendre cette vérité vulgaire: c'est que l'Occident européen n'est que la moitié d'un grand tout organique et que les difficultés en apparence insolubles qui la travaillent ne trouveront leur solution que dans l'autre moitié...

**<МАТЕРИАЛЫ К ТРАКТАТУ «РОС-
СИЯ И ЗАПАД»>
<Программы трактата>**

<1>

<2>

LA RUSSIE ET L'OCCIDENT

I. Situation générale

I. La Situation en 1849

II. Question Romaine

II. La Question Romaine

III. L'Italie

III. L'Italie

IV. L'Unité Allemande

IV. L'Unité Allemande

V. L'Autriche

V. L'Autriche

VI. La Russie

VI. La Russie

VII. La Russie et Napoléon

VII. La Russie et Napoléon

VIII. L'Avenir

VIII. La Russie et la Révolution

IX. L'Avenir

<МАТЕРИАЛЫ К ГЛАВЕ III>

<1>

L'ITALIE

Que veut l'Italie? Le vrai, le factice.

Le vrai: l'indépendance, la souveraineté municipale avec un lien fédéral — l'expulsion de l'étranger, de l'Allemand.

Le faux: l'utopie classique: l'Italie unitaire. Rome à la tête. Restauration romaine.

D'où vient cette utopie? — Son origine — son rôle dans le passé — et jusqu'à nos jours.

Deux Italies. Celle du peuple, des masses, de la réalité. — L'Italie des lettrés, savants, révolutionnaires, depuis Petrarca jusqu'à Mazzini.

Rôle tout particulier de cette tendance des lettrés en Italie. Sa signification: c'est une tradition de l'ancienne Rome, de la Rome payenne. — Pourquoi ce simulacre a plus de

réalité en Italie qu'ailleurs.

L'Italie romaine était une Italie conquise. Voilà pourquoi l'unité de l'Italie, telle que ces m<e>ss<ieu>rs l'entendent, est un fait romain et nullement italien.

L'Italie, alors, était la chose de Rome, parce que Rome avait *l'Empire*.

Ce que c'est que *l'Empire*. C'est une délégation, les droits qu'elle confère.

On les perd, ces droits, quand la délégation est révoquée — on les perd avec l'Empire. — C'est ce qui est arrivé avec Rome. Mais le siège de l'Empire n'étant plus en Italie, il n'y a plus lieu à cette unité factice. — Elle recouvre de plein droit son indépendance et ses autonomies locales.

Retrait de l'Empire à Rome et son transfert à l'Orient. C'est la donnée chrétienne que la donnée payenne cherche à nier.

Et voilà pourquoi elle méconnaît la véritable situation de l'Italie.

Une Italie rendue à la liberté de ses mouvements, mais dépouillée de l'Empire, — une Italie, dépouillée de l'Empire, mais ne pouvant se passer de l'autorité impériale.

L'autorité impériale: c'est le lien du faisceau.

Pourquoi cette autorité n'a jamais tenu toute la place qui lui revient — la Papauté l'a paralysée.

Lutte de la Papauté et de l'Empire — ses conséquences pour l'Italie.

Papauté romaine et Empire germanique. Tous deux — usurpateurs vis-à-vis <de> l'Orient — d'abord *complices*, puis *ennemis*. L'Italie — la proie qu'ils se disputent. — De là tous ses malheurs.

Coup d'œil rapide sur cette lamentable histoire.

Tous les deux appellent en Italie l'étranger qui s'y établit à demeure. La Papauté, bien que diminuée, garde touj <ours> Rome, centre du monde. L'Empire, en croulant, lègue à l'Italie la domination autrichienne. La dernière lutte: l'Autriche plus étrangère que jamais. L'Italie plus déchirée que jamais. La Papauté se rapprochant de l'Autriche. La cause de l'Indépendance s'identifiant de plus en plus à la cause révolutionnaire. — Immense gravité de la situation.

Une intervention française, au profit de la Révolution, ne pouvant que l'aggraver. Déchirement. Lutte intérieure de tous les

éléments entr'eux. Situation sans issue.

Seule issue possible.

L'Empire rétabli. La Papauté sécularisée...

<2>

L'ITALIE

Il y a deux choses également et généralement détestées en Italie: les *tedeschi* et les *preti*.

Maintenant, quelle est la puissance qui serait en mesure de délivrer l'Italie des uns et des autres, sans donner gain de cause à la Révolution et sans ruiner l'Eglise. Cette puissance, si elle existe, est la protectrice — née de l'Italie.

<3>

Le Pape vis-à-vis de la Réforme.

La question romaine dans les temps actuels est insoluble. — Elle ne pourrait être résolue que par un retour de l'Eglise romaine vers l'Orthodoxie.

Il n'y a qu'un pouvoir temporel, appuyé sur l'Eglise universelle qui serait en mesure de réformer la Papauté, sans ruiner l'Eglise.

Ce pouvoir n'a jamais existé, ni put exister dans l'Occident. — Voilà pourquoi tous les pouvoirs temporels de l'Occident, depuis les Hohenstauffen jusqu'à Napoléon, dans leurs

démêlés avec les Papes ont fini par accepter, pour auxiliaire, le principe anti-chrétien — tout comme les soi-disant réformateurs, et p<ar> le même motif.

<МАТЕРИАЛЫ К ГЛАВЕ IV>

<1>

L'UNITÉ ALLEMANDE

Qu'est-ce que le parlement de Francfort? L'explosion de l'Allemagne idéologue. L'Allemagne idéologue — son histoire.

L'idée unitaire est son œuvre propre. Elle ne vient pas des masses, de l'histoire. — Ce qui le prouve, c'est l'utopie, le manque du sens de la réalité, qui ne manque jamais aux masses, mais presque touj <ours> aux lettrés.

L'unité allemande = prédominance européenne, mais où en sont les conditions?

Qu'était l'ancien Empire germanique aux temps de sa puissance? C'était un Empire, dont l'âme était romaine et le corps slave (conquis sur les Slaves). Ce qu'il y avait d'Allemand p<our ainsi> d<ire> ne contient pas l'étoffe nécessaire pour un Empire.

Entre la France qui pèse sur le Rhin et l'Europe Orientale, gravitant vers la Russie, il y a

place pour de l'indépendance, mais non pour de la suprématie.

Or, une pareille condition politique, honnête, mais non prépondérante, appelle la fédération et se refuse à l'unité.

Car l'unité, le système unitaire suppose une Mission, et l'Allemagne n'en a plus...

Mais même, dans les étroites limites, l'unité organique est-elle possible pour l'Allemagne?

Le dualisme inhérent à l'Allemagne.

L'Empire avait été la formule, destinée à le conjurer. Cette formule s'est trouvée insuffisante. L'Empire, réalisé à demi; le dualisme persistant à travers l'Empire.

L'Empire, ce qui en était l'âme, brisé par la Réforme, et, par contre, le dualisme consacré par elle.

La guerre de 30 ans l'a organisé. Le dualisme devenu l'état normal de l'Allemagne. — Autriche, Prusse.

Cela a duré ainsi jusqu'à nos jours. La Russie, le véritable Empire, en les ralliant à elle a endormi l'antagonisme, mais ne l'a pas supprimé.

La Russie écartée, la guerre recommence.

L'unité impossible par principe, parce que...

avec l'Autriche point d'unité. Sans l'Autriche pas d'Allemagne. L'Allemagne ne peut pas devenir Prusse, parce que la Prusse ne peut pas devenir Empire.

Empire suppose légitimité. La Prusse est illégitime.

L'Empire est ailleurs.

Provisoirement il y aura deux Allemagnes. C'est leur état de nature — l'unité leur viendra du dehors.

<2>

UNITÉ D'ALLEMAGNE

Toute la question de l'unité d'Allemagne se réduit maintenant à savoir si l'Allemagne voudra se résigner à devenir Prusse.

Il faudrait, bien entendu, que l'Allemagne le voulût *volontairement*. Car la Prusse est hors d'état de l'y forcer. Pour l'y forcer, il n'y a que deux moyens. La Révolution — moyen impossible pour un gouv<ernemen>t régulier; la conquête — impossible — à cause des voisins.

D'autre part, le roi de Prusse, par la nature même de son origine, ne peut jamais être empereur d'Allemagne. — Pourquoi cela? Par la même raison qui fait que Luther n'aurait jamais

pu devenir Pape.

La Prusse n'étant autre chose que la *négation* de l'Empire d'Allemagne.

Une négation réussie —

Le principe d'unité pour l'Allemagne n'est plus en Allemagne...

<МАТЕРИАЛЫ К ГЛАВЕ V>

<1>

L'AUTRICHE

Quelle était la signification de l'Autriche dans le passé? Elle exprimait le fait de la prédominance d'une race sur une autre, de la race allemande sur la race slave.

Comment ce fait a-t-il été possible? à quelle condition?.. l'explication historique de la chose (seulement dynastique).

Ce fait de la prédominance allemande sur les Slaves infirmé par la Russie.

Aboli par les derniers événements.

Qu'est-ce que l'Autriche *est* maintenant et que *prétend-elle* être?

L'Autriche, devenue constitutionnelle, a proclamé la *Gleichberechtigung*, l'égalité du droit pour les différentes nationalités. — Quelle en est la signification?

Est-ce un système de neutralité générale? une pure négation?

Mais l'existence d'un grand Empire, basée sur une négation, est-elle possible?

La loi constitutionnelle est la loi de la majorité. Or, la majorité en Autriche étant slave, l'Autriche devrait devenir slave. — Cela est-il probable? ou même possible?

L'Autriche peut-elle cesser d'être allemande sans cesser d'être?

Rapports entre ces deux races politiques et psychologiques (voir Fallmeyer).

L'oppression allemande n'est pas seulement une oppression politique, elle est cent fois pire. Car elle découle de cette idée de l'Allemand que sa prédominance sur le Slave est *de droit* naturel. De là un malentendu insoluble et une haine éternelle.

P<ar> c<onséquent> l'impossibilité d'une sincère égalité de droit. Mais l'Allemand plie devant le fait accompli — comme en Russie. Ainsi la *Gleichberechtigung*, proclamée par l'Autriche, n'est qu'un leurre.

Elle est allemande et restera allemande.

Qu'en résultera-t-il? Une guerre civile

permanente des diverses nationalités non-allemandes contre les Allemands de Vienne, aussi bien que de ces nationalités entr'elles, au moyen de la légalité constitutionnelle.

Et c'est ainsi que la domination autrichienne au lieu d'être une garantie d'ordre ne sera qu'un ferment de Révolution.

Populations slaves obligées de se faire révolutionnaires pour maintenir leur nationalité contre un pouvoir allemand.

La Hongrie — qui, dans un Empire slave, aurait tout naturellement accepté la place subordonnée, que sa position lui fait. Acceptera-t-elle, vis-à-vis de l'Autriche, la condition que celle-ci prétend lui faire?..

Graves inconvénients, dangers — et finalement impossibilité — résultant de tout ceci pour la Russie.

Après cela l'Autriche est-elle possible? et pourquoi existerait-elle?

Une dernière réflexion.

L'Autriche aux yeux de l'Occident n'a d'autre valeur que

d'être une conception antirusse, et cependant elle ne saurait exister sans l'aide de la Russie.

Est-ce là une combinaison viable?..

La question pour les Slaves de l'Autriche se réduit à ceci: ou rester Slaves en devenant Russes, ou devenir Allemands en restant Autrichiens.

<2>

L'Autriche — n'a plus de raison d'être. On a dit: si l'Autriche n'existait pas, il faudrait l'inventer — et pourquoi?

Pour s'en faire une arme contre la Russie, et l'événement vient de prouver que l'assistance, l'amitié, la protection de la Russie est une condition de vie pour l'Autriche.

<МАТЕРИАЛЫ К ГЛАВЕ VI> LA RUSSIE

Les Occidentaux jugeant la Russie, c'est un peu comme les Chinois jugeant l'Europe ou plutôt les Grecs (Greculi) jugeant *Rome*. Ceci paraît être une loi de l'histoire: jamais une société, une civilisation n'a compris celle qui devait lui succéder.

Ce qui les induit en erreur encore davantage, c'est la colonie occidentale des Russes civilisés, qui leur renvoie leur propre voix. — *La moquerie de l'écho.*

L'Occident, ne voyant jusqu'à présent dans la Russie qu'un fait matériel, une force matérielle.

Pour lui la Russie est un effet sans cause.

C'est >-à-d<ire> qu'idéalistes, ils méconnaissent *l'idée*.

Savants et philosophes, ils ont supprimé, dans leurs aperçus historiques, *toute une moitié* du monde européen.

Et cependant, en présence de cette force purement matérielle, d'où leur vient ce quelque chose entre le respect et la crainte, le sentiment de *l'awe*, qu'on n'a que pour l'autorité?..

Ici encore l'instinct plus intelligent que la science. Qu'est-ce donc la Russie? Que représente-t-elle? Deux choses: *la race slave, l'Empire Orthodoxe*.

1) La race.

Le panslavisme, tombé dans le domaine de la phraséologie révolutionnaire. — Abus qu'on a fait de la nationalité. Costume de masque pour la Révolution. Les panslaves littéraires sont des idéologues allemands tout comme les autres.

Le panslavisme réel est dans les masses. Il se révèle au contact du soldat russe et du premier

paysan slave venu, slovaque, serbe, bulgare etc., même magyar. Ils sont tous solidaires vis-à-vis du *немец*. Le panslavisme est encore ceci:

Pas de nationalité politique possible pour les Slaves en dehors de la Russie.

Ici vient se placer la question *polonaise* (voir l'article de St. Priest. Rev <ue> des D<eux> M<ondes> 1-er N^o).

2) L'Empire.

La question de race n'est que secondaire ou plutôt ce n'est pas un principe. C'est un élément. Le principe plastique c'est la tradition orthodoxe.

La Russie est orthodoxe plus encore que slave. C'est comme orthodoxe qu'elle est dépositaire de *l'Empire*.

Ce que c'est que *l'Empire*? Doctrine de l'Empire. L'Empire ne meurt pas. Il se transmet. Réalité de cette transmission. Les 4 Empires passés. Le 5-ième définitif.

Cette tradition niée par l'école révolutionnaire au même titre que la tradition dans l'Eglise.

C'est l'individualisme niant l'histoire.

Et cependant l'idée de l'Empire a été l'âme de toute l'histoire de l'Occident.

Charlemagne. Charles V. Louis XIV. Napoléon.

La Révolution l'a tuée, ce qui a commencé la dissolution de l'Occident. Mais l'Empire, en Occident, n'a jamais été qu'une usurpation.

C'est une dépouille que les Papes ont partagée avec les Césars d'Allemagne (de là leurs discordes).

L'Empire légitime est resté attaché à la succession de Constantin. — Montrer et démontrer la réalité historique de tout ceci.

Ce que c'était que l'Empire d'Orient (fausses vues de la

science occidentale sur l'Empire d'Orient) transmis à la Russie.

C'est comme Empereur d'Orient que le *царь* est Empereur de Russie.

«*Волим царя восточного, православного*», — disaient les Petits-Russes et disent tous les orthodoxes d'Orient, slaves et autres.

Quant aux Turcs, ils ont occupé l'Orient orthodoxe pour le mettre à couvert des Occidentaux — pendant que l'Empire légitime s'organisait.

L'Empire est un:

l'Eglise orthodoxe en est l'âme, la race slave en est le corps. Si la Russie n'aboutissait pas à

l'Empire, elle avorterait.

L'Empire d'Orient: c'est la Russie définitive.

<МАТЕРИАЛЫ К ГЛАВЕ VII>

<1>

LA RUSSIE ET NAPOLEÓN

On a fait de la rhétorique avec *Napoléon*. On en a méconnu la réalité historique, et voilà pourquoi on en a manqué la Poésie.

C'est un centaure — moitié Révolution, moitié... mais il tenait à la Révolution par les entrailles.

L'histoire de son sacre est le symbole de toute son histoire. Il a, dans sa personne, essayé de faire sacrer la Révolution. C'est ce qui a fait de son règne une parodie sérieuse. La Révolution avait tué Charlemagne, lui a voulu le refaire. — Mais depuis l'apparition de la Russie Charlemagne n'était plus possible...

De là le conflit inévitable entre la Russie et lui. Ses sentiments contradictoires à l'égard de la Russie, attrait et répulsion.

Il aurait voulu partager l'Empire qu'il ne l'aurait pas pu. L'Empire est un principe. Il ne se partage pas.

(Si l'histoire d'Erfurt est vraie, c'est le moment

de la plus grande aberration dans les directions de la Russie.)

Chose remarquable: l'ennemi personnel de Napoléon est

l'Angleterre. Et cependant c'est contre la Russie qu'il s'est <прзб.>. C'est que c'était là son véritable adversaire — la lutte entre lui et elle, c'était la lutte entre l'Empire légitime et la Révolution couronnée.

Lui-même à la manière antique a prophétisé sur elle: «La fatalité l'entraîne. *Que ses destinées s'accomplissent*».

*Он сам, на рубеже России —
Проникнут весь предчувствием
борьбы —
Слова промолвил роковые:
«Да сбудутся ее судьбы...»
И не напрасно было заклинанье:
Судьбы откликнулись на голос
твой —
И сам же ты, потом, в твоём из-
знанье,
Ты пояснил ответ их роковой...*

<2>

Napoléon, c'est la parodie sérieuse de

Charlemagne... N'ayant pas le sentiment de son droit, il a toujours joué un rôle, et c'est ce quelque chose de mondain qui ôte toute grandeur à sa grandeur. Sa tentative de recommencer Charlemagne n'était pas seulement un anachronisme comme pour Louis XIV, pour Charles V, ses devanciers, mais c'était un scandaleux contresens. Car elle se faisait au nom d'un Pouvoir, la Révolution, qui s'était donné pour mission essentielle d'essuyer jusqu'aux derniers vestiges de l'œuvre de Charlemagne.

<МАТЕРИАЛЫ К ГЛАВЕ IX>

<1>

1. Qu'est-ce que le *lieu commun* sur la Monarchie universelle? D'où vient-il?..

2. L'équilibre politique est, dans l'histoire, le pendant de la division des pouvoirs, dans le droit public. L'un et l'autre — conséquences, du point de vue *révolutionnaire*, négation du point de vue organique.

3. La Monarchie universelle c'est *l'Empire*. Or l'Empire a toujours existé. Seulement il a changé de mains.

4. Les 4 Empires: Assyrie, Perse, Macédoine, Rome. A Constantin commence le 5-ième,

l'Empire définitif, l'Empire chrétien.

5. On ne peut nier l'Empire chrétien sans nier l'Eglise chrétienne. L'un et l'autre sont corrélatifs. Dans les deux cas c'est nier *la tradition*.

6. L'Eglise, en consacrant l'Empire, se l'est associé — p^{ar} cons^équen^t l'a rendu définitif.

De là vient que tout ce qui nie le Christianisme est souvent très puissant comme *destruction*, mais toujours nul comme *organisation* — parce que c'est *une révolte* contre l'Empire.

7. Mais cet Empire qui, en principe, est indéfectible a pu, en réalité, avoir ses défaillances, ses intermittences, ses éclipses.

8. Qu'est-ce que l'histoire de l'Occident commençant à Charlemagne et qui s'achève sous nos yeux?

C'est l'histoire de l'Empire *usurpé*.

9. Le Pape, en révolte contre l'Eglise universelle, a usurpé les droits de l'Empire qu'il a partagé, comme une dépouille, avec le soi-disant Empereur d'Occident.

10. De là ce qui arrive ordinairement entre complices. La longue lutte entre la Papauté de Rome, *schismatique*, et l'Empire d'Occident, *usurpé*, aboutissant, pour l'une, à la Réformation,

c'est-à-d<ire> à la négation de l'Eglise, et pour l'autre à la Révolution, c'est-à-d<ire> à la négation de l'Empire.

<2>

Nous touchons à la Monarchie universelle, c'est-à-d<ire> au rétablissement de l'Empire légitime.

La Révolution de 1789 c'était la dissolution de l'Occident. Elle a détruit l'autonomie de l'Occident.

La Révolution a tué, en Occident, le Pouvoir intérieur, indigène, et l'a, par cons<é> qu<ent> assujetti à un Pouvoir étranger, extérieur. Car nulle société ne saurait vivre sans Pouvoir. Et voilà pourquoi toute société, qui ne peut le tirer de

ses propres entrailles, est condamnée, par l'instinct de sa conservation, à l'aller emprunter du dehors.

Napoléon a marqué la dernière tentative désespérée de l'Occident de se créer un Pouvoir indigène, elle a échoué nécessairement. Car on ne saurait tirer le Pouvoir du Principe Révolutionnaire. Or, *Napoléon* n'était pas et ne pouvait être autre chose.

Ainsi, depuis 1815, l'Empire de l'Occident n'est plus dans l'Occident. L'Empire s'est tout entier retiré et concentré là où de tout temps a été la tradition légitime de l'Empire. — L'année 1848 en a commencé l'inauguration définitive... Il faut toutefois qu'elle s'aide de deux grands faits qui sont en voie de s'accomplir.

Dans l'ordre temporel l'organisation de l'Empire Gréco-Slave. Dans l'ordre spirituel — la réunion des deux Eglises.

Le premier de ces faits a décidément commencé le jour où l'Autriche, pour sauver un simulacre d'existence, a eu recours à l'assistance de la Russie. Car une Autriche, sauvée par la Russie, est de toute nécessité une Autriche absorbée par la Russie (un peu *plus tôt*, <un peu> plus tard).

Or l'absorption de l'Autriche n'est pas seulement le complément nécessaire de la Russie comme Empire slave, c'est encore la soumission à celle-ci de l'Allemagne et de l'Italie, les deux *pays d'Empire*.

L'autre fait, prélude de la réunion des Eglises, c'est le Pape de Rome dépouillé de son pouvoir temporel.

ОТРЫВОК*

13 septembre 1849

Au point où nous sommes parvenus, on peut sans trop de présomption entrevoir dans l'avenir deux grands faits providentiels qui doivent dans un temps donné venir clore pour l'Occident l'interrègne révolutionnaire des 3 derniers siècles et inaugurer pour l'Europe une ère nouvelle.

Ces deux faits sont ceux-ci:

1) la Constitution définitive du grand Empire Orthodoxe, de l'Empire légitime d'Orient — en un mot de la Russie à venir: — accomplie par l'absorption de l'Autriche et la reprise de Constantinople.

2) la Réunion des deux Eglises d'Orient et d'Occident.

Ces deux faits, à vrai dire, n'en forment qu'un seul qui peut se résumer ainsi:

Un Empereur orthodoxe à Constantinople, Maître et Protecteur de l'Italie et de Rome.

Un Pape orthodoxe à Rome, sujet de l'Empereur.

Lettre sur la censure en Russie*

Je profite de l'autorisation que vous avez bien voulu me donner, pour vous soumettre quelques réflexions, qui se rattachent à l'objet de notre dernier entretien. Je n'ai assurément pas besoin de vous exprimer encore une fois ma sympathique adhésion à l'idée que vous avez eu la bonté de me communiquer et, dans le cas où on tenterait de la réaliser, de vous assurer de ma sérieuse bonne volonté de la servir de tous mes moyens. Mais c'est précisément pour être mieux à même de le faire que je crois devoir, avant toute chose, m'expliquer franchement vis-à-vis de vous sur ma manière d'envisager la question. Il ne s'agit pas ici, bien entendu, de faire une profession de foi politique. Ce serait une puérilité: de nos jours, en fait d'opinions politiques, tous les gens raisonnables sont à peu près du même avis; on ne diffère les uns des autres que par le plus ou le moins d'intelligence que l'on apporte à bien reconnaître ce qui est et à bien apprécier ce qui devrait être. C'est sur le plus ou le moins de vérité qui se trouve dans ces appréciations qu'il s'agirait avant tout de

s'entendre. Car s'il est vrai (comme vous l'avez dit, mon prince) qu'un esprit pratique ne saurait vouloir dans une situation donnée que ce qui est réalisable en égard aux personnes, il est tout aussi vrai qu'il serait peu digne d'un esprit réellement pratique de vouloir une chose quelconque en dehors des conditions naturelles de son existence. Mais, venons au fait. S'il est une vérité, parmi beaucoup d'autres, qui soit sortie, entourée d'une grande évidence, de la sévère expérience des dernières années, c'est assurément celle-ci: il nous a été rudement prouvé qu'on ne saurait imposer aux intelligences une contrainte, une compression trop absolue, trop prolongée, sans qu'il en résulte des dommages graves pour l'organisme social tout entier. Il paraît que tout affaiblissement, toute diminution notable de la vie intellectuelle dans une société tourne nécessairement au profit des appétits matériels et des instincts sordidement égoïstes. Le Pouvoir lui-même n'échappe pas à la longue aux inconvénients d'un pareil régime. Un désert, un vide intellectuel immense se fait autour de la sphère où il réside, et la pensée dirigeante, ne trouvant en dehors

d'elle-même ni contrôle, ni indication, ni un point d'appui quelconque, finit par se troubler et par s'affaïsser sous son propre poids, avant même que de succomber sous la fatalité des événements. Heureusement, cette rude leçon n'a pas été perdue. Le sens droit et la nature bienveillante de l'Empereur régnant ont compris qu'il y avait lieu à se relâcher de la rigueur excessive du système précédent et à rendre aux intelligences l'air qui leur manquait...

Eh bien (je le dis avec une entière conviction), pour qui a suivi depuis lors dans son ensemble le travail des esprits, tel qu'il s'est produit dans le mouvement littéraire du pays, il est impossible de ne pas se féliciter des heureux effets de ce changement de système. Je ne me dissimule pas plus qu'un autre les côtés faibles et parfois même les écarts de la littérature du jour; mais il y a un mérite qu'on ne saurait lui refuser sans injustice, et ce mérite-là est bien réel: c'est que du jour où la liberté de la parole lui a été rendue dans une certaine mesure, elle c'est constamment appliquée à exprimer de son mieux et le plus fidèlement possible la pensée même du pays. A un sentiment très vif de la réalité contemporaine

et à un talent souvent fort remarquable de la reproduire, elle a joint une sollicitude non moins vive pour tous les besoins réels, pour tous les intérêts, pour toutes les plaies de la société russe. Comme le pays lui-même, en fait d'améliorations à accomplir, elle ne s'est préoccupée que de celles qui étaient possibles, pratiques et clairement indiquées, sans se laisser envahir par l'utopie, cette maladie si éminemment littéraire. Si dans la guerre qu'elle a faite aux abus elle s'est laissée parfois entraîner à d'évidentes exagérations, on peut dire, en son honneur, que dans son zèle à

les combattre elle n'a jamais séparé dans sa pensée les intérêts de l'Autorité Suprême d'avec ceux du pays: tant elle était pénétrée de cette sérieuse et loyale conviction, que faire la guerre aux abus, c'était la faire aux ennemis personnels de l'Empereur... Souvent, de nos jours, pareils dehors de zèle ont, je le sais bien, recouvert de très mauvais sentiments et servi à dissimuler des tendances qui n'étaient rien moins que loyales; mais, grâce à l'expérience que les hommes de notre âge doivent avoir nécessairement acquise, rien de plus facile que de reconnaître, à la première vue, ces ruses du métier, et le faux dans

ce genre ne trompe plus personne.

On peut affirmer qu'à l'heure qu'il est, en Russie il y a deux sentiments dominants et qui se retrouvent presque toujours étroitement associés l'un à l'autre: c'est l'irritation et le dégoût que soulève la persistance des abus, et une religieuse confiance dans les intentions pures, droites et bienveillantes du Souverain.

On est généralement convaincu que personne plus que Lui ne souffre de ces plaies de la Russie et n'en désire plus énergiquement la guérison; mais nulle part peut-être cette conviction n'est aussi vive et aussi entière que précisément dans la classe des hommes de lettres, et c'est remplir le devoir d'un homme d'honneur, que de saisir toutes les occasions pour proclamer bien haut qu'il n'y a pas peut-être en ce moment de classe de la société qui soit plus pieusement dévouée que celle-ci à la Personne de l'Empereur.

Ces appréciations (je ne le cache pas) pourraient bien rencontrer plus d'un incrédule dans quelques régions de notre monde officiel. C'est que de tout temps il y a eu dans ce monde-là comme un parti pris de défiance et de mauvaise humeur, et cela s'explique fort bien par la

spécialité du point de vue. Il y a des hommes qui ne connaissent de la littérature que ce que la police des grandes villes connaît du peuple qu'elle surveille, c'est-à-dire des incongruités et les désordres auxquels le bon peuple se laisse parfois entraîner.

Non, quoi qu'on en dise, le gouvernement jusqu'à présent n'a pas eu lieu de se repentir d'avoir mitigé en faveur de la presse les rigueurs du régime qui pesait sur elle. Mais dans cette question de la presse, était-ce là tout ce qu'il y avait à faire, et en présence de ce travail des esprits plus libre et à mesure que le mouvement littéraire ira grandissant, l'utilité et la nécessité d'une direction supérieure ne se fera-t-elle pas sentir tous les jours davantage? La censure à elle seule, de quelque manière qu'elle s'exerce, est loin de suffire aux exigences de cette situation nouvelle. La censure est une borne et n'est pas une direction. Or, chez nous, en littérature comme en toute chose, il s'agit bien moins de réprimer que de diriger. La direction, une direction forte, intelligente, sûre d'elle-même, voilà le cri du pays, voilà le mot d'ordre de notre situation tout entière.

On se plaint souvent de l'esprit d'indocilité et d'insubordination qui caractérise les hommes de la génération nouvelle. Il y a beaucoup de malentendu dans cette accusation. Ce qui est certain c'est qu'à aucune autre époque il n'y a eu autant d'intelligences actives à l'état de disponibilité et rongéant comme un frein l'inertie qui leur est imposée. Mais ces mêmes intelligences, parmi lesquelles se recrutent les ennemis du Pouvoir, bien souvent ne demandent pas mieux que de le suivre, du moment qu'il veut bien se prêter à les associer à son action et à marcher résolument à leur tête. C'est cette vérité d'expérience, enfin reconnue, qui, depuis les dernières crises révolutionnaires en Europe, a beaucoup contribué dans les différents pays à modifier sensiblement les rapports du Pouvoir avec la presse. Et ici, mon prince, je me permettrai de rappeler, à l'appui de ma thèse, le témoignage de vos propres souvenirs.

Vous, qui avez connu comme moi l'Allemagne d'avant 1848, vous devez vous rappeler quelle était l'attitude de la presse d'alors vis-à-vis des gouvernements allemands, quelle aigreur, quelle hostilité caractérisait ses rapports avec eux, que

de tracas et de soucis elle leur suscitait.

Eh bien, comment se fait-il que maintenant ces dispositions haineuses aient en grande partie disparu et aient fait place à des dispositions essentiellement différentes?

C'est qu'aujourd'hui ces mêmes gouvernements, qui considéraient la presse comme un mal nécessaire qu'ils étaient obligés de subir tout en le détestant, ont pris ce parti de chercher en elle une force auxiliaire et de s'en servir comme d'un instrument approprié à leur usage. Je ne cite cet exemple que pour prouver que dans des pays déjà fortement entamés par la révolution, une direction intelligente et énergique trouve toujours des esprits disposés à l'accepter et à la suivre. Car, d'ailleurs, autant que qui que ce soit je hais, quand il s'agit de nos intérêts, toutes ces prétendues analogies que l'on va chercher à l'étranger: presque toujours comprises à demi, elles nous ont fait trop de mal pour que je sois disposé à invoquer leur autorité.

Chez nous, grâce au Ciel, ce ne sont pas absolument les mêmes instincts, les mêmes exigences qu'il s'agirait de satisfaire; ce sont d'autres convictions, des convictions moins

entamées et plus désintéressées qui répondraient à l'appel du Pouvoir.

En effet, malgré les infirmités qui nous affligent et les vices qui nous déforment, il y a encore chez nous dans les âmes (on ne saurait assez le redire) des trésors de bonne volonté intelligente et d'activité d'esprit dévouée qui n'attendent, pour se livrer, que des mains sympathiques, qui sachent les reconnaître et les recueillir. En un mot, s'il est vrai, comme on l'a si souvent dit, que l'Etat a charge d'âmes aussi bien que l'Eglise, nulle part cette vérité n'est plus évidente qu'en Russie, et nulle part aussi (il faut bien le reconnaître) cette mission de l'Etat n'a été plus facile à exercer et à accomplir. C'est donc avec une satisfaction, une adhésion unanimes, que l'on verrait chez nous le Pouvoir, dans ses rapports avec la presse, assumer sur lui la direction de l'esprit public, sérieusement et loyalement comprise, et revendiquer comme son droit le gouvernement des intelligences.

Mais, mon prince, comme ce n'est pas un article semi-officiel que j'écris en ce moment, et que, dans une lettre toute de confiance et de sincérité, rien ne serait plus ridiculement déplacé

que les circonlocutions et les réticences, je tâcherai d'expliquer de mon mieux quelles seraient à mon avis les conditions auxquelles le Pouvoir pourrait prétendre à exercer une pareille action sur les esprits.

D'abord, il faut prendre le pays tel qu'il est dans le moment donné, livré à de très pénibles, de très légitimes préoccupations d'esprit, entre un passé rempli d'enseignements (il est vrai), mais aussi de bien décourageantes expériences, et un avenir tout rempli de problèmes.

Il faudrait ensuite, par rapport à ce pays, se décider à reconnaître ce que les parents, qui voient leurs enfants grandir sous leurs yeux, ont tant de peine à s'avouer, c'est qu'il vient un âge où la pensée aussi est adulte et veut être traitée comme telle. Or, pour conquérir, sur des intelligences arrivées à l'âge de raison, cet ascendant moral, sans lequel on ne saurait prétendre à les diriger, il faudrait avant tout leur donner la certitude que sur toutes les grandes questions, qui préoccupent et passionnent le pays en ce moment, il y a dans les hautes régions du Pouvoir, sinon des solutions toutes prêtes, au moins des convictions fortement arrêtées et un

corps de doctrine lié dans toutes ses parties et conséquent à lui-même.

Non, certes, il ne s'agit pas d'autoriser le public à intervenir dans les délibérations du conseil de l'Empire, ou d'arrêter de compte à demie avec la presse le programme des mesures du gouvernement. Mais ce qui serait bien essentiel, c'est que le Pouvoir fût lui-même assez convaincu de ses propres idées, assez pénétré de ses propres convictions pour qu'il éprouvât le besoin d'en répandre l'influence au dehors, et de la faire pénétrer, comme un élément de régénération, comme une vie nouvelle, dans l'intimité de la conscience nationale. Ce qui serait essentiel en présence des écrasantes difficultés qui pèsent sur nous, c'est qu'il comprît que sans cette communication intime avec l'âme même du pays, sans le réveil plein et entier de toutes ces énergies morales et intellectuelles, sans leur concours spontané et unanime à l'œuvre commune, le gouvernement, réduit à ses propres forces, ne peut rien, pas plus au dehors qu'au dedans, pas plus pour son salut que pour le nôtre.

En un mot, il faudrait que tous, public et gouvernement, nous ne cessassions de nous dire

et de nous répéter que les destinées de la Russie sont comme un vaisseau échoué, que tous les efforts de l'équipage ne réussiront jamais à dégager et que seule la marée montante de la vie nationale parviendra à soulever et à mettre à flot.

Voilà, selon moi, au nom de quel principe et de quel sentiment le Pouvoir pourrait en ce moment avoir prise sur les âmes et sur les intelligences, qu'il pourrait pour ainsi dire les mettre dans sa main et les emporter où bon lui semblerait. Cette bannière-là, elles la suivraient partout.

Inutile de dire que je ne prétends nullement pour cela ériger le gouvernement en prédicateur, le faire monter en chaire et lui faire débiter des sermons devant une assistance silencieuse. C'est son esprit et non sa parole qu'il devrait mettre dans la propagande loyale qui se ferait sous ses auspices.

Et même, comme la première condition de succès, dès qu'on veut persuader les gens, c'est de se faire écouter d'eux, il est bien entendu que cette propagande de salut, pour se faire accueillir, bien loin de limiter la liberté de discussion, la suppose au contraire aussi franche

et aussi sérieuse que les circonstances du pays peuvent la permettre.

Car est-il nécessaire d'insister pour la millième fois sur un fait d'une évidence aussi flagrante que celui-ci: c'est que de nos jours, partout où la liberté de discussion n'existe pas dans une mesure suffisante, là rien n'est possible, mais absolument rien, moralement et intellectuellement parlant. Je sais combien dans ces matières il est difficile (pour ne pas dire impossible) de donner à sa pensée le degré de précision nécessaire. Comment définir par exemple ce que l'on entend par une mesure suffisante de liberté en matière de discussion? Cette mesure, essentiellement flottante et arbitraire, n'est bien souvent déterminée que par ce qu'il y a de plus intime et de plus individuel dans nos convictions, et il faudrait pour ainsi dire connaître l'homme pour savoir au juste le sens qu'il attache aux mots en parlant sur ces questions. Pour ma part, j'ai depuis plus de trente ans suivi, comme tant d'autres, cette insoluble question de la presse dans toutes les vicissitudes de sa destinée, et vous me rendrez la justice de croire, mon prince, qu'après un aussi long temps

d'études et d'observations cette question ne saurait être pour moi que l'objet de la plus impartiale et de la plus froide appréciation. Je n'ai donc ni parti pris, ni préventions sur rien de ce qui y a rapport; je n'ai pas même d'animosité exagérée contre la censure, bien que dans ces dernières années elle ait pesé sur la Russie comme une véritable calamité publique. Tout en admettant son opportunité et son utilité relative, mon principal grief contre elle, c'est qu'elle est selon moi profondément insuffisante dans le moment actuel dans le sens de nos vrais besoins et de nos vrais intérêts. Au reste la question n'est pas là, elle n'est pas dans la lettre morte des règlements et des instructions qui n'ont de valeur que par l'esprit qui les anime. La question est tout entière dans la manière dont le gouvernement lui-même dans son for intérieur considère ses rapports avec la presse; elle est, pour tout dire, dans la part plus ou moins grande de légitimité qu'il reconnaît au droit de la pensée individuelle.

Et maintenant, pour sortir une bonne fois des généralités et pour serrer de plus près la situation du moment, permettez-moi, mon

prince, de vous dire, avec toute la franchise d'une lettre entièrement confidentielle, que tant que le gouvernement chez nous n'aura pas, dans les habitudes de sa pensée, essentiellement modifié sa manière d'envisager les rapports de la presse vis-à-vis de lui, — tant qu'il n'aura pas, pour ainsi dire, coupé court à tout cela, rien de sérieux, rien de réellement efficace ne saurait être tenté avec quelque chance de succès; et l'espoir d'acquérir de l'ascendant sur les esprits, au moyen d'une presse ainsi administrée, ne serait jamais qu'une illusion.

Et cependant il faudrait avoir le courage d'envisager la question telle qu'elle est, telle que les circonstances l'ont faite. Il est impossible que le gouvernement ne se préoccupe très sérieusement d'un fait qui s'est produit depuis quelques années et qui tend à prendre des développements dont personne ne saurait dès à présent prévoir la portée et les conséquences. Vous comprenez, mon prince, que je veux parler de l'établissement des presses russes à l'étranger, hors de tout contrôle de notre gouvernement. Le fait assurément est grave, et très grave, et mérite la plus sérieuse attention. Il serait inutile de

chercher à dissimuler les progrès déjà réalisés par cette propagande littéraire. Nous savons qu'à l'heure qu'il est la Russie est inondée de ces publications, qu'elles sont avidement recherchées, qu'elles passent de main en main, avec une grande facilité de circulation, et qu'elles ont déjà pénétré, sinon dans les masses qui ne lisent pas, au moins dans les couches très inférieures de la société. D'autre part, il faut bien s'avouer qu'à moins d'avoir recours à des mesures positivement vexatoires et tyranniques, il sera bien difficile d'entraver efficacement, soit l'importation et le débit de ces imprimés, soit l'envoi à l'étranger des manuscrits destinés à les alimenter. Eh bien, ayons le courage de reconnaître la vraie portée, la vraie signification de ce fait; c'est tout bonnement la suppression de la censure, mais la suppression de la censure au profit d'une influence mauvaise et ennemie; et pour être plus en mesure de la combattre, tâchons de nous rendre compte de ce qui fait sa force et de ce qui lui vaut ses succès.

Jusqu'à présent, en fait de presse russe à l'étranger, il ne peut, comme de raison, être question que du journal de Herzen. Quelle est

donc la signification de Herzen pour la Russie? Qui le lit? Sont-ce par hasard ses utopies socialistes et ses menées révolutionnaires qui le recommandent à son attention? Mais parmi les hommes de quelque valeur intellectuelle qui le lisent, croit-on qu'il y en ait 2 sur 100 qui prennent au sérieux ses doctrines et ne les considèrent comme une monomanie plus ou moins involontaire, dont il s'est laissé envahir? Il m'a même été assuré, ces jours-ci, que des hommes qui s'intéressent à son succès l'avaient très sérieusement exhorté à rejeter loin de lui toute cette défroque révolutionnaire, pour ne pas affaiblir l'influence qu'ils voudraient voir acquise à son journal. Cela ne prouve-t-il pas que le journal de Herzen représente pour la Russie toute autre chose que les doctrines professées par l'éditeur? Or, comment se dissimuler que ce qui fait sa force et lui vaut son influence, c'est qu'il représente pour nous la discussion libre dans des conditions mauvaises (il est vrai), dans des conditions de haine et de partialité, mais assez libres néanmoins (pourquoi le nier?), pour admettre au concours d'autres opinions, plus réfléchies, plus modérées et quelques unes même

décidément raisonnables. Et maintenant que nous nous sommes assuré où gît le secret de sa force et de son influence, nous ne serons pas en peine, de quelle nature sont les armes que nous devons employer pour le combattre. Il est évident que le journal qui accepterait une pareille mission ne pourrait rencontrer des chances de succès que dans des conditions d'existence quelque peu analogues à celles de son adversaire. C'est à vous, mon prince, de décider, dans votre bienveillante sagesse, si dans la situation donnée, et que vous connaissez mieux que moi, de pareilles conditions sont réalisables, et jusqu'à quel point elles le sont. Assurément ni les talents, ni le zèle, ni les convictions sincères ne manqueraient à cette publication; mais en accourant à l'appel qui leur serait adressé ils voudraient, avant toute chose, avoir la certitude qu'ils s'associent, non pas à une œuvre de police, mais à une œuvre de conscience; et c'est pourquoi ils se croiraient en droit de réclamer toute la mesure de liberté que suppose et nécessite une discussion vraiment sérieuse et efficace.

Voyez, mon prince, si les influences qui

auraient présidé à l'établissement de ce journal et qui protégeraient son existence, s'entendraient à lui assurer la mesure de liberté dont il aurait besoin, si peut-être elles ne se persuaderaient pas que, par une sorte de reconnaissance pour le patronage qui lui serait accordé et par une sorte de déférence pour sa position privilégiée, le journal qu'ils considéreraient en partie comme le leur ne serait pas tenu à plus de réserve encore et à plus de discrétion que tous les autres journaux du pays.

Mais cette lettre est trop longue, et j'ai hâte de la finir. Permettez-moi seulement, mon prince, d'y ajouter en terminant ce peu de mots qui résumant ma pensée tout entière. Le projet que vous avez eu la bonté de me communiquer me paraîtrait d'une réalisation, sinon facile, du moins possible, si toutes les opinions, toutes les convictions honnêtes et éclairées avaient le droit de se constituer librement et ouvertement en une milice intelligente et dévouée des inspirations personnelles de l'Empereur.

Recevez, etc.

Novembre, 1857

Переводы публицистических произведений, написанных на французском языке

Письмо русского*

19 марта. В приложении к № 78 «Allg. Zeitung» от 18 марта я прочел статью о русской армии на Кавказе. Среди прочих странностей в ней есть одно место с таким приблизительно смыслом: «Русский солдат нередко напоминает французского каторжника, сосланного на галеры». Все остальное в статье по своему направлению является, в сущности, лишь развитием данного утверждения. Позволительно ли будет русскому высказать в связи с этим два замечания? Столь удивительные мысли пишутся и печатаются в Германии в 1844 году. Ну что ж, люди, уравниваемые подобным образом с галерными каторжниками, те же самые, что почти тридцать лет назад проливали реки крови на полях сражений своей родины, дабы добиться освобождения Германии, крови галерных ка-

торжников, которая слилась в единый поток с кровью ваших отцов и ваших братьев, смыла позор Германии и восстановила ее независимость и честь.* Таково мое первое замечание. Второе же следующее: если вам встретится ветеран наполеоновской армии, напомните ему его славное прошлое и спросите, кто среди всех противников, воевавших с ним на полях сражений Европы, был наиболее достоин уважения, кто после отдельных поражений сохранял гордый вид: можно поставить десять против одного, что он назовет вам русского солдата. Пройдитесь по департаментам Франции, где чужеземное вторжение оставило свой след в 1814 году, и спросите жителей этих провинций, какой солдат в отрядах неприятельских войск постоянно выказывал величайшую человечность, высочайшую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным жителям, безоружным гражданам, — можно поставить сто против одного, что они назовут вам русского солдата.* А если вам захочется узнать, кто был самым необузданным и самым хищным, — о, это уже не русский солдат. Вот те немногие замечания, которые я

хотел высказать, говоря об упомянутой статье; я не требую, чтобы вы поделились ими со своими читателями. Эти и многие другие, с ними связанные думы, — о чем вам столь же хорошо известно, как и мне, — живут в Германии во всех сердцах, а посему они совсем не нуждаются в каком-либо месте в газете. В наши дни — благодаря прессе — нет более неприкосновенной тайны, названной французами тайной комедии; во всех странах, где царит свобода печати, пришли к тому, что никто не отваживается сказать про подлинную причину данного положения вещей то, что каждый об этом думает. Отсюда ясно, почему я лишь вполголоса раскрываю вам загадку о настроении умов в Германии по отношению к русским. После веков раздробленности и многих лет политической смерти немцы смогли вновь обрести свое национальное достоинство только благодаря великодушной помощи России; теперь они воображают, что неблагодарностью смогут укрепить его. Ах, они обманываются. Тем самым они только доказывают, что и сейчас все еще чувствуют свою слабость.

Россия и Германия

Письмо доктору Густаву Кольбу, редактору «Всеобщей газеты»*

Господин редактор,
прием, оказанный вами кое-каким заметкам, которые я недавно осмелился послать вам*, а также ваш взвешенный и здравый комментарий к ним* внушили мне странную мысль. Что, если нам попробовать, милостивый государь, достичь согласия в понимании самой сущности вопроса? Я не имею чести знать вас лично, и потому мое письмо к вам является и обращением к «Аугсбургской Всеобщей Газете». А при нынешнем положении Германии «Аугсбургская Газета», на мой взгляд, представляет собой нечто большее, нежели обыкновенную газету*, — это первая из ее политических трибун... Если бы Германии посчастливилось быть *единою*, ее правительство могло бы во многих отношениях признать эту газету за законного глашатая своей мысли. Вот почему я обращаюсь к вам. Я русский, как уже имел честь вам вы-

сказать, русский сердцем и душой, глубоко преданный своему отечеству, пребываю в согласии со своим правительством и, кроме того, целиком независим по занимаемому положению. Стало быть, я попытаюсь здесь выразить русское мнение, но *свободное* и совершенно *бескорыстное*... Это письмо, поймите меня правильно, милостивый государь, обращено более к вам, нежели к публике... Тем не менее вы можете им распорядиться так, как вам будет угодно. Публичная огласка безразлична для меня. У меня столько же доводов избегать ее, сколько и искать... И не опасайтесь, милостивый государь, что я, как русский, мог бы ввязаться, в свою очередь, в ничтожную полемику, поднятую недавно одним жалким памфлетом. Нет, милостивый государь, это недостаточно серьезно.

...Книга господина де Кюстина* является еще одним свидетельством умственного бесстыдства и духовного разложения — характерной черты нашей эпохи*, особенно во Франции, — когда увлекаются обсуждением самых важных и высших вопросов, основываясь в большей степени на нервном раздраже-

нии, чем на доводах разума, позволяют себе судить о целом Мира менее серьезно, нежели прежде относились к разбору водевиля. Что же касается противников господина де Кюстина, так называемых защитников России, то они, конечно, искреннее его, но уж слишком простоваты...* Они оставляют у меня впечатление людей, которые в чрезмерном усердии готовы торопливо раскрыть свой зонтик, чтобы предохранить от полуденного зноя вершину Монблана...* Нет, милостивый государь, не об апологии России пойдет речь в моем письме. Апология России!.. Боже мой, эту задачу взял на себя превосходящий всех нас мастер, который, как мне кажется, выполнял ее до сих пор с достаточной славой. Истинный защитник России — История, в течение трех столетий разрешавшая в ее пользу все тяжбы, в которые русский народ раз за разом ввергал все это время свои таинственные судьбы...* Обращаясь к вам, милостивый государь, я намерен говорить о вас самих, о вашей собственной стране, о ее самых насущных и наиболее очевидных интересах. И если речь пойдет о России, то лишь в связи с ее непосред-

ственным отношением к судьбам Германии.

Я знаю, что никогда еще умы Германии не были так заняты, как теперь, великим вопросом германского единства...* И вряд ли я удивил бы вас, милостивый государь, бдительно-го и передового стража, если бы сказал, что среди этой всеобщей озабоченности чуть внимательный взор мог бы уловить множество устремлений, которые при своем развитии должны были ужасно навредить делу единства, вовлекающему в работу, кажется, всех... Среди этих устремлений есть одно, особенно фатальное... Я буду говорить лишь то, что на уме у каждого, и в то же время не могу произнести и слова, не коснувшись жгучих вопросов. Я убежден, что в наши дни, как и в Средние века, можно смело касаться* любого вопроса, если имеешь чистые руки и открытые намерения...

Вам известна, милостивый государь, природа отношений, связывающих, вот уже тридцать лет, Россию с правительствами больших и малых государств Германии*. Я не спрашиваю вас здесь, что думает об этом то или иное направление, та или иная партия; речь идет

лишь о факте. А факт заключается в том, что никогда эти отношения не были более доброжелательными и тесными, что никогда не существовало более сердечного взаимопонимания между различными правительствами Германии и Россией...* Для всякого, милостивый государь, кто живет на почве самой действительности, а не в мире фраз, вполне очевидно, что такая политика является истинной и законной, естественной политикой Германии и что ее правители, сохраняя в целости великую традицию* эпохи вашего возрождения, лишь повиновались внушениям самого просвещенного патриотизма... Но повторю еще раз, милостивый государь, я не притязаю ни на какое чудотворство и на сочувствие всех этому мнению, особенно тех, кто считает его для себя лично враждебным... К тому же теперь речь идет не о мнении, а о факте, который достаточно очевиден и осязателен, чтобы нашлось много сомневающихся в нем.

Нужно ли говорить вам, милостивый государь, какие одновременно и в противовес этому политическому направлению ваших правительств существуют побуждения и стрем-

ления, попытки внушить которые общественному мнению Германии по отношению к России продолжаются уже около десятка лет?* Здесь я снова пока воздержусь от справедливой оценки всяческих претензий и обвинений, которые без устали копятя против России с поистине удивительной настойчивостью. Речь идет только лишь о достигнутом результате, который, следует признать, если и не утешителен, то относительно закончен и которым его трудолюбивые делатели вправе быть довольными. Ту самую державу, которую великое поколение 1813 года приветствовало с восторженной благодарностью*, а верный союз и бескорыстная деятельная дружба которой и с народами, и с правителями Германии не изменяет себе в течение тридцати лет, почти удалось превратить в пугало для большинства представителей нынешнего поколения*, сизмальства не перестававшего слышать постоянно повторяемый припев. И множество зрелых умов нашего времени без колебаний опустилось до младенчески простодушного слабоумия, чтобы доставить себе удовольствие видеть в России какого-то людо-

еда XIX века.*

Все это так и есть. Враги России, возможно, возрадуются моим признаниям; но да позволят они мне все же продолжить.

Итак, вот два решительно противоположных устремления; разногласие бросается в глаза и с каждым днем усугубляется. С одной стороны, государи и правительственные кабинеты Германии с их серьезной, продуманной политикой и определенным направлением, а с другой — еще один властитель эпохи — общественное мнение*, несущееся по воле ветров и волн.

Разрешите мне, милостивый государь, обратиться к вашему патриотизму и к вашим познаниям: что вы думаете о подобном положении дел? Каких последствий вы ожидаете от него для соблюдения интересов и будущности вашего отечества? И поймите меня правильно, я говорю теперь только о Германии... Боже мой, если бы среди ваших соотечественников нашлись догадливые люди и поняли, сколь мало чувствительна Россия к злобным нападкам на нее, тогда, возможно, призадумались бы и самые ярые ее враги...

Ясно, что, пока будет длиться мир, этот разлад не вызовет какого-либо явного и серьезного потрясения, а зло продолжит распространяться подспудно. Ваши правительства, разумеется, не изменят своего направления, не перетряхнут сверху донизу всю внешнюю политику Германии, чтобы прийти в согласие с некоторыми фанатичными и путанными умами. Последние же, увлекаемые и подталкиваемые духом противоречия, не подумают, что чересчур увлеклись на пути, прямо противоположном осуждаемому ими. Таким образом, обращая свой взор на Германию и продолжая постоянно говорить о ее единстве, они приблизятся, так сказать, пятясь, к роковому обрыву, к краю пропасти, куда ваше отечество уже не раз соскальзывало... Я хорошо знаю, что, пока мы будем сохранять мир, указываемая мною опасность — лишь плод воображения... Но если наступит предчувствуемый в Европе кризис и настанут грозные дни, которые созревают в считанные часы и доводят все стремления до самых крайних следствий, исторгающих последнее слово у всех мнений и партий, что тогда про-

изойдет, милостивый государь?

Неужели правда, что для целых народов еще более, нежели для отдельных личностей, существует неумолимая и неискупимая судьба? Надо ли полагать, что в них тайно зреют более сильные устремления, чем любые проявления их собственной воли и разума, растут органические недуги, которые никакое искусство и образ правления не могут предотвратить?.. Неужели к таким недугам принадлежит и то ужасное стремление к раздорам, которое, подобно злому фениксу, восставало во все значительные эпохи вашего благородного отечества?* В Средние века оно разразилось в нечестивом и антихристианском противоборстве Духовенства и Империи, вызвавшем отцеубийственную распрю между императором и князьями. Ослабев на время из-за упадка Германии, стремление это возродилось и укрепилось в период Реформации и, приняв от нее окончательную и как бы освященную законом форму, опять стало действовать с невиданным доселе рвением. Вставая под всякое знамя и примыкая к каждому делу, оно под разными именами оставалось са-

мим собой до той поры, когда в момент крайнего кризиса в Тридцатилетней войне* призвало на помощь чужеземную Швецию, а затем и открыто враждебную Францию. И благодаря такому объединению сил оно менее чем за два столетия славно довершает возложенное на него смертоносное призвание.

Все это зловещие воспоминания. Неужели они не вызывают у вас чувства тревоги при малейшем признаке возрождающейся в настроениях вашей страны вражды? Почему вы не спрашиваете себя с ужасом, не свидетельствует ли это о пробуждении вашего застарелого, страшного недуга?

Последние тридцать лет могут по праву считаться великолепнейшими годами вашей истории. Со времен великого правления салических императоров* никогда еще Германия не переживала столь прекрасные дни, вот уже много столетий она не принадлежала самой себе в такой степени, не ощущала себя столь *единой* и самостоятельной. В течение многих веков Германия не занимала по отношению к своей вечной сопернице столь сильного и внушительного положения.* Она пре-

взошла ее по всем статьям. Посудите сами: по ту сторону Альп ваши знаменитейшие императоры никогда не имели более действенного влияния, чем то, которое имеет ныне Германское государство. Рейн вновь стал немецким сердцем и душой*; Бельгия, которую последнее европейское потрясение, казалось, должно было бросить в объятия Франции, остановилась перед обрывом*, и теперь ясно, что она поворачивается в вашу сторону; Бургундский союз* преобразовывается; Голландия, рано или поздно, не преминет вернуться к вам. Таков, стало быть, окончательный исход великого противоборства, начавшегося более двух веков назад между вами и Францией; вы одержали полную победу, за вами осталось последнее слово. И все-таки согласитесь: для того, кто оказался свидетелем этой борьбы с самого начала, кто следил за всеми ее стадиями и переменчивостью до последнего решающего дня, трудно было бы предвидеть подобный исход. Внешние обстоятельства говорили не в вашу пользу, удача отворачивалась от вас. С конца Средних веков, несмотря на кратковременный застой, могущество Франции,

сплочаясь и упорядочиваясь, не переставало расти, и в то же время Империя, вследствие религиозного раскола, вступила в заключительный период своего существования, период узаконенного разложения; даже одерживаемые вами победы оставались бесплодными, ибо они не останавливали внутреннего распада, а нередко даже ускоряли его. При Людовике XIV, хотя великий король и терпел неудачи, Франция торжествовала, ее влияние безраздельно господствовало над Германией. Наконец пришла Революция, которая, вырвав с корнем из французской нации последние следы ее германских истоков и* свойств и возвратив Франции ее исключительно романский характер, развязала против Германии, против самого принципа германского существования последнюю смертельную битву. И как раз тогда, когда венчанный солдат этой Революции* представлял пародию на империю Карла Великого на ее обломках, вынуждая народы Германии исполнять в ней свою роль и испытывать крайнее унижение*, — именно в этот роковой момент совершился переворот и все изменилось.

Как же и с помощью кого произошел столь чудесный переворот? Чем он был вызван?.. Он был вызван появлением на поле битвы Западной Европы третьей силы, являвшей собой целый особый мир...

Здесь, милостивый государь, для нашего лучшего взаимопонимания вы должны позволить мне краткое отступление. О России много говорят; в наши дни она стала предметом жгучего, беспокойного любопытства. Очевидно, что она сделалась одной из самых больших забот нынешнего века; однако следует признать, что эта забота, заметно отличаясь от других волнующих наше время проблем, скорее угнетает, нежели возбуждает современную мысль... Иначе и быть не могло: современная мысль, дитя Запада, видит в России если и не враждебную, то совсем чуждую и не зависящую от нее стихию. Она как будто боится изменить самой себе и подвергнуть сомнению собственную законность, если придется признать совершенно законным вставший перед нею вопрос, серьезно и добросовестно осознать и разрешить его... Что такое Россия? Каков смысл ее пребывания в мире, в

чем ее исторический закон? Откуда пришла она? Куда идет? Что представляет собою? На земле, правда, ей предоставлено место под солнцем, однако философия истории еще не соблаговолила найти его для нее*. Некоторые редкие умы, два или три в Германии, один или два во Франции*, более свободные и прозорливые среди всех других, предвидели возникновение проблемы, приподняли уголок завесы, но их слова до сей поры плохо слушались и мало понимались.

Длительное время своеобразие понимания Западом России походило в некоторых отношениях на первые впечатления,* произведенные на современников открытиями Колумба, — то же заблуждение, тот же оптический обман. Вы знаете, что очень долго люди Старого Света, приветствуя бессмертное открытие, упорно отказывались допустить существование нового материка. Они считали более простым и разумным предполагать, что открываемые земли составляют лишь дополнение, продолжение уже известного им континента. Подобным же образом издавна складывались представления и о другом Новом

Свете, Восточной Европе, где Россия всегда оставалась душой и движущей силой и где она была призвана придать свое славное имя этому Новому Свету в награду исторического бытия, им от нее уже полученного или ожидаемого... В течение веков европейский Запад совершенно простодушно верил, что кроме него нет и не может быть другой Европы. Конечно, он знал, что за его пределами существуют еще другие народы и государства, называющие себя христианскими; во время своего могущества Запад даже затрагивал границы сего безымянного мира, вырвал у него несколько клочков и с грехом пополам присвоил их себе, исказив их естественные национальные черты.* Но чтобы за этими пределами жила другая, Восточная Европа, вполне законная сестра христианского Запада, христианская, как и он, правда не феодальная и не иерархическая, однако тем самым внутренне более глубоко христианская; чтобы существовал там целый Мир, Единый в своем Начале, прочно взаимосвязанный в своих частях, живущий своей собственной, органической, самобытной жизнью*, — вот что было невоз-

можно допустить, вот что многие предпочли бы подвергнуть сомнению, даже сегодня... Долгое время такое заблуждение было извинительным; веками движущая сила этой жизни дремала среди хаоса: ее действие было замедленным, почти незаметным; густая завеса покрывала неспешное созидание нового мира... Наконец времена свершились, рука исполина сдернула завесу, и Европа Карла Великого оказалась лицом к лицу с Европой Петра Великого...

Как только мы признаем это, все делается ясным, все объясняется: становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России. Начинаешь постигать, что так называемые завоевания и насилия явились самым естественным и законным делом, какое когда-либо совершалось в истории, — просто состоялось необъятное воссоединение. * Становится также понятным, почему друг за другом разрушались от руки России все встреченные на ее пути противоестественные устремления, силы и установления, чуждые представляемому ею великому началу...

почему, например, Польша должна была погибнуть... Речь идет, конечно же, не о само-бытной польской народности — упаси Бог, а о навязанных ей ложной цивилизации и фальшивой национальности.* С этой точки зрения наилучшим образом можно оценить и истинное значение так называемого Восточного вопроса*, который силятся выдавать за неразрешимый именно потому, что все уже давно предвидят его неизбежное разрешение... В самом деле, остается только узнать, получит ли уже на три четверти сформировавшаяся Восточная Европа, эта подлинная держава Востока, для которой первая империя византийских кесарей, древних православных государей, служила лишь слабым, незавершенным наброском*, свое последнее и крайне необходимое дополнение, получит ли она его благодаря естественному ходу событий или окажется вынужденной требовать его у судьбы силой оружия, рискуя ввергнуть мир в величайшие бедствия. Но вернемся к нашему предмету.

Вот что представляла собою, милостивый государь, та третья сила, возникновение кото-

рой на театре действий разом решило вековую распря европейского Запада. Одно только появление России среди вас восстановило единство ваших рядов, принесшее вам победу.

Дабы дать себе ясный отчет о современном положении вещей, трудно переусердствовать в постижении той истины, что с началом вмешательства сформировавшегося Востока в дела Запада все изменилось в Европе: до сих пор вас было двое, теперь же нас трое, и длительные противоборства отныне стали невозможными.

Из нынешнего состояния дел могут произтекать только три, единственно возможные теперь, исхода. Германия, верная союзница России, сохранит свое преобладание в центре Европы, или же это преобладание перейдет в руки Франции. И знаете ли вы, милостивый государь, что уготовило бы для вас это превосходство Франции? Оно означало бы если и не мгновенную смерть, то, по меньшей мере, несомненное истощение германских сил. Остается третий исход, вероятно наиболее желанный для некоторых людей: Германия в

союзе с Францией против России... Увы, милостивый государь, такая комбинация была уже испробована в 1812 году* и, как вам известно, имела мало успеха. Впрочем, я не думаю, что по прошествии минувших тридцати лет Германия была бы расположена принять условия существования нового Рейнского союза*, поскольку всякий тесный альянс с Францией не может быть чем-либо иным для нее. А знаете ли вы, милостивый государь, что разумела делать Россия, когда, вмешавшись в борьбу двух начал, двух великих народностей, оспаривавших друг у друга в течение веков европейский Запад, решила ее в пользу Германии и германского начала? Она хотела раз и навсегда утвердить торжество права, исторической законности над революционным способом действия*. Почему же она хотела этого? Потому что право, историческая законность — ее собственное основание, ее особое призвание, главное дело ее будущего*, именно права она требует для себя и своих сторонников. Только самое слепое невежество, по своей воле отворачивающееся от света, может еще не признавать сей великой истины,

ибо в конце концов не от имени ли этого права, этой исторической законности Россия подержала целую народность, приходящий в упадок мир, который она воззвала к самобытной жизни, которому вернула самостоятельность и устроила его?* И во имя этого же права она сумеет воспрепятствовать любителям политических опытов выманить или оторвать целые народности от их центра живого единства, чтобы затем с большей легкостью перекроить и обтесать их, будто неодушевленные предметы, по прихоти бесчисленных фантазий, — словом, не позволить им отделить от тела живые члены под предлогом обеспечения для них большей свободы движения...

Бессмертная слава правящего ныне Россией Государя заключается в том, что он полнее и энергичнее любого из его предшественников проявляет себя искусным и непоколебимым представителем этого права, этой исторической законности.* Европе известно, осталась ли Россия в продолжение тридцати лет верна сделанному им единожды выбору. Можно утверждать с историческими доказа-

тельствами, что в политических анналах всего мира трудно было бы найти другой пример столь глубоко нравственного союза, вот уже тридцать лет соединяющего государей Германии с Россией*, и именно эта великая нравственная сила позволяла крепить его непрерывное существование, помогала справляться с немалыми трудностями, преодолевать многие препятствия. Ныне же, испытав радостные и горестные дни, этот союз одолел последнее, самое значительное испытание: вдохновлявший его изначально дух без потрясений и искажений перешел от основателей к наследникам.

Итак, милостивый государь, спросите ваши правительства, изменяла ли Россия в эти тридцать лет хоть раз своему попечению о главных политических интересах Германии? Спросите у участников событий, не превосходило ли сие попечение неоднократно и по многим вопросам ваши собственные патристические устремления? Вот уже несколько лет вас в Германии сильно заботит великий вопрос германского единства. Но вы знаете, что так было не всегда. Уже давно живя среди

вас*, я мог бы по необходимости припомнить точное время, когда этот вопрос стал волновать умы. Конечно, об единстве говорили мало, по крайней мере в печати, тогда, когда всякий либеральный листок убежденно почитает своим долгом воспользоваться любым удобным случаем для высказывания в адрес Австрии и ее правительства такой же брани, которая теперь в изобилии расточается по отношению к России*...Так что забота о единстве, разумеется весьма похвальная и законная, возникла лишь недавно. Правда, Россия никогда не проповедовала единства Германии, но в течение тридцати лет не переставала при всяком случае и на все лады внушать ей объединение, согласие, взаимное доверие, добровольное подчинение частных интересов великому делу всеобщей пользы. Она неустанно повторяла и умножала эти советы и призывы со всей энергичной откровенностью усердия, ясно осознающего свое бескорыстие.

Книга, которая несколько лет назад имела в Германии шумный отклик* и происхождение которой ошибочно приписали официаль-

ным кругам, кажется, распространила среди вас убеждение, будто бы Россия одно время взяла за правило более тесно сотрудничать со второстепенными германскими государствами в ущерб законному влиянию на них двух главных государств Союза.* Однако подобное предположение было абсолютно безосновательным и даже совершенно противоположным самой действительности. Справьтесь у сведущих людей, и они вам скажут, что происходит на самом деле. Они, может быть, скажут вам, что русская дипломатия, постоянно заботясь об обеспечении прежде всего политической независимости Германии, напротив, не раз могла задеть извинительную болезненную чувствительность малых дворов Германии, когда советовала им с излишней настойчивостью испытанно присоединиться к союзу двух крупных государств.

Видимо, будет уместным здесь оценить по достоинству и другое обвинение, тысячу раз повторяемое в адрес России, но оттого не более справедливое. Чего только не высказывали для внушения, будто ее влияние главным образом и препятствовало развитию в Герма-

нии конституционного строя? Вообще совершенно безрассудно пытаться превратить Россию в последовательного противника той или иной формы правления. И каким образом, о Боже, стала бы она сама собой, как оказывала бы на мир присущее ей огромное влияние при подобной узости понятий! В частном же случае, о котором идет речь, следует по несомненной справедливости отметить, что Россия всегда настойчиво высказывалась за честное поддержание существующих установлений, за неизменное почитание принятых на себя обязательств. По мнению России, весьма вероятно, было бы неосторожным по отношению к самому жизненному интересу Германии, ее единству, предоставить парламентским правам в конституционных государствах Союза такое же распространение, какое они имеют, например, в Англии или во Франции. Если даже и теперь между государствами Союза не всегда легко установить согласие и полное взаимопонимание, требуемое для совместных действий, то такая задача оказалась бы просто неразрешимой в порабощенной, то есть разделенной полудюжи-

ной суверенных парламентских кафедр, Германии. Это одна из тех истин, которую в настоящее время принимают все здравые умы Германии. Вина же России могла заключаться лишь в том, что она уяснила ее на десять лет раньше.

Теперь от внутренних вопросов перейдем к внешней политике. Стоит ли мне вести разговор об Июльской революции и о вероятных последствиях, которые она должна была иметь, но не имела для вашего отечества? Надо ли говорить вам, что основанием этого взрыва и самой душой движения было прежде всего стремление Франции к громкому реваншу в Европе*, и главным образом к превосходству над вами, ее непреодолимое желание снова получить преобладание на Западе, которым она так долго пользовалась и которое, к ее досаде, вот уже тридцать лет находится в ваших руках? Конечно, я вполне отдаю должное королю французов, удивляюсь его искусности* и желаю ему и его правлению долгой жизни... Но что случилось бы, милостивый государь, если бы всякий раз, когда французское правительство начиная с 1835

года* пыталось обратить свои взоры за пределы Германии, оно не встречало бы постоянно на российском престоле ту же твердость и решимость, ту же сдержанность, то же хладнокровие и в особенности ту же верность при всяком испытании сложившимся союзам и принятым обязательствам?* Если бы оно могло уловить хотя бы малейшие сомнения и колебания, не думаете ли вы, что сам Наполеон мира оказался бы в конце концов не в состоянии постоянно сдерживать трепещущую под его рукой Францию и позволил бы ей плыть по воле волн?...А что бы произошло, если бы он мог рассчитывать на попустительство?..

Я находился в Германии, милостивый государь, когда господин Тьер, уступая, так сказать, инстинктивному влечению, намеревался исполнить казавшееся ему самым простым и естественным, то есть возместить на Германии неудачи своей дипломатии на Востоке.* Я был свидетелем того взрыва, того подлинно национального негодования, какое вызвала среди вас столь наивная дерзость, и рад, что видел это. С тех пор я всегда с большим удовольствием слушал пение *Rheinlied**. Но как

могло случиться, милостивый государь, что ваша политическая печать, ведающая все на свете, знающая, например, точную цифру взаимных кулачных ударов на границе Пруссии между русскими таможенниками и прусскими контрабандистами*, не ведала, что произошло в то время между дворами Германии и России? Как она могла не знать или не сообщить всем, что при первом же проявлении враждебности со стороны Франции 80 000 русских солдат готовы были идти на помощь вашей подвергшейся угрозе независимости и что еще 200 000 присоединились бы к ним через полтора месяца? И это обстоятельство, милостивый государь, не осталось неизвестным в Париже, и, вероятно, вы согласитесь со мною, что оно, как бы, впрочем, я высоко ни ценил *Rheinlied*, немало способствовало тому, что старая *Марсельеза* так скоро отступила перед своей юной соперницей.

Я заговорил о вашей печати. Однако не думайте, милостивый государь, что я неизменно предубежден против немецкой прессы или таю обиду на ее неизъяснимое нерасположение к нам. Совсем нет, уверяю вас; я всегда го-

тов отдать должное ее достоинствам и предпочел бы, хотя отчасти, отнести ее ошибки и заблуждения на счет исключительных условий, в которых она существует. Конечно, в вашей периодической печати нет недостатка ни в талантах, ни в идеях, ни даже в патриотизме; во многих отношениях она — законная дочь вашей благородной и великой литературы, возродившей у вас чувство национального самосознания. Чего не хватает вашей печати (порою до ее компрометации), так это политического такта, непосредственного и верного понимания складывающихся обстоятельств, самой среды, в которой она живет. В ее стремлениях и поступках можно заметить еще нечто легкомысленное, недуманное, словом нравственно безответственное, проистекающее, вероятно, из затянувшейся опеки над ней.

В самом деле, чем, если не нравственной безответственностью, объяснить ту пламенную, слепую, неистовую враждебность к России, которой она предается в течение многих лет? Почему? С какой целью? Для какой выгоды? Похоже ли, чтобы она когда-нибудь се-

рьезно рассматривала, с точки зрения политических интересов Германии, возможные, вероятные последствия своих действий? Спросила ли себя печать всерьез хотя бы раз, не содействовала ли она разрушению самой основы союза, обеспечивающего относительную мощь Германии в Европе, годами с непостижимым упорством силясь обострить, отравить и безвозвратно расстроить взаимное расположение двух стран? Не стремится ли она всеми имеющимися у нее средствами заменить наиболее благоприятную в истории для вашего отечества политическую комбинацию самой пагубной для него? Не напоминает ли вам, милостивый государь, такая резвая опрометчивость одну детскую шалость (за исключением ее невинной стороны) вашего великого Гёте*, столь мило рассказанную в его мемуарах? Помните ли вы тот день, когда маленький Вольфганг, оставшись на время без родителей в отцовском доме, не нашел ничего лучшего, как употребить предоставленный досуг, чтобы бросать в окно попадавшуюся под руку домашнюю утварь, забавляясь и потешаясь шумом разбиваемой о мосто-

вую посуду? Правда, в доме напротив коварный сосед подбадривал и поощрял ребенка продолжать замысловатое времяпрепровождение; а у вас в свое извинение нет даже похожего подстрекательства...

Если бы еще можно было в разливе враждебных криков против России обнаружить разумный и благовидный повод для оправдания такой ненависти! Я знаю, что при необходимости найдутся безумцы, готовые с самым серьезным видом заявить: «Мы обязаны вас ненавидеть; ваши устои, само начало вашей цивилизации противны нам, немцам, людям Запада; у вас не было ни *Феодализма*, ни *Папской Иерархии*; вы не пережили войн *Священства* и *Империи*, *Религиозных войн* и даже *Инквизиции*;^{*} вы не участвовали в Крестовых походах, не знали Рыцарства, четыре столетия назад достигли единства^{*}, которого мы еще ищем; ваш жизненный принцип не дает достаточно свободы индивиду и не допускает разделения и раздробления». Все это так. Однако, будьте справедливы, помешало ли нам все это помогать вам мужественно и честно, когда необходимо было отстоять и отвоевать

вашу политическую независимость и национальное бытие? И самое малое, что вы можете теперь сделать, — это признать наше собственное национальное бытие, не правда ли? Будем говорить серьезно, ибо сам предмет заслуживает подобного разговора. Россия готова уважать вашу историческую законность, историческую законность народов Запада. Тридцать лет назад она вместе с вами самоотверженно сражалась за ее восстановление на прежних основаниях. Россия весьма расположена уважать эту законность не только в главном начале, но даже во всех ее крайних следствиях, уклонениях и слабостях. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе.

Возможно, мне возразят, что именно несовершенства нашего общественного устройства, пороки нашей администрации, жизненные условия наших низших слоев и пр. и пр. раздражают общественное мнение против России. Неужели это так? И мне, только что жаловавшемуся на чрезмерное недоброжелательство, не придется ли теперь протестовать против излишней симпатии? Ибо, в конце

концов, мы не одни в мире, и если вы на самом деле обладаете избытком человеческого сочувствия, но не в состоянии употребить его у себя и на пользу своих соотечественников, то не справедливее ли поделить его более равномерно между разными народами земли? Увы, все нуждаются в жалости. Взгляните, например, на Англию, что вы о ней скажете? Посмотрите на ее фабричное население, на Ирландию, и, если бы при полном знании вы сумели сравнить две страны и могли взвесить на точных весах злополучные последствия русского варварства и английской* цивилизации, вы, может быть, нашли бы скорее необычным, нежели преувеличенным утверждение одного человека, одинаково чуждого обеим странам*, но основательно их изучившего и заявлявшего с полным убеждением, что «в Соединенном Королевстве существует по меньшей мере миллион человек, много бы выигравших, когда бы их сослали в Сибирь»...

И почему же, милостивый государь, вы, немцы, во многом имеющие неоспоримое нравственное превосходство над соседями по ту сторону Рейна, не могли бы позаимство-

вать у них толику практического здравомыслия, свойственного им живого и верного понимания своих интересов!.. Ведь у них тоже есть печать, газеты, оскорбляющие и хулящие нас наперебой, без устали, без меры и стыда... Возьмите, например, стоглавую гидру парижской прессы, извергающей на нас громы и молнии*. Какое исступление! Сколько воплей и шума!.. Обрети же сегодня Париж уверенность, что столь пылко взыскуемое сближение готово осуществиться, а столь часто возобновляемые предложения могут быть приняты, и уже завтра вы услышите умолкание крика ненависти, увидите угасание блестящего фейерверка брани, и из этих потухших кратеров и умиротворенных уст с последним клубом дыма начнут раздаваться звуки, пусть и настроенные на разные лады, но все одинаково благолепные, воспевающие наперебой наше счастливое примирение.

Письмо мое слишком затянулось, пора заканчивать. Позвольте мне в заключение, милостивый государь, в нескольких словах подвести итог своей мысли.

Я обратился к вам, не руководствуясь ка-

кой-либо иной задачей, кроме свободного изложения моего личного убеждения. Я не состою ни у кого на службе и не выражаю чьих-либо интересов; моя мысль зависит лишь от себя самой. Но я, конечно, имею все основания полагать, что если бы содержание этого письма стало известно в России, то общественное мнение не преминуло бы согласиться с ним. До сих пор русское общественное мнение почти не замечало всех воплей немецкой печати, и не потому, что мысли и чувства Германии были безразличны для него, разумеется, нет... Но ему претило принимать всерьез весь этот шум, все это словесное буйство, всю эту холостую пальбу по России, казавшуюся ему безвкусным развлечением... Русское общественное мнение решительно отказывается допустить, что степенная, основательная, честная, наделенная глубоким чувством справедливости нация, каковою Германия известна миру во все периоды ее истории, станет разрушать свою природу, дабы обнаружить в себе какую-то другую, созданную по образцу нескольких взбалмошных или путаных умов, нескольких страст-

ных или недобросовестных краснобаев. Оно не может принять и того, что, отрекаясь от прошлого, не понимая настоящего и подвергая опасности будущее, Германия согласится взрастить в себе и питать недостойное ее дурное чувство единственно из удовольствия сделать большую политическую оплошность. Нет, это невозможно.

Я к вам обратился, милостивый государь, как уже говорил, потому что «Всеобщая Газета» является для Германии чем-то большим, нежели обыкновенная газета. Она представляет собою силу, что я весьма охотно признаю, в высшей степени объединяющую национальное чувство и политическое понимание: именно во имя этой двойной власти я и пытался вести разговор с вами.

То умонастроение, которое создано и старательно распространяется в Германии во взгляде на Россию, пока еще не представляет опасности, но уже близко к ней... Я убежден, что это умонастроение ничего не изменит в ныне существующих отношениях между немецкими правительствами и Россией, но оно ведет ко все большему искажению обще-

ственного сознания в одном из важнейших для каждого народа вопросов, вопросе о его союзах... Представляя в самых лживых красках наиболее национальную политику, какую Германия когда-либо проводила, оно вносит разлад в умы, подталкивает наиболее пылких и опрометчивых из них на гибельный путь, на который судьба уже не раз склоняла Германию... И если вдруг случится потрясение в Европе и вековое противоборство, разрешенное тридцать лет назад в вашу пользу, вновь разгорится, Россия, конечно, не покинет ваших государей, как и они не оставят ее. Однако тогда, вероятно, придется пожинать плоды посеянного ныне: плоды, возвращенные разделением умов, могут быть горькими для Германии; наступят, боюсь, новые отступничества и новые раздоры. И тогда, милостивый государь, вам пришлось бы слишком дорого искупать вашу минутную несправедливость по отношению к нам.

Вот, милостивый государь, что я хотел вам сказать. Вы можете использовать мои слова как сочтете необходимым.

Примите уверения и проч.

Записка*

Записка

Добираясь до сути проявляемого к нам в Европе недоброжелательства* и оставляя в стороне высокопарные речи и общие места газетной полемики, мы находим вот какую мысль:

«Россия занимает огромное место в мире, и тем не менее она представляет собою лишь материальную силу, и ничего более»*.

Вот истинная претензия, а все остальные второстепенны или мнимы.

Как возникла эта мысль и какова ее цена?

Она есть плод двойного неведения: европейского и нашего собственного.* Одно является следствием другого. В области нравственной общество, цивилизация, заключающие в себе самих первооснову своего существования и развития, могут быть поняты другими лишь в той степени, в какой понимают себя сами: Россия — это мир, только начинающий осознавать основополагающее начало собственного бытия*. А осознание этого начала и

определяет историческую законность страны. В тот день, когда Россия вполне распознает его, она действительно заставит мир принять свое начало. В самом деле, о чем идет речь в разногласиях между Западом и нами? Чисто-сердечен ли Запад, когда высказывает превратное представление о нас? Всерьез ли он стремится пребывать в неведении относительно наших исторических прав?

Западная Европа еще только складывалась, а мы уже существовали, и существовали, несомненно, со славой. Вся разница в том, что тогда нас называли Восточной Империей, Восточной Церковью*; мы и по сей день остаемся тем же, чем были тогда.

Что такое Восточная Империя? Это законная и прямая преемница верховной власти Цезарей. Это полная и всецелая верховная власть, которая, в отличие от власти западных государств, не принадлежит какому бы то ни было внешнему авторитету и не исходит от него, а несет в себе самой свой собственный принцип власти, но упорядочиваемой, сдерживаемой и освящаемой Христианством*.

Что такое Восточная Церковь? Это Церковь вселенская.

Вот два единственных вопроса, по которым должен вестись всякий серьезный спор между Западом и нами. Все прочее — только болтовня. Чем глубже мы постигнем эти два вопроса, тем сильнее предстанем перед лицом противника. Тем скорее мы станем сами собой. Если пристально рассматривать ход событий, борьба между Западом и нами никогда не прекращалась. В ней не было даже длительной передышки, а случались лишь короткие остановки. Зачем теперь это скрывать от себя? Борьба между Западом и нами готова разгореться еще жарче*, чем когда бы то ни было, и на сей раз опять, как и прежде, как всегда, именно римская Церковь, латинская Церковь оказывается в авангарде противника.

Что же, примем бой открыто и решительно. И да не забудет ни на мгновение Восточная Церковь перед лицом Рима, что она является законной наследницей вселенской Церкви*.

Против всех нападок Рима, всех его враж-

дебных действий в нашем распоряжении есть лишь одно оружие, но оружие грозное: это его история, его прошлое. Что совершил Рим? Как добыл он присвоенную власть? С помощью очевидного захвата прав и обязанностей все-ленской Церкви*.

Чем пытался он оправдать этот захват? Необходимостью сохранения единства веры. И для достижения искомой цели он не гнушался никакими средствами: ни насилием, ни хитростью, ни кострами, ни иезуитами*. Для сохранения единства веры он не побоялся исказить Христианство*. И что же, где это единство веры в Западной Церкви спустя три столетия? Три столетия назад Рим вверг половину Европы в ересь, а ересь ввергла ее в безверие*. Вот плоды, собранные христианским миром после многовековой деспотии Римского престола, подчинившего Церковь вопреки соборным решениям*. Он осмелился восстать против все-ленской Церкви; другие без колебаний восстали на него самого. Это и есть проявление Божественного правосудия, незримо присутствующего во всем происходящем в мире*.

Вот чисто религиозный вопрос в наших распрях с Римом. Что же касается оценки политического воздействия Рима, хотя и менее нас затрагивающего, на различные государства Западной Европы, то каким ужасным обвинением оно тяготеет над ним!

Разве не Рим, не его ультрамонтанская политика* расстроила и растерзала Германию, погубила Италию? Она расстроила порядок в Германии, подрывая императорскую власть, она растерзала ее и ввергла в раздоры, вызвав Реформацию. А Италию политика Рима погубила тем, что всеми средствами и во все времена препятствовала установлению в этой стране законной и национальной верховной власти. Этот факт отметил более трех столетий назад величайший итальянский историк нового времени*.

И во Франции, если вести речь лишь о самых близких к нам временах, разве не ультрамонтанское влияние подавило, погасило все самое чистое, истинно христианское в галликанской Церкви?* Не Рим ли разрушил Пор-Рояль и, лишив Христианство наиболее доблестных защитников, так сказать, руками

иезуитов обезоружил его перед нападками философии восемнадцатого века*. Увы, все это История, и История современная.

Теперь о том, что касается нас лично. Даже если мы обойдем молчанием нанесенные нам удары, историю наших несчастий в семнадцатом столетии*, как возможно промолчать о плодах политики, которую вел папский престол по отношению к братским нам по племени и языку народам, по воле рока отделенным от России. С полным правом можно сказать, что если латинская Церковь своими злоупотреблениями и крайностями пагубно влияла на другие страны, то для славянского племени она стала личным врагом на основании принципа своего бытия. Само германское завоевание было лишь орудием, покорным мечом в ее руках. Именно Рим направлял и обеспечивал удары. Везде, где Рим ступал на землю славянских народов, он развязывал смертельную войну против их национального духа. Он уничтожал или искажал его. Он опустошил народные силы в Богемии и возвратил нравственный дух в Польше*; такая участь ожидала бы и все остальные славян-

ские племена, если бы на его пути не повстречалась Россия. Отсюда его непримиримая ненависть к нам. Рим понимает, что во всякой славянской стране, где народный дух еще не до конца умерщвлен, Россия одним только своим присутствием, самим фактом своего политического существования воспрепятствует его уничтожению, и что везде, где народный дух тянется к возрождению, римским учреждениям грозят страшные неудачи. Вот каковы наши отношения с Римским престолом. Таков точный итог нашего взаимного положения. И что же, устрашимся ли мы с таким историческим прошлым принять вызов, который нам может бросить Рим? Как Церковь мы должны потребовать у него отчета от имени вселенской Церкви за хранилище веры, исключительное право владения которым он норовился присвоить себе даже ценною схизмы*. Как политическая сила мы имеем в своих союзниках против Рима его историю*, непрощенные обиды половины Европы и более чем справедливые недовольства нашего собственного племени.

Кто-то воображает, что охватившая ныне

Европу религиозная реакция* может обернуться исключительной пользой для латинской Церкви; на мой взгляд, это большая иллюзия. В протестантской Церкви, я знаю это, произойдет немало отдельных переходов в католичество, но никогда не будет там всеобщего обращения. То, что осталось в латинской Церкви от католического начала, всегда будет привлекать таких протестантов, которые, устав от шатаний Реформации, хотят обрести надежное пристанище под сенью авторитета католического закона, но воспоминания о Римском престоле, но, наконец, ультрамонтанство вечно будут их отталкивать.

То, что столь верно сказано об истории латинской Церкви, вполне приложимо и к ее нынешнему положению.

Католицизм всегда составлял всю силу папизма, как папизм составляет всю слабость католицизма*.

Сила без слабости сохраняется лишь во вселенской Церкви*. Пусть она покажет себя, вмешается в спор, и тогда быстро станет очевидным то, что ранее было явлено в первые дни Реформации, когда вожди этого религиоз-

ного движения, уже порвавшие с Римским престолом, но еще не решавшиеся порвать с традициями католической Церкви, единогласно зывали к Восточной Церкви*. Теперь, как и тогда, религиозное примирение может исходить только от нее; она несет в своем лоне христианское будущее.

Таков первый, самый возвышенный вопрос, который нам нужно обсуждать с Западной Европой, это вопрос исключительного жизненного значения.

Есть и другой вопрос, столь же важный, который обыкновенно называют Восточным вопросом; это вопрос об Империи*. Здесь не идет речь о дипломатии; слишком хорошо известно, что Россия, как никакая иная держава, всегда будет соблюдать заключенные ею договоры, пока существует теперешний порядок вещей. Но договоры и дипломатия в конечном итоге упорядочивают лишь повседневные вопросы. Постоянные вопросы, вечные отношения может разрешить только история. И что же говорит нам история?

Она говорит нам, что православный Восток, весь этот огромный мир, возвышенный

греческим крестом, един в своем основополагающем начале и тесно связан во всех своих частях, живет своей собственной жизнью, самобытной и неразрушимой*. Физически он может быть разделен, нравственно же он всегда будет единым и неделимым. Порою он испытывал латинское господство, веками пертерпевал нашествие азиатских племен, но никогда не подчинялся ни тому, ни другому.

Среди христиан на Востоке распространена поговорка, бесхитростно объясняющая этот факт; они имеют обыкновение говорить, что все Бог создал и устроил в своем творении весьма хорошо, кроме двух вещей, а именно: Папы и Турка.

— Но Бог, — настойчиво добавляют они, — в своей бесконечной премудрости восхотел исправить эти две ошибки, для чего и сотворил московского Царя*.

Никакой договор, никакая политическая комбинация никогда не превзойдут эту простую поговорку. В ней итог всего прошлого и откровение обо всем будущем.

В самом деле, что бы ни делали, что бы ни воображали, если Россия останется самой со-

бой, ее император необходимо и будет единственным законным государем православного Востока, к тому же осуществляющим свою верховную власть в той форме, которую сочтет подходящей. Делайте же что хотите, но повторяю еще раз: пока вам не удалось уничтожить Россию, вы никогда не сумеете воспрепятствовать действию этой власти.

Кто не видит, что Запад со всей своей филантропией, с мнимым уважением прав народов и неистовством против неумолимого честолюбия России, рассматривает населяющие Турцию народности лишь как добычу для раздела*.

Запад попросту хотел бы в девятнадцатом веке вновь вернуться к тому, что он уже пытался делать в тринадцатом* и что уже тогда у него так плохо получилось. Это та же попытка, хотя и под иным именем и с несколько иными средствами и приемами. Это все то же застарелое и неизлечимое притязание основать на православном Востоке латинскую Империю и превратить находящиеся там страны в подчиненный придаток Западной Европы.

Правда, для достижения такого результата

нужно было начать с искоренения всего, что до настоящего времени составляло нравственную жизнь славянских народов, уничтожить в них то, что щадили даже турки. Но такое соображение не относится к разряду способных хотя бы на мгновение остановить прозелитизм Запада, убежденного, что всякое общество, не устроенное в точности по западному образцу, недостойно существования*. Нисколько не сомневаясь в этом убеждении, он отважно взялся бы за дело освобождения славянских народов от их национального духа как от пережитка варварства.

Однако исторический Промысел, сокрытый в таинственной глубине человеческих дел*, к счастью, избавил нас от этого. Уже в тринадцатом веке Восточная Империя, хотя она* тогда была совсем раздробленной и ослабленной, нашла в себе достаточно жизненных сил, чтобы отбросить латинское владычество после более чем шестидесятилетнего оспаривания ее существования; и, конечно же, необходимо признать, что с тех пор подлинная Восточная Империя, православная Империя, значительно восстановилась после

своего упадка*.

Вот вопрос, о который западная наука всегда претыкалась в своих ответах, несмотря на ее притязания на непогрешимость. Восточная Империя всегда оставалась для нее загадкой; ей прекрасно удавалось клеветать на нее, но она никогда не смогла ее понять. Она судила о Восточной Империи так, как недавно господин де Кюстин судил о России*, постигая ее сквозь шоры ненависти, удвоенной невежеством. Поныне никто не сумел верно оценить ни основного жизненного начала, обеспечившего тысячелетнее существование Восточной Империи*, ни рокового обстоятельства, вследствие которого эта столь стойкая жизнь постоянно подвергалась нападкам, а в некоторых отношениях оказалась весьма немоцной.

Здесь, чтобы передать мою мысль с достаточной точностью, я должен был бы привести развернутые исторические аргументы, совсем выходящие за рамки этой записки. Но таково реальное сходство, таково глубинное сущностное родство, единыящее Россию с ее славной предшественницей, Восточной Им-

перией, что и при отсутствии в необходимой степени основательных исторических исследований каждому из нас достаточно свериться с собственными, самыми привычными и, так сказать, простыми изначальными впечатлениями, чтобы инстинктивно понять, какой жизненный принцип, какая могучая душа тысячу лет оживляла и поддерживала хрупкое тело Восточной Империи. Этим принципом, этой душой было Христианство, христианское начало, каким его выразила Восточная Церковь, соединившееся или, лучше сказать, отождествившееся не только с национальным началом государства, но и с сокровенной жизнью общества*. Подобные сочетания были испробованы и осуществлены и в иных странах, но нигде они не имели столь глубокого и самобытного характера. У нас Церковь не просто сделалась национальной в обычном значении этого слова, как наблюдалось в других краях, а стала сущностной формой, высшим выражением определенной народности, целого племени, целого мира. Вот почему, заметим кстати, могло случиться, что позже эта самая Восточная Церковь стала как

бы синонимом России, другим именем, священным именем Империи и торжествовала везде, где царила Россия, боролась везде, где России не удавалось добиться полного признания своего господства. Одним словом, она столь глубоко и проникновенно соединилась с судьбами России, что будет правдой сказать: где существует православная Церковь, там в самых разных областях жизни обнаруживается и присутствие России.

Что же до древней, первой Восточной Империи, роковое обстоятельство довлело над ее судьбами — она могла привлечь лишь малую часть племени, на которое ей следовало бы главным образом опираться. Она заняла только кромку мира, уготованного ей Провидением;* на сей раз душе не достало тела. Вот почему эта Империя, несмотря на величие своего основного начала, постоянно оставалась в состоянии эскиза*, из-за чего и не могла оказывать длительного и действенного сопротивления врагам, окружавшим ее со всех сторон. Для устойчивости ее территориального положения всегда не хватало основательности и глубины, она представляла собою, так ска-

зять, голову, отделенную от туловища. К тому же вследствие одного из тех событий, что чередуются по воле Провидения и одновременно естественного укоренения в истории, на следующий день после, казалось, своего бесповоротного падения под ударами судьбы Восточная Империя на самом деле окончательно вступила во владение собственным бытием. Турки заняли Константинополь в 1453 году, а через девять лет, в 1462 году, великий Иван III вступил на престол в Москве*.

Не надо, ради Бога, терять всех этих общих исторических соображений, какими бы рискованными они ни казались на первый взгляд. Следует лучше понять, что эти пресловутые отвлеченные положения есть мы сами, наше прошлое, наше настоящее, наше будущее. Наши враги это хорошо знают, постараемся же и мы сравняться с ними. И именно потому, что они знают это, именно потому, что они поняли, что все те страны и народы, которые они хотели бы покорить и присоединить к западной системе, принадлежат, исторически говоря, России, подобно тому как живые члены принадлежат телу, чьими

частями они являются, — вот почему они усердно трудятся, дабы ослабить и, если возможно, разорвать столь органическую связь.

Они поняли, что, пока эта связь существует, все их усилия истребить самобытную жизнь этих народов вечно будут оставаться бесплодными. Повторю еще раз, цель их не изменилась с тринадцатого столетия, но средства стали иными. В ту пору латинская Церковь хотела грубо вытеснить православную Церковь на всем Христианском Востоке; теперь же стремится подрвать основания этой Церкви философской проповедью*.

В тринадцатом веке господство Запада выразилось в намерении напрямую завладеть этими странами и управлять ими от своего имени; ныне же при отсутствии лучшего он стремится подстрекать и покровительствовать там созданию малых незаконнорожденных народностей*, так называемых независимых малых политических образований, пустых, весьма лживых и лицемерных призраков, пригодных к тому же скрывать подлинную действительность, которая не изменилась с тех пор: она заключается в стремлении

Запада к господству.

Происходившее недавно в Греции* стало великим разоблачением и должно бы преподать урок всему миру. На самом деле подстрекателям, кажется, и по сей день не удалось извлечь пользу из их попытки. Оружие повернулось против тех, кто взял его в руки. И эта революция, уничтожившая чужеземную власть и, казалось бы, восстановившая в правах инициативу более национальных влияний, могла бы в конце концов привести к укреплению связи, соединяющей маленькую страну с великим целым, чьей только частью является.

Впрочем, следует признаться, что все, что произошло или может произойти в Греции, навсегда останется лишь эпизодом, отдельной деталью великой борьбы между Западом и нами. Ведь не там, на окраинах, будет решаться великий вопрос. Он будет разрешен здесь, среди нас, в центре, в самом сердце того мира на Христианском Востоке, в Восточной Европе, который мы представляем, того мира, которым мы являемся. Его конечные судьбы — это и наши судьбы, и они зависят

только от нас; они зависят прежде всего от силы и глубины чувства, объединяющего и роднящего нас.

Повторим же еще раз и не устанем повторять впредь: Восточная Церковь есть православная Империя, Восточная Церковь есть законная наследница вселенской Церкви, православная Империя едина в своем основании, тесно связана во всех своих частях. Таковы ли мы? Такими ли желаем быть? Это ли право стремиться у нас оспорить?

Вот в чем — для умеющих видеть — заключаются все спорные вопросы между нами и западной пропагандой; здесь самая сущность наших разногласий. Все, что не затрагивает этой сущности, все, что в полемике иностранной прессы не связано более или менее непосредственно, как следствие со своей причиной, с этим великим вопросом, не заслуживает ни на мгновение нашего внимания. Все это чистое витийство.

Нам же необходимо глубже и сокровеннее осознать двойной исторический принцип нашего национального существования. В этом единственное средство противостоять духу

Запада, сдерживать его притязания и враждебные действия.

До сих пор, признаем это, в тех редких случаях, когда нам приходилось брать слово для защиты от его нападков, мы действовали, за крайне малочисленными исключениями, весьма недостойным образом. Мы чересчур походили на учеников*, стремящихся несуразными оправданиями смягчить гнев своего учителя.

Когда мы постигнем лучше самих себя, нам совсем не придет в голову каяться в этом перед кем бы то ни было.

И не надо воображать, что, открыто провозглашая наши права, мы тем самым возбудим еще большую враждебность во мнении Запада о нас. Думать так означало бы совсем плохо знать современное состояние умов в Европе. Существо этой враждебности, повторим еще раз, постоянно используемого недоброжелательного отношения к нам, заключается в абсурдном и тем не менее всеобщем мнении, признающем и даже преувеличивающем нашу материальную силу и вместе с тем сомневающимся в том, что такое могуще-

ство одушевлено нравственной и самобытной исторической жизнью*. Что же, человек так создан, особенно человек нашего времени, что он смиряется перед физической мощью лишь тогда, когда видит в ней нравственное величие.

На самом деле странная вещь, которая через несколько лет покажется необъяснимой. Вот Империя, беспримерным в мировой истории стечением обстоятельств оказывающаяся единственной выразительницей двух необъятных явлений: судеб целого племени и лучшей, самой неповрежденной и здоровой половины Христианской Церкви*.

И находятся еще люди, всерьез задающиеся вопросом, каковы права этой Империи, каково ее законное место в мире! Разве современное поколение так заблудилось в тени горы, что с трудом различает ее вершину?..*

Впрочем, не надо забывать: веками европейский Запад считал себя вправе полагать, что в нравственном отношении он единственный в мире, что он и представляет целиком всю Европу. Он рос, жил, старел с этой мыслью, а теперь вдруг обнаруживает, что

ошибся, что рядом с ним существовала другая Европа, его сестра, возможно младшая сестра, но, во всяком случае, совершенно законная, одним словом, что он является лишь только половиной великого целого. Подобное открытие представляет целую революцию, влекущую за собой величайшее смещение идей, которое когда-либо совершалось в умственном мире.

Удивительно ли, что старые убеждения со всей силой борются против колеблющей и отменяющей их очевидности? И не нам ли должно прийти на помощь этой очевидности, чтобы она стала неизбежной и непобедимой? Что следует делать для этого?

Здесь я подхожу к самому предмету моей короткой записки. Я полагаю, что Императорское правительство имеет предостаточные основания не желать, чтобы внутри страны, в местной печати, общественное мнение чересчур живо обсуждало очень важные и вместе с тем весьма деликатные вопросы, затрагивающие самые корни национального существования; но какими могут быть доводы, чтобы заставлять себя так же сдерживаться вовне, в

заграничной печати? Какие предосторожности должны мы еще соблюдать по отношению к враждебному общественному мнению, которое, при нашем молчании, на свой лад судит об этих вопросах и выносит одно за другим решения невзирая на критику и обжалование, и всегда в самом враждебном, самом противном нашим интересам смысле. Не должны ли мы сами положить конец такому положению дел?* Можем ли мы дальше скрывать обусловленные им огромные неудобства? И надо ли напоминать о недавнем приискорбном и скандальном отступничестве*, как политическом, так и религиозном... И неужели подобные проявления отступничества были бы возможны, если бы мы добровольно и без необходимых оснований не отдали исключительное право в споре враждебному мнению?

Я предвижу возражение, которое мне сразу же сделают. Знаю, мы чересчур склонны преувеличивать недостаточность наших средств, внушать себе, будто не в силах добиться успеха в борьбе на подобном поприще. Полагаю, что думать так было бы ошибкой; я

убежден, что мы обладаем гораздо большими средствами, нежели можно вообразить; даже оставляя в стороне наши внутренние возможности, следует с уверенностью сказать, что нам недостаточно известны вспомогательные силы, которые мы могли бы найти за границей. В самом деле, каким бы явным и часто слишком ощутимым ни было недоброжелательство чужеземного мнения на наш счет, мы недооцениваем того факта, что в состоянии раздробленности существующих в Европе мнений и интересов* такое великое и значительное единство, как наше, способно стать влиятельным и притягательным для умов, совершенно утомленных этой предельной раздробленностью.

Мы не вполне ведаем, как там жадно тянутся ко всему, что обеспечивает сохранение постоянства и дает надежду на будущее... как там желают соединиться или даже слиться с чем-то великим и могучим. В нынешнем состоянии умов в Европе общественное мнение, при всей его кажущейся хаотичности и независимости, негласно хочет лишь того, чтобы покориться величию. Я говорю с глубокой

убежденностью: основное и самое трудное для нас — обрести веру в самих себя; осмелиться признать перед самими собой огромное значение наших судеб и целиком воспринять его. Так обретем же эту веру, эту смелость. Отважimsя возродить наше истинное знамя среди столкновений разных мнений, раздирающих Европу, а тогда отыщутся помощники там, где до сих пор нам встречались только противники. И мы увидим, как сбывается славное слово, сказанное при достопамятных обстоятельствах. Мы увидим, что даже те, кто до сих пор яростно нападал на Россию или тайно интриговал против нее, почувствуют себя счастливыми и гордыми в стремлении присоединиться к ней и принадлежать ей.

Сказанное мною — не есть простое предположение. Не раз люди выдающиеся по своим талантам, благодаря которым они влияют на общественное мнение, давали мне недвусмысленные знаки своей доброй воли и благосклонного отношения к нам*. Предлагаемые ими услуги были таковы, что в них не было ничего компрометирующего ни для тех, кто

готов оказывать свою помощь, ни для тех, кто согласился бы ее принять. Конечно же, эти люди не собирались торговать собой, они только хотели бы, чтобы каждый из нас не отступал от принятой линии в своих мнениях и последовательно придерживался ее. Главное заключается в том, чтобы скоординировать эти усилия и выстроить их к определенной цели, чтобы поставить различные взгляды и направления на службу постоянным интересам России, сохраняя за их языком всплеск откровенности, без которой невозможно произвести впечатление на умы.

Разумеется, речь не идет о ежедневных мелочных спорах с заграничной прессой по незначительным фактам и подробностям; истинно полезным было бы, например, обосноваться в самой уважаемой газете Германии, иметь в ней авторитетных* и серьезных посредников, умеющих заставить публику слушать себя и способных двинуться разными путями, но каким-то единым целым к определенной цели.

Однако при каких условиях удалось бы придать этому состязанию отдельных и до

некоторой степени самостоятельных сил общее и спасительное направление? При условии, что на местах будет находиться умный человек*, одаренный деятельным национальным чувством, глубоко преданный Государю, многоопытный в делах печати и, стало быть, достаточно знающий поприще, на коем он призван действовать.

Что же до расходов, необходимых для учреждения за границей русской печати, то они могли бы быть совсем незначительными по сравнению с ожидаемым результатом. Если эта идея будет принята благосклонно*, я почту за великое счастье положить к стопам Государя все, что может предложить и обещать человек: чистоту намерений и усердие самой безусловной преданности.

Россия и Революция*

Для уяснения сущности огромного потрясения, охватившего ныне Европу, вот что следовало бы себе сказать. Уже давно в Европе существуют только две действительные силы: Революция и Россия*. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества.

Факт такого противостояния всем сейчас бросается в глаза, однако отсутствие ума в нашем веке, отупевшем от рассудочных силлогизмов*, таково, что нынешнее поколение, живя бок о бок со столь значительным фактом, весьма далеко от понимания его истинного характера и подлинных причин.

До сих пор объяснения ему искали в области сугубо политических идей; пытались определить различия в принципах чисто че-

ловческого порядка. Нет, конечно, распря, разделяющая Революцию и Россию, совершенно иначе связана с более глубокими причинами, которые можно обобщить в двух словах.

Прежде всего Россия — христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более душевному*. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция же прежде всего — враг христианства*. Антихристианский дух есть душа Революции, ее сущностное, отличительное свойство. Ее последовательно обновляемые формы и лозунги, даже насилия и преступления — все это частности и случайные подробности. А оживляет ее именно антихристианское начало, дающее ей также (нельзя не признать) столь грозную власть над миром. Кто этого не понимает, тот уже в течение шестидесяти лет* присутствует на разыгрывающемся в мире спектакле в качестве слепого зрителя.

Человеческое я, желающее зависеть лишь от самого себя, не признающее и не принимающее другого закона, кроме собственного волеизъявления, одним словом, человеческое я, заменяющее собой Бога, конечно же, не является чем-то новым среди людей; новым становится самовластие человеческого я, возведенное в политическое и общественное право и стремящееся с его помощью овладеть обществом.* Это новшество и получило в 1789 году имя Французской революции.

С того времени Революция во всех своих метаморфозах сохранила верность собственной природе и, видимо, никогда еще не ощущала себя столь сокровенно антихристианской, как в настоящую минуту, присвоив христианский лозунг: братство. Тем самым можно даже предположить, что она приближается к своему апогею. В самом деле, не подумают ли каждый, кто услышит наивно богохульственные разглагольствования, ставшие как бы официальным языком нашей эпохи, что новая Французская республика явилась миру, дабы исполнить евангельский закон? Ведь именно подобное призвание торжественно

приписали себе созданные ею силы, правда с одной поправкой, которую Революция прибегла для себя, — дух смирения и самоотвержения, составляющий основу христианства, она стремится заменить духом гордости и превозношения, свободное добровольное милосердие — принудительной благотворительностью, а взамен проповедуемого и принимаемого во имя Бога братства пытается установить братство, навязанное страхом перед господином народом. За исключением отмеченных различий, ее господство на самом деле обещает стать Царством Христа.

Это пренебрежительное доброжелательство, которое новые власти выказывали до сих пор по отношению к католической

Церкви и ее служителям, никого не должно вводить в заблуждение. Оно является едва ли не важнейшим признаком действительно-го положения вещей и самым очевидным показателем достигнутого Революцией всемогущества. В самом деле, зачем Революции выказывать себя враждебной к духовенству и христианским священнослужителям, которые не только претерпевают, но принимают и усваи-

вают ее*, превозносят все ее насилия для предотвращения исходящих от нее угроз и, не подозревая того, присоединяются ко всем ее неправдам? Если бы в таком поведении содержался лишь расчет, то и тогда он оказался бы отступничеством; но, если к расчету примешивается убеждение, отступничество углубляется в гораздо значительной степени.

Однако позволительно предвидеть, что не будет недостатка и в преследованиях. В тот же самый день, когда предел уступок будет исчерпан, а католическая Церковь сочтет своим долгом начать сопротивление, обнаружится, что она способна это сделать лишь путем возвращения к мученичеству. Можно положиться на Революцию: во всем она останется верна себе и последовательна до конца.

Февральский взрыв* оказал миру великую услугу тем, что сокрушил до основания все иллюзорные построения, маскировавшие подлинную действительность. Даже самые недалёковидные люди должны теперь понимать, что история Европы в течение последних тридцати лет представляла собой лишь продолжительную мистификацию. И не оза-

рилось ли внезапно безжалостным светом недавнее прошлое, уже столь отдалившееся от нас? Кто, например, сейчас не понимает всей смехотворности притязаний той мудрости нашего века, которая благодушно вбила себе в голову, что ей удалось укротить Революцию конституционными заклинаниями*, обуздать ее ужасную энергию законнической формулой? После всего случившегося кто мог бы еще сомневаться, что с проникновением революционного начала в общественную кровь все его подходы и соглашательские формулы являются только наркотическими средствами, которые в состоянии на время усыпить больного, но не в силах предотвратить дальнейшее развитие самой болезни?

Вот почему, проглотив Реставрацию, лично ей ненавистную как последний обломок законного правления во Франции, Революция не сумела стерпеть и другой, ею же порожденной, власти, которую она признала в 1830 году* в качестве сообщника в борьбе с Европой, но которую сокрушила в тот день, когда вместо служения ей та возомнила себя ее господином.

Да будет мне позволено высказать по этому поводу следующее соображение. Как могло случиться, что среди всех государей Европы, а также ее политических руководителей последнего времени нашелся лишь один, кто с самого начала обнаружил и отметил великую иллюзию 1830 года* и остается с тех пор единственным в Европе, единственным, быть может, в своем окружении, неизменно сопротивляющимся ее соблазну? Дело в том, что на этот раз, к счастью, на российском престоле находился Государь, воплотивший русскую мысль*, а в теперешнем состоянии мира лишь русская мысль достаточно удалена от революционной среды, чтобы здраво оценить происходящее в ней*.

То, что Император предвидел с 1830 года, Революция не преминула осуществить пункт за пунктом. Все уступки и жертвы своими убеждениями, принесенные монархической Европой для июльских установлений в интересах мнимого status quo*, были захвачены и использованы Революцией для замышляемого ею переворота. И пока законные власти вступали в более или менее искусные дипло-

матические отношения с псевдозаконностью, а государственные люди и дипломаты всей Европы присутствовали в Париже как любопытные и доброжелательные зрители на парламентских состязаниях в красноречии, революционная партия, почти не таясь, безостановочно подрывала почву под их ногами.

Можно сказать, что главная задача этой партии, в течение последних восемнадцати лет, заключалась в полнейшем революционизировании Германии*, и теперь можно судить, хорошо ли она выполнена.

Германия, бесспорно, — та страна, о которой уже давно складываются самые странные представления. Ее считали страной порядка, потому что она была спокойна, и не хотели замечать жуткой анархии, которая в ней заполняла и опустошала умы.

Шестьдесят лет господства разрушительной философии* совершенно сокрушили в ней все христианские верования и развили в отрицании всякой веры главнейшее революционное чувство — гордыню ума* — столь успешно, что в наше время эта язва века, возможно, нигде не является так глубоко рас-

травленной, как в Германии. По мере своего революционизирования Германия с неизбежной последовательностью ощущала в себе возрастание ненависти к России. В самом деле, тяготясь оказанными Россией благодеяниями, Германия не могла не питать к ней неистребимой неприязни. Сейчас этот приступ ненависти, кажется, достиг своей кульминации; он восторжествовал не только над рассудком, но даже над чувством самосохранения.

Если бы столь прискорбная ненависть могла внушать нечто иное, кроме жалости, то Россия, безусловно, почитала бы себя достаточно отмщенной тем зрелищем, которое представила миру Германия после Февральской революции*. Это едва ли не беспрецедентный факт в истории, когда целый народ становится подражателем другого народа, в то время как тот предается самому разнузданному насилию.

И пусть не говорят в оправдание этих столь очевидно искусственных движений, перевернувших весь политический строй Германии и подорвавших само существование

общественного порядка, что они вдохновлялись искренним и всеобщим чувством германского единства*. Допустим, что такие чувства и желания искренни и отвечают чаяниям подавляющего большинства. Но что это доказывает?.. К наиболее безумным заблуждениям нашего времени относится представление, будто страстное и пламенное желание большого числа людей в достижении какой-либо цели достаточно для ее осуществления*. Впрочем, следует согласиться, что в сегодняшнем обществе нет ни одного желания, ни одной потребности (какой бы искренней и законной она ни была), которую Революция, овладев ею, не исказила бы и не обратила в ложь. Именно так и случилось с вопросом германского единства: для каждого, кто не совсем утратил способность признавать очевидное, отныне должно быть ясно, что на избранном Германией пути разрешения этой проблемы ее ожидает в итоге не единство, а страшный распад, какая-нибудь окончательная и безысходная катастрофа.

Конечно же, вскоре не замедлят увериться, что одно только единство и возможно для

Германии (не для той, какой ее изображают газеты, а для действительной, созданной историей)* — единственный шанс серьезного и практического единения этой страны был неразрывно связан с ныне разрушенной ею политической системой.

Если в течение последних тридцати трех лет, возможно самых счастливых в ее истории, Германия создала иерархически организованный и бесперебойно работающий политический организм, то при каких условиях подобный результат мог быть достигнут и упрочен? Очевидно, при условии искреннего взаимопонимания между двумя ее крупными государствами, представителями тех двух принципов, которые вот уже более трех столетий соперничают друг с другом в Германии*. Но возможна ли была бы долгая жизнь этого согласия, столь медленно созидавшегося и с таким трудом сохранявшегося, если бы Австрия и Пруссия после великих походов против Франции не примкнули тесно к России и не опирались на нее? Такая политическая комбинация, осуществившая в Германии единственно подходящую для нее систему

объединения*, предоставила ей тридцатитрехлетнюю передышку, которую она теперь принялась нарушать.

Ни ненависть, ни ложь никогда не смогут опровергнуть этот факт. В припадке безумия Германии удалось разорвать союз, который, не навязывая ей никакой жертвы, обеспечивал и оберегал ее национальную независимость. Но тем самым она навсегда лишила себя всякой твердой и прочной основы.

В подтверждение высказанной истины взгляните на отражение событий в ту страшную минуту, когда они развиваются почти так же быстро, как и человеческая мысль. Прошло едва два месяца с тех пор, как Революция в Германии взялась за работу, а уже необходимо отдать ей должное — дело разрушения в стране продвинулось гораздо дальше, чем при Наполеоне*, после десятилетия его сокрушительных кампаний.

Взгляните на Австрию, обесславленную, подавленную, разбитую сильнее, нежели в 1809 году*. Взгляните на Пруссию, обреченную на самоубийство из-за ее рокового и вынужденного потворства польской партии*. Взгля-

ните на берега Рейна, где, вопреки песням и фразам, Прирейнская конфедерация стремится к возрождению*. Повсюду анархия, нигде нет власти, и все это под влиянием Франции, где бурная социальная революция готова вылиться в политическую революцию, разъединяющую Германию.

Отныне для всякого здравомыслящего человека вопрос германского единства является уже решенным. Нужно обладать свойственным немецким идеологам особым непониманием, чтобы всерьез задаваться вопросом, имеет ли сборище журналистов, адвокатов и профессоров, собравшихся во Франкфурте* и присвоивших себе миссию возобновления времен Карла Великого, какие-то весомые шансы на успех в предпринятом деле, может ли оно достаточно мощно и искусно вновь поднять на столь колеблющейся почве опрокинутую пирамиду, поставив ее острой вершиной вниз.

Вопрос уже вовсе не в том, чтобы знать, будет ли Германия единой, а в том, удастся ли ей спасти хотя бы частицу своего национального существования после внутренних потря-

сений, способных усугубиться вероятной внешней войной.

Партии, готовые раскалывать страну, начинают вырисовываться. Республика уже утвердилась во многих местах Германии*, и можно предполагать, что она не отступит без боя, поскольку имеет для себя логику, а за собой — Францию. В глазах этой партии национальный вопрос лишен и смысла, и значения. В интересах своего дела она ни на мгновение не поколеблется принести в жертву независимость страны и уже сегодня или завтра способна увлечь всю Германию под знамя Франции, пусть даже и под красное. Она повсюду находит пособников, помощь и поддержку среди людей и установлений, как в анархических инстинктах толпы, так и в анархических учреждениях, ныне столь щедро рассеянных по всей Германии. Но ее лучшими и могущественнейшими помощниками являются именно те люди, которые вот-вот могут быть призваны к борьбе с ней: так они связаны с ней общностью принципов. Теперь весь вопрос заключается в том, чтобы суметь определить, разразится ли борьба прежде, чем

мнимые консерваторы* успеют своими радениями и безумствами подорвать все элементы силы и сопротивления, еще оставшиеся в Германии. Одним словом, решатся ли они, атакуемые республиканской партией, увидеть в ней всамделишный авангард французского вторжения и найдут ли в себе достаточно энергии, чувствуя угрозу национальной независимости, для беспощадной борьбы с республикой не на жизнь, а на смерть; или же, во избежание такой борьбы, они предпочтут какую-нибудь видимость мирового соглашения, которое, в сущности, оказалось бы с их стороны лишь скрытой капитуляцией. В случае осуществления последнего предположения нельзя не признать, что вероятность крестового похода против России, крестового похода, который всегда был заветной мечтой Революции*, а теперь стал ее воинственным кличем, превратилась бы в почти твердую уверенность; тогда пробил бы час решающей схватки, а полем сражения оказалась бы Польша*. По крайней мере, такую вероятность любовно лелеют революционеры всех стран; однако они не уделяют необходимого

внимания одному элементу вопроса, и это упущение способно значительно расстроить их расчеты.

Революционная партия, особенно в Германии, кажется, убедила себя, что коль скоро она сама пренебрежительно относится к национальному элементу, то точно так же происходит и во всех странах, находящихся под ее влиянием, что везде и всегда вопрос принципа будет главенствовать перед национальным вопросом. Уже события в Ломбардии* должны были вызвать особые размышления у венских студентов-реформаторов*, вообразивших, будто достаточно изгнать князя Меттерниха и провозгласить свободу печати, чтобы разрешить все чудовищные затруднения, отягощающие австрийскую монархию. Итальянцы же с неизменным упорством продолжают видеть в них лишь* *Tedeschi*[1] и *Barbari*, [2] словно они и не возрождались в очистительных водах мятежа. Но революционная Германия незамедлительно получит в этом отношении еще более суровый и знаменательный урок, поскольку он будет преподан из ближайшего окружения. В самом деле, ни-

кто не подумал, что, сокрушая или ослабляя все прежние власти, потрясая до самых оснований весь политический строй этой страны, в ней пробуждают опаснейшее осложнение, вопрос жизни или смерти для ее будущности — вопрос племенной*. Как-то забыли, что в самом сердце мечтающей об объединении Германии, в Богемской области и окрестных славянских землях живет шесть или семь миллионов людей, для которых в течение веков, из поколения в поколение, германец ни на мгновение не переставал восприниматься чем-то несравненно худшим, нежели чужеземец, одним словом, всегда остается *Немцем* ...Разумеется, здесь идет речь не о литературном патриотизме нескольких пражских ученых*, сколь почтенным бы он ни был; эти люди, несомненно, уже сослужили великую службу своей стране и еще послужат ей; но жизнь Богемии состоит в другом*. Подлинная жизнь народа никогда не проявляется в напечатанных для него книгах, за исключением, пожалуй, немецкого народа; она состоит в его инстинктах и верованиях, а книги (нельзя не признаться) способны скорее раздражать и

ослаблять их, чем оживлять и поддерживать*. Все, что еще сохраняется от истинно национального существования Богемии, заключено в ее *гуситских* верованиях*, в постоянно живом протесте угнетенной славянской народности против захватов римской Церкви, а также против немецкого господства. Здесь-то и коренится связь, соединяющая ее со всем ее славным боевым прошлым, находится звено, которое свяжет однажды чеха из Богемии с его восточными собратьями. Нельзя перусердствовать в настойчивом внимании к этому предмету, поскольку именно в сочувственных воспоминаниях о Восточной Церкви, в возвращениях к *старой вере* (гуситство в свое время служило лишь несовершенным и искаженным ее выражением) и сказывается глубокое различие между Польшей и Богемией*: между Богемией, против собственной воли покоряющейся западному сообществу, и мятежно католической Польшей — фанатичной приспешницей Запада и всегдашней предательницей своих.

Я знаю, что теперь истинный вопрос еще не поставлен в Богемии и что самый прими-

тивный либерализм с примесью коммунизма в городах и, вероятно, какой-то доли жакерии в деревнях волнуется и дергается на поверхности страны*. Но все это опьянение вскоре пройдет, и, самым ходом вещей, сущность положения не замедлит проясниться. Тогда вопрос для Богемии встанет следующим образом: что сделает Богемия с окружающими ее народностями, моравами, словаками, словом, с семьёю или восемью миллионами человек одного с ней языка и племени, если Австрийской империи суждено развалиться после потери Ломбардии и сейчас уже полного освобождения Венгрии?* Будет ли она стремиться к независимости или согласится войти в нелепые рамки будущего Германского Единства, которое обречено быть Единством Хаоса? Маловероятно, что последний вариант может ее привлекать. В таком случае она неизбежно подвергнется всякого рода враждебным действиям и нападениям, для отпора которым ей, конечно, уже не придется опираться на Венгрию. Чтобы понять, к какому государству Богемия будет вынуждена примкнуть, несмотря на господствующие в ней

сегодня идеи и на те учреждения, которые станут управлять ею завтра, остается лишь вспомнить слова, сказанные мне в 1841 году в Праге самым национально мыслящим патриотом этой страны. «Богемия, — говорил мне Ганка*, — будет свободной и независимой, достигнет подлинной самостоятельности лишь тогда, когда Россия вновь завладеет Галицией». Вообще, следует особо отметить неизменное расположение, с каким к России, русскому имени, его славе и будущности всегда относились в Праге национально настроенные люди*; и это в то время, когда наша верная союзница Германия скорее из безучастности, нежели по справедливости, сделалась подкладкой для польской эмиграции, чтобы возбуждать против нас общественное мнение всей Европы. Любой русский, посетивший Прагу в последние годы, сможет подтвердить, что единственный услышанный им там в наш адрес упрек относится к сдержанности и безразличию, с какими национальные устремления Богемии воспринимались у нас. Высокие и великодушные соображения внушали нам тогда такое поведение; теперь же,

конечно, оно лишилось бы всякого смысла, ибо жертвы, принесенные нами тогда делу порядка, совершались бы ныне в пользу Революции.

Но если правда, что Россия в нынешних обстоятельствах менее чем когда-либо имеет право обескураживать питаемые к ней симпатии, то будет справедливым признать, с другой стороны, существование исторического закона, провиденциально управлявшего до сих пор ее судьбами*: именно самые заклятые враги России с наибольшим успехом способствовали развитию ее величия*. Вследствие этого провиденциального закона у нее появился еще один недруг, который, несомненно, окажет большое влияние на ее будущие судьбы и значительно поспособствует ускорению их исполнения. Недруг, о котором идет речь, — Венгрия, я разумею мадыарскую Венгрию. Из всех врагов России она, возможно, ненавидит ее особенно яростно. Мадыарский народ, самым странным образом соединивший революционный пыл с дикостью азиатской орды (о нем можно сказать столь же справедливо, как и о турках, что он лишь вре-

менно разбил свой лагерь в Европе), пребывает в окружении славянских племен, одинаково ему ненавистных*. Личный враг этих племен, чьи судьбы им так долго ломались, он вновь, после веков брожений и смут, все еще видит себя заточенным среди них. Все его соседи (сербы, хорваты, словаки, трансильванцы, вплоть до карпатских малороссов) составляют звенья одной цепи, которую он считал навсегда разорванной. А теперь он чувствует над собою руку, которая сможет, когда и как пожелает, воссоединить эти звенья и стянуть цепь. Отсюда его инстинктивная ненависть к России. С другой стороны, нынешние партийные вожаки, поверив иностранным газетам, всерьез внушили себе, что мадьярскому народу предстоит исполнить великое призвание на православном Востоке, словом, противодействовать исполнению судеб России... До сих пор умеряющее влияние Австрии худо-бедно сдерживало все это брожение и безрассудство; но теперь, когда последняя связь порвана, а старый и бедный, впавший в детство отец взят под опеку*, следует предвидеть, что полностью раскрепощенное мадьярство

может свободно развиваться до всех своих крайностей и самых безумных авантюр. Уже ставился вопрос об окончательном присоединении Трансильвании*. Говорят о восстановлении прежних прав на Дунайские княжества и Сербию. Во всех этих странах удвоится пропаганда для возбуждения антирусских настроений и повсеместной смуты. Расчет делается на то, чтобы в один прекрасный день объявиться с оружием в руках, потребовать во имя ущемленных прав Запада возврата устьев Дуная и повелительно сказать России: «Ты не пойдешь дальше!». — Вот, бесспорно, некоторые статьи программы, вырабатываемой ныне в Пресбурге*. В прошлом году все это ограничивалось лишь газетными фразами, которые теперь в любой момент могут обернуться весьма серьезными и опасными попытками. Но всего неотвратимее кажется нам сейчас столкновение между Венгрией и двумя зависимыми от нее славянскими королевствами. В самом деле, Хорватия и Славония, предвидя, что ослабление законной власти в Вене неизбежно предаст их на произвол мадьярству, видимо, получили от австрийско-

го правительства обещание отдельного самоуправления с присоединением к ним Далмации и военной границы. Эта позиция, которую объединенные таким образом страны пытаются занять по отношению к Венгрии, незамедлительно приведет к обострению всех прежних разногласий и разжиганию там открытой гражданской войны. А поскольку авторитет австрийского правительства окажется, вероятно, слишком слабым для мало-мальски успешного посредничества между воюющими сторонами, то венгерские славяне, как слабейшие, возможно, потерпели бы неудачу в борьбе, если бы не одно обстоятельство, которое рано или поздно обязательно должно прийти к ним на помощь: предстоящий им противник является прежде всего врагом России. К тому же по всей этой военной границе, составленной на три четверти из православных сербов, нет ни одной хижины поселенцев (со слов даже самих австрийцев), где рядом с портретом императора Австрии не висел бы портрет другого Императора, упорно признаваемого этими верными племенами за единственно законного*. Впро-

чем (зачем скрывать от самих себя), маловероятно и то, что все эти разрушающие Запад толчки землетрясения* останутся у порога восточных стран. И как могло бы случиться, чтобы в столь беспощадной войне, в готовящемся крестовом походе нечестивой Революции, уже охватившей три четверти Западной Европы, против России Христианский Восток, Восток Славяно-Православный, чье существование нераздельно связано с нашим собственным, не ввязался бы вслед за нами в разворачивающуюся борьбу. И, быть может, с него-то и начнется война, поскольку естественно предположить, что все терзающие его пропаганды (католическая, революционная и проч. и проч.), хотя и противоположные друг другу, но объединенные в общем чувстве ненависти к России*, примутся за дело с еще большим, чем прежде, рвением. Можно быть уверенным, что для достижения своих целей они не отступят ни перед чем... Боже праведный! Какова была бы участь всех этих христианских, как и мы, народностей, если бы, став, как уже происходит, мишенью для всех отвратительных влияний, они оказались по-

кинутыми в трудную минуту единственной властью, к которой они взывают в своих молитвах? — Одним словом, какое ужасное смятение охватило бы страны Востока в их схватке с Революцией, если бы законный Государь, Православный Император Востока, медлил еще дальше со своим появлением!

Нет, это невозможно. Тысячелетние предчувствия совсем не обманывают. У России, верующей страны, достанет веры в решительную минуту. Она не устрашится величия своих судеб, не отступит перед своим призванием.

И когда еще призвание России было более ясным и очевидным? Можно сказать, что Господь начертал его огненными стрелами на помраченных от бурь Небесах. Запад уходит со сцены, все рушится и гибнет во всеобщем мировом пожаре — Европа Карла Великого* и Европа трактатов 1815 года*, римское папство и все западные королевства, Католицизм и Протестантизм, уже давно утраченная вера и доведенный до бессмыслия разум, невозможный отныне порядок и невозможная отныне свобода*. А над всеми этими развалинами, ею

же нагроможденными, цивилизация, убивающая себя собственными руками...

И когда над столь громадным крушением мы видим еще более громадную Империю, всплывающую подобно Святому Ковчегу*, кто дерзнет сомневаться в ее призвании, и нам ли, ее детям, проявлять неверие и малодушие?..

12 апреля 1848

Римский вопрос*

Если среди вопросов дня или, скорее, века есть такой, в котором, как в фокусе, сходятся и сосредоточиваются все аномалии, все противоречия и все непреодолимые трудности, с которыми сталкивается Западная Европа, то это, несомненно, римский вопрос.

Да иначе и быть не могло, благодаря неумолимой логике, вносимой Богом, как тайное правосудие, в события сего мира*. Глубокий и непримиримый раскол, веками подтачивающий Запад*, должен был в конце концов найти свое высшее выражение и достигнуть самого корня дерева. Никто не станет оспаривать у Рима его почетного права: в на-

ши дни, как и всегда, он — корень западного мира. Однако, несмотря на живую озабоченность умов этим вопросом, весьма сомнительно, чтобы они отдавали себе ясный и точный отчет в его содержании.

Вероятно, заблуждению относительно природы и значения так поставленного вопроса способствует прежде всего мнимое сходство между свершившимся на наших глазах в Риме* и рядом предшествующих эпизодов из его предыдущих революций, а также самая существенная связь современного римского движения с общим развитием европейской революции. Все эти дополнительные обстоятельства, как будто объясняющие с первого взгляда римский вопрос, в действительности лишь скрывают от нас его глубину.

Конечно же, этот вопрос необычен — и не просто потому, что касается всего на Западе, он, можно сказать, даже превосходит происходящее.

Теперь все, еще остающееся на Западе от положительного Христианства, связано либо наглядным, либо более или менее явным сродством с римским Католицизмом, для ко-

того

Папство, как оно сложилось за века, является очевидной основой и условием существования. И вряд ли кто решится бросить обвинения в парадоксальности или клевете такого утверждения.

Протестантизм с его многочисленными разветвлениями едва протянул три века и умирает от немоги во всех странах, где он господствовал до сих пор, кроме разве что Англии*; там же, где он еще проявляет какие-то признаки жизни, проявления эти стремятся к воссоединению с Римом. Что касается религиозных доктрин, возникающих вне всякой общности с одним или другим из этих двух вероисповеданий, то они, несомненно, представляют собой лишь частные мнения.

Одним словом, Папство — вот единственный в своем роде столп, худо-бедно подпирающий на Западе ту часть христианского здания, которая уцелела и устояла после великого разрушения шестнадцатого века и последовавших затем крушений. И именно этот столп и собираются теперь разрушить, направив удар на самую его основу.

Нам слишком хорошо известны все те затасканные слова, коими как ежедневная печать, так и официальные декларации некоторых правительств по обыкновению пользуются для сокрытия подлинной действительности: дескать, до Папства как религиозного учреждения и не думают касаться, пред ним преклоняются, его почитают и обязательно поддержат, у него даже не оспаривают светской власти, а притязают лишь на изменение ее применения. От него потребуют только всеобщие необходимых уступок и навяжут ему только совершенно законные преобразования. Во всем этом хотя и есть изрядная доля сознательной недобросовестности, однако преизобилуют невольные заблуждения.

Конечно же, было бы недобросовестно, даже со стороны наиболее искренних, притворяться, будто они верят, что серьезные и честные реформы теперешнего образа правления римского Государства не могут привести через определенное время к его полной секуляризации.

Но вопрос-то собственно и не в этом: истинный вопрос заключается в знании того, в

чьих интересах совершилась бы секуляризация, то есть каковы будут природа, дух и устремления той власти, которой вы передадите отнятое у Папства светское правление? Ведь невозможно скрыть от себя, что именно под опекой этой новой власти Папство будет вынуждено впредь жить.

И вот здесь-то и преизбыточествуют иллюзии. Нам известно идолопоклонство западных людей перед всем, что является формой, формулой и политическим механизмом*. Это идолопоклонство стало как бы последней религией Запада. Но если только не закрывать совсем глаза и не запечатывать ум перед всяким фактом и очевидной истиной, то как же, после всего случившегося, можно суметь уверить себя, будто при современном положении Европы, Италии, Рима навязанные Папе либеральные и полулиберальные установления останутся надолго во власти средних, умеренных и мягких убеждений? Для подтверждения защищаемого вами тезиса вам нравится представлять эти убеждения такими, как будто им не угрожает своим быстрым захватом революция, способная сразу же

превратить их в боевое орудие для подрыва не только светского суверенитета Папы, но и самого религиозного установления. И было бы зряшным делом наставлять сторонников революционного принципа, как Господь Сатану, мучить лишь тело верного Иова, не касаясь его души. Будьте уверены, что революция, менее совестливая, чем ангел тьмы, совсем не примет в расчет ваши наказания.

Всякое заблуждение, всякое недоразумение в этом отношении невозможно для того, кто вполне постиг сущность разворачивающегося на Западе спора, ставшего в течение веков его жизнью; жизнью ненормальной, конечно, но действительной, не вчера зародившимся и все еще развивающимся недугом. И если встречается столь мало людей, осознающих такое положение, то это только доказывает, что болезнь уже чересчур запущена.

Когда речь заходит о римском вопросе, нет никаких сомнений, что большинство требований преобразований и уступок со стороны Папы преследует честные, законные, чуждые задней мысли интересы и что их должное

удовлетворение уже не терпит отлагательства. Но такова невероятная роковая предопределенность теперешнего положения, что эти интересы, по своей природе имеющие местное значение и сравнительно незначительные, преобладают и ставят под угрозу огромный и важный вопрос. Это скромные и безобидные жилища частных людей, так расположенные, что они возвышаются над полем сражения, а враг, к несчастью, уже у самых ворот.

Секуляризация римского Государства, повторим еще раз, — вот исход всякой его честной и серьезной реформы; а с другой стороны, секуляризация в нынешних обстоятельствах оказалась бы не чем иным, как сложением оружия перед врагом — капитуляцией...

Итак, каков же вывод? Значит ли, что римский вопрос в такой его постановке является просто-напросто безвыходным лабиринтом, а папское учреждение из-за подспудного развития скрытого в нем порока последовательно пришло с веками к такому периоду своего существования, когда жизнь, как было кем-то сказано, ощущается лишь как трудность бы-

тия? Поставлен ли Рим, подобно Западу, созданному им по своему образу и подобию, в безвыходное положение? Мы не беремся утверждать обратное...

И вот здесь-то выступает, подобно солнцу, промыслительная логика, управляющая силой внутреннего закона событиями мира*.

Скоро исполнится восемь веков с того дня, как Рим разорвал последнее звено, связывавшее его с православным преданием вселенской Церкви*. Создавая себе в тот день отдельную судьбу, он на многие века определил и судьбу Запада.

Догматические различия, отделяющие Рим от православной Церкви, известны всем*. С точки зрения человеческого разума эти различия, вполне обосновывая разделение, не объясняют в достаточной степени образовавшейся пропасти* — не между двумя Церквями, ибо Вселенская Церковь Одна*, но между двумя мирами, между двумя, так сказать, человечествами, пошедшими под двумя разными знаменами*.

Отмеченные различия не совсем объясняют, как произошедшее тогда отклонение с ис-

тинного пути должно было со всей необходимостью привести к наблюдаемому нами сегодня результату.

Иисус Христос сказал: «Царство Мое не от мира сего»*. Следовательно, нужно понять, как Рим, отпав от Единства, счел себя вправе ради собственного интереса, отождествленного им с интересом самого христианства, устроить Царство Христово как царство мира сего.

Мы хорошо знаем, как очень трудно, среди западных идей и понятий, придать этому слову его законное значение; всегда будет оставаться соблазн толковать его не в православном, но в протестантском смысле. А между этими двумя смыслами лежит расстояние, отделяющее божественное от человеческого*. Однако надо признать, что при всей отделенности столь неизмеримым расстоянием от протестантства православное учение ничуть не приблизилось и к учению Рима — и вот почему.

Рим, и правда, поступил не так, как Протестантизм, и не упразднил Церковь как христианское средоточие в угоду человеческому

я, но он поглотил ее в римском я*. Он не отверг предания, а довольствовался его конфискации ради собственной выгоды. Однако присвоение себе божественного не является ли его отрицанием?.. Вот что устанавливает страшную, но неоспоримую связь сквозь разные времена между зарождением Протестантизма и захватами Рима*. Ибо захват имеет ту особенность, что не только возбуждает бунт, но и создает еще для своей корысти видимость права.

Стало быть, современная революционная школа тут не ошиблась. Революция, представляющая собой не что иное, как апофеоз того же самого человеческого я* в его целостном и полном развитии, не преминула признать за своих и приветствовать как двух славных учителей не только Лютера, но и Григория VII*. Родственная кровь заговорила в ней, и она приняла одного, несмотря на его христианские убеждения, и почти канонизировала второго, хотя тот и был папой.

Но если очевидная связь, сцепляющая три звена этого ряда*, составляет самую сущность исторической жизни Запада, то отправной

точкой такого единства необходимо признать, бесспорно, именно глубокое искажение подлинного христианского начала в навязанном ему Римом устройстве.

В течение веков Церковь на Западе, под покровительством Рима, почти совсем растеряла предписанный ей изначально законом характер. Среди великого человеческого сообщества она перестала быть обществом верных, свободно соединившихся в духе и истине под Христовым законом. Она стала учреждением, политической силой — Государством в Государстве*. По правде сказать, в Средние века Церковь на Западе оставалась лишь римской колонией, устроенной в завоеванной стране.

Именно это устройство, прикрепив Церковь к земным интересам, и предопределило ее, так сказать, смертные судьбы. Воплощая божественный элемент в немощем и брэнном теле, оно привило ему все болезни и похоти плоти. Из такого устройства по провиденциальной неотвратимости для римской Церкви проистекла необходимость войны, материальной войны, необходимость, равно-

значная для церковного установления смертному приговору. В этом устройстве зародилось и столкновение притязаний, вражда интересов, что не могло не привести вскоре к ожесточенной схватке между Священством и Империей — тому поистине нечестивому и святотатственному поединку*, который, длясь все Средние века, нанес на Западе смертельный удар самому принципу власти.

Отсюда столько злоупотреблений, насилий, гнусностей, копившихся веками для подкрепления вещественной власти*, без чего, как полагал Рим, нельзя было обойтись для сохранения Единства Церкви и что, напротив, как и следовало ожидать, в конечном итоге привело к полному краху столь мнимого Единства. Нельзя же отрицать, что взрыв Реформации шестнадцатого века в своем истоке был лишь реакцией чересчур долго уязвляемого христианского чувства против власти Церкви, от которой во многих отношениях оставалось лишь имя. Но так как издавна Рим старательно вклинился между вселенской Церковью и Западом, то вожди Реформации вместо того, чтобы нести свои жалобы на

суд законной и сведущей власти, предпочли взывать к суду личной совести, то есть сделали себя судьями в своем собственном деле.

Вот тот подводный камень, о который разбилась реформа шестнадцатого века. Такая — не в обиду ученым мудрецам Запада будет сказано — истинная и единственная причина, из-за которой движение реформы, христианское в своем зарождении, уклонилось с пути и наконец дошло до отрицания авторитета Церкви, а затем и самого принципа всякого авторитета. Через эту брешь, проделанную Протестантизмом, так сказать, бессознательно, и вторглось позднее в западное общество антихристианское начало.

Такой исход стал неизбежным, ибо предоставленное самому себе человеческое я по своей сущности является антихристианским*. Бунт и злоупотребления этого я возникли, конечно, не в три последних века. Но именно в это время, что оказалось новым, впервые в истории человечества можно было наблюдать, как бунт и злоупотребления человеческого я возводятся в принцип и осуществляются под видом неотъемлемо присущего лич-

ности права.

Менее всего необходимо было вхождение в мир Христианства, чтобы пробудить столь надменные притязания, как менее всего было необходимо присутствие законного государя, чтобы сделать бунт полным, а злоупотребления очевидными.

В течение трех последних веков историческая жизнь Запада была — и не могла не быть — лишь непрерывной войной, постоянной атакой на всякий христианский элемент в составе старого западного общества. Эта разрушительная работа продолжалась долго, так как до нападения на установления необходимо было уничтожить их скрепляющую силу, то есть веру.

Первая французская революция навсегда останется памятной датой мировой истории именно тем, что положила^{*} почин возведению антихристианской идеи на престол правительственного управления политическим обществом.

Дабы убедиться, что эта идея выражает истинный характер и как бы саму душу Революции, достаточно рассмотреть ее основной дог-

мат — новый догмат, привнесенный ею в мир. Речь идет, несомненно, о догмате верховной власти народа*. А что такое верховная власть народа, как не господство человеческого я, многократно умноженного, то есть опирающегося на силу? Все, что не является этим принципом, не может быть Революцией и будет иметь лишь чисто относительное и случайное значение. Вот почему, заметим мимоходом, нет ничего глупее или коварнее, нежели иначе оценивать созданные Революцией политические учреждения. Это боевые орудия, превосходно приспособленные для соответствующего употребления, но вне своего прямого назначения, в упорядоченном обществе, им нельзя было бы вообще найти подходящего применения.

Впрочем, Революция сама позаботилась о том, чтобы не оставить нам ни малейшего сомнения относительно ее истинной природы, так высказав свое отношение к христианству: «Государство как таковое не имеет никакой религии». Вот Символ веры современного Государства и, собственно говоря, та великая новость, которую Революция принесла в мир.

Вот ее собственное, существенное дело — беспримерный факт в истории человеческих обществ.

Впервые политическое общество соглашалось на власть Государства, совершенно чуждого всякого стоящего над человеком высшего освящения; Государства, объявившего, что у него нет души, а если и есть, то она совсем не верующая. Ведь всякий знает, что даже в языческой древности, во всем этом мире по ту сторону креста, находившемся под влиянием вселенского предания, искаженного, но не прерванного язычеством, — город, Государство были прежде всего религиозным учреждением. Это был как бы обломок вселенского предания, который, воплощаясь в отдельном обществе, образовывал как бы независимый центр. Это была, так сказать, местная и овеществленная религия.

Нам хорошо известно, что мнимое невмешательство в область веры со стороны Революции не слишком серьезно. Она чересчур хорошо знает природные свойства своего противника, чтобы не понимать невозможность беспристрастного отношения к нему: «Кто не

со Мною, тот против Меня*». В самом деле, для предложения христианству беспристрастности нужно уже перестать быть христианином. Софизм нового учения разбивается здесь о всемогущую природу вещей. Чтобы это пресловутое невмешательство имело какой-то смысл, а не оставалось лишь обманом и западней, современному Государству следовало бы со всей необходимостью согласиться с отказом от всякого притязания на нравственный авторитет, смириться с ролью простого полицейского учреждения, простого материального факта, неспособного по своей природе выражать какую-либо нравственную идею. Стоит ли всерьез утверждать, что Революция примет такое не только унижительное, но и невозможное условие для созданного ею и представляющего ее Государства? Нет, конечно. Тем более что ее столь хорошо известное учение выводит неправомочность современного закона в вопросах веры из убеждения, будто лишенная всякого сверхъестественного освящения нравственность достаточна для исполнения судеб человеческого общества*. Это положение может быть верным или лож-

ным, но в любом случае оно безусловно представляет целое учение, которое для всякого добросовестного человека равнозначно полнейшему отрицанию христианской истины.

В самом деле, несмотря на пресловутую неправомочность и конституционный нейтралитет в религиозных вопросах, можно наблюдать, как современное Государство везде, где оно устанавливалось, незамедлительно предъявляло по отношению к Церкви тот же авторитет и те же права, что и прежние власти, и требовало их осуществления. Так, например, во Франции, этой по преимуществу стране логики, закон напрасно заявляет, что у Государства как такового нет религии. Ведь в своих отношениях с католической Церковью Государство не перестает себя настойчиво рассматривать совершенно законным наследником христианнейшего Короля — старшего сына этой Церкви.

Восстановим же истину фактов. Современное Государство запрещает государственные религии только потому, что имеет собственную, — и эта религия есть Революция. Если вернуться теперь к римскому вопросу, то

можно легко понять невозможность того положения, в которое стремятся поставить Папство, вынуждая его принять для своей верховной светской власти условия современного Государства. Природа начала, лежащего в основании такого Государства, хорошо известна Папству. Оно инстинктивно понимает ее, и в случае необходимости христианская совесть священника предостережет Папу. Между Папством и этим началом невозможна никакая сделка, которая стала бы не просто уступкой власти, а чистым отступничеством. Но могут спросить, почему бы Папе не принять учреждений без их основного начала? Вот еще одна из иллюзий так называемого умеренного мнения, считающего себя необыкновенно рассудительным, а на самом деле свидетельствующего об отсутствии ума. Как будто учреждения могут отделяться от создавшего и оживляющего их начала... Как будто обездушная материальная часть учреждений не является лишь мертвым, бесплодным и громоздким грузом? Впрочем, политические учреждения всегда в конечном итоге обретают то значение, какое им приписывается, не

теми, кто их дает, а теми, кто их получает, — особенно если они навязываются.

Если бы Папа оставался только священником, то есть если бы Папство хранило верность своему происхождению, Революция не сумела бы подчинить его себе, поскольку преследования еще не являются овладением. Однако Папство отождествило себя с преходящим и гибельным элементом, делающим его теперь доступным для ударов Революции. Вот тот залог, который римское Папство много веков назад авансом выдало Революции.

Как уже было сказано, здесь ярко проявилась верховная логика промыслительного действия. Из всех учреждений, порожденных Папством со времени его отделения от православной Церкви, установление светской власти Папы, несомненно, наиболее углубило, усугубило и укрепило этот разрыв. И именно об это установление, мы видим сегодня, и спотыкается Папство.

Конечно, давно уже мир не созерцал подобного зрелища, которое представляла несчастная Италия в последнее время* перед ее новыми бедствиями. Давно уже ни одно

положение, ни один исторический факт не обретали столь странного облика. Иногда случается, что накануне какого-нибудь большого несчастья людьми овладевает без всякой видимой причины приступ безумной радости, неистового веселья, — здесь же целый народ оказался одержим такого рода припадком*. И эта горячка, этот бред поддерживались и распространялись месяцами. Была минута, когда они, подобно электрическому току, пронзили все слои и сословия общества, и лозунгом всеобщего и напряженного безумия оказалось имя Папы!..*

Сколько раз бедный христианский священник должен был вздрагивать в затворнической тишине при звуках этой оргии, делавшей его своим кумиром! Сколько раз эти вопли любви, эти судороги восторга зарождали, наверное, горестное изумление и сомнение в его христианской душе, отданной на растерзание столь ужасающей популярности!

Более же всего Папу должно было удручать то, что в основании этой огромной популярности, за всей этой безудержной экзальтацией толпы, какой бы оголтелой она ни была,

он не мог не видеть расчета и задней мысли.

Впервые выказывали стремление поклоняться Папе и одновременно старались отделить его от Папства*. Более того: все эти почести и преклонения воздавались лишь одному человеку потому, что в нем надеялись обрести сообщника в борьбе против самого установления. Одним словом, захотели чествовать Папу, сжигая Папство в огне фейерверка. Такое положение становилось тем более устрашающим, что несомненный расчет и задняя мысль не только содержались в намерениях партий, но и обнаруживались в стихийном инстинкте толпы. И решительно ничто не могло лучше обнажить всю фальшь и лицемерие сложившейся ситуации, нежели зрелище апофеоза главы католической Церкви в тот самый момент, когда развязалось наиболее ожесточенное гонение на иезуитов*.

Орден иезуитов* всегда будет доставлять немалое затруднение для Запада: это одна из тех загадок, ключ от которых находится в другом месте. Можно уверенно утверждать, что иезуитский вопрос слишком сокровенно касается религиозной совести Запада, чтобы он

мог когда-нибудь вполне удовлетворительно разрешить его.

В поисках справедливой оценки в разговоре об иезуитах нужно прежде всего оставить без внимания всех тех людей (а имя им легион), для кого слово «иезуит» является лишь паролем, военным кличем. Конечно, самая красноречивая и убедительная из всех апологий этого знаменитого ордена заключается в той яростной и непримиримой ненависти, которую питают к нему все враги Христианской Религии. Соглашаясь с этим, нельзя тем не менее скрыть от себя, что многие католики — и притом наиболее искренние и наиболее преданные своей Церкви, от Паскаля до наших дней, — не переставали из поколения в поколение испытывать явное и непреодолимое отвращение к ордену иезуитов*. Такое расположение духа значительной части католического мира создает, по-видимому, одно из самых потрясающих и трагических положений, в какие только может быть поставлена человеческая душа.

В самом деле, можно ли вообразить более глубокую трагедию, нежели раздирающая

сердце человека борьба между чувством религиозного благоговения (набожным чувством, превосходящим сыновнюю любовь) и гнусной очевидностью, когда он силится отвергнуть и подавить свидетельство собственной совести, лишь бы не признаться себе в существовании истинной и бесспорной связи между предметами своего обожания и отвращения. Между тем таково положение всякого верного католика, ослепленного своей враждебностью к иезуитам и старающегося скрыть от себя несомненный и очевидный факт — глубокую внутреннюю связь между устремлениями, учениями и судьбами ордена с устремлениями, учениями и судьбами римской Церкви*, а также полную невозможность их отделения друг от друга без органического повреждения и существенного ущерба. Ибо если освободиться от всякой предвзятости, от всяких партийных, групповых и даже национальных интересов, если, настроив ум на совершенную беспристрастность, а сердце наполнив христианским милосердием, чисто-сердечно спросить у истории и у окружающей действительности: что же такое иезуи-

ты? Вот какой, по нашему разумению, должен последовать ответ: иезуиты — это люди, исполненные пламенной, неутомимой, часто геройской ревности к христианскому делу*, но тем не менее повинные в великом преступлении перед христианством. Подчиненные человеческому я — не как отдельные личности, а как целый орден, — они посчитали дело христианства настолько нераздельным с их собственным, что в пылу своих хлопот и в волнении битвы совсем забыли слово Учителя: «...не Моя воля, но Твоя да будет!»*. В конце концов они стали добиваться победы Божией любой ценой, только не ценою своего личного искупления. Впрочем, это заблуждение, укорененное в первородном грехе человека* и имевшее для христианства неисчислимые последствия, свойственно не только одному Обществу Иисуса. Это заблуждение и устремление настолько роднит орден с самой Церковью Рима, что оно-то, как можно с полным правом полагать, и связывает их поистине органическим родством и подлинными кровными узами. Именно такая общность и совпадение устремлений делает иезуитский

орден сгущенным, но совершенно верным выражением римского католичества; говоря до конца, он и является самым римским католичеством, но в состоянии энергичного действия и воинственности.

Вот почему этот орден, *«раскачиваясь от века к веку»*, колеблясь между гонениями и триумфом*, поношениями и славой, никогда не находил, да и не мог бы найти на Западе ни достаточно беспристрастного религиозного убеждения для его оценки, ни правомочного религиозного авторитета для суда над ним. Часть западного общества, решительно порвавшая с христианским принципом, нападает на иезуитов лишь для того, чтобы под покровом их непопулярности вернее наносить удары своему истинному врагу. Что же касается католиков, оставшихся преданными Риму, но оказавшихся противниками ордена, то они лично, как христиане, могли бы быть и правы; однако, как римские католики, они безоружны перед орденом, ибо, нападая на него, постоянно подвергают себя опасности задеть саму римскую Церковь.

Но не только против иезуитов, этой живой

силы католичества, стремились использовать полупритворную и полуискреннюю популярность, в которую облачили папу Пия IX. На него рассчитывала и другая партия — за ним оставляли иное призвание.

Сторонники национальной независимости надеялись, что полная секуляризация Папства для осуществления их целей позволила бы тому, кто прежде всего является священником, согласиться стать знаменосцем итальянской свободы. Таким образом, два самых живых и властных чувства современной Италии — отвращение к светскому господству духовенства и традиционная ненависть к иноземцу, к варвару, к немцу* — сообща требовали, каждое в своих интересах, участия Папы в их деле. Все его славили и даже боготворили, как бы условившись, что он делается слугою всех, однако совсем не в смысле христианского смирения.

Среди общественных мнений и политических влияний, которые, предлагая ему свою поддержку, всячески домогались его покровительства, было одно, наделавшее ранее шума благодаря его нескольким проповедникам и

истолкователям — людям с незаурядным литературным даром*. Если верить наивно честолюбивым учениям этих политических теоретиков, то современная Италия, под покровительством Понтификата*, вскоре должна вернуть себе вселенское первенство и в третий раз овладеть мировым скипетром*. То есть в то время, когда здание Папства сотрясилось до самых оснований, они всерьез советовали Папе перещеголять Средние века и предлагали ему ввести нечто вроде христианского Халифата* — при условии, разумеется, если новая теократия действовала бы в интересах итальянской нации.

И правда, нельзя не изумляться той склонности к химерическому и невозможному, которая владеет умами в наши дни и составляет отличительную черту нашего века. Должно быть, есть действительное сродство между утопией и Революцией*, ибо, как только последняя на мгновение изменяет своим привычкам и вместо разрушения берется созидать, она всякий раз неизбежно впадает в утопию. Ради справедливости надо уточнить, что та, на которую мы сейчас намекнули, яв-

ляется еще одной из самых безобидных утопий.

Наконец, в сложившемся положении вещей наступила такая минута, когда двусмысленное состояние оказалось невозможным, а Папство, для возвращения своего права, осознало необходимость резко порвать отношения с мнимыми друзьями Папы. Тогда и Революция, в свою очередь, сбросила маску и предстала перед миром в облике Римской республики*.

Что касается этой партии, то она теперь известна, ее видели в деле. Она является истинной, законной представительницей Революции в Италии. Эта партия считает Папство своим личным врагом, из-за содержащегося в нем христианского элемента. И потому она не хочет терпеть его, даже для использования в собственных интересах. Она хотела бы просто упразднить его и по сходным соображениям покончить со всем прошлым Италии: дескать, все исторические условия ее существования были запятнаны и заражены католицизмом, а потому у партии остается право, по чисто революционной абстракции, связать

замышляемое государственное устройство с республиканскими традициями древнего Рима*.

В этой прямолинейной утопии примечательно то, что, несмотря на печать глубоко антиисторического характера, она продолжает хорошо известную в истории итальянской цивилизации традицию. В конце концов она являет классическое воспоминание о древнем языческом мире, языческой цивилизации. Эта традиция играла огромную роль в истории Италии, увековечилась через все ее прошлое, имела своих представителей, героев и даже мучеников и, не довольствуясь почти исключительным господством в искусствах и литературе страны, не раз пыталась сложиться политически для овладения всем обществом в целом. И замечательно, что всякий раз, как эта целенаправленная традиция пыталась возродиться, она неизменно появлялась, подобно призраку, в одном и том же месте — в Риме.

Революционное начало не могло не принять в себя и не усвоить дошедшую до наших дней традицию, поскольку та заключала в се-

бе антихристианскую мысль. Теперь эта партия разгромлена и власть Папы по видимости восстановлена*. Однако следует согласиться, что если нечто могло еще увеличить груз роковых обстоятельств, заключенных в римском вопросе, так это именно французское вмешательство*, давшее двойной результат.

Расхожее мнение, ставшее общим местом, видит в этом вмешательстве, как обычно случается, лишь безрассудный поступок или оплошность французского правительства. И правда, если французское правительство, вмешиваясь в этот сам по себе неразрешимый вопрос, не могло себе признаться, что для него он еще более неразрешим, чем для кого-либо другого, то данное обстоятельство лишь доказывает его полное непонимание как собственного положения, так и положения Франции... что, впрочем, весьма возможно.

Вообще в Европе за последнее время слишком привыкли заключать оценку действий или, скорее, поползновений французской политики ставшей пословицей фразой: «Франция сама не знает, чего хочет». Это, может

быть, и правда, но для вящей справедливости следовало бы добавить: «Франция и не может знать, чего она хочет». Ведь для такого знания необходимо прежде всего обладать *Единой* волей, а Франция вот уже шестьдесят лет, как обречена иметь две воли.

И здесь речь идет не о разногласии, не о расхождении политических или иных мнений, что встречается во всякой стране, где общество в силу роковых обстоятельств оказалось под управлением партии. Речь идет о гораздо более важном факте — о постоянной, существенной и навеки непримиримой вражде, которая в течение шестидесяти лет составляет, так сказать, внутреннюю суть народной совести во Франции. Сама душа Франции раздвоена*.

Овладев этой страной, Революция сумела ее глубоко потрясти, изменить, исказить, но ей не удалось и никогда не удастся полностью присвоить ее. Что бы она ни предпринимала, в нравственной жизни Франции есть такие начала и элементы, которые всегда будут ей сопротивляться, — по крайней мере до тех пор, пока Франция будет существовать в

подлунном мире. К таковым можно отнести католическую Церковь с ее верованиями и обучением, христианский брак и семью и даже собственность. С другой стороны, можно предвидеть, что Революция, вошедшая не только в кровь, но и в душу этого общества, никогда не решится добровольно отдать добычу. И поскольку в истории мира мы не знаем ни одной заклинательской формулы, приложимой к целому народу, следует весьма опасаться, как бы такое состояние непрерывной внутренней борьбы, постоянного и, так сказать, органического раздвоения не стало надолго естественным условием существования нового французского общества.

Вот почему уже шестьдесят лет в этой стране революционное по своему принципу Государство присоединяет к себе, берет на буксир лишь взбудораженное общество, а между тем правительственная власть, которая распространяется и на то, и на другое, не имеет возможности их примирить, оказывается роковым образом обреченной на ложное и шаткое положение, окружена опасностями и поражена бессилием. Поэтому с тех пор пра-

вительства Франции (кроме одного, правительства Конвента в период Террора*), несмотря на различия в их происхождении, учениях и устремлениях, имели нечто общее: все они, не исключая и появившегося на следующий день после февральского переворота, гораздо более претерпевали Революцию, нежели представляли ее. Да иначе и быть не могло. Ведь только подвергаясь ее воздействию и одновременно борясь с ней, они могли жить. Однако мы не погрешим против истины, если скажем, что все они до сих пор погибали при исполнении этой задачи.

Как же подобная власть, столь нерешительная по природе и мало уверенная в своем праве, могла бы иметь какой-то шанс на успех, вмешиваясь в такой вопрос, как римский? Становясь посредником или судьей между Революцией и Папой, она никак не могла надеяться примирить то, что непримиримо по самой своей природе. С другой же стороны, она не могла решить тяжбу в пользу одной из противоборствующих сторон, не поранив себя и не отринув, так сказать, своей собственной половины. Столь обоюдоострое

вмешательство, сколь бы ни было оно при-
тупленным, могло лишь еще более запутать
безвыходное положение, раздражить и рас-
травить рану. И в этом власть вполне пре-
успела.

Каково сейчас истинное положение Папы
по отношению к его подданным? И какова ве-
роятная судьба новых учреждений, которые
он им дал? Здесь, к сожалению, правомерны
лишь самые печальные предположения, а со-
мнение неуместно.

Теперешнее положение продолжает ста-
рый порядок вещей, предшествовавший ны-
нешнему правлению и уже тогда рушивший-
ся под грузом своей невозможности, но гораз-
до более обремененный затем всем, что слу-
чилось с тех пор: в мире нравственном —
огромными разочарованиями и предатель-
ствами, в мире материальном — всеми на-
копленными разорениями.

Известен этот порочный круг, в котором,
как мы наблюдаем уже сорок лет*, крутятся и
барахтаются столько народов и правительств.
Управляемые принимали уступки со стороны
власти лишь за частичное погашение задол-

женности, выплачиваемое против собственной воли недобросовестным должником. Правительства же видели в обращенных к ним прошениях только козни лицемерного врага. Такое положение вещей и взаимное недоверие, отвратительное и развращающее всегда и везде, здесь еще более усугубляется особо священным характером власти и совершенно исключительной природой ее отношений со своими подданными. Ибо, повторим еще раз, в сложившейся ситуации, когда не только из-за человеческих страстей, но самую силой обстоятельств все движется по наклонной плоскости, любая уступка, любое преобразование, хотя бы немного искреннее и серьезное, неизбежно толкает римское Государство к полной секуляризации. Секуляризация — вот, вне всякого сомнения, последнее слово нынешнего положения. Однако Папа даже в обыкновенное время не вправе допустить ее, поскольку светская власть принадлежит не ему лично, а является достоянием римской Церкви. Теперь же, при убежденности, что секуляризация, даже если бы она и способствовала удовлетворению насущных нужд, долж-

на обернуться в конечном итоге на пользу заклятого врага не только его власти, но и всей Церкви, Папа еще менее мог бы согласиться на нее. Допустить ее — значило бы сделаться виновным сразу в отступничестве и предательстве. Вот положение Власти. Что же касается подданных, то, как очевидно, закоренелая, составляющая народный дух римлян неприязнь к господству духовенства не уменьшилась после череды последних событий.

И если, с одной стороны, уже одного подобного расположения умов достаточно для превращения самых великодушных и благонамеренных реформ в мертворожденное дитя, то, с другой стороны, неудача таких преобразований может лишь бесконечно усилить общее раздражение, утвердить общественное мнение в ненависти к восстановленной власти — *и привлечь в стан врага новых бойцов.*

Положение, конечно, совершенно при-
скорбное, и оно несет на себе печать провиденциальной кары*. Ибо нельзя вообразить для христианского священника более ужасной беды, нежели видеть себя облеченным

властью, исполнение которой роковым образом ведет к гибели душ и разрушению Религии!.. Нет, разумеется, столь жестокое и противоестественное положение продлиться долго не сможет. Наказание это или испытание, в любом случае немыслимо, чтобы римское Папство еще надолго оставалось заключенным в таком огненном кругу и милосердный Бог не пришел ему на помощь и не открыл пути, чудесного, неопровержимого, непредвиденного исхода — или, лучше сказать, ожидаемого уже многие века.

Возможно, еще много терзаний и катастроф отделяют Папство и подвластную ему Церковь от этого мгновения, и они находятся лишь в самом начале бедственных времен. Ведь то будет не ничтожный огонь, не маленький пожар на несколько часов, а огромное пламя, которое, пожирая и обращая в пепел целые века суетных забот и антихристианской вражды, сокрушит наконец роковую преграду, заслоняющую желанный исход.

И как при виде всего происходящего в присутствии нового устройства злого начала, самого изобретательного и чудовищного из ко-

гда-либо виденного людьми, перед лицом этого организованного и всесторонне вооруженного мира зла с его церковью безверия и его мятежным правительством, — как, спрашиваем мы, можно было бы запретить христианам надеяться, что Бог соблаговолит соразмерить силы Своей Церкви с предназначенной ей новой задачей? Что накануне готовящихся битв Он соблаговолит восстановить всю полноту ее сил и Сам в положенный час придет и Своей милосердной рукой уврачует рану, нанесенную ее телу рукой человеческой, — ту открытую рану, которая уже восемьсот лет не перестает кровоточить!..*

Православная Церковь никогда не теряла надежды на такое исцеление. Она ждет его, рассчитывает на него — не только с верой, но и с уверенностью. Как *Единому* по своему началу и *Единому* в Вечности не восторжествовать над разъединением во времени? Вопреки многовековому разделению и всем человеческим предубеждениям она всегда признавала, что христианское начало никогда не погибало в римской Церкви* и что оно в ней всегда сильнее людских заблуждений и стра-

стей. Поэтому она глубоко убеждена, что христианское начало окажется сильнее всех его врагов. Православная Церковь знает и то, что теперь, как и в продолжение многих веков, судьбы христианства на Западе все еще находятся в руках римской Церкви, и надеется, что в день великого воссоединения та возвратит ей неповрежденным сей священный залог.

Да будет нам позволено в заключение напомнить один эпизод, связанный с посещением Рима русским Императором* в 1846 году. Там, вероятно, еще не забыли всеобщего одушевления, с каким было встречено его появление в храме Святого Петра — появление православного Императора в Риме после многовекового отсутствия! Помнится, может быть, и электрический ток, пробежавший по толпе, когда он стал молиться у гроба Апостолов. Это волнующее чувство было правым и законным. Коленопреклоненный Император стоял там не один — вместе с ним, преклонив колена, пребывала вся Россия. Будем надеяться, что он не напрасно молился перед святыми мощами.

Россия и Запад*

<ГЛАВА I>

<1>

Положение дел в 1849 году

Февральское движение*, по свойственной ему внутренней логике, должно бы привести к крестовому походу всего *охваченного Революцией* Запада против России... Но этого не произошло, что является доказательством отсутствия у Революции необходимой жизненной силы — даже для осуществления значительного разрушения. Иначе говоря, Революция — болезнь, пожирающая Запад, а не душа, сообщающая ему движение и развитие.

Отсюда проистекает возможность реакции, подобно той, что была вызвана июньскими днями прошлого года*. Это реакция еще не пораженных частей страдающего организма против последовательного распространения недуга. Это июньское сопротивление и все другие, вызванные им в последующем, — значительное событие, великое Откровение. Теперь ясно, что Революция нигде

не может надеяться на *правление*. И даже если она захватит Власть хотя бы на краткий миг, то породит лишь гражданскую войну. То есть она подточит и разложит общество, но не сможет ни овладеть им как таковым, ни управлять им от своего имени. Вот достигнутый результат, и он огромен. Ибо он свидетельствует не только о немоци Революции, но и о бессилии Запада. Всякое действие вонне ему воспрещено*. Он в корне расколот.

Сейчас Революция материально обезоружена. Подавление июньских выступлений 1848 года парализовало ей руки, а победа России в Венгрии* вынудила ее выронить оружие. Само собой разумеется, что и, будучи обезоруженной, Революция тем не менее полна жизни и мощи. Пока она ретируется с поля битвы и оставляет его победителям. Как они воспользуются своей победой?..

И прежде всего, как понимают сложившееся положение вещей законные Власти на Западе? Ибо, чтобы предрешать характер своих будущих отношений с Революцией, им следовало бы заранее определить, каковы нравственные условия их собственного существо-

вания. Одним словом, каков тот символ веры, который они могут противопоставить символу Революции?

Что касается революционного символа, мы его знаем и именно поэтому прекрасно понимаем, откуда проистекает его непреодолимое влияние на Запад, — ошибки более невозможны, всякая двусмысленность, вольная или невольная, стала бы отныне неуместной.

Революция, если рассматривать ее самое существенное и простое первоначало, есть естественный плод, последнее слово, высшее выражение того, что в продолжение трех веков принято называть цивилизацией Запада. Это вся современная мысль после ее разрыва с Церковью*.

Сия мысль такова: человек в конечном итоге зависит только от самого себя — в управлении как своим разумом, так и своей волей. Всякая власть исходит от человека, а всякий авторитет, ставящий себя выше человека, есть либо иллюзия, либо обман. Одним словом, это апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле слова*.

Таково, кто не знает, изначальное верова-

ние революционной школы; но, серьезно говоря, разве общество Запада, цивилизация Запада имеет другое верование?..

А Власти предрержащие этого общества, не имевшие для жизни во многих поколениях иной умственной среды, как они теперь смогут выбраться из нее? И как, не выходя из нее, они сумеют найти нужную точку Архимеда для опоры своего рычага?

Напрасно сам г-н Гизо теперь громко выступает против европейской демократии*, напрасно упрекает ее в самопоклонении, находя в нем начало всех ее ошибок и недостойных деяний: западная демократия, превратив себя в предмет собственного культа, надо признаться, всего лишь навсего слепо следовала инстинктам, которые развивались в ней благодаря вам и вашим собственным доктринам более чем кому бы то ни было. В самом деле, кто более вас и вашей школы* столь требовательно и настойчиво отстаивал права независимости человеческого разума; кто учил нас видеть в религиозной Реформации XVI-го века не столько противодействие злоупотреблениям и незаконным притязаниям

римского католицизма, сколько эру окончательного высвобождения человеческого разума;* кто приветствовал в современной философии научную формулу сего высвобождения и превозносил в революционном движении 1789 года пришествие во власть и во владение современным обществом этого столь раскрепощенного разума, что он не находит иной зависимости, как только от самого себя? И как хотите вы, чтобы после подобных наставлений человеческое я, эта основная определяющая молекула современной демократии, не стало бы своим собственным идолопоклонником?* И наконец, кого оно должно, по вашему, обожать, если не самого себя, поскольку для него нет никакого другого авторитета? Поступая иначе, оно, право, выказывало бы скромность.

Итак, согласимся, что Революция, бесконечно разнообразная в своих этапах и проявлениях, едина и тождественна в своем главном начале, и именно из этого начала, необходимо признать, вышла вся нынешняя западная цивилизация.

Мы не скрываем от себя огромного значе-

ния такого признания. Мы слишком хорошо знаем, что изложенный нами факт накладывает на последнюю европейскую катастрофу печать наиболее трагической эпохи среди всех эпох мировой истории. Весьма вероятно, что мы присутствуем при банкротстве целой цивилизации...

И в самом деле, вот уже на протяжении многих и многих поколений мы видим, как все вы, люди Запада, — народы и правительства, богатые и бедные, ученые и невежды, философы и светские люди, — все вы вместе читаете в одной и той же книге, в книге эмансипированного человеческого разума, и вот в феврале 1848 года некоторых из вас, самых нетерпеливых и авантюрных, посетила внезапная фантазия перевернуть последнюю страницу этой книги и прочесть уже известное вам страшное откровение...* Теперь напрасно возмущаться, сплочаться против смельчаков. Увы, как сделать, чтобы прочитанное оказалось непрочитанным... Удастся ли опечатать эту чудовищную последнюю страницу? Вот в чем заключается вопрос.

Я хорошо знаю, что полнота жизни в чело-

веческом обществе не исчерпывается той или иной доктриной или тем или иным началом, что независимо от них возникают материальные интересы, способные более или менее обеспечить в обычное время существование жизни, а инстинкт самосохранения, как в любом живом организме, может какое-то время энергично сопротивляться неизбежному разрушению. Но инстинкт самосохранения, которому никогда не удавалось спасти какую-либо разгромленную армию, сумеет ли долго и надежно защищать разлагающееся общество?

Правда, на сей раз Власти предержавшие, а вслед за ними и общество еще отразили последнюю атаку Революции. Но разве современная цивилизация, либеральная цивилизация Запада сохранила и защитила себя от нападавших врагов с помощью своих собственных сил и законного оружия?

Конечно, если в истории последнего времени и было в высшей степени значительное событие, то, несомненно, вот какое: на следующий же день после провозглашения европейским обществом всеобщего избирательно-

го права верховным судьей своих судеб* оно было вынуждено ради спасения цивилизации обратиться к вооруженной силе*, к военной дисциплине. А чем является вооруженная сила, военная дисциплина, как не наследием, если угодно, обломком старого мира, уже давно затопленного. И тем не менее, цепляясь именно за этот обломок, современное общество смогло спастись от нового потопа, готового вскоре поглотить и его.

Но если военное подавление, являющееся при устоявшемся порядке вещей лишь аномалией, лишь счастливой случайностью, в определенный момент сумело спасти находившееся под угрозой общество, то достаточно ли этого для обеспечения его будущности? Одним словом, сможет ли осадное положение когда-либо стать системой правления?..*

И, повторим еще раз, Революция не только враг из крови и плоти. Она более чем Принцип. Это Дух, Разум, и, чтобы его победить, следовало бы обрести умение с ним справляться.

Мне хорошо известно, что последние события породили во всех умах чрезвычайные со-

мнения и огромные разочарования в революционной мудрости своих отцов. Пустая бесполезность достигнутых результатов стала для них ощутимой. Но если иллюзии, которые уже можно было бы назвать вековыми заблуждениями, развеялись последней бурей, то никакая другая вера не заменила их... Сомнение только углубилось, вот и все. Ибо современная мысль может успешно сражаться не с Революцией, а с теми или иными ее следствиями — с социализмом, коммунизмом и даже атеизмом. Однако ей надо было бы отречься от себя самой, дабы уничтожить основополагающий революционный Принцип. Вот почему еще западное общество, выражающее эту мысль, видя себя после февральской катастрофы на краю пропасти, смогло инстинктивным движением отпрянуть от нее; но ему потребовались бы крылья, чтобы преодолеть эту пропасть, или чудо, еще не случившееся в истории человеческого Общества, чтобы вернуться вспять.

Таково настоящее положение дел в мире. Оно, несомненно, ясно для Божественного Провидения, но неразрешимо для современ-

ного разума*.

Именно под воздействием подобных обстоятельств Власть предрержащие на Западе призваны руководить Обществом, укреплять и упрочивать его на прежних основах, и они вынуждены заниматься этим делом с помощью инструментов, полученных из рук Революции и изготовленных для ее потребностей.

Однако независимо от этой задачи общего умиротворения, единой для всех правительств, у каждого из крупных государств на Западе есть еще свои отдельные вопросы, которые являются плодом и как бы итогом их особенной истории и которые, будучи, так сказать, поставленными на обсуждение историческим Промыслом, требуют неизбежного решения. Именно на эти вопросы и накинута европейская Революция в разных странах, но она сумела найти там лишь поле битвы против Власть и Общества. Теперь, когда все ее усилия и попытки потерпели позорное поражение и вместо разрешения вопросов она их только обострила, правительства должны, в свою очередь, пытаться их разрешить в присутствии и, если так можно выра-

зиться, под присмотром побежденного ими противника.

Но прежде всего перейдем к обозрению различных вопросов.

<2>

Для того, кто на месте понимающего, но *стороннего* свидетеля наблюдает за происходящим в Западной Европе, нет, конечно же, ничего более примечательного и поучительного, чем, с одной стороны, постоянное разногласие, очевидное и неизбывное противоречие между господствующими там идеями, между тем, что в действительности надлежит называть мнением века, общественным мнением, либеральным мнением, и реальностью фактов*, ходом событий, а с другой стороны — столь малое впечатление, которое этот разлад, это так бросающееся в глаза противоречие, кажется, производит на умы.

Для нас, смотрящих *со стороны*, несомненно, нет ничего легче, чем отличать в Западной Европе мир фактов, исторических реальностей от огромного и навязчивого миража, которым революционное общественное мнение, вооруженное периодической печатью,

как бы прикрыло Реальность. И в этом-то мире уже 30–40 лет живет и движется, как в своей естественной среде, эта столь фантастическая, сколь и действительная сила, которую называют Общественным Мнением*.

Странная вещь в конечном счете эта часть <общества> — Публика*. Собственно говоря, именно в ней и заключена жизнь народа, избранного народа Революции*. Это меньшинство западного общества (по крайней мере, на континенте), благодаря новому направлению, порвало с исторической жизнью масс и сокрушило все позитивные верования... Сей безымянный народец одинаков во всех странах. Это племя индивидуализма, отрицания. В нем есть, однако, один элемент, который при всей своей отрицательности служит для него связующим звеном и своеобразной религией. Это ненависть к авторитету в любых формах и на всех иерархических ступенях, ненависть к авторитету как изначальный принцип*. Этот совершенно отрицательный элемент, когда речь идет о созидании и сохранении, становится ужасающе положительным, как только встает вопрос о ниспровер-

жении и уничтожении. И именно это, заметим попутно, объединяет судьбы представительного правления на континенте. Ибо то, что новые учреждения называли по сей день представительством, не является, что бы там ни говорили, самим обществом, реальным обществом с его интересами и верованиями*, но оказывается чем-то абстрактным и революционным, именуемым публикой, выразителем мнения, и ничем более. И поэтому этим учреждениям удавалось искусно подстрекать оппозицию, но нигде до настоящего времени они не сумели создать хотя бы одно правительство...

И тем не менее действительный мир, мир исторической реальности, даже под чарами миража оставался самим собой и продолжал идти своим путем совсем рядом с этим миром общественного мнения, который, благодаря общему согласию, также приобрел какое-то подобие реальности.

<3>

После того как революционная партия представила нам зрелище своей немощи, теперь наступает черед правительств, которые

не замедляют доказать, что если они еще достаточно сильны для противостояния полному разрушению, то для восстановления и какого-либо перестраивания у них более нет достаточных сил. Они похожи на тех больных, которым удается одолеть недуг, но только после того как он глубоко разложил организм, и их жизнь отныне становится лишь медленной агонией. 1848 год явился землетрясением*, которое обрушило не все поколебленные им здания, однако те, что устояли, оказались в таких трещинах, что их окончательный обвал неминуем в любой момент.

В Германии междоусобная война составляет самую основу ее политического положения*. Сейчас это более, чем когда-либо, Германия Тридцатилетней войны* — Север против Юга, разрозненные государства против единой Власти, — но все неизмеримо возросло под воздействием революционного принципа. В Италии теперь не только, как прежде, соперничество с Германией и Францией или ненависть Италии к пребывающему за горами Варвару*. Налицо, кроме того, смертельная война, объявленная Революцией, взявшей на

вооружение итальянское национальное чувство, опороченному римским Папством католицизму*. Что же до Франции, которая не может более существовать без отречения на каждом шагу от того, что вот уже 60 лет составляет ее жизненный принцип*, от Революции, — это страна, по логике вещей и воле рока приговоренная к бессилию. Это общество, приговоренное инстинктом самосохранения прибегать к услугам одной своей руки лишь только для того, чтобы связать другую.

Таково, на наш взгляд, сегодняшнее положение на Западе. Революция, являющаяся логическим следствием и окончательным итогом современной цивилизации, которую антихристианский рационализм отвоевал у римской Церкви*, — Революция, фактически убедившаяся в своем абсолютном бессилии как организующего начала и почти в таком же могуществе как начала разлагающего, — а с другой стороны, остатки элементов старого общества в Европе, еще достаточно живучие, чтобы при необходимости отбросить до определенной отметки материальное воздействие Революции, но столь пронизанные, насыщенные

ные и искаженные революционным принципом, что они оказались как бы беспомощными создавать что-либо могущее вообще приниматься европейским обществом в качестве законной власти, — вот дилемма, ставящаяся сейчас во всей ее огромной важности. Частичная неопределенность, сохраняющаяся за будущим, затрагивает один-единственный пункт: неизвестно, сколько времени нужно для того, чтобы подобное положение породило все эти последствия. Что касается природы этих последствий, то предугадать их можно было бы, лишь полностью выйдя за пределы западной точки зрения и смирившись для понимания простой истины, а именно: европейский Запад является лишь половиной великого органического целого, и по видимости неразрешимые затруднения, терзающие его, найдут свое разрешение только в другой половине...*

<МАТЕРИАЛЫ К ТРАКТАТУ «РОССИЯ И ЗАПАД»>

<Программы трактата>

<1>

<2>

РОССИЯ И ЗАПАД

I. Общее положение дел.

I. Положение дел в 1849 году.

II. Римский вопрос.

II. Римский вопрос.

III. Италия.

III. Италия.

IV. Германское единство.

IV. Германское единство.

V. Австрия.

V. Австрия

VI. Россия.

VI. Россия.

VII. Россия и Наполеон.

VII. Россия и Наполеон.

VIII. Будущность.

VIII. Россия и Революция.

IX. Будущность.

<МАТЕРИАЛЫ К ГЛАВЕ III>

<1>

Италия

Чего хочет Италия? Истинного, ложного и надуманного.

Истинное: независимость, муниципальная самостоятельность с федеральной связью —

изгнание чужеземца, немца*.

Ложное: классическая утопия — единая Италия*. С Римом во главе. Римская реставрация*.

Откуда эта утопия? Ее происхождение — ее роль в прошлом и до наших дней.

Две Италии. Италия народа, масс, действительности. — Италия книжников, ученых, революционеров, от Петрарки до Мадзини*.

Совершенно особая роль этого направления книжников в Италии. Его значение: это традиция древнего Рима, языческого Рима*. — Почему этот призрачный образ наиболее реален в Италии, чем в других местах.

Римская Италия* была завоеванной Италией. Вот почему единство Италии, как его понимают эти господа*, является римским, а никак не итальянским фактом.

Италия тогда принадлежала Риму, потому что Рим владел *Империей**. Что такое *Империя*? Это передача полномочий*, жалуемые ею права. Сии права теряются, как только полномочия отменяются, — их утрачивают вместе с Империей. Так именно и произошло с Римом. Но поскольку имперского престола больше

нет в Италии, в ней не находится места и для этого искусственного единства. — Она с полным правом возвращает себе свою независимость и свои местные самоуправления.

Удаление Империи из Рима и перенос ее на Восток* — это христианская мысль, которую языческая мысль стремится отрицать*. Вот почему языческая мысль неправильно судит об истинном положении дел в Италии. Италия, предоставленная свободе своих действий, но лишенная Империи, есть

Италия, лишенная Империи, но неспособная обходиться без имперской власти.

Имперская власть: это единая связка прутьев.

Почему эта власть никогда не занимала принадлежащего ей места — Папство парализовало ее.

Борьба Папства и Империи — ее последствия для Италии.

Римское Папство и германская Империя. Оба — захватчики в отношении к Востоку — сначала *сообщники*, а потом *враги*. Италия — добыча, оспариваемая ими друг у друга*. — Отсюда все ее беды.

Беглый взгляд на эту плачевную историю.

Оба призывают в Италию чужеземца, который прочно там устраивается. Папство, хотя и значительно умаленное, продолжает хранить и стеречь Рим, центр мира. Рухнувшая Империя завещает Италию австрийскому господству*. Последняя схватка: Австрия более чуждая, чем когда-либо. Италия, как никогда, раздираемая и терзаемая. Папство сближается с Австрией*. Дело Независимости все более отождествляется с революционным делом*. — Огромная важность положения.

Французское вмешательство, в пользу Революции, только осложняет это положение*. Раздор. Внутренняя борьба всех элементов между собой.

Единственно возможный выход.

Империя восстановлена*. Папство секуляризировано...*

<2>

<Италия>

Две вещи по обыкновению одинаково ненавидимы в Италии:* *tedeschi*[3] и *preti*.[4]

Какая сила теперь оказалась бы в состоянии освободить Италию от одних и от других,

не позволяя Революции одержать победу и не разрушая Церковь? Такая сила, если она существует, является прирожденной покровительницей Италии*.

<3>

Папа лицом к лицу с Реформацией*.

Римский вопрос в настоящее время неразрешим. Он мог бы быть разрешен только на путях возвращения римской Церкви в лоно Православия*.

Есть только одна мирская власть, опирающаяся на вселенскую Церковь*, которая была бы в состоянии преобразовать Папство, не разрушая Церковь.

Такая власть никогда не существовала и не могла существовать на Западе. — Вот почему все светские власти Запада, от Гогенштауфенов* до Наполеона, в своих распрях с Папами в конечном итоге принимали в качестве вспоможения антихристианский принцип* — точно так же, как пресловутые реформаторы, и по той же причине.

<МАТЕРИАЛЫ К ГЛАВЕ IV>

<1>

Германское единство

Что такое Франкфуртский парламент? Взрыв Германии идеологов*. Германия идеологов — ее история.

Идея объединения — плод ее собственной деятельности. Она не исходит от масс, не вытекает из истории. — Доказательством этому служит утопия, отсутствие чувства реальности, всегда достаточного у масс, но почти никогда не достающего книжникам*.

Германское единство = европейское господство, но где для него условия? Что представляла собою древняя германская Империя во времена своего могущества? То была Империя с римской душой и славянским телом (завоеванным у Славян)*. То, что составляло ее собственно германский элемент, не содержало, так сказать, необходимого материала для Империи.

Между Францией, нависающей над Рейном, и Восточной Европой, тяготеющей к России, есть место для независимости, но не для главенства.

Подобное же политическое условие, почтенное, но не дающее превосходства, требует федерации и не отвергает единства.

Ибо единство, единое устройство предполагает Призвание, которого Германия уже не имеет...

Но возможно ли для Германии, даже в узких пределах, органическое единство?

Дуализм, внутренне свойственный Германии*.

Империя являлась формулой, предназначенной для его предотвращения. Формула эта оказалась недостаточной. Империя была таковой лишь наполовину; дуализм, настойчиво проходящий через все существование Империи.

Империя, сама ее душа, сокрушена Реформацией, которая, напротив, освятила дуализм.

Тридцатилетняя война обустроила и укрепила его*. Дуализм стал нормальным состоянием Германии. — Австрия, Пруссия.

Так шло до наших дней. Россия, истинная Империя, превратив их в своих союзников, усыпила враждебное соперничество, но не уничтожила его.

Как только Россия устраняется, война возобновляется*.

Единство невозможно изначально, поскольку... с Австрией не может быть никакого единства. Без Австрии нет Германии. Германия не может стать Пруссией, потому что Пруссия не может стать Империей.

Империя предполагает законность*. Пруссия незаконна*.

Империя в другом месте*.

Пока же будет две Германии. Это их естественное положение — единство придет к ним извне.

<2>

Германское единство

Весь вопрос единства Германии сводится теперь к тому, чтобы знать, захочет ли она смириться и пребывать Пруссией*.

Нужно было бы, разумеется, чтобы Германия сама *добровольно* захотела этого, ибо Пруссия неспособна принудить ее к нему. Для такого принуждения есть лишь два средства. Революция — невозможное средство для упорядоченного правления; завоевание — невозможно из-за соседей.

С другой стороны, король Пруссии по самой природе своего происхождения никогда

не сможет стать императором Германии*. — Почему так? По той же причине, по какой Лютер никогда бы не смог стать Папой.

Пруссия есть не что иное, как *отрицание* германской Империи*.

Успешное отрицание.

Принцип единства Германии уже не заключен в ней самой...

<МАТЕРИАЛЫ К ГЛАВЕ V>

<1>

Австрия

Каково было значение Австрии в прошлом? Она выражала факт господства одного племени над другим, германского племени над славянским.

Как это оказалось возможным? При каком условии?.. Историческое объяснение хода вещей (только династическое)*.

Этот факт германского господства над славянами, опровергнутый Россией.

Уничтоженный последними событиями*.

Чем является Австрия теперь и чем собирается быть?

Австрия, став конституционной*, провозгласила *Gleichberechtigung*,[5] равноправие

для различных народностей. — Каково же значение этого шага?

Система ли это общего нейтралитета? или чистое отрицание?*

Но возможно ли существование великой Империи на основе отрицания?

Конституционный закон — закон большинства. А поскольку большинство в Австрии принадлежит славянам, то Австрия должна бы стать славянской. — Вероятно ли такое? и даже возможно ли?

Может ли Австрия перестать быть германской, не перестав существовать?

Отношения между этими двумя племенами, политические и психологические (см. Фальмерайера*).

Германский гнет не только политическое притеснение, он во сто крат хуже. Ибо он истекает из той мысли немца, что его господство над славянами является его естественным *правом**. Отсюда неразрешимое недоразумение и вечная ненависть.

Следовательно, искреннее равенство в правах оказывается невозможным. Но немец склоняется перед совершившимся фактом —

как в России*. В результате провозглашенное Австрией *Gleichberechtigung* становится не чем иным, как обманом.

Она германская и останется германской.

Что из этого следует? Постоянная междоусобная война различных негерманских народностей с венскими немцами, а самих этих народностей — друг с другом при использовании конституционной законности.

Таким образом, вместо защиты и обеспечения порядка австрийское господство окажется лишь закваской для Революции.

Славянские народности, вынужденные стать революционными для отстаивания своей национальности от германской власти.

Венгрия — в славянской Империи совершенно естественно довольствовавшаяся бы подчиненным местом, согласно своему положению. Примет ли она, находясь лицом к лицу с Австрией, условие, которое та стремится ей создать?..*

Серьезные неудобства, опасности — и, наконец, нетерпимое положение — вот чем все это грозит для России.

Возможно ли существование Австрии по-

сле этого? И почему она должна была бы существовать?

Последнее размышление.

Австрия в глазах Запада не имеет иной ценности, кроме своей антирусской направленности, и тем не менее она не могла бы существовать без помощи России.

Жизнеспособна ли такая комбинация?..

Вопрос для австрийских славян сводится вот к чему: или оставаться славянами, став русскими, или превратиться в немцев, оставаясь австрийцами*.

<2>

У Австрии нет больше смысла существования. Сказано: если бы Австрии не было, ее нужно было бы выдумать*, — но почему? Чтобы сделать из нее орудие против России, и недавнее событие* доказало, что участие, дружба, покровительство России является условием самой жизни Австрии.

<МАТЕРИАЛЫ К ГЛАВЕ VI>

Россия

Западные люди, судящие о России, немного похожи на китайцев*, судящих о Европе, или, скорее, на греков (Greculi), судящих о *Pu-*

ме. Это, видимо, закон истории: никогда то или иное общество, цивилизация не понимает тех, кто должен их сменить.

А западная колония образованных русских, говорящая их же собственным отраженным голосом*, вводит их в еще большее заблуждение. — *Насмешка эха.*

Запад, поныне видящий в России лишь материальный факт, материальную силу*.

Для него Россия — следствие без причины. То есть, являясь *идеалистами*, они не видят *идеи*.

Ученые и философы, они в своих исторических мнениях зачеркнули целую половину европейского мира*.

И тем не менее, откуда у них появляется перед этой сугубо материальной силой нечто среднее между уважением и страхом, чувство awe,[6] испытываемое только по отношению к авторитету?..

Здесь еще присутствует инстинкт, более разумный, чем знание. Что же такое Россия? Что она представляет из себя? Две вещи: *славянское племя, Православную Империю**.

1) Племя.

Панславизм, впавший в революционную фразеологию*. — Искаженное восприятие народности. Маскарадный костюм для Революции. Литературные панслависты являются немецкими идеологами, точно так же, как и все прочие.

Действительный панславизм в массах. Он обнаруживается при встрече русского солдата с первым встречным славянским крестьянином, словаком, сербом, болгаринном и т. д., даже мадьяром. Они все единодушны в своем отношении к немцу.

Панславизм состоит еще в следующем.

Для славян вне России невозможна никакая политическая народность.

Здесь встает польский вопрос (смотреть статью Сен-При*, *Revue des Deux Mondes*. № 1).

2) Империя.

Племенной вопрос имеет лишь второстепенное значение, он заключает в себе, скорее, среду, а не принцип. Формирующий принцип — это православная традиция.

Россия гораздо более православная, чем славянская. Именно как православная она заключает в себе и хранит *Империю**.

Что такое *Империя*? Учение об Империи. Империя бессмертна. Она передается. Реальность этой передачи. 4 сменившихся Империи. 5-я — последняя и окончательная*.

Эта традиция отрицается революционной школой на том же основании, что и предание в Церкви*.

Это индивидуализм, отрицающий историю.

И все-таки идея Империи была душой всей истории Запада*.

Карл Великий*. Карл V*. Людовик XIV*. Наполеон*.

Революция убила ее, что и послужило началом разложения Запада*. Но Империя на Западе всегда становилась захватом и присвоением*.

Это добыча, которую Папы поделили с германскими Кесарями (отсюда их распри)*.

Законная Империя осталась преемственно связанной с наследием Константина*. — Показать и доказать историческую реальность всего этого.

Каким образом Восточная Империя (ложные взгляды западной науки на Восточную

Империю*) была передана России.

Именно в качестве Императора Востока царь является Государем России*.

«Волим царя восточного православно-го», — говорили малороссы*, и говорят все православные на Востоке, славяне и прочие.

Что же до турок, то они заняли православный Восток, чтобы заслонить его от западных народов, — в то время как создавалась законная Империя.

Империя едина:

Православная Церковь — ее душа, славянское племя — ее тело*. Если бы Россия не пришла к Империи, она не доросла бы до себя.

Восточная Империя: это Россия в полном и окончательном виде.

<МАТЕРИАЛЫ К ГЛАВЕ VII>

<1>

Россия и Наполеон

В связи с *Наполеоном* занимались словоприемием. Историческая реальность оказалась неопознанной, вот почему и Поэзия осталась незамеченной.

Это кентавр* — наполовину Революция, наполовину... Но своим нутром он тяготел к Ре-

волюции.

История его коронования — это символ всей его истории*. Он попытался в своем лице заставить Революцию короноваться. Это и превратило его царствование в серьезную пародию. Революция убила Карла Великого, он захотел его повторить*. — Но с появлением России Карл Великий стал уже невозможен*...

Отсюда неизбежный конфликт между Наполеоном и Россией. Его противоречивые чувства по отношению к России, влечение и отталкивание*.

Он хотел бы поделить Империю, но не смог бы этого сделать. Империя — принцип. Она неделима.

(Если Эрфуртская история* верна, то это был момент наибольшего отклонения России с ее путей.)

Поразительно: личный враг Наполеона — Англия*. И тем не менее <разбился-то> он об Россию. Ибо именно Россия была его истинным противником — борьба между ними была борьбой между законной Империей и коронованной Революцией.

Сам он по-древнему пророчествовал о ней:

«Она увлекаема роком. Да сбудутся ее судьбы»*.

Он сам, на рубеже России —
Проникнут весь предчувствием
борьбы —
Слова промолвил роковые:
«Да сбудутся ее судьбы...»
И не напрасно было заклинанье:
Судьбы откликнулись на голос
твой —
И сам же ты, потом, в твоём из-
знанье,
Ты пояснил ответ их роковой...*

<2>

Наполеон — это серьезная пародия на Карла Великого...* Не чувствуя за собой собственного права, он всегда играл роль*, и нечто суетное в нем лишает его величие всякого величия. Его попытка возобновить дело Карла Великого стала не только анахронизмом, как у Людовика XIV и Карла V, его предшественников, но и постыдной бессмыслицей. Ибо она делалась от имени Власти, Революции, взявшей на себя миссию стереть с лица земли все следы деятельности Карла Великого.

<МАТЕРИАЛЫ К ГЛАВЕ IX>

<1>

1. Что является *общим местом* в суждениях о вселенской Монархии? Откуда оно взялось?..

2. Политическое равновесие в истории находится в соответствии с разделением властей в государственном праве. И то и другое является следствием с *революционной* точки зрения и отрицанием с органической точки зрения.

3. Вселенская Монархия — это *Империя*. Империя же никогда не прекращала своего существования. Она только переходила из рук в руки.

4. 4 империи: Ассирия, Персия, Македония, Рим. С Константина начинается 5-я и окончательная Империя, христианская Империя*.

5. Нельзя отрицать христианскую Империю без отрицания христианской Церкви*. Они соотносительны между собой. В обоих случаях происходит отрицание *предания*.

6. Церковь, освящая Империю, присоединила ее к себе — следовательно, сделала ее окончательной*.

Отсюда вытекает, что все, отрицающее Христианство, часто весьма могущественно в *отрицании*, но всегда бессильно в *созидании*, потому что является бунтом против Империи*

7. Но эта Империя, нерушимая в своем начале, в действительности могла проходить периоды слабости, остановок, помрачения*.

8. Что представляет собою история Запада, начавшаяся с Карла Великого и завершающаяся на наших глазах?

Это история *узурпированной Империи**.

9. Папа, восстав против вселенской Церкви, захватил права Империи, которые поделил, как добычу, с так называемым Императором Запада*.

10. Отсюда то, что обыкновенно происходит между сообщниками. Длительная борьба между *схизматическим* римским Папством и *узурпированной* Западной Империей, окончившаяся для одного Реформацией, то есть отрицанием Церкви, а для другой — Революцией, то есть отрицанием Империи.

<2>

Затронем вселенскую Монархию, то есть

восстановление законной Империи.

Революция 1789 года стала разложением Запада. Она развалила самостоятельность Запада.

Революция уничтожила на Западе внутреннюю, местную Власть и, соответственно, подчинила ее Власти чужеземной, внешней. Ибо никакое общество не могло бы жить без Власти. Вот почему всякое общество, которое не может извлечь ее изнутри самого себя, обречено по инстинкту самосохранения заимствовать ее извне.

Наполеон ознаменовал последнюю безнадежную попытку Запада создать себе местную Власть, она закономерно потерпела неудачу. Ибо невозможно было бы извлечь Власть из Революционного Принципа. *Наполеон* же не был и не мог быть ничем иным.

Таким образом, начиная с 1815 года Западная Империя уже более не находится на Западе*. Империя полностью ушла с него и сосредоточилась там, где всегда сохранялась законная традиция Империи*. — 1848 год стал началом ее окончательного воцарения...* Тем не менее необходимо, чтобы она помогла себе

самой в двух великих делах, которые уже идут по пути свершения.

В области светской образование Греко-Славянской Империи*. В области духовной — объединение двух Церквей*.

Первое из этих дел определено началось в тот день, когда Австрия для спасения подобия существования прибегла к* поддержке России. Ибо Австрия, спасенная Россией, по всей необходимости станет Австрией, поглощенной Россией (*немного раньше*, <немного> позже).

Итак, поглощение Австрии есть не только необходимое пополнение России как славянской Империи, но еще и подчинение ей Германии и Италии, двух *стран Империи*.

Другое дело, предваряющее объединение Церквей, — это лишение римского Папы светской власти*.

Отрывок*

13 сентября 1849

В достигнутом нами положении можно с немалой вероятностью предвидеть в будущем два великих провиденциальных факта, которые должны увенчать на Западе революционное междуцарствие трех последних веков и положить начало в Европе новой эре.

Вот эти два факта:

1) окончательное образование великой Православной Империи, законной Империи Востока — одним словом, России ближайшего будущего, — осуществленное поглощением Австрии и возвращением Константинополя;

2) объединение Восточной и Западной Церквей.

Эти два факта, по правде говоря, составляют лишь один, который вкратце можно изложить так:

Православный Император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима.

Православный Папа в Риме, подданный Императора.

Письмо о цензуре в России*

Пользуюсь вашим любезным дозволением, чтобы представить на суд ваш некоторые суждения, связанные с предметом нашей последней беседы. Конечно, нет никакой необходимости еще раз выражать мое искреннее приятие изложенного вами замысла* и уверять вас в серьезности моего намерения споспешествовать его осуществлению всеми доступными мне средствами, если возникнет попытка воплотить его в жизнь. Но именно для лучшего достижения этой цели посчитаю своим долгом прежде всего откровенно объяснить вам мой взгляд на вопрос. Разумеется, речь не идет здесь о моих политических убеждениях. Это было бы ребячеством: в наши дни по части политических воззрений все здравомыслящие люди придерживаются приблизительно одинакового мнения; различие заключается лишь в большей или меньшей проницательности при осознании происходящего и оценке должного будущего. Именно в степени истинности таких оценок и надлежало бы прежде всего найти взаимопонимание.

И если правда (как вы сказали, дорогой князь), что практический ум в известных обстоятельствах может желать лишь осуществимого по отношению к личностям, то не менее истинно для действительно практического ума и то, что недостойно желать чего-либо вне естественных условий его существования. Но перейдем к делу. Если среди всех прочих есть истина, вполне очевидная и удостоверяемая суровым опытом последних лет, то она несомненно такова: нам было строго доказано, что нельзя чересчур долго и безусловно стеснять и угнетать умы без значительного ущерба для всего общественного организма*.

Кажется, всякое ослабление и заметное умаление умственной жизни в обществе неизбежно оборачивается усилением материальных appetitов и корыстно эгоистических инстинктов*. Даже сама Власть не может длительно избегать неудобств подобного образа правления. Вокруг сферы ее пребывания образуется пустыня, огромная умственная пустота. И правящая мысль, не находя вне себя ни контроля, ни указания, ни какой-либо точ-

ки опоры, в конце концов приходит в смущение и изнемогает под собственным бременем еще до того, как она падет по роковому стечению событий*. К счастью, этот суровый урок не пропал даром. Прямодушие и благосклонная натура царствующего Императора позволили понять необходимость ослабления чрезмерной строгости предшествующего правления и дарования умам недостающего им воздуха...* Итак, говорю это с полным убеждением, тому, кто с тех пор в целом следил за умственной деятельностью, как она выразилась в литературном движении страны, невозможно не поздравить себя с отрадными последствиями этой перемены. Как и всякий другой, я вижу слабые стороны, а подчас и даже отклонения текущей литературы, но нельзя ей по праву отказать в одном, весьма существенном достоинстве: как только ей была предоставлена некоторая свобода слова, она постоянно стремилась по возможности лучше и вернее выражать саму мысль страны. К очень живому осознанию современной действительности и нередко к весьма замечательному таланту в ее изображении она присоеди-

няла не менее горячую заботливость о всех насущных нуждах, о всех интересах, о всех язвах русского общества. Как и сама страна, из предстоящих усовершенствований она была поглощена лишь теми, что возможны, практически осуществимы и ясно указаны, не позволяя отдать себя в плен утопии, этому исключительно литературному недугу. Если в войне против злоупотреблений литература иногда увлекалась и доходила до очевидных преувеличений*, то, надо заметить к ее чести, она в этом усердии никогда не отделяла в своей мысли интересы Верховной Власти от интересов страны: настолько она прониклась серьезным и честным убеждением, что вести войну против злоупотреблений означает бороться с личными врагами Императора... Мне хорошо известно, что в наше время за подобными внешними проявлениями усердия часто скрываются весьма дурные чувства и таятся далеко не честные намерения; но благодаря опыту, по необходимости приобретаемому людьми нашего возраста, нет ничего легче, чем сразу же распознать эти хитроумные уловки, и такого рода фальшь уже никого не

введет в заблуждение.

Можно утверждать, что теперь в России господствуют два, почти всегда тесно связанных друг с другом, чувства: раздражение и отвращение к неутихающим злоупотреблениям и священная вера в чистые, открытые и благосклонные намерения Государя*.

Есть всеобщая убежденность, что никто сильнее Его не страдает от язв России и так решительно не желает их исцеления; но нигде, наверное, она не проявляется столь полно и живо, как среди литераторов, и следует полагать долгом чести использовать любой случай, чтобы громко провозгласить: нет, кажется, сейчас у нас общественного слоя, столь благоговейно преданного Личности Императора.

Подобные оценки (не скрою), вероятно, могут вызвать недоверие в некоторых кругах нашего официального мира. В этом мире всегда существовала какая-то предвзятость, сомнения и нерасположения, что достаточно легко объясняется особенностью его точки зрения*. Встречаются люди, которые разбираются в литературе так же, как полиция боль-

ших городов — в охраняемом ею населении, то есть знает лишь происшествия и беспорядки, коим иногда предается наш добрый народ.

Нет, что бы ни говорили, но правительству до сего дня не приходилось раскаиваться в смягчении строгих установлений, тяготивших печать*. Однако все ли сделано в этом вопросе о печати? И по мере того как умственная деятельность становится более свободной, а литературное движение развивается, не ощущается ли с каждым днем настоятельнее необходимость и полезность высшего руководства печатью? Одна цензура, как бы она ни действовала, далеко не удовлетворяет требованиям создавшегося положения вещей. Цензура служит ограничением, а не руководством. А у нас в литературе, как и во всем остальном, речь должна идти, скорее, не о подавлении, а о направлении. Мощное, умное, уверенное в своих силах направление — вот кричащее требование страны и лозунг всего нашего современного положения*.

Часто жалуются на дух непокорности и строптивости, отличающий людей нового по-

коления. В таком обвинении есть значительное недоразумение. Вполне очевидно, что ни в какую другую эпоху столько энергичных умов не оставалось не у дел, тяготясь навязанным им бездействием*. Но эти же самые умы, среди коих рекрутируются противники Власти, весьма часто расположены к союзу с ней, как только она изъявит готовность возглавить их и привлечь их к своей активной и решительной деятельности. Именно эта истина, подтвержденная опытом и наконец-то признанная, во многом способствовала, со времени последних революционных кризисов в различных странах Европы, заметному изменению отношений Власти и печати. И, дорогой князь, здесь я позволю себе привести в поддержку моих слов свидетельство ваших собственных воспоминаний.

Вы, как и я, знали Германию до 1848 года и должны помнить, каково было тогда отношение печати к немецким правительствам*, сколько желчи и неприязни содержалось в ее оценках их деятельности, сколько беспокойств и забот она им причиняла.

И как же произошло, что ныне это враж-

дебное расположение большей частью исчезло и сменилось совсем иным?

Сегодня те же самые правительства, которые смотрели на печать как на неизбежное зло и вынужденно, хотя и с ненавистью, принимали ее, стали искать в ней вспомогательную силу и использовать ее как инструмент для решения собственных задач. Я привожу этот пример лишь для того, чтобы доказать, как в уже достаточно пораженных революцией странах умное и энергичное руководство постоянно находит умы, готовые признать его и следовать за ним. Впрочем, я не менее многих ненавижу, когда речь заходит о наших интересах, все эти пресловутые сравнения с происходящим за границей: почти всегда лишь наполовину поняты, они нам принесли слишком много вреда*, чтобы склонить меня ссылаться на их авторитет.

У нас, слава Богу, совсем другие инстинкты и требования, нуждающиеся в удовлетворении; наши убеждения менее испорчены и более бескорыстны*, и они могли бы отозваться на призыв Власти.

В самом деле, несмотря на наступающие

нас недуги и калечащие пороки, в наших душах еще сохраняются (нельзя не повторять это неустанно) сокровища разумной доброй воли и самоотверженного деятельного духа, которые только и ожидают сочувствующего руководства, способного их принять и признать. Одним словом, если правда, о чем часто говорят, будто Государство так же много печется о душах, как и Церковь, то нигде эта истина не является столь очевидной, нежели в России, и нигде (нельзя не признаться) это государственное призвание не могло быть столь легко исполнимым*. Вот почему у нас встретили бы с единодушным одобрением и удовлетворением намерение Власти, в ее отношениях с печатью, взять на себя серьезно и честно понимаемое управление общественным сознанием и отстаивать свое право руководить умами.

Но, дорогой князь, сейчас я пишу не полуофициальную статью, а доверительное и откровенное письмо, в котором оговорки и недомолвки выглядели бы смешно и неуместно.

Поэтому я постараюсь точнее объяснить, на

каких условиях, по моему мнению, Власть могла бы считать себя вправе воздействовать таким образом на умы.

Прежде всего необходимо рассмотреть положение страны в настоящее время, когда она озабочена весьма тягостными, но законными духовными интересами, находится между прошлым, богатым поучительными уроками (это так), и вместе с тем обескураживающими опытами и чреватых проблемами будущим.

Затем следовало бы во взгляде на нашу страну решиться признать то, что родители, видящие вырастающих на их глазах детей, с таким трудом осознают: наступает зрелый возраст, когда мысль тоже взрослеет и требует к себе соответствующего отношения. А для завоевания нравственного влияния на достигшие зрелости умы, без чего нельзя помышлять о возможности руководить ими, следовало бы прежде всего вселить в них уверенность, что по всем значительным вопросам, заботящим и волнующим сейчас страну, в высших сферах Власти имеются если и не совсем готовые решения, то, по крайней мере,

твердые убеждения и целостное воззрение, связанное во всех своих частях и последовательное.

Конечно, речь идет не о дозволении публике вмешиваться в совещания Государственного совета или определять совместно с печатью правительственные меры. Существенная задача заключается в том, чтобы Власть сама в достаточной степени удостоверилась в своих идеях, прониклась собственными убеждениями*, испытала потребность распространять их влияние и внедрять как элемент возрождения, как новую жизнь в сердцевину народного сознания. Власти надо понять как весьма существенную задачу, что в условиях тяготящих нас непосильных трудностей правительство как таковое ничего не сможет сделать ни во внутренней, ни во внешней политике, ни для своего блага, ни для нашего без сокровенной связи с самой душой страны, без полного и повсеместного пробуждения всех ее нравственных и умственных сил, без их искреннего и единодушного содействия общему делу.

Одним словом, следовало бы всем — и об-

цеству, и правительству — постоянно говорить и повторять, что судьбу России можно сравнить с севшим на мель кораблем, который никакими усилиями команды нельзя сдвинуть с места, и только приливная волна народной жизни способна снять его с мели и пустить вплавь*.

По моему мнению, вот во имя такого начала и чувства Власть могла бы теперь овладеть сердцами и умами, взять их, так сказать, в свои руки и вести куда ей угодно. С этим знаменем они пошли бы за ней всюду.

Излишне говорить, что я совсем не стремлюсь для этого превратить правительство в проповедника, возвести его на кафедру для поучений перед безмолвным собранием. Ему следовало бы внести свой дух, а не свое слово в ту честную пропаганду, которая осуществлялась бы под его покровительством.

И поскольку первым условием успеха при желании убедить людей является умение привлечь внимание слушателей к собственным словам, то, разумеется, для успеха этой спасительной пропаганды необходимо не только не стеснять свободу прений, но, на-

против, делать их настолько серьезными и открытыми, насколько позволяют складывающиеся в стране обстоятельства*.

Ибо надо ли в тысячный раз настаивать на факте, очевидность которого бросается в глаза: в наши дни везде, где свободы прений нет в достаточной мере, нельзя, совсем невозможно достичь чего-либо ни в нравственном, ни в умственном отношении.

Я знаю, как трудно (если не сказать невероятно) в подобных вопросах с должной степенью точности выразить свою мысль. Например, как определить, что следует разуметь под достаточной мерой свободы прений? Эта мера, по

сути подвижная и произвольная, весьма часто может определяться лишь самыми сокровенными и индивидуальными сторонами наших убеждений, и надлежало бы, так сказать, знать всего человека, чтобы верно понимать смысл, вкладываемый им в слова при обсуждении таких проблем. Что касается меня, то я, как и многие, более тридцати лет следил за этим неразрешимым вопросом о печати* во всех превратностях его изменчивой

судьбы. И вы меня обяжете, дорогой князь, если поверите, что после столь длительного изучения и наблюдения сей вопрос не мог бы не стать для меня не чем иным, как предметом самой беспристрастной и самой холодной оценки. Поэтому у меня нет ни предвзятости, ни предубеждений против всего того, что к нему относится; я даже не испытываю особой враждебности к цензуре, хотя она в последние годы тяготила Россию как истинное общественное бедствие*. Полностью признавая ее своевременность и относительную пользу, я в основном упрекаю ее за то, что в настоящее время она глубоко недостаточна для удовлетворения наших действительных нужд и подлинных интересов. Впрочем, вопрос не в том, он не заключается в мертвой букве уставов и предписаний, обретающих ценность лишь от оживляющего их духа*. Весь вопрос состоит в том, как само правительство, в собственном сознании, рассматривает свои отношения с печатью; он, добавим, заключается в большей или меньшей доле законности, признаваемой за правом индивидуальной мысли.

А теперь, чтобы оставить наконец в стороне общие соображения и ближе коснуться нынешнего положения дел, позвольте мне, дорогой князь, сказать вам со всей откровенностью сугубо конфиденциального письма, что до тех пор, пока наше правительство существенно не изменит всего склада своих привычных мыслей на отношение к нему печати, так сказать не порвет с ним, у нас невозможно предпринять ничего серьезного и действительно полезного с надеждой на какой-то успех; и ожидание приобрести влияние на умы с помощью таким образом управляемой печати всегда оставалось бы лишь заблуждением.

А между тем надо бы иметь мужество взглянуть на вопрос в его подлинном виде, созданном обстоятельствами. Невозможно, чтобы правительство всерьез не озаботилось бы явлением, возникшим несколько лет назад и приобретающим такие масштабы, значение и последствия которых ныне никто не смог бы предвидеть. Вы понимаете, дорогой князь, что я разумею учреждение русских изданий за границей вне всякого контроля на-

шего правительства*. Факт этот, бесспорно, важен, очень важен и заслуживает самого пристального внимания. Бесполезно пытаться скрывать растущий успех сей литературной пропаганды*. Нам известно, что сейчас Россия наводнена изданиями такого рода, их жадно ищут, они с необыкновенной легкостью переходят из рук в руки и уже проникли если и не в неграмотные народные массы, то, по крайней мере, в достаточно низкие слои общества. С другой стороны, надо обязательно признаться, что, не прибегая к положительно притесняющим и тираническим мерам, весьма трудно на самом деле воспрепятствовать как ввозу и сбыту этих изданий, так и вывозу за границу предназначенных для печати рукописей. Ну что же, наберемся смелости и дадим себе отчет в истинном значении и важности рассматриваемого факта; это просто-напросто отмена цензуры, но ее отмена в пользу вредного и враждебного влияния; и, чтобы быть в состоянии бороться с ним, постараемся понять, что составляет его силу и приносит ему успех.

До сих пор, когда речь заходит о русской

печати за границей, имеется в виду, как правило, лишь издание Герцена*. Какое значение имеет Герцен для России? Кто его читает? Случайно ли его социалистические утопии и революционные происки привлекают к себе внимание? Но среди читающих его мало-мальски думающих людей найдутся ли двое из ста, кто вполне серьезно отнесся бы к его идеям и не счел бы их проявлением более или менее бессознательной мономании, им овладевшей? На днях меня даже уверяли, что люди, заинтересованные в успехе и сохранении влияния издания Герцена, весьма основательно убеждали его подальше отбросить весь революционный хлам*. Не доказывает ли это, что его газета представляет для России нечто совершенно иное, нежели проповедуемые им идеи. И как же скрыть от себя, что его сила и влияние определяются в нашем представлении свободными прениями, пусть и на предосудительных основаниях (это так), на основаниях ненависти и пристрастия, но тем не менее достаточно свободных (к чему отрицать?) для включения в состязание и других мнений, более продуманных и умеренных, а

отчасти и вовсе разумных. И теперь, когда мы удостоверились, где кроется секрет его силы и влияния, нам не составит труда определить свойства того оружия, которое необходимо для победы над ним. Очевидно, что газета, готовая возложить на себя подобную миссию, могла бы рассчитывать на какой-то успех лишь в условиях, хотя бы немного сходных с условиями противника*. Вам, дорогой князь, с вашей благожелательной мудростью, решать, как и в какой мере осуществимы подобные условия в нынешнем положении, лучше меня вам известно. Разумеется, издатели не испытывали бы недостатка ни в талантах, ни в усердии, ни в искренних убеждениях. Но, откликаясь на обращенный к ним призыв, они прежде всего хотели бы увериться, что присоединяются не к полицейскому труду, а к делу совести, и посему сочли бы себя вправе требовать всей необходимой свободы, которую предполагает по-настоящему серьезная и плодотворная полемика.

Соблаговолите взвесить, дорогой князь, захотят ли влиятельные лица, которые возглавили бы учреждение такого издания и под-

держивали бы его существование, предоставить ему необходимую степень свободы; не внушат ли, возможно, они себе, что из признательности за оказанное покровительство и в знак почтительной благодарности за свое привилегированное положение это издание, которое могло бы отчасти рассматриваться ими как их собственное, должно соблюдать еще большую сдержанность и осторожность, чем все другие в стране.

Но письмо слишком растянулось, и я спешу его закончить. Позвольте только, дорогой князь, добавить в заключение несколько слов, коротко выражающих всю мою мысль. Осуществление замысла, который вы любезно мне сообщили, кажется хотя и не легким, но, по крайней мере, возможным, если бы все мнения, все честные и просвещенные убеждения имели право открыто и свободно составить мыслящее ополчение, преданное личным устремлениям Императора.

Примите уверения и проч.

Ноябрь, 1857

Комментарии

1

Первые публикации в России четырех статей Ф. И. Тютчева («Россия и Германия», «Россия и Революция», «Римский вопрос», «Письмо о цензуре в России») в оригинале и переводе на русский язык в *РА* в 1873 и 1886 гг. связаны с именем П. И. Бартенева, редактора и издателя *РА* (с 1863 по 1912 г.), в котором публиковались разнообразные документы, связанные с отечественной историей и литературой. Еще 3 декабря 1868 г. поэт писал ему: «С живым интересом и полною признательностью за доставление — читал я последние нумера вашего “Архива”. По-моему — ни одна из наших современных газет не способствует столько уразумению и правильной оценке настоящего, сколько ваше издание, по преимуществу посвященное прошедшему» (*Изд. 1984. С. 329*). В свою очередь издатель отчетливо понимал масштаб и значение личности поэта и мыслителя: «Его лучезарная голова — в неувядаемом венке живой поэзии; высокий строй его мыслей, беспредельная ши-

рота его сочувствий, что-то вещее, бывшее в Тютчеве, не умрут, пока сохранится на земле Русское слово и Русское имя» (РА. 1886. № 12. С. 534).

Вскоре после кончины поэта в письме к Эрн. Ф. Тютчевой от 2/14 августа 1873 г. П. И. Бартенев просил ее помощи в подготовке статьи о нем в РА. 30 ноября этого года И. С. Аксаков сообщал издателю, что получил от вдовы Тютчева его ранее неизвестные рукописи, среди которых он особо выделил материалы к трактату «Россия и Запад». И. С. Аксаков как автор первой биографии Тютчева тесно сотрудничал с РА (см. об этом: Осповат А. Л. И. С. Аксаков и «Русский архив»: К истории издания первой биографии Ф. И. Тютчева // Федоровские чтения. 1979. М., 1982. С. 73–79; Зайцев А. Д. Ф. И. Тютчев и «Русский архив»: Неопубликованное письмо Ф. И. Тютчева // Встречи с прошлым. М., 1978. Вып. 3. С. 47–51), где печатались и другие подготовленные им документы. Публикуя в 1898–1899 гг. извлечения из писем поэта к жене, П. И. Бартенев писал в предисловии: «Нижеследующие выдержки сделаны самой Э. Ф. Тютчевой. Неод-

нократно достаивала она прочтением некоторых из них пишущего эти строки и на просьбы напечатать их в “Русском архиве” всякий раз отвечала: “Après ma mort” (после моей смерти). Наследникам ее обязаны мы благодарностью за позволение обнародовать эти живые черты для жизнеописания вещего поэта» (РА. 1898. № 12. С. 556).

Под конец жизни Тютчева между ним и П. И. Бартеневым установились достаточно близкие отношения. В 1868 г. редактор РА помогал И. С. Аксакову готовить к печати стихотворный сборник поэта. В конце 1872 г. Тютчев передал П. И. Бартеневу для публикации рукописи трех напечатанных без подписи в 1840-х гг. в Германии и Франции статей («Lettre à Monsieur le D-r Gustave Kolb, rédacteur de la Gazette Universelle», «Mémoire présenté à l'Empereur Nicolas depuis la Révolution de février par un Russe employé supérieur des affaires étrangères», «La Papauté et la Question Romaine»). По непонятным причинам Тютчев не уведомил издателя о первых публикациях. И. С. Аксаков в письме от 16 декабря 1872 г. спрашивал поэта: «Одна из

этих статей была помещена в “Revue des Deux Mondes”, а другие две были ли где напечатаны? Но я помню, что я читал еще вашу статью когда-то о цензуре. Где она, и этим ли ограничивается собрание ваших рукописей?» (ЛН-2. С. 497). Упомянутая И. С. Аксаковым статья о цензуре («Lettre sur la censure en Russie») дополнила первоначально переданные Тютчевым П. И. Бартеневу, и все четыре сочинения составили изданный в РА основной корпус его публицистических произведений (на *фр. яз.* и с переводами на *рус.* «Римского вопроса» В. Н. Лясковским, а трех других Ф. И. Тимирязевым), перепечатывавшийся в Изд. СПб., 1886, Изд. 1900, Изд. Маркса и в последующих книгах: Тютчев Ф. И. Политические статьи. Париж, 1976 (на *фр.* и *рус. яз.*); Тютчев Ф. Русская звезда. Стихи, статьи, письма. М., 1993 (на *рус. яз.*); Poems and Political Letters of F. I. Tyutchev / Translated with Introduction and Notes by Jesse Zeldin. Knoxville, 1973 (на *англ. яз.*). Три статьи (кроме «Письма о цензуре в России») опубликованы на *рус. яз.* в составе сб. Тютчева «Россия и Запад: Книга пророчеств». М., 1999. Статья «Россия и Германия»

напечатана на рус. яз. в изд.: Русская идея. М., 1992; Бежин луг. 1996. № 5; Тютч. сб. 1999 (перевод В. А. Мильчиной). Все четыре сочинения напечатаны на рус. яз. (перевод Л. В. Гладковой) в ПСС в стихах и прозе.

В 1930 г. (*ZsPh.* Bd VI) немецким исследователем С. Якобсоном атрибутировано «Письмо русского», впервые опубликованное в 1844 г. в *AZ*, переведенное с нем. К. В. Пигаревым и напечатанное им на рус. яз. в 1962 г. в его книге «Жизнь и творчество Тютчева». К. В. Пигарев же в 1935 г. в 19–21 тт. *ЛН* обнародовал свой перевод текста «Отрывка», фр. оригинал которого публикуется в настоящем томе. Он же в 1988 г. в *ЛН-1* опубликовал фр. первоисточник и его перевод (Н. И. Филипович) не завершеного поэтом трактата «Россия и Запад», содержание которого обширно цитировалось и пересказывалось И. С. Аксаковым в его *Биогр.* Наконец, в *НЛО* (1992. № 1) вышла в свет «Записка» (публ. А. Л. Осповата) на фр. яз. и в переводе В. А. Мильчиной. «Письмо русского» и трактат «Россия и Запад» публиковались на рус. яз. в сб. Тютчева «Россия и Запад: Книга пророчеств», в ПСС в стихах и прозе (перевод

трактата Л. В. Гладковой). В последнем издании воспроизведена и «Записка» (перевод Л. В. Гладковой).

Вместе с тем следует согласиться с мнением А. Л. Ошовата о том, что «полноценное изучение политических сочинений Тютчева в значительной степени затруднено отсутствием научного комментария к этому французскому разделу его наследия. В свою очередь, задачу комментатора, рассчитывающего прежде всего на отечественную аудиторию, заметно усложняют ненадежность, а подчас и невнятность существующих переводов» (*Тютч. сб. 1999. С. 202*).

О трудностях перевода размышлял И. С. Аксаков, сообщая поэту о просьбе П. И. Бартенева перевести одну из статей («Россия и Революция»): «Отказать я не мог и не хотел, не имея в виду ни одного порядочного переводчика, хотя должен признаться — это труд немалый. Как ни богат наш язык, но еще трудно передавать на нем все тонкие оттенки языка, выработанного, выкованного и выточенного общими усилиями всей Европы, ибо не одни французы трудятся для французского

языка — языка, приспособленного к выражению всех явлений европейской цивилизации, как внешних, так и самых внутренних, в сфере абстрактной мысли. Особенно же у вас; у вас внешняя форма мысли похожа на тонкую резьбу и чеканку произведений какого-нибудь Бенвенуто Челлини. Попробую, однако, и пришлю или привезу вам перевод для просмотра» (*ЛН-2*. С. 497). По каким-то причинам И. С. Аксаков не исполнил намерения, а обозначенные им трудности пришлось решать названным выше переводчикам. До последнего времени все четыре произведения основного корпуса не переводились заново, а имеющиеся переводы, в целом адекватно передающие дух и содержание тютчевской публицистики, не подвергались оценке, хотя в них есть существенные недочеты, влияющие на передачу точного значения важных понятий.

Новые переводы должны устранить смысловые, стилистические, синтаксические, грамматические, орфографические и иные недочеты первоначальных вариантов, а также привести текст в соответствие с совре-

менными нормами русского языка и изменившимися навыками читательского восприятия. Среди недостатков, которые подлежали исправлению, можно отметить следующие: пропуск слов, предложений и целых абзацев, не соответствующие французскому тексту сегментация русского перевода и пунктуация в нем (отсутствие в нужном месте красных строк, отточий, вопросительных или восклицательных знаков и т. п.); устаревшее правописание, вольное обращение с прописными буквами; неточное использование временных и залоговых форм глагола; громоздкий синтаксис, соединение в одном (порой на полстраницы) предложении, требующем разбивки, нескольких смысловых фрагментов; перестановка главных и второстепенных членов предложения; неадекватное использование русских эквивалентов и синонимического ряда.

Значительное место в первых переводах занимает разной степени смещение важных (в том числе и принципиальных) смысловых оттенков или выпадение эпитетов, дающих качественную определенность явлению, уси-

ливающих высказывание и преодолевающих его нейтральность. Например:

Переведено / Следует переводить
Совратились с пути / Совратились с истинного пути
Нейтралитет / Мнимый (пресловутый) нейтралитет
Чувство / Набожное чувство
Соглашение / Сделка
Склонность / Соблазн
Польза / Корысть или выгода
Уныние / Горестное изумление
Загадочность / Чреватость проблемами
Высший / Компетентный
Край христианского здания / Столп христианского здания
Оказать решающее воздействие / Господствовать и компрометировать
Отозваться на призыв правительства / Отозваться на призыв России
Религия / Вера
Церковь / Религия

Нужно подчеркнуть, что в прежних переводах приходится сталкиваться со взаимной подменой таких понятий, как «империя», «держава», «государство», «правительство»,

«страна», «религия», «вера», «церковь». Подобные неточности и несоответствия также устранялись в процессе работы над новыми переводами.

В настоящем томе ст. Тютчева (на *фр.* яз.) печатаются по *Изд. СПб., 1886.* Сравнение *фр.* текстов этого изд. с первыми прижизненными публикациями выявляет разноречивой прописных букв, которые поэт зачастую использует для выделения важных понятий («Christianisme» — «Христианство», «Eglise» — «Церковь», «Empire» — «Империя», «Pouvoir» — «Власть», «Histoire» — «История», «Révolution» — «Революция», «Papauté» — «Папство», «Protestantisme» — «Протестантизм» и т. п.). Однако подобные понятия не только в разных статьях, но и в пределах одного текста могут обозначаться и с прописной, и со строчной буквы (например, «Католическая Церковь» — «католическая Церковь» или «Православная Церковь» — «православная Церковь») не только в зависимости от их контекстуальной обобщенности или, напротив, конкретности, но и в результате влияния традиций французской орфографии

или возможной невнимательности автора (особенно в черновых материалах). К тому же Тютчев не исправлял описки, пропуски слов своей главной переписчицы (жены Эрнестины Федоровны), не следил за подготовкой произведений к публикации, предоставляя свободу тем, кто работал с ними. Об этом свидетельствует, например, признание К. Пфелля (в письме к Эрн. Ф. Тютчевой), вносящего изменения в текст первой публикации «Римского вопроса»: «Я исправил несколько описок, не замеченных в горячке диктовки ни Тютчевым, ни вами. Вы увидите также несколько небольших изменений в пунктуации и пропуск одного места, которое показалось мне не совсем ясным и изъятие которого отнюдь не вредит связности мыслей» (ЛН-2. С. 239). В ответном письме от 19/31 января 1850 г. Эрн. Ф. Тютчева благодарила за поправки в статье и соглашалась: «Несомненно, в ней многое нужно было почистить и отшлифовать, поскольку стиль и пунктуация были полностью предоставлены на мое усмотрение, к тому же и орфография требовала внимательного контроля...» (там же. С.

242). Таким образом, необходимо иметь в виду сознательные или невольные изменения в обозначении прописных и строчных букв, вносимые переписчиками и редакторами в процессе подготовки рукописей к печати, их последующих изданий и переизданий. Наиболее выразительные примеры подобных изменений и различий между первыми публикациями и *Изд. СПб., 1886* отмечены в комментариях. Как правило, переводчик в работе над переводами для настоящего тома следовал тому написанию заглавных букв, которое имеется в переводимом тексте, одновременно принимая во внимание сохранившиеся автографы ст. «Россия и Германия» и трактата «Россия и Запад».

2

А. С. Пушкин подчеркивал, что поэта должно судить по законам его собственного творчества. То же самое можно отнести и к мыслителю, каковым в своей публицистике является Тютчев, неповторимо и органично сочетающий в ней «злободневное» и «непреходящее», оценивающий острые проблемы современности *sub speciae aeternitatis* (под

знаком вечности — лат.), в контексте первооснов человеческого бытия и «исполинского размаха» мировой истории. По словам И. С. Аксакова, «Откровение Божие в истории <...> всегда могущественно приковывало к себе его умственные взоры» (*Биогр.* С. 45). В историко-философской системе поэта мир относительно (государственного, общественного или идеологического) подчинен миру абсолютно (религиозного), а христианская метафизика определяет духовно-нравственную антропологию, от которой, в свою очередь, зависит подлинное содержание социально-политической деятельности. Одна из задач предлагаемых вниманию читателя комментариев заключается в том, чтобы выявить эту иерархическую причинно-следственную связь, без соотношения с которой его идейно-философская публицистика предстает в укороченном виде и лишается полномасштабной, «длинной» логики, главные и второстепенные уровни в ней меняются местами, а из ее целостного состава и уходящего за обозримые пределы горизонта вытягиваются, отделяются и абсолютизируются статистические или этнические,

панславистские или экспансионистские или какие-нибудь иные «нити».

Сжатая и тезисная тютчевская мысль носит своеобразный, двуплановый характер, совмещает «современные» и «вечные» аспекты, как бы постоянно отсылает к имеющейся в ее подтексте и контексте основе. Следовательно, еще одна задача комментатора состоит в том, чтобы «разжать» и раскрыть эту мысль, показать конкретное содержание лишь называемых в ней текущих событий и исторических явлений, рассмотреть скрывающийся за теми и другими духовно-нравственный смысл и подразумеваемые более глубокие корни и грядущие перспективы. Особо расширенного комментария требуют «наброски» и «конспекты» к трактату «Россия и Запад», восстановление и анализ лишь намеченного, но неразвитого содержания которых необходимы для адекватного восприятия и понимания заявленных в них тем и поставленных проблем.

Все восемь текстов, включенных в том, печатаются в хронологическом порядке и вместе с тем «перекликаются» друг с другом и мо-

гут быть сгруппированы возле историософского центра — незавершенного трактата «Россия и Запад» (автор рассматривал ст. «Россия и Революция» и «Римский вопрос» как его главы), предварительное знакомство с которым дает свою пользу для более адекватного понимания внутреннего единства остальных материалов. В комментариях к трактату дана панорама оценок публицистики Тютчева, а также представлены этапы и последовательность его историософской логики и ее конкретных приложений, что необходимо для целостного восприятия ценностной структуры и многоуровневого содержания его произведений.

Темы будущих политических статей и исторических раздумий поэта просматривались уже в таких его ранних стихотворениях, как «Урания» (1820), «К оде Пушкина на Вольность» (1820), «14-ое декабря 1825» (1826), «Олегов щит» (1829), «Как дочь родную на закланье...» (1831), а в более поздних стихотворениях заняли большое и самостоятельное место.

Особое внимание уделено в *коммент.*

ключевым понятиям тютчевской историософии («христианство», «империя», «самодержавие», «церковь», «православие», «католицизм», «протестантизм», «революция», «славянство», «народ» и др.), для чего привлекаются разнообразные источники и исследовательская литература, а также таким явлениям, как «наполеонизм», «панславизм» или «русофобия», которые в отсутствие широкой документальной основы и необходимого контекста становятся предметом не только превратного истолкования публицистики поэта, но и позднейших, вплоть до настоящего времени, «геополитических» или идеологических спекуляций. Примером здесь может служить книга А. де Кюстина «Россия в 1839 году», против которой многие современники и последующие читатели публицистических сочинений Тютчева считали направленной его ст. «Россия и Германия». Так, Б. Л. Модзалевский полагал, что он написал «по поводу книги Кюстина целую брошюру» (РС. 1899. № 10. С. 195), а В. Я. Брюсов — уже не по поводу, а прямо «против Кюстина» (Изд. Маркса. С. 15). М. А. Маслин во вступительной заметке к

публикации «России и Германии» повторяет приведенные мнения и дополняет: «Эта книга французского путешественника стала впоследствии синонимом неприязненных и недостоверных суждений о России» (Русская идея. М., 1992. С. 91). И хотя проблематика «России и Германии» шире дискуссии с книгой французского путешественника, обстоятельства этого спора имеют принципиальное значение в самых разных отношениях и потому подробно освещаются в комментариях.

Еще один комментаторский пласт затрагивает генетическую и типологическую связь (на нее указывал ряд мыслителей и исследователей) разных граней публицистического творчества Тютчева с историко-культурным контекстом, с высшими достижениями русской литературы и философии, с мыслями А. С. Пушкина или Ф. М. Достоевского, А. С. Хомякова или В. С. Соловьева. «Родственным Хомякову по своим устремлениям» считал поэта Л. П. Карсавин (Карсавин Л. П. А. С. Хомяков // Карсавин Л. П. Малые соч. СПб., 1994. С. 369). По другому мнению, «та самая политическая мудрость, которую упорно разрабатывал ма-

ло талантливый Погодин, которая нашла свое выражение в “Выбранных местах из переписки с друзьями” Гоголя и в политических стихах и статьях Тютчева, та же самая мудрость расцвела в философии Леонтьева» (Козловский Л. С. Мечты о Царьграде. II. Константин Леонтьев // *Голос минувшего*. 1915. № 11. С. 46). Современный историк полагает, что поэт «во многом приближается к Достоевскому, с его сложной системой философских и политических взглядов, окрашенных сильным консервативным оттенком» (Черепнин Л. В. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968. С. 184). А Н. А. Бердяев заключает: «У Тютчева было целое обоснование теократического учения, которое по грандиозности напоминает теократическое учение Владимира Соловьева» (Бердяев Н. А. Русская идея // *О России и русской философской культуре*. М., 1990. С. 116). Современный философ подчеркивает: «Как социальный мыслитель Тютчев формировался под влиянием славянофилов, особенно И. Киреевского и А. Хомякова <...> Многие сближает взгляды Тютчева с мировоззрением славянофилов. Например, призна-

ние определяющей роли религии в духовном складе каждого народа и православия как главной отличительной черты самобытности русской культуры» (Русская идея. М., 1992. С. 91).

В томе приняты условные сокращения (их список см. с. 521–523*) наиболее часто упоминаемых источников. Даты приводятся или по старому стилю, или воспроизводится двойная дата в соответствии с используемым источником. Европейские события датируются по новому стилю. Шрифтовые выделения в текстах Тютчева и во всех других цитатах принадлежат их авторам. Текстологическая работа, переводы цитат из иностранных источников выполнены автором комментариев.

Б. Н. Тарасов

«ПИСЬМО РУССКОГО» (с. 9, 109)

Автограф неизвестен.

Первая публикация — *AZ*. 1844. № 81. С. 646–647. Перевод на нем. яз. с утраченного фр. подлинника принадлежит В. А. Хуберу (имя переводчика указано — *Bibliography of works by and about Tjutchev to 1985 / Compiled by R. Lane. Nottingham, 1987*).

Авторство Тютчева установлено в 1830 г. немецким исследователем С. Якобсоном (*Jacobson S. Der erste Brief Tjutčevs an Dr. Kolb, den Redakteur der Augsburger «Allgemeine Zeitung» // ZsPh. 1930. Bd VI. Doppelheft ¾. S. 410–416*).

Первая публикация на рус. яз. — *Пигарев*. С. 113–114; воспроизведено — Тютчев Ф. И. *Россия и Запад: Книга пророчеств*. С. 169–171; *ПСС в стихах и прозе*. С. 375–376.

Печатается по *ZsPh*. S. 412–414.

Письмо без подписи адресовалось редактору *AZ* и было опубликовано в ней 21 марта 1844 г. Письмо «одного русского» принадлежало перу Тютчева и явилось реакцией на напе-

чатанный в приложении к AZ (№ 78 от 18 марта 1844 г. С. 617–610) очерк «Die Russische Armee im Kaukasus» («Русская армия на Кавказе»), который составлял фрагмент анонимного цикла «Briefe eines deutschen Reisenden vom Schwarzen Meer» («Письма немецкого путешественника с Черного моря») и в котором подвергались критике порядки, традиции и обычаи солдатской службы в России.

Подобная критика входила в состав систематической антирусской пропаганды в AZ, о чем российский поверенный в делах в Мюнхене Л. Г. Виолье 9 февраля 1844 г. докладывал из Мюнхена министру иностранных дел К. В. Нессельроде: «Последнее время “Allgemeine Zeitung” вновь позволяет себе помещать статьи о внутреннем управлении в России, столь же лживые, сколь недоброжелательные. Я поспешил обратить на это внимание Министров иностранных и внутренних дел; кажется, вмешательство их покуда приостановило сии злонамеренные публикации, кои “Allgemeine Zeitung” непрестанно разыскивает в изданиях самых безвестных и воспроизводит на своих страницах» (цит. по: *Летопись*

1999. С. 267–268).

На следующий день после публикации очерка «Русская армия на Кавказе» Л. Г. Виолье выразил протест министру иностранных дел Баварии А. фон Гизе, а Тютчев откликнулся «Письмом русского». В редакционном предисловии к «Письму...» отмечалось: «...мы получили письмо одного русского, написанное по-французски; прилагаем дословный перевод этого письма, предпослав ему лишь одно замечание. Наш корреспондент с Черного моря вовсе не думал ставить на одну доску каторжанина и русского солдата, чье мужество, скромность и терпение он восхваляет; он думает и говорит лишь об одном: многие проступки, которые в России наказываются воинской службой или не являются там препятствием к ней, во Франции ведут на каторгу <...> английские высшие военные власти утверждают — военная дисциплина во Франции строже, нежели в Англии, ибо там солдату грозит расстрел или каторга за проступок, который в Англии наказывается всего лишь кнутом, без изгнания из армии. История последних европейских войн показывает, что

английская армия неоднократно пополнялась арестантами. Возможно, что самое право полагало тяжкий и кровопролитный труд, предстоявший тогда английскому солдату, лучшей школой искупления вины, нежели тюремные стены. Не происходит ли то же самое и в ожесточенных боях на Кавказе?» (цит. по: *Летопись 1999*. С. 268–269).

В связи с оправдательным тоном предисловия российский поверенный в делах докладывал высокому начальству: «Сегодня особые обстоятельства вынудили “Allgemeine Zeitung” воздать должное Русской армии, ее чести и славе, причем сделать это более решительно, нежели, вероятно, ей бы хотелось. 15 марта “Kölnische Zeitung” (№ 75) открыто напала на “Allgemeine Zeitung”, приписывая ей симпатии к России. “Allgemeine Zeitung” решительно возразила на это в № 81 и в связи с этим напечатала весьма примечательное письмо одного русского по поводу статьи о Русской армии на Кавказе. Редакция газеты полагает, что, таким образом, она оправдалась в своей неосторожности <...> по отношению к “Kölnische Zeitung” <...> Письмо русского

от 19 марта, которое "Allgemeine Zeitung" отнюдь не поторопилась бы напечатать, не будь она раздражена против "Kölnische Zeitung", принадлежит искусному перу писателя, находящегося в Мюнхене; побуждаемый усердием, он уже не раз помещал в немецкой печати статьи столь же пылкие, сколь и благомысленные» (цит. по: *Летопись 1999*. С. 269).

«Письмо...» Тютчева оказалось вовлеченным в «диалог» на государственном и общественно-публицистическом уровнях. 28 марта А. фон Гизе уведомляет Л. Г. Виолье о мерах, принятых по протесту последнего в связи с публикацией очерка «Русская армия на Кавказе»: «В ответ на письмо от 19-го дня сего месяца, коим вы меня удостоили, спешу сообщить вам, что, будучи со своей стороны поражен некоторыми неуместными суждениями в указанной статье "Allgemeine Zeitung", я незамедлительно обратил на нее внимание г-на Министра внутренних дел. Он тут же рекомендовал как редактору газеты, так и ее цензору проявлять более осмотрительности и благопристойности в статьях, касающихся Правительства и Армии Его Величества Им-

ператора Всея Руси» (цит. по: *Летопись 1999*. С. 269).

Публикация «Письма...» послужила поводом для газ. «Kölnische Zeitung» (№ 44 от 3 апреля 1844 г.) обвинить свою давнюю противницу AZ в прорусской направленности. Это обвинение носило риторический и парадоксальный характер, поскольку напечатанный текст был реакцией на прямо противоположную тенденцию. Особое раздражение, как отмечает английский исследователь Р. Лэйн, вызвало у редакции «Kölnische Zeitung» утверждение «одного русского» о том, что Германия обязана России своим освобождением от наполеоновского ига (*ЛН-1*. С. 232). По мнению газеты, такое убеждение следует оценивать как «ерунду, насмешку над историей»: напротив, сама Россия была спасена от французов благодаря народным восстаниям в Пруссии, перешедшим в освободительную войну всех немецких государств против господства Наполеона. В подобных взглядах находит отражение искаженное представление о реальных, а не желаемых, навязываемых прессой обществу победителях, — представле-

ние, которое в типологическом, историческом, идеологическом, психологическом планах сходно с пропагандой и завышением роли союзников Советского Союза в минувшем веке при освобождении народов Европы от фашистского ига во Второй мировой войне.

В № 158 от 6 июня 1844 г. AZ напечатала ответ на «Письмо...» самого «немецкого путешественника», отмечавшего: «Уважаемый автор этого письма совершенно неверно понял смысл моей статьи «...» Только полным незнанием немецкого языка можно объяснить столь превратное ее истолкование. Автору письма следовало сначала дать мою статью для перевода человеку, более искушенному в немецком, прежде чем выступать с разглашательствами, быть может и весьма патристичными, но безусловно лишенными логики» (там же). Вот фрагмент очерка, вызвавший полемику, а также требовавший объяснений со стороны его автора и редакции газеты: «Unter den nicht leibeigenen Russen werden viele wegen Vergehungen und Verbrechen zu Soldaten gemacht... Um desselben Verbrechens willen, welches z.B. in Frankreich einen Menschen

unfähig des Militärdienstes machen und einen Militärbeamten zur Ausstoßung aus den Reihen für immer verurtheilen würde, wird in Rußland ein Individuum zum Soldatendienst verdammt. Somit möchte man glauben, daß bei den Russen weniger hart gestraft würde als bei den Franzosen, da man bei jenen statt dem Verbrecher den rothnen Habit der Touloner Galeerensträflinge umzuhängen, sich milde nur darauf beschränkt, ihm den Ehrenrock des Soldaten anzuziehen. Aber 25 Jahre des Dienstes in diesem Ehrenrock bei solcher Disziplin nichts kleines...» (цит. по: *ZsPh.* S. 412). — «Среди некрепостных русских многие за разные проступки и преступления стали забираются в солдаты... За те самые преступления, совершение которых, например, во Франции лишает человека возможности служить в армии, а военные навсегда изгоняются из ее рядов, в России люди осуждаются на солдатскую повинность. Можно подумать, будто бы у русских наказывают менее сурово, чем у французов, так как, вместо того чтобы облачить преступника в грубую одежду галерного каторжника, милостиво ограничиваются его одева-

нием в почетную форму солдата. Но 25 лет службы в столь почетном сюртуке при такой дисциплине — это немало...»

Вряд ли есть основания упрекать Тютчева, прожившего в Германии более 20 лет и переведившего И. В. Гёте, Ф. Шиллера, Г. Гейне и других ее писателей, в незнании немецкого языка. Напротив, он чутко уловил и даже несколько смягчил скрывавшийся за приведенным сравнением обобщающий смысл: принятые в европейских странах цивилизованные критерии оценки незаконных деяний не практикуются в России, чья армия пополняется преступниками, способными на «варварские» действия. Таким образом, речь должна идти не о патриотических разглазительствованиях, как замечает «немецкий путешественник», а об эмоциональном оживлении предававшихся забвению событий и фактов недавней истории и о заострении реально существовавших в Германии и на Западе в целом политических, идеологических, публицистических тенденций (см. *коммент.* к ст. «Россия и Германия». С. 255–265*, 283–286*) в одном из их конкретных проявлений.

Как видно из депеши Л. Г. Виолье, «искусное перо» Тютчева в 1830–1840 гг. не раз вступало в действие. Его анонимные (или под псевдонимом) публикации в немецкой печати пока не найдены и не атрибутированы исследователями. Непосредственные наблюдения за состоянием государственных умов и общественного мнения на Западе, специфика дипломатической работы, знание тайных пружин политики давали ему богатый материал для размышлений и для отстаивания правоты своих оценок и выводов. Анализ тютчевских депеш на рубеже 1830-х гг. позволил Т. Г. Динесман заключить, что в них «следует искать истоки идеи Тютчева, осуществлению которой впоследствии, по выходе в отставку, он был готов всецело посвятить себя. Эта идея — организация систематического воздействия на европейское общественное мнение путем консолидации европейских публицистов, известных своими симпатиями к России <...> В этих депешах впервые проявился публицистический темперамент Тютчева, именно в это время формировались те политические воззрения, которые впослед-

ствии легли в основу его публицистики» (Динесман Т. Тютчев в Мюнхене (К истории дипломатической карьеры) // Тютч. сб. 1999. С. 146–147, 152). «Письмо...» стало первым (среди известных публикаций) публицистическим и фрагментарным выражением уже сформировавшейся к тому времени системы философско-исторических воззрений Тютчева, находивших ранее свое выражение лишь в нескольких поэтических произведениях.

...люди, уравниваемые подобным образом с галерными каторжниками, те же самые, что почти тридцать лет назад проливали реки крови на полях сражений своей родины, дабы добиться освобождения Германии, крови галерных каторжников, которая слилась в единый поток с кровью ваших отцов и ваших братьев, смыла позор Германии и восстановила ее независимость и честь. — Спустя сто лет после Отечественной войны 1812 г. английский публицист В. Сидд подчеркивал: «Именно русская кампания сломила силу Наполеона. После отступления французов из Москвы Лейпциг и Ватерлоо были только выводами из уже решенной задачи. То, что не смогла

осуществить вся Европа, поддерживаемая Британией, сделали русские своим мужеством, героизмом, самопожертвованием» (цит. по: Жилин П. А. Отечественная война 1812 года. М., 1988. С. 372). Несмотря на predetermined «выводов» и ясно определенные цели войскам в приказе Александра I о начале заграничного похода («остается еще вам перейти за пределы империи не для завоевания или внесения войны в земли соседей наших, вы идете доставить себе спокойствие, а им — свободу и независимость»), на первом этапе войны 1813 г. Россия одна вела борьбу с Наполеоном, поскольку ее потенциальные союзники (Пруссия и Австрия) выступали ранее на стороне французского императора и не решались разрывать с ним прежние узы. Логика победоносного наступления русских войск вынудила прусского короля заключить в феврале 1813 г. Калишский союзный договор (к нему в июне присоединилась в Рейхенбахе и Австрия, и лишь в сентябре окончательно оформилась в Теплице русско-прусско-австрийская коалиция), гарантировавший восстановление Пруссии в границах 1806 г., а

германским государствам — возвращение их независимости, что вызывало действенный энтузиазм среди местных жителей. «Весь немецкий народ за нас, даже саксонцы, — писал М. И. Кутузов из Калиша. — Немецкие государи не в силах больше остановить это движение. Им остается только примкнуть к нему. Между прочим, примерное поведение наших войск есть главная причина этого энтузиазма. Какая высокая нравственность наших солдат, какое поведение генералов!» (Кутузов М. И. Из личной переписки // Знамя. 1948. № 5. С. 116–117). В обращении к немецкому народу М. И. Кутузов взывал: «Жители Германии! Вся русская армия бьется за ваше благополучие. Неужели вы одни при столь благоприятных обстоятельствах останетесь равнодушными? <...> Глубокая связь русской военной мощи со всеми средствами, которые может представить Германия, даст возможность полностью осуществить нашу общую цель и восстановить мир, которого так страстно желает вся многострадальная Европа. Будьте сильны духом, мужественные и честные немцы!» (Внешняя политика России XIX и начала

XX века: Документы Российского Министерства иностранных дел. Сер. первая. 1801–1815 гг. М., 1962. Т. 6. 1811–1812 гг. С. 621).

Подобные призывы ложились на почву, подготовленную патриотически настроенными военными и государственными деятелями Германии (Г. Ф. К. Штейн, Г. И. Д. Шарнгост, А. В. Гнейзенау, К. Клаузевиц, Ф. К. Теттенборн, В. К. Ф. Дернберг и др.), которым была дорога «независимость и честь» Германии, которые видели в России естественного союзника и по-своему понимали ее значение в историческом процессе. По словам фельдмаршала А. В. Гнейзенау в письме к Александру I, «если бы не превосходный дух русской нации, если бы не ее ненависть против чуждого угнетения <...> то цивилизованный мир погиб бы, подпав под деспотизм неистового тирана» (цит. по: Тарле Е. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1943. С. 359). Ф. К. Теттенборн же считал своим отечеством и Россию, ибо в ней борются с Наполеоном (см. об этом: Поход русской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии. Сб. документов. М., 1964. С. 54). Таких деятелей Тютчев относил к «великому по-

колению 1813 года» (см. *коммент.* к ст. «Россия и Германия». С. 258*), и некоторые из них принимали непосредственное участие в создании русско-немецкого легиона и формировании народного ополчения Пруссии. В начале вторжения наполеоновской армии в Россию входившим в ее состав немецким войскам было направлено воззвание («Призыв к немцам собраться под знамена Отечества и чести»), составленное бароном Г. Ф. К. Штейном, подписанное М. Б. Барклаем-де-Толли и гласившее: «Германцы! За что воюете вы с Россией, за что проникаете чрез границы ее и нападаете с вооруженною рукою на народы, кои в течение нескольких веков состояли с вами в приятельских сношениях, принимали в недры свои тысячи соотчичей ваших, даровали талантам их награждение и определяли занятие трудолюбию их?» (цит. по: Листовки Отечественной войны 1812 г. М., 1962. С. 23). Когда же русская армия вступила на немецкую территорию, ее встречали как долгожданную освободительницу, с особым почтением относясь к казакам. «С каким восторгом нас принимают, — записал один из ее офице-

ров в своем дневнике на берлинской земле. — Имя русского сделалось именем защитника, спасителя Европы. Здесь получили мы достойную награду за труд наш» (Из дневников русского офицера о заграничном походе 1813 г. // РА. 1900. № 7. С. 286). Освобожденное население не только оказывало русским солдатам продовольственную или транспортную помощь, но и само включалось в активные боевые действия, организуя ополченские и партизанские отряды из ученых, помещиков, чиновников, многочисленной молодежи, вооружавшихся ружьями, саблями и палками. Простые солдаты и крестьяне-ополченцы составляли основу постоянно пополнявшейся из резервов русской армии, которая на втором этапе войны 1813 г. стала действовать совместно с прусскими, австрийскими и шведскими войсками. В октябре 1813 г. произошло грандиозное Лейпцигское сражение, в результате которого Наполеон потерпел сокрушительное поражение, а кровь союзников (потери русских войск составили 22 тыс., прусских — 16 тыс., австрийских — 12 тыс., а шведских — около 300 человек) принесла

окончательное освобождение Германии и смысла ее позор.

Пройдитесь по департаментам Франции, где чужеземное вторжение оставило свой след в 1814 году, и спросите жителей этих провинций, какой солдат в отрядах неприятельских войск постоянно выказывал величайшую человечность, высочайшую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным жителям, безоружным гражданам, — можно поставить сто против одного, что они назовут вам русского солдата. — Это утверждение совпадало с мнением самих французов: «Русские заслужили своим поведением благосклонность жителей, говоривших, что они предпочли бы поселить трех из них вместо одного баварца» (McNally. S. 107). В парижских театрах распевалась песенка:

*Que j'aimais à voir sur ses bords
Les frères guerriers de la Russie!
Parmi nous, ces enfants du Nord
N'étaient — ils pas dans leur patrie?*

*(«Как я бы хотел видеть на своих
берегах*

*боевых братьев из России!
Среди нас эти дети Севера
не чувствовали ли себя как на ро-
дине?» — фр.)*

(там же).

По словам Ф. Р. Шатобриана, «80 тысяч солдат-победителей спали рядом с нашими гражданами, не нарушая их сна и не причиняя им ни малейшего насилия... Это освободители, а не завоеватели...» (там же. С. 94). Газ. «Journal des Débats» сообщала: «Ликующие возгласы разносились по улицам. Люди устремлялись к Его Величеству Императору России, чтобы пожать ему руку, коснуться его колен или одежды; лошадь останавливалась, и та совершенно особая доброта, с какой монарх принимал эти свидетельства признательности и уважения, оставила во всех сердцах ничем неизгладимое впечатление» (там же. С. 91). Вторила ей газ. «Moniteur»: «Наполеон правил нами как король варваров, Александр и его благородные союзники говорят с нами только на языке чести, справедливости и человечности» (там же. С. 94). Русские «варвары» и «казаки» при ближайшем рассмотрении оказа-

лись совсем не страшными: «Платов, казацкий гетман, слыл джентльменом, осуществляя особую охрану замка Бюффон <...> Несомненно, вспоминая слово “варвары”, которым Наполеон вслед за многими наградил его соотечественников, он, прощаясь с членами муниципального совета, иронически произнес: “Господа, северные варвары, покидая вас, имеют честь вас приветствовать”» (там же. С. 97).

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ

Письмо доктору Густаву Кольбу, редактору «Всеобщей газеты» (с. 11, 111)

Автограф — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 9. Л. 1-16. Содержит авторскую правку и карандашную запись (возможно К. Пфеффеля) на титульном листе: «J'ai la copie de ce manuscrit...» («У меня есть копия этой рукописи...» — *фр.*).

Писарская копия — РГБ, в архиве М. П. Погодина (Ф. 231/III. К. 17. Ед. хр. 45. Л. 1-10).

Первая публикация: *Lettre à Monsieur le D-r Gustave Kolb, rédacteur de la Gazette Universelle. Munich, 1844.*

На *фр.* яз. с указанием автора и впервые в

рус. переводе напечатано в РА. 1873. № 10. С. 1994–2019; 2019–2042 (под общим заголовком П. И. Бартенева «Подлинник письма Ф. И. Тютчева к Густаву Кольбу»).

С учетом исправлений эта публикация легла в основу последующих изданий — *Изд. СПб., 1886. С. 417–441 и 505–528; Изд. 1900. С. 449–473 и 535–558; Изд. Маркса. С. 279–295 и 333–343.* Последнее издание, неоднократно перепечатывавшееся в первой половине 1910-х гг., стало источником для репринтного издания *фр.* и *рус.* текстов — Тютчев Ф. И. Политические статьи. С. 7–31 и 95–117, а также для публикаций в *рус.* переводе в сб. «Русская идея». С. 92–103; Тютчев Ф. Русская звезда. С. 256–272; Тютчев Ф. И. Россия и Запад: Книга пророчеств. С. 172–196 и в ж. «Бежин луг». 1996. № 5. С. 4–12. Воспроизведено в других переводах в *ПСС в стихах и прозе* (с. 376–389) и по первой публикации — в *Тютч. сб. 1999* (с. 206–225).

Печатается по *Изд. СПб., 1886. С. 505–528* (на *фр. яз.*). Впечатный текст внесены изменения и уточнения по автографу: добавлены пропущенные отточия (они нередко означают у

Тютчева открытость или незавершенность, неопределенность или двусмысленность того или иного явления или процесса) после слов 2-го абз. «bien niais», 3-го абз. «l'unité germanique», «l'air de travailler», 4-го абз. «et la Russie», «le plus éclairé», «leur ennemie personnelle», «peu d'incrédules», 8-го абз. «en ce moment», «les plus acharnés», 9-го абз. «plus d'une fois», «ne sera qu'imaginaire», 14-го абз. «qu'il en attend», «élaboration d'un monde», «Pierre le Grand», 15-го абз. «qu'elle représentait», «a dû périr», «l'inévitable solution», 28-го абз. «qui les distinguent», «sans pudeur»; во 2-м абз. в слове «Monde» строчная буква «m» заменена на прописную (по исправлению автора рукописи), как и в 14-м абз. в том же слове и в словах «Un» и «Principe» — строчные буквы «u» и «p», как и в 9-м абз. в слове «Sacerdoce» и «Moyen-Age» — строчные буквы «s», «m» и «a» (в словосочетании «Moyen-Age» строчные буквы заменены на прописные также в 3-м и 11-м абз.); в 21-м абз. после слов «avec une pareille étroitesse de ses idées» поставлен восклицательный знак вместо вопросительного, как и в 28-м абз. по-

сле слов «qui les distinguent», а в 30-м абз. после слов «c'est impossible» вместо восклицательного знака — точка; в автографе предложения 24-го абз. (начиная с «Ce n'est pas certes» и заканчивая «du milieu réel dans laquelle vit») зачеркнуты, шрифтовые выделения 26-го абз. отсутствуют, а в настоящем томе сохранены, как в писарской копии и в первой и последующих публикациях. Сохранены также необходимые по смыслу, но отсутствующие в рукописи вопросительные знаки и точки с запятой вместо точек в автографе. В 9-м абз. вычеркнуто «ils s'approcheront» перед словами «les yeux toujours tournés», в 1-м абз. вместо «des» перед словами «ce moment suprême» поставлено «dans», а в 15-м абз. вместо «la question d'Orient» — «la question de l'Orient».

Сравнение *Изд. СПб., 1886* с первой публикацией и автографом выявляет (помимо неодинакового членения абзацев и предложений, расположения отточий и соответствующего синтаксиса) разночтения, носящие не только технический (из-за неразборчивого почерка Тютчева, зачеркиваний слов, предло-

жений, абзацев, новых вставок), но и смысловой характер. Так, появление в 8-м и 19-м абз. *Изд. СПб., 1886* соответственно слов «acharnés» («ожесточенных») и «choc» («потрясение») вместо «passionnés» («страстных») и «déchet» («ущерб») в автографе и первой публикации призвано усилить «страстность» и «ущерб». Сокращение слов «comme dans ses tendances» («как и в своих тенденциях») или слов «politique, votre nationalité» («политическую [независимость], ваше национальное бытие»), имеющих в 24-м и 26-м абз. *Изд. СПб., 1886* и в автографе, но отсутствующих в первой публикации, должно, по замыслу сокращавшего, снизить значимость обсуждаемых явлений. Напротив, усилить отрицательный эффект призвана замена слов в автографе и в *Изд. СПб., 1886* (21-й абз.) «la diplomatie russe s'est exposée quelquefois à froisser d'excusables susceptibilités» («русская дипломатия не раз могла задеть извинительную болезненную чувствительность [малых дворов Германии]») на слова «la Diplomatie Russe <...> est allée parfois jusqu'à froisser d'excusables susceptibilités» («Русская Дипломатия <...> ино-

гда доходила до того, что задевала извинительную болезненную чувствительность [малых дворов Германии]») в первой публикации. Сравнение разных источников позволяет уточнить и встречающуюся в 22-м абз. дату (1830 г. вместо 1835 г. в *Изд. СПб., 1886*).

Текст в писарской копии сближается (за незначительными исключениями) с *Изд. СПб., 1886*.

В предуведомлении к публикации П. И. Бартенева констатировал отсутствие у него сведений относительно предшествующего обнародования статьи и сократил начальные строки, обращенные к редактору *AZ*, до слов: «Le livre de M. de Custine est un témoignage de plus de ce dévergondage de l'esprit...» («Книга господина де Кюстина является еще одним свидетельством умственного бесстыдства и духовного разложения...»), что давало читателю лишний повод думать о ее антикюстиновской направленности. И. С. Аксаков, в распоряжении которого оказались архивные материалы поэта, восстановил опущенные строки (вместе с ними текст стал печататься в после-

дующих изданиях). П. И. Бартенев также по-новому озаглавил текст «La Russie et l'Allemagne» («Россия и Германия»). В коммент. к статье В. В. Кожинев подчеркивает: «...учитывая высокую добросовестность П. И. Бартенева, есть все основания полагать, что название “Россия и Германия” было дано русскому тексту сочинения с ведома Тютчева, и потому уместно публиковать это сочинение именно с таким заголовком (а не “Письмо г-ну доктору Густаву Кольбу...”» (*ПСС в стихах и прозе*. С. 458). Публикаторы (В. Мильчина и А. Осповат) в *Тютч. сб. 1999* ставят слова «Россия и Германия» в угловые скобки после первоначального заглавия статьи, подчеркивая тем самым их неавторское происхождение.

П. И. Бартенев сопроводил публикацию комментарием и отрывком из письма П. А. Вяземского: «Вполне историческое по своему содержанию, озаренное высшим и самобытным пониманием политики, это искреннее слово Русского человека к западным собратьям заслужит покойному Ф. И. Тютчеву благодарность соотечественников в самом дальнем потомстве. Тютчев есть непререкаемая

слава наша: этим человеком Россия вправе гордиться перед иноземцами. Русскому Архиву обещана его биография, а в ожидании ее позволим себе привести следующую выписку из частного письма князя П. А. Вяземского. “Бедный Тютчев! Кажется, ему ли умирать? Он пользовался в высшей степени данным от Провидения человеку даром слова. Он незаменим в нашем обществе. Когда бы не бояться изысканности, то можно сказать о нем, что если он не Златоуст, то был жемчужно-уст. Какую драгоценную нить можно нанизать из слов, как будто без его ведома спавших с языка его. Надобно, чтобы друзья его составили по нем Тютчевиану, прелестную, свежую, живую, современную антологию. Каждое событие, при нем совершившееся, каждое лицо, мелькнувшее перед ним, иллюстрированы и отчеканены его ярким и метким словом”» (РА . 1873. № 10. С. 1993).

Первоначально статья была озаглавлена «Lettre à Monsieur le D-r Gustave Kolb, rédacteur de la Gazette Universelle» («Письмо господину д-ру Густаву Кольбу, редактору “Всеобщей газеты”») и предназначалась для публикации в

этом издании вслед за «Письмом русского». И. С. Аксаков был уверен, что она действительно опубликована в 1844 г. в одном из номеров *AZ*, который он, несмотря на все старания, не находил. Исходя из опущенного в издании *РА* обращения автора к редактору, он заключал, что «в Аугсбургской Газете уже и прежде была напечатана если не целая статья, то какая-нибудь заметка Тютчева с примечанием самого Кольба, вероятно, по тому же вопросу о политических отношениях Германии и России. — Все это, конечно, со временем разъяснится, как скоро удастся пересмотреть в заграничных библиотеках издание этой газеты за 1844 год. Между тем у нас пред глазами письмо Федора Ивановича к отцу, уже из Петербурга, от 29 октября 1844 года, в котором он называет эту статью *брошюрою* (может быть, ради краткости выражения)...» (*Биогр.* С. 31). И. С. Аксаков уловил связь между более ранней «заметкой» в *AZ* и статьей «Россия и Германия», в которой он видел «продолжение переписки с редактором Всеобщей Аугсбургской газеты» и которую не мог найти в ее номерах. Возможно, статья не была напечатана

в газете из-за полемики, вызванной «заметкой» («Письмом русского»), но вышла отдельной анонимной брошюрой в Мюнхене (о ее существовании вскоре после публикации первого издания *Биогр.* в 1874 г. узнал и И. С. Аксаков, писавший о ней И. С. Гагарину 7/19 ноября этого года именно как об изданной в Германии брошюре — ЛН-2. С. 50). Уже 7/19 мая 1844 г. прочитавший ее А. И. Тургенев из Шанрозе под Парижем советует В. А. Жуковскому, пребывавшему во Франкфурте, ознакомиться с ней: «Достань письмо, брошюру Тютчева без имени, к Кольбу, редактору аугсбургской газеты, в ответ на статью его о России. Очень умно и хорошо писана. Я читал, но здесь нет <...> Только одно слово Кюстин, но вообще нападает на немцев, кои бранят Россию <...> Жаль только, что Тютчев уподобил Кюстина солнцу. Тютчев доказывает, что союз Германии с Россией был и будет всегда благотворен для первой и что войска наши всегда готовы на ее защиту» (цит. по: ЛН-2. С. 68). Не найдя «брошюры», В. А. Жуковский 5/17 июля 1844 г. из Франкфурта просит А. И. Тургенева прислать ее. 6 июля 1844 г. тот же

А. И. Тургенев жалуется П. А. Вяземскому из Киссингена, что там нельзя найти тютчевского «Письма к редактору "Аугсбургской Газеты" Кольбу: хорошо писано! Мы с ним виделись в Париже. Умен и сведущ, и с пером» (ОА-4. С. 290). Видимо, экземпляр для П. А. Вяземского нашелся в другом месте, и 16/28 октября 1844 г. в письме из Шанрозе А. И. Тургенев спрашивал его: «Получил ли или отправил ли его книжку? Скажи ему, что она не всем здесь понравилась <...> Напишу после, когда оправлюсь от теперешней хандры-недуга, замечания на книжку Тютчева. Будет ли он продолжать вразумлять Европу на счет наш? Ему стоит только писать согласнее с его европейским образом мысли — и тогда он больше будет к цели, которую себе предполагает» (там же. С. 301).

Если у либерально и западнически настроенного А. И. Тургенева «брошюра» Тютчева вызвала определенные возражения, то царь Николай I полностью согласился с ее положениями. Тютчев в письме к родителям от 27 октября 1844 г. (см. также *Биогр.* С. 31) передавал рассказ генерал-адъютанта Л. А. Нарыш-

кина: «Я был у него сегодня по его возвращении из *Гатчины*, и он сказал мне, что, случайно прочитав прошлым летом брошюру, напечатанную мною в Германии, он, следуя своей привычке, всем говорил о ней, и в конце концов ему удалось представить ее государю, который, прочитав ее, объявил, что нашел в ней все свои мысли, и будто бы поинтересовался, кто ее автор. Я, конечно, весьма польщен этим совпадением взглядов, но, смею сказать, — по причинам, не имеющим ничего личного» (*Изд. 1984. С. 99*). Судя по откликам и мнениям, «Письмо господину д-ру Густаву Кольбу...» вызвало известный резонанс. В нем также впервые обозначились главные темы и внутренняя логика историософской публицистики Тютчева. Как отмечал И. С. Аксаков в письме И. С. Гагарину от 7/19 ноября 1874 г., «уже в 1844 году, еще до переселения его в Петербург, написана и издана им в Германии брошюра, в которой намечено им политическое и историческое воззрение, впоследствии лишь разработанное и развитое, без всякого противоречия себе самому» (*ЛН-2. С. 50*).

...заметкам, которые я недавно осмелился послать вам... — Подразумевается «Письмо русского» редактору AZ.

...ваш взвешенный и здравый комментарий к ним... — Речь идет о редакционном предисловии, цитировавшемся ранее в коммент. к «Письму русского».

...«Аугсбургская газета» «...» представляет собой нечто большее, нежели обыкновенную газету... — AZ, издававшаяся с 1798 г. в баварском городе Аугсбурге бароном И. Ф. Котта, приобрела большую популярность и влияние, когда в 1837 г. ее редактором стал Г. Э. Кольб. В письме от 20 февраля 1837 г. русский посол в Вене П. К. Мейендорф сообщал К. В. Нессельроде, что она имеет более 8 тыс. подписчиков и является «самой распространенной в Германии газетой, составляемой с наибольшим знанием дела» (цит. по: Осповат А. Элементы политической мифологии Тютчева // Тютч. сб. 1999. С. 228). Тираж AZ непрерывно рос и, как писал Н. И. Греч Л. В. Дубельту, в 1844 г. достигал двенадцати тысяч (см.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1909. С. 148).

В газете печатались корреспонденции не только из Германии, но и из других стран, она вызывала живой интерес также за границей, особенно во Франции, где была известна ее франкофильская (еще со времен Наполеона) ориентация. В 1831–1832 гг. Г. Гейне публиковал в ней свои парижские статьи под рубрикой «Французские дела», а в 1840 г. возобновил сотрудничество с газетой, прерванное по настоянию венского правительства. 11 июня 1838 г. парижский информатор III Отделения докладывал, что французская печать в значительной степени использует материалы AZ (см. об этом: Мильчина В. А. Шарль Дюран — французский журналист в немецком городе на службе у России // Лотмановский сб. М., 1997. Вып. 2. С. 332). Есть достаточно свидетельств, что эта газета, печатавшая корреспонденции и из России, оказывала свое влияние и на русских читателей. 16/28 января 1843 г. А. И. Тургенев призывал П. А. Вяземского: «Вели себе читать “Аугсбургские ведомости”, и ничего другого из журналов, если не хочешь терять времени» (ОА-4. С. 205). В письме от 17 февраля 1847 г. к В. П. Боткину В. Г.

Белинский вспоминал: «Когда я жил у тебя летом 43 года, сколько в это время интересных статей в “Allgemeine Zeitung” находил ты...» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1956. Т. 12. С. 329). В газетах за 1844 г. можно было найти данные о периодических изданиях, о числе университетов и гимназий в России, заметки о культурной и литературной жизни в ней, о выходе в свет сочинений А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, А. А. Бестужева-Марлинского и т. п. Встречались в ней нередко и статьи о русской государственной и общественной жизни, в которых (в соответствии с либеральными установками и политическими интересами газеты) чаще затрагивались вопросы притеснения поляков в западных губерниях или хода военных действий на Кавказе, содержания арестантов в петербургских тюрьмах или бунта крепостных против помещиков. Вместе с тем газета была вынуждена лавировать между центрами влияния, сохранять известную объективность (ср., например, столкновения мнений в связи с публикацией «Письма русского») и печатать материалы иной направленности. Так,

в конце 1840 г. в анонимной статье утверждалось, что Россия стала «одним из наиболее мощных и влиятельных гарантов независимости и безопасности Германии» (цит. по: ЛН-1. С. 546). Появлялись в ней и материалы, критически освещавшие западные стереотипы в восприятии России. «В одной из наиболее серьезных и добросовестных статей по поводу России автор, Александр Гумбольдт (скрывшийся под инициалами А. v. Н.), очень верно характеризует повышенный интерес к русским делам, проявлявшийся в тогдашней европейской печати, как выражение ложного и заведомо тенденциозного представления о нависшей над Европой угрозе со стороны “северного колосса”, “северных варваров”. Автор призывает к беспристрастному, серьезному и глубокому изучению России как одного из влиятельнейших членов европейской семьи народов, указывая, что всякое изменение в социальном и политическом положении России должно будет оказать сильное влияние на все европейские страны» (Дубовиков А. Новое о статье Белинского «Парижские тайны» (По материалам зарубежной печати 1840-х го-

дов) // ЛН. 1950. Т. 56. Кн. 2. С. 476).

О своеобразии обозначенных противоречий в позиции АЗ по отношению к России и о реакции на них русских и германских правительственных кругов можно судить по письму А. И. Тургенева Н. И. Тургеневу от 7 июля 1842 г.: «Граф Нессельроде написал Северину (и, кажется, письмо это циркулярное), что император был очень возмущен тем, как немецкие газеты освещают русскую политику; в особенности аугсбургская газета в № 2 выказала большую враждебность к России, говоря среди прочего, что, если придется выбирать между русским кнутом и французской пропагандой, Германия предпочтет последнюю <...> Северин, получив эту депешу, испросил аудиенции у [баварского] короля [Людвига I] и объявил решительный протест: король взволновался, призвал своего министра полиции Абеля, тот призвал редактора или владельца аугсбургской газеты <...> Рейхеля, который теперь здесь [в Киссингене], и приказал ему отныне соблюдать большую осторожность в статьях о России <...> Впрочем, никто не придает ни малейшего значения статьям [Ф.]

Тирша об общей политике Европы. Да и аугсбургская газета охотно вошла бы в отношения с нами; она это много раз предлагала и даже сулила денег тем, кто станет писать для нее о России, но тогда наше министерство кобенилось, с презрением отвергло предложение, говоря, что ему дела нет до того, что говорят или пишут немецкие журналисты о России» (цит. по: Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. Рига, 1994. С. 122). Утверждение об официальном безразличии к оценкам германской прессы корректируется фактом запрета на распространение отдельных номеров *AZ* (см. об этом: Герцен. Т. 22. С. 193). Тютчев, учитывая весомость и популярность газеты, пытался печатать в ней свои статьи, а также искать единомышленников и союзников среди ее авторов. О деятельности *AZ* см. в кн.: Heyck Ed. Die Allgemeine Zeitung. 1798–1898: Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Presse. München, 1898; Fischer H. D. Handbuch der Politischen Presse in Deutschland. 1480–1980. Düsseldorf, 1981.

...*Книга господина де Кюстина...* — Речь идет о четырехтомном сочинении маркиза А.

де Кюстина (автора светских романов и описаний путешествий по Швейцарии, Италии, Англии, Испании) «La Russie en 1839» («Россия в 1839 году»), которое хотя и было запрещено цензурой, много и охотно читалось в Петербурге и Москве. В мае и ноябре 1843 г. оно выдержало в Париже два издания, затем было переведено с *фр.* на *англ.* и *нем. яз.* и принесло автору широкую известность. Книга построена в форме писем и содержит впечатления, эмоции и размышления А. де Кюстина, связанные с его более чем двухмесячным пребыванием в России летом 1839 г. и с «перевариванием» западных идеологических стереотипов и страхов, достоверных и недостоверных сведений о стране «северных варваров» из различных печатных источников, устных бесед, анекдотов, слухов и т. п. По словам А. И. Герцена, из всей русской жизни в обзоре автора оказалась лишь одна треть, в описании которой есть яркие и меткие наблюдения. С точностью отдельных наблюдений в этой одной трети, касающихся аристократических придворных и чиновничьих кругов или бездумной подражательности Западу, соглаша-

лись Николай I, А. Х. Бенкендорф, В. А. Жуковский, М. П. Погодин, П. А. Вяземский и многие читатели «России в 1839 году», в том числе и Тютчев. Последний, по словам немецкого дипломата и литератора К. А. Фарнгагена фон Энзе, в книге маркиза «многое поправляет, но и признает его (А. де Кюстина. — Б. Т.) достоинства» (цит. по: ЛН-2. С. 460).

Отмеченные достоинства «книги господина Кюстина» не перевешивали многочисленных ее изъянов, обусловленных методологией и личностью автора, который, не зная русского языка, истории, литературы и культуры, наспех проезжал большие расстояния, избегал разговоров с представителями разных сословий, неточно излагал факты, но при этом проецировал узкий круг сведений и впечатлений на огромный масштаб страны, отделял царя от народа, отождествлял «фасадность» придворного окружения с сущностью всей нации, превращал повторяющиеся скороспелые суждения в глобальные категорические и метафорические обобщения. По мнению автора, Россия — это «пустыня без покоя и тюрьма без досуга», «государство, где нет

никакого места счастью», она «возникла лишь вчера, и история ее богата одними посулами», а «единственное достоинство русских — покорность и подражание», они — «скопище тел без душ». Более того, «русская цивилизация еще так близка к своему истоку, что походит на варварство. Россия — не более чем сообщество завоевателей, сила ее не в мышлении, а в умении сражаться, то есть в хитрости и жестокости <...> Рим и весь католический мир не имеют большего и опаснейшего врага, нежели император российский. Рано или поздно в Константинополе, под покровительством православных самодержцев, единовластно воцарится схизма...» (Кюстин. Т. 2. С. 439, 435).

Подобные умозаключения А. де Кюстину диктовало не стремление к истине, а своеобразное мифотворчество, превращающееся в памфлет. О. де Бальзак, познакомившийся с замыслом книги, в письмах к Э. Ганской от 3/15 марта и 21 июня / 3 июля 1840 г. назвал ее «страшной», а Ж. А. Шницлер, автор сочинений о России, — «намеренно злой» и притом «остроумной». Кюстин осознавал задачу свое-

го сочинения в военной терминологии (как «бой с колоссом», с которого необходимо «срвать маску» при малом количестве боеприпасов), а также признавался в навязчивых идеях и грезах болезненного воображения. При таких подходах, установках и состояниях сознания любая страна может быть представлена в соответствующем освещении. Как замечал Я. Н. Толстой, «славную книгу мог бы сейчас написать о Франции кто-нибудь из русских, в отместку за книгу о России маркиза де Кюстина: стоило бы только перечислить все обвинения, которыми осыпают друг друга различные партии; стоило бы только воспроизвести все то, что высказывается в печати о непорядках, безнравственности, корыстолюбии, недобросовестности и даже бесчеловечности французов. И действительно, никогда, быть может, не совершалось столько преступлений, сколько их совершается с некоторых пор в городе, именуемом ими столицей культурного мира, да и вообще по всей Франции, впавшей в ту глубочайшую развращенность, которая ежедневно сказывается в ужасающих, приводящих в содрогание преступлени-

ях...» (ЛН. 1937. Т. 31–32. С. 603). Можно было бы добавить к «высказываниям печати» и исторические явления: религиозные войны, колдовские процессы, восстания угнетенного народа, революционный террор и т. д.

Подобные доводы *tu quoque* (ты тоже — *лат.*) естественно возникали сами собой, не затрагивая мировоззренческих и методологических предпосылок книги. И именно усеченно-памфлетная и «романическая» методология, выделяющая из многоликой и противоречивой социально-исторической реальности «живописные» факты, отрывающая их от целостного контекста, направляющая на них яркий луч света и выдающая их за полноту картины и истины (методология, свойственная разного рода «художникам», риторам, ораторам, идеологам, пропагандистам), становилась ясной более глубоким читателям. П. А. Вяземский подчеркивал: «Автор путешествия, хоть он и пробыл в России слишком мало времени для того, чтобы собрать достаточный документальный материал для написания добросовестной и поучительной книги, должен был, однако, увидеть здесь то, что ви-

дят здесь почти все, и что видят почти всюду: добро по соседству со злом; пороки и добродетели; добрые намерения, извращаемые при их воплощении в жизнь; тайную и непрерывную борьбу между слабостями и страстями человеческого сердца и вечными принципами истины, добра и красоты, борьбу, верх в которой берет то одна, то другая сторона» (Вяземский П. А. Еще несколько слов о труде г-на де Кюстина «Россия в 1839 году», по поводу статьи о нем в «Журналь де Деба» от 4 января 1844 года // Теоретическая культурология и проблемы истории отечественной культуры. Брянск, 1992. С. 81). А. де Кюстин же, по заключению П. А. Вяземского, употребил свой ум и талант для сочинения толстенного с «оттенком партийности» четырехтомного «романа», наполненного грезами, намеками, «белой и черной магией», смесью ложного пафоса и морализаторства, скандальности и философских обобщений, религии и политики, исторических фактов и сплетен.

Отметив методологические и личностные особенности книги, П. А. Вяземский и многие другие ее критики оставили без внимания от-

меченную Тютчевым в письме к жене от 14 июля 1843 г. завороченность автора архитектурой Московского Кремля и православных храмов (нечто подобное испытал более четверти века назад Наполеон), церковным пением, некоторыми чертами характера русских, таинственным величием страны, которое его страшит и одновременно восхищает (см. об этом: Кожин В. Маркиз де Кюстин как восхищенный созерцатель России // Москва. 1999. № 3. С. 164–169). По его впечатлению, Россия на всем огромном протяжении «внимает голосу Бога» и являет собой «удивительное государство»: «...никто более меня не был потрясен величием их нации и ее политической значительностью. Мысли о высоком предназначении этого народа, последним явившегося на старом театре мира, не оставляли меня на протяжении всего моего пребывания в России» (Кюстин. Т. 1. С. 20).

Подобные мысли озадачивали многих читателей. Например, К. К. Лабенский замечал: «...как ни странно, г-н Кюстин, утверждая на одной странице, что мы обречены на гибель, на другой немедленно прибавляет, что мы

безмерно сильны и способны еще раз явить миру зрелище великого нашествия» (цит. по: *НЛО*. 1994. № 8. С. 137). А. Я. Булгаков в письме к П. А. Вяземскому от 22 декабря 1843 / 3 января 1844 г. восклицает: «И черт его знает, какое его истинное заключение, то мы первый народ в мире, то мы самый гнуснейший!» (там же. С. 124). К. А. Фарнгаген фон Энзе в письме к П. А. Вяземскому от 28 декабря 1843 / 9 января 1844 г. констатирует, что сквозь ненависть ревностного католика «у автора проступают, быть может, помимо его воли, выводы весьма лестные как для нации, так и для правительства; прежде всего, сам император предстает на страницах этой книги в качестве фигуры величайшего исторического масштаба, и этот образ оказывается тем более лестным, что нарисован рукою явного недоброжелателя <...> Вдобавок, господин де Кюстин безусловно искренен; он передает дело в ложном или извращенном свете, но лишь потому, что сам обманут» (там же. С. 137).

Под «обманом» К. А. Фарнгаген фон Энзе имеет в виду мнения русских либералов (П. Б. Козловский, А. И. Тургенев, Н. И. Тургенев),

которые, по его словам, «с удовольствием изображают Россию в самом мрачном свете», смысловые акценты и лексика которых в этом изображении («деспотизм», «рабство», «азиатский народ» и т. п.) отчасти совпадают с таковыми в зарубежной печати и которые в частных беседах с маркизом в определенной степени преформировали точку зрения будущего путешественника, а в целом с наибольшим удовлетворением встретили его книгу. Последняя, писал 19/31 июля 1843 г. Н. И. Тургенев брату, «носит на себе отпечаток истины в главном характере того, что он описал. Подробности могут быть неточны, но сущность русского быта справедливо и точно изображена и в ярких чертах <...> Что книга эта будет полезна и для Европы и для России, в том не сомневаюсь <...> Русские обязаны будут взглянуть в это зеркало: отражение их образа конечно устроит их: но вина не зеркала, а оригинала» (там же. С. 120–121).

Подобные оценки возрождаются у ряда современных отечественных исследователей, повторяющих, что автор «России в 1839 году» может ошибаться в частности, но точен в це-

лом, верен по сути, и согласно цитирующих, например, мнение своего зарубежного коллеги (Tarn J.-F. *Le marquis de Custine, ou Les malheurs de l'exactitude*. P., 1985. P. 518–519), что у Кюстина «страшные картины якобинского деспотизма» оттеняют «еще более страшные картины деспотизма царского, российского» (цит. по: Мильчина В. А., Осповат А. Л. Комментарии // *Кюстин*. Т. 1. С. 512).

Кюстиновское мифотворчество, нередко склоняющееся к карикатуре или шаржу, но принимаемое за исторический анализ, было широко использовано в период «холодной войны» (см. об этом: Мяло К. Между Востоком и Западом: Опыт геополитического и историсофского анализа // Москва. 1996. № 12. С. 89–95). Необходимо подчеркнуть, что использование на Западе кюстиновского усеченно-гипертрофированного образа «варварской» и «деспотичной» России в идеологических и политических целях соседствовало со стремлением более объективно оценить его книгу. Так, американский исследователь Дж. Ф. Кеннан хотя и склонен отождествлять описанную маркизом Россию Николая I с Россией

Сталина и Брежнева, все-таки вынужден признать, что тот увидел лишь «одну Россию» и не увидел «другую», в которой проявились высокие «интеллектуальные и духовные качества русского народа» (Kennan George F. *The Marquis de Custine and his «Russia in 1839»*. Princeton, New Jersey, 1971. P. 124). Французский исследователь М. Кадо раскрывает особенности писательской манеры А. де Кюстина, когда тот ограничивается «живописными набросками, не имеющими большого значения», прибегает к «широким обобщениям, отделенным от увиденных вещей» или злоупотребляет свободой эпистолярного стиля: в результате, например, «у западного читателя может сложиться впечатление, что Николай — это новый Петр Великий, но также и новый Иван Грозный. Кюстин в совершенстве владеет такими намеками и инсинуациями» (*Cadot*. P. 190). По убеждению М. Кадо, для объективного отношения к труду путешествовавшего маркиза следует учитывать и его психологическое своеобразие: «Современный читатель, конечно, не станет искать исторических уроков и наставлений в “России в 1839 году”:

он более заинтересуется патологическим влечением Кюстина к сценам ужаса и жестокости. Только психолог смог бы в достаточной мере описать и объяснить столь очевидный случай садомазохизма. Но, на наш взгляд, невозможно понять “Россию в 1839 году”, не акцентировав эту глубокую склонность автора книги» (там же. С. 197).

Для понимания «книги господина Кюстина» (и реакции на нее Тютчева), которая, по выражению М. Кадо, в некоторых отношениях напоминает «черный роман», важно вернуться к отмеченной выше завроженности автора религиозностью, величием и мощью русского народа и государства, тайну которых он не стремится разгадать, а, напротив, как бы заслоняется от них, растворяет их в негативной беллетризованной публицистике, всюду выделяя и подчеркивая в своих размышлениях и «историях» прямо противоположные стороны ничтожества и пустоты национального русского бытия. Министр народного просвещения С. С. Уваров, готовя так и не осуществленный проект фундаментального историософского опровержения сочинения

французского путешественника, вопрошал по этому поводу: «...если бы общество, насчитывающее 60 миллионов человек, было устроено так, как утверждает автор, и на тех основаниях, какие он ему приписывает, оно не смогло бы просуществовать и суток. Сам же факт, что оно существует, обладает устрашающей мощью и развивается, доказывает, что начальная посылка книги неверна, что рассуждения автора противоречат и реальности, и его собственным выводам <...> и если Россия хотя бы на мгновение приняла бы тот облик, который приписывает ей г-н де Кюстин, она давно бы уже рассыпалась с ужасным грохотом» (цит. по: Мильчина В. А., Осповат А. Л. Петербургский кабинет против маркиза де Кюстина: Нереализованный проект С. С. Уварова // *НЛО*. 1995. № 13. С. 274–275).

По убеждению С. С. Уварова, страницы возможного опровержения «России в 1839 году» должны быть «проникнуты глубоким знанием нашей страны и пониманием важнейших исторических принципов, лежащих в основе ее устройства», что принципиально отвергнуто А. де Кюстином. В превратно-укороченной

методологии последнего Россия, вынужденная на протяжении многих веков защищаться от агрессий мирового масштаба (в том числе и наполеоновской) и спасти Европу от азиатских вторжений, выставляется именно таким захватчиком по самой своей природе и как главная угроза западной цивилизации. Словно солидаризируясь с С. С. Уваровым, Тютчев полагает, что такой «водевильный» подход с его «противоречивой» и «перевернутой» логикой опровергается по сути полнотой исторического знания и его соответствующей религиозно-философской интерпретацией. Именно антикюстиновская, «длинная» и «полная» методология лежит в основе историсофской публицистики Тютчева. Возражения А. де Кюстину носят и конкретный (хотя и открыто не обозначенный) характер (см. далее *коммент.* к разным статьям). Они, как и тютчевский подход в целом, не теряют своей актуальности, поскольку «Россия в 1839 году», выдержавшая в 40-х годах XIX в. более двадцати изданий в Париже, Брюсселе, Лондоне, Лейпциге, Копенгагене и Нью-Йорке, до сих пор остается своеобразной настольной кни-

гой русофобов. О поэтическом споре Тютчева с А. де Кюстином в стих. «Эти бедные селенья...» см.: Воропаева Е. Тютчев и Астольф де Кюстин // ВЛ. 1989. № 2. С. 102–115.

...умственного бесстыдства и духовного разложения — характерной черты нашей эпохи... — Здесь Тютчев впервые обнаруживает свойственное его мышлению внимание к выявлению не видимого для большинства скрытого отрицательного потенциала в новейших гуманистических, реформаторских, эмансипаторских, научно-материалистических устремлениях и идеях своего времени, к снижению психического уровня человека и обесцениванию духовного содержания его деятельности. В дальнейшем он в самых резких выражениях и в том же смысле оценивает нравственное состояние современного общества («все назойливее зло», «век отчаянных сомнений», «страшное раздвоение», «призрачная свобода», «одичалый мир земной»), которое утрачивает абсолютную Истину и религиозные основания жизни, заменяя их мифами прогресса, науки, разума, народовластия, общественного мнения, свободы слова и

т. п., маскируя обмельчание и сплошную материализацию человеческих желаний, двойные стандарты, своекорыстные страсти и низменные расчеты.

⟨...⟩

*Ложь, злая ложь растлила все
умы,
И целый мир стал воплощенной
ложью! ⟨...⟩*

(«Хотя б она сошла с лица земного...», 1866).

«Не плоть, а дух растлился в наши дни», — пишет поэт в стих. «Наш век» (1851), присоединяясь к наиболее чутким к оборотным сторонам «прогресса» русским писателям и мыслителям XIX в.: Пушкин — «наш век торгаш»; Е. А. Боратынский — «век шествует путем своим железным...»; А. И. Герцен — мещанство как последнее слово цивилизации; Н. Ф. Федоров — «ад прогресса» и т. д. и т. п. К. П. Победоносцев, говоря о демократии и сопутствующих ей «учреждениях» и «механизмах», подчеркивал: «...никогда, кажется, отец лжи не изобретал такого сплетения лжей всякого рода, как в наше смутное время, когда

столько слышится отовсюду *лживых* речей о *правде*. По мере того как усложняются формы быта общественного, возникают новые лживые отношения и целые учреждения, насквозь пропитанные ложью» (*Победоносцев*. С. 123). Примечательно, что тютчевская характеристика «нашего века» совпадает с выводами почитавшегося Тютчевым митрополита Филарета, который отмечает усиленное стремление к невнятным реформам при утрате духовного измерения жизни, когда люди становятся невосприимчивыми к добру и красоте, правде и справедливости и в отсутствии опоры на высшие религиозные принципы Откровения и Истины ищут свободы не на путях подлинного совершенствования, нравственного возрастания, достоинства и чести, а на путях интриг и революций (см.: Митрополит Филарет. Наш век // Творения митрополита Московского и Коломенского Филарета. М., 1994. С. 344–348).

Что же касается противников господина де Кюстина <...> то они <...> уж слишком простоваты... — Прежде всего имеется в виду К. К. Лабенский, российский дипломат польско-

го происхождения, чья брошюра «Un mot sur l'ouvrage de M. le marquis de Custine intitulé “La Russie en 1839”» («Слово о сочинении маркиза де Кюстина под названием “Россия в 1839 году”») с подписью «Русский» увидела свет в конце сентября 1843 г. в Париже, затем переведена на *нем.* и *англ.* яз. и переиздана в 1845 г. 14, 16 и 17 ноября 1843 г. в фурьеристской газ. «*Démocratie Pacifique*» печатались также возражения Кюстину С. П. Убри под псевдонимом Гюстав Еке. Вскоре затем появилась анонимная брошюра «Encore quelques mots sur l'ouvrage de M. de Custine “La Russie en 1839”» («Еще несколько слов о сочинении г-на де Кюстина “Россия в 1839 году”»), которая принадлежала перу М. А. Ермолова, жившего во Франции и занимавшегося переводами (в частности, произведений А. С. Пушкина на *фр.* яз.). Подразумевается еще русский журналист, филолог, публицист Н. И. Греч, опубликовавший в конце 1843 г. в Гейдельберге свое возражение Кюстину на *нем.* яз. («Über das Werk “La Russie en 1839” par le marquis de Custine. Aus dem Russischen übersetzt von W. von Kotzebue» — «О сочинении маркиза де

Кюстина «Россия в 1839 году». Перевод с русского языка В. фон Коцебу»), а в начале 1844 г. в Париже на *фр.* («Examen de l'ouvrage de M. le marquis de Custine intitulé «La Russie en 1839». Traduit du russe par Alexandre Kouznetzoff» — «Рассмотрение сочинения маркиза де Кюстина под названием «Россия в 1839 году». Перевод с русского Александра Кузнецова») (о деятельности Н. И. Греча в качестве активного критика сочинения А. де Кюстина см.: Деревнина Т. Г. Книга А. де Кюстина «Россия в 1839 году» и ее читатель в России и за рубежом в 40-х годах XIX века // Федоровские чтения. 1976. М., 1978. С. 135; см. также: Темпест Р. Философ-наблюдатель маркиз де Кюстин и грамматист Николай Греч // Символ. 1989. № 21. С. 195–211). В поле зрения Тютчева наверняка попало и опровержение корреспондента Министерства народного просвещения в Париже Я. Н. Толстого, который под псевдонимом Яков Яковлев издал на *фр. яз.* в Париже в январе 1844 г. брошюру «"La Russie en 1839" rêvée par M. de Custine, ou Lettres sur cet ouvrage écrites de Francfort» («"Россия в 1839 году", пригрезившаяся г-ну де Кюстину, или

Письма из Франкфурта об этом сочинении»).

Таковы основные отечественные (о зарубежных см.: *Cadot*. P. 226–229) «противники господина де Кюстина», публично высказавшие соображения по поводу его книги еще до написания статьи «Россия и Германия». Они уличали автора «России в 1839 году» в многочисленных фактических неточностях, ошибках, пропусках, противоречиях, отмечали верность отдельных частных наблюдений, с разной степенью убедительности опровергали общие положения, выводы или сверхэмоциональные оценки. Их «простоватость» заключалась для Тютчева прежде всего в «короткомыслии», в том, что в их аргументации ему недоставало подлинного исторического измерения и религиозно-философского масштаба, тех основополагающих принципов провиденциального развития, которые определяют его конфигурацию, метаморфозы и комбинации и которые составляют глубинный смысловой стержень публицистических «статей» и «записок» самого поэта.

Они <...> в чрезмерном усердии готовы торпливо раскрыть свой зонтик, чтобы предо-

хранить от полуденного зноя вершину Монблана... — Ср. далее аналогичный образ горы применительно к России (коммент. к «Записке». С. 310), мировая роль которой как христианской державы, по наблюдению Тютчева, все труднее постигается современным ему поколением. По-своему этот образ используется и в «книге господина де Кюстина», сравнивавшего кремлевские стены как цитадель на рубеже Европы и Азии с Альпами, а сам Кремль — с «Монбланом среди крепостей» (*Кюстин*. Т. 2. С. 90).

...все тяжбы, в которые русский народ раз за разом ввергал все это время свои таинственные судьбы... — Тютчев имеет в виду угрозы со стороны Польши и Литвы, Германии и Швеции, перипетии Смутного времени, французское нашествие 1812 г. и подобные им события трехвековой истории, которые свидетельствовали об успешном в целом сопротивлении России проявлениям агрессивной политики Запада.

...никогда еще умы Германии не были так заняты, как теперь, великим вопросом германского единства... — В годы борьбы с Напо-

леоном зародилось общегерманское движение, в основе которого лежало стремление к национальному единству. Известный общественный деятель и публицист Э. М. Арндт сокрушался, что нигде нельзя отыскать немецкого отечества:

*Что представляет собою родина
немцев?*

Пруссия ли это, Швабия ли?

На Рейне ли она, где цветет виноград,

Или на Бельте, где вьются чайки?..

(Arndt Ernst Moritz. Erinnerungen aus dem äußeren Leben. Greifenverlag zu Rudolstadt, 1953. S. 5). После победы над Наполеоном на Венском конгрессе был создан Германский союз, в который вошли более тридцати независимых государств. Однако в начале 1840-х гг. все настойчивее раздавались голоса, критиковавшие слабости Германского союза и недостаточность предпринимаемых шагов к национальному единству, призывавшие к созданию сильного всенемецкого отечества. В определенной степени этому способствовал

приход к власти А. Тьера во Франции, когда вспомнили о «французском Рейне». Именно тогда зародились в качестве ответной реакции настроения и действия, о которых свидетельствует русский путешественник: «Что всего более поражает <...> так это следующее: Германия укрепляется; куда ни оглянешься, везде строятся крепости — на Рейне, в Раштадте, Ульме, Тироле, и еще существует множество новых предположений. По временам из национальных газет раздаются критики: “Укрепляйтесь, укрепляйтесь!”. Так одно политическое обстоятельство обратило Германию к самой себе и к началам, на которых может быть основана твердо ее материальная и нравственная сила» (Анненков П. В. Парижские письма. М., 1983. С. 75). На волне патриотического подъема зазвучали слова «Германской песни» («Германия, Германия превыше всего / Превыше всего в мире!»), сочиненной либералом Х. Хофманом фон Фаллерслебеном в 1841 г., в 1922 г. объявленной гимном Веймарской республики, а в 1933 г., с приходом к власти Гитлера, ставшей гимном Третьего рейха. Ироническое восприятие подоб-

ных тенденций общественной жизни в Германии выражено поэтом в эпиграмме 1848 г.:

*Не знаешь, что лестней для мудрости людской:
Иль вавилонский столп немецкого единства —
Или французского бесчинства
Республиканский хитрый строй?..*

Двойственное отношение Тютчева к идее «немецкого единства» и ее возможным метаморфозам отразится в трактате «Россия и Запад», а также в его поздних письмах, где им будут предугаданы «вавилонские», варварские метаморфозы и последствия утрированного воплощения этой идеи, безусловного стремления Германии к мировому господству в XX в. Говоря о победе объединенной Пруссии над Францией Наполеона III и о характере франко-прусской войны, Тютчев недоумевал и предсказывал: «Что меня наиболее поражает в современном состоянии умов в Европе, это недостаток разумной оценки некоторых наиважнейших явлений современной эпохи, — например, того, что творится теперь в Германии <...> Это дальнейшее вы-

полнение все того же дела, обоготворения человека человеком, — это все та же человеческая воля, возведенная в нечто абсолютное и державное, в закон верховный и безусловный. Таковую проявляет она в политических партиях, для которых личный их интерес и успех их замыслов несравненно выше всякого иного соображения. Таковую начинает она проявляться и в политике правительств, этой политике, доводимой до края во что бы то ни стало (*à outrance*), которая, ради достижения своих целей, не стесняется никакой преградой, ничего не щадит и не пренебрегает никаким средством, способным привести ее к желанному результату <...> Отсюда этот характер варварства, которым запечатлены приемы последней войны, — что-то систематически беспощадное, что ужаснуло мир <...> Как только надлежащим образом опознают присутствие этой стихии, так и увидят повод обратить более пристальное внимание на возможные последствия борьбы, завязавшейся теперь в Германии, — последствия, важность которых способна, для всего мира, достигнуть размеров неисследи-

мых «...» повести Европу к состоянию варварства, не имеющему ничего себе подобного в истории мира, и в котором найдут себе оправдание всяческие иные угнетения. Вот те размышления, которые, казалось бы, чтение о том, что делается в Германии, должно вызывать в каждом мыслящем человеке...» (*Биограф.* С. 188–190). Как бы единодушно с Тютчевым, противопоставлявшим единству железа и крови единство любви (см. стих. «Два единства»), мыслил и Достоевский в письме к А. Н. Майкову от 7 февраля 1871 г. из Дрездена: «Более лжи и коварства нельзя себе и представить. Мечом хотят восстановить Наполеона, ожидая в нем себе раба векового и в потомстве, а ему гарантируя за это династию «...» Но помните текст Евангелия: “Взявший меч и погибнет от меча”. Нет, непрочно мечом составленное! И после этого кричат: “Юная Германия!” Напротив — изживший свои силы народ, ибо после такого духа, после такой науки — ввериться идее меча, крови, насилия и даже не подозревать, что есть дух и торжество духа, а смеяться над этим с капральскою грубостью! Нет, это мертвый на-

род и без будущности. А если он жив, то, после первого опьянения, сам, поверьте, найдет в себе протест к лучшему и меч упадет сам собою» (Достоевский. Т. 29. Кн. 1. С. 176).

...в наши дни, как и в Средние века, можно смело касаться любого вопроса, если имеешь чистые руки и открытые намерения... — Имеется в виду средневековый обычай судопроизводства (лат. *ordalia*) — испытания водой, огнем и т. п.

...природа отношений, связывающих, вот уже тридцать лет, Россию с правительствами больших и малых государств Германии. — Речь идет о Священном союзе России и европейских монархий, который предполагал их объединение на христианских и легитимистских принципах. Инициатива создания Союза принадлежала Александру I, а его юридическое оформление произошло на Венском конгрессе в 1815 г. Среди первых подписавших особый акт, помимо русского царя, полагавшего, что отношения между союзниками должны «руководствоваться не иными какими-либо правилами как заповедями сея святыя веры, заповедями любви, правды и мира»

(цит. по: Николай Первый и его время. М., 2000. Т. 1. С. 42), были прусский король Фридрих Вильгельм III и австрийский император Франц I. Тогда же на Венском конгрессе сформировался Германский союз, среди государств которого наиболее дружественной русской монархии считалась Пруссия. С ней Россия еще в начале 1813 г. заключила «Союз святой», как его называет Тютчев в обращенном к К. А. Фарнгагену фон Энзе стих. «Знамя и Слово» (см. об этом: ЛН-2. С. 459–460), для совместных действий в антинаполеоновской кампании. В дальнейшем «Союз святой», развившийся в Священный союз, предполагал взаимодействие и солидарность в деле сохранения государственных установлений и борьбы против революционных тенденций, а его участники взаимно обязались всегда «подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь», как «братья и соотечественники», подданными же своими управлять, как «отцы семейства». В политическом завещании Фридрих Вильгельм III писал сыну, сменившему его в 1840 г.: «Прилагай все возможные усилия для поддержания согласия между евро-

пейскими державами и прежде всего для того, чтобы Пруссия, Россия и Австрия никогда не разлучались друг с другом» (цит. по: Simon Ed. L'Allemagne et la Russie au XIX siècle. P., 1893. P. 79). В феврале 1854 г. Тютчев вспомнил «завещание этого бедного короля Фридриха Вильгельма III» в письме к К. Пфеффелю: «Увы! Что бы сказал он там наверху, глядя на происходящее здесь внизу, и как мало опыт отцов служит детям» (цит. по: RDM. 1854. T. 6. 15 mai. P. 887).

...сердечного взаимопонимания между различными правительствами Германии и Россией... — Тютчев здесь дипломатичен, поскольку никогда не переоценивал на разных этапах «сердечности» русско-немецких договоренностей. Именно под давлением обстоятельств, успешного наступления России в Европе в 1813 г. и руководствуясь прагматическими соображениями Пруссия вступила в Священный союз. Воплощение же декларированных в рамках этого Союза принципов христианской и легитимистской политики в реальной действительности было далеко от провозглашаемых идеалов. Еще при составле-

нии основополагающего документа австрийский канцлер К. В. Меттерних назвал его «звонкой, но пустой бумагой», которую можно конъюнктурно использовать, а религию превратить в удобное средство для достижения собственных интересов и дипломатических целей. Что на самом деле и происходило. Независимо от этой «бумаги» возник тайный сговор между Францией, Австрией и Англией. На последующих конгрессах Священного союза в 1818–1822 гг. принятое в Вене обязательство взаимной братской помощи было истолковано европейскими дипломатами в духе прямолинейного вмешательства во внутренние дела отдельных стран для подавления в них национальных движений. И хотя после европейских революций и волнений 1830–1831 гг. Россия, Австрия и Пруссия в 1833 г. заключили договор, подтверждавший венские соглашения 1815 г., союзники Николая I манипулировали им в собственных стратегических целях и дипломатических маневрах. В результате при первой удобной возможности ослабить государственную мощь России и нанести ей военное поражение Ав-

стрия и Пруссия объединились с Англией и Францией, что сказалось на удручающих итогах Крымской войны. В письме жене 17 февраля 1854 г. Тютчев заключал: «Сколько бы ни уверяли эти государства, что соединенные они достаточно сильны для сохранения своего нейтралитета, но в этом и заключается ложь, так как они отлично знают, что в них нет единения, и без России это невозможно, а одна из них — Пруссия — в сущности только оттого и хотела отделаться от контроля России, чтобы снова начать свои мелкие подлости и измены, которые ей всегда удавались. Что же касается этой бедной Австрии, тело которой представляет сплошную Ахиллесову пяту, ясно, что, нуждаясь в помощи с Востока или с Запада, у нее был выбор между двумя сидениями: хорошим прочным креслом или колом, — тоже прочным и хорошо отточенным» (СН. 1915. Кн. 19. С. 197–198). О «предательских лобзаниях» «австрийского Иуды» поэт писал в стих. «По случаю приезда австрийского эрцгерцога на похороны императора Николая» (1855). Верность данному слову, принятым обязательствам, сложившемуся

порядку в Европе и стремление противостоять революционным тенденциям заставляли Николая I действовать чересчур прямолинейно, терять гибкость в отстаивании национальных интересов, осуждать славянскую солидарность, соглашаться на проавстрийскую политику канцлера К. В. Нессельроде, что в 1850-х гг. вызвало у Тютчева острую неприязнь к императору, выражавшуюся, например, в самых острых выражениях в письме к жене от 17 сентября 1855 г. («чудовищная тупость этого злосчастного человека» и т. п.). К концу своего правления цену заключавшимся международным соглашениям осознавал и сам царь, и в его личной переписке за несколько месяцев до кончины постоянно звучит мотив «бесстыдного коварства» Австрии, которое превзошло все, что «адская иезуитская школа когда-либо изобрела».

...великую традицию...— Имеется в виду традиция «Священной Римской империи германской нации». См. об этом также с. 268*.

...какие одновременно и в противовес этому политическому направлению ваших правительств существуют побуждения и стремле-

ния, попытки внушить которые общественному мнению Германии по отношению к России продолжаются уже около десятка лет? — Подразумеваются либеральные, демократические и революционные течения немецкой общественной жизни, представители которых критически относились к внутренней и внешней политике правительства своей страны, считали Россию противником национального единства Германии и «жандармом Европы». Подобные мнения питались страхом перед политическими успехами, государственной мощью и географическими пространствами России и получили широкое распространение после разгрома польского восстания 1830–1831 гг. Сообщение о взятии Варшавы баварская газета «Der Deutsche Horizont» (№ 27, 4/16 сентября 1831 г.) отметила строками в траурной рамке:

«8 сентября русские войска вступили в Варшаву.

8 сентября в Берлине 17 человек умерло от холеры

Деспотизм победил, свобода погибла!

Горе! Горе! Горе!»

В связи с подобными выступлениями в печати русский посланник в Мюнхене И. А. Потемкин заявил правительству Баварии протест и докладывал министру иностранных дел России К. В. Нессельроде: «С одной стороны, эта блестящая победа преданности долгу над мятежом вызвала живейшую радость у всех, кто справедливо обеспокоен возрастающим распространением революционного духа <...> С другой стороны, эта победа привела в глубокое уныние многочисленных приспешников революционной пропаганды, которая, под маской напускного одушевления и мнимого сочувствия польскому делу, использовала превратности этой войны с немалой выгодой для своих замыслов. К несчастью, именно в Баварии эта пропаганда находит ныне наиболее благоприятные условия для успеха своих козней» (цит. по: *Летопись 1999*. С. 111).

Тютчев был непосредственным свидетелем развития антирусских настроений в течение «десятка лет», одним из проявлений которых стала большая анонимная статья в трех номерах (с 31 января по 2 февраля

1830 г.) AZ, перепечатанная из издававшейся в турецком г. Смирна на фр. яз. газеты «Courrier de Smyrne». Публикация вышла накануне созывавшейся по инициативе России (с целью признать полную независимость Греческого королевства от Турции) Лондонской конференции, приписывала России прямо противоположные намерения и призывала Англию и Францию защитить свободу Греции от этого «Северного государства». Перепечатка (инспирированная австрийским правительством) статьи из Турции, с которой Греция боролась за независимость, и необоснованные обвинения в адрес России вызвали резкую реакцию Тютчева. «Что партия, враждебная всему доброму и честному в Природе Человека, — писал он Ф. Тиршу, — попыталась всеми возможными способами, per fas et nefas (правдами и неправдами — лат.), силой и хитростью, соблюдением договоров и нарушением их, погубить несчастную Грецию, — это понятно, ибо это было в ее интересах, а ведь известно, что интерес, самый низменный, самый гнусный интерес — единственное правило, единственный двигатель этой

партии. Но то, что обманутый в своих расчетах, парализованный Высшей Силой в своих замыслах, отчаявшийся доконать свою жертву убийца пытается теперь прикинуться ее покровителем с тем, чтобы выдать истинного покровителя за убийцу, — вот это уже слишком, и общественное мнение изменило бы самому себе, если бы в своих признанных органах не отразило со всей силой негодования подобное оскорбление, нанесенное общественному благоприличию» (ЛН-1. С. 545).

Обозначившиеся в начале 1830-х гг. тенденции продолжали нарастать. В 1832 г. появился в печати памфлет «Geschichtliche Darstellung über das höchst gefährliche Wachstum Russlands für die übrigen Staaten Europas» («Историческая картина чрезвычайно опасного для остальных государств Европы развития России»), в котором Николай I обвинялся в стремлении внутренне разрушить Австрию и Турцию и объединить всех славян. После совместных прусско-русских военных маневров в Калише в 1835 г. К. А. Фарнгаген фон Энзе записал в дневнике: «...здесь людям крайне претят все отношения

с Россией» (цит. по: *Тютч. сб.* 1999. С. 234). В том же году русский дипломатический агент в Кобленце Г. Т. Фабер докладывал, что жители Германии «в основном враждебны России» (цит. по: *Лотмановский сб.* М., 1997. Вып. 2. С. 307). Выходец из Силезской Пруссии А. А. Кунник, ставший большим знатоком древнерусской истории и нумизматики и возвратившийся в 1841 г. на родину, встретил там настороженный прием: «...ни в Берлине, ни в Лейпциге он не мог найти издателя для своих переводов и извлечений из русских сочинений. Главная причина, по его словам, была та, что он хорошо отзывался о России» (*РС.* 1899. № 5. С. 368). Подобные настроения во многом складывались под влиянием формировавшей общественное мнение прессы. По свидетельству И. С. Аксакова, именно «бешеные нападки на Россию публицистов самой Германии» заставили Тютчева взяться за перо и выступить в немецкой печати (*Биогр.* С. 124).

...великое поколение 1813 года приветствовало с восторженной благодарностью... — Имеются в виду те представители немецкого народа, правительственных и военных кру-

гов, которые могли по достоинству и с благодарностью оценить значение «Союза святого» между Россией и Пруссией для освобождения последней в борьбе с Наполеоном и которым было внятно содержание тютчевского стих. «Знамя и Слово» (1842):

*В кровавую бурю, сквозь бранное
пламя,
Предтеча спасенья — русское Зна-
мя
К бессмертной победе тебя приве-
ло.
Так диво ль, что в память союза
святого
За Знаменем русским и русское
Слово
К тебе, как родное к родному, при-
шло?*

Это стихотворение написано 25 июня / 7 июля 1842 г. и обращено к К. А. Фарнгагену фон Энзе, служившему в 1813 г. в русско-немецком легионе. Толчком к его созданию послужила встреча поэта с К. А. Фарнгагеном фон Энзе и с командиром этого легиона генералом Ф. К. Теттенборном, которые также оказались свидетелями победного пребыва-

ния русских войск в Париже. К. А. Фарнгаген фон Энзе замечал, что для пруссаков 1806 г. играет роль трагического пугала, от которого их избавил 1813 г. Опыт 1813 г. заставил К. А. Фарнгагена фон Энзе (впоследствии с глубоким интересом воспринимавшего русскую литературу, в частности творчество А. С. Пушкина) прийти к заключению, что «дома мы слишком мало внимания уделяли русскому языку и литературе и почти не занимались ими. Это тем более удивительно, что именно в последнее время, после проведенных в братском союзе боев за совместное освобождение и общих побед наши народы стали ближе друг к другу, а мощь и влияние России постепенно приобретают для нас все возрастающее значение» (цит. по: Освободительная война 1813 года против наполеоновского господства. М., 1965. С. 149). О результатах усилий по формированию «Союза святого» и о его деятельности можно судить по рапорту П. Х. Витгенштейна главнокомандующему после взятия Кенигсберга: «Приняты мы жителями чрезвычайно хорошо, не токмо как друзьями, но как избавителями их от ига французов»

(цит. по: Поход русской армии против Наполеона в 1813 году и освобождение Германии. Сб. документов. М., 1964. С. 19). О разных сторонах деятельности «великого поколения 1813 года», его устремленности к сближению с Россией и «восторженной благодарности» см.: Освободительная война 1813 года против наполеоновского господства. М., 1965; Das Jahr 1813. Studien zur Geschichte und Wirkung der Befreiungskriege. В., 1963; Straube F. Frühjahrsfeldzug 1813. Die Rolle der russischen Truppen bei der Befreiung Deutschlands vom Napoleonischen Joch. В., 1963.

...почти удалось превратить в пугало для большинства представителей нынешнего поколения... — Примером такого превращения может служить вышедшая в 1839 г. книга F. D. Bassermann und Weitzel «Deutschland und Russland» («Германия и Россия»), с названием которой перекликается тютчевская статья. Авторы публикации приводили сказанные Наполеоном на острове Святой Елены слова о том, что «через пятьдесят лет Европа будет казацкой», и считали своим долгом предупредить подобный ход событий. Они резко кри-

тиковали германских князей и государей за их политику союза с русским царем и рассматривали Россию как главного врага немецкого национального единства, в борьбе с которым необходимо полагаться на союз с Францией, на строительство народного представительства и силу общественного мнения (см. об этом: *Groh*. S. 181). На образ «пугала» играла также напечатанная в 1839 г. в Лейпциге анонимная книга «*Europäische Pentarchie*» («Европейская пентархия»), в которой европейское геополитическое пространство разделялось между Пруссией, Австрией, Англией, Францией и Россией, а последняя выступала в роли покровителя менее крупных германских государств. Книга, написанная служившим в русском дипломатическом ведомстве в Дрездене и Берлине немцем К. Э. Гольдманом, произвела немалый шум в общественных и правительственных кругах Германии. Распространялись слухи, будто она инспирирована официальными кругами «северного колосса». Находившийся в то время в Европе М. П. Погодин обеспокоенно недоумевал: «Сочинение о Пентархии самым стран-

ным образом возбудило добрых немцев против нас: они обиделись, что какой-то их же брат-фантазер рекомендовал им покровительство России...» (Погодин. С. 59).

...видеть в России какого-то людоеда XIX века. — Тютчев, живший на Западе в 1820 и 1830 гг., мог вблизи наблюдать примеры тех предвзятых тенденций, которые частично отразились в упомянутых выше книгах и изданиях и порою принимали крайние формы. Рост влияния российской державы в Черноморском бассейне и на Ближнем Востоке постоянно вызывал подспудное сопротивление европейских стран, которые противопоставляли экономическую экспансию, политическое давление и антирусскую пропаганду в прессе. Особую активность проявляли английские политики, которые при каждом повороте событий на Балканах приписывали России захватнические замыслы и создавали из нее образ врага. Так, еще в 1833 г. влиятельный член палаты общин банкир Т. Аттвуд заявлял, что «пройдет немного времени... и эти варвары научатся пользоваться мечом, штыком и мушкетом почти с тем же ис-

кусством, что и цивилизованные люди». Следовательно, необходимо не мешкать, а объявить войну России, «подняв против нее Персию, с одной стороны, Турцию — с другой, Польша не останется в стороне, и Россия рассыплется, как глиняный горшок» (цит. по: Виноградов В. Н. Николай I в «Крымской ловушке» // *НИ*. 1992. № 4. С. 31–32). В английском парламенте раздавались оскорбительные выпады против Николая I и Екатерины II, «чудовищной бабки чудовищного императора» и даже «разнузданной проститутки». Значительный вклад в антирусскую пропаганду внес политический публицист Д. Уркварт (использовавший полученные им от польской эмиграции якобы подлинные документы русской дипломатии; о его деятельности см.: Gleason John Howes. *The Genesis of Russophobia in Great Britain*. L., 1950. P. 164–204; *Groh*. S. 162–164), который в своих брошюрах «Turkey and its resources» («Турция и ее ресурсы») (1833), «England, France, Russia and Turkey» («Англия, Франция, Россия и Турция») (1834), «The Sultan Mahmoud and Mehemet Ali Pasha» («Султан Махмуд и Мехмет Али Паша») (1835),

«Russia and Turkey» («Россия и Турция») (1835) обвинял Россию в намерении захватить Константинополь и проливы и распространить свое влияние на всем Ближнем Востоке и в Азии, вплоть до похода на Персию и Индию. Подобные обвинения и обсуждения (с призывами всеобщего объединения против России) были популярны в английской и — шире — европейской прессе 1830-х гг. В марте 1836 г. А. И. Тургенев писал из Парижа, что «никогда столько брошюр, журнальных статей и книг не выходило о сем предмете, как в последние два года; даже тогда, когда Россия и Турция, ввиду Европы и Азии, сражались на высотах Балкан, менее ими занимались политические компиляторы, нежели теперь. Здесь и в Англии можно накопить целую библиотеку о России в отношении к Востоку» (Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники 1825–1826 гг. М.; Л., 1964. С. 87). Современный исследователь отмечает: «...призывы к войне против России нередко раздавались и с трибуны английского парламента. Так, 19 февраля 1836 г. лорд Дадли в верхней палате заявил, что нельзя мириться с агрессивными планами

России и что Англия, “если необходимо, готова к войне против нее”. Анонимный автор в 1844 г. признавал наличие в этой стране “общей неприязни в отношении России”. Российский посол в Лондоне граф Поццо ди Борго сообщал в Петербург, что мысль о близком завоевании Индии Россией широко распространена в Англии. “Этот план, — писал посол, — засел здесь во всех головах, невзирая на свою естественную невероятность и положительную фальшь”. Посол пытался доказать это Пальмерстону, но тот, соглашаясь, что в данное время русский поход на Индию невозможен, утверждал тем не менее, что “к этому идет дело”» (Ерофеев Н. А. Туманный Альбион. М., 1982. С. 275). Английские политики во многом использовали воображаемую «русскую угрозу» для дальнейшего расширения своих колониальных владений под лозунгом «защиты» их безопасности. Подобные приемы печати накладывались на памфлетно-карикатурные изображения страшного «захватчика», «тирана», «деспота», «петербургского чудовища», «жестокоего татарина», какими нередко представлялись русские цари и их

подданные. Еще в 1812 г. Е. Д. Кларк в книге «Travels in Various Countries of Europe, Asia and Africa...» («Путешествия в разные страны Европы, Азии и Африки...») вводит весьма распространенный впоследствии образ кнута как обобщающего символа России, словно предваряя интонации А. де Кюстина (и не только его): «Император колотит первого из своих придворных, князя и дворяне бьют своих рабов, а те — своих жен и детей. Бичевание в России начинается еще до восхода солнца, и на всем протяжении этой огромной империи, во всех слоях населения палка работает с утра до вечера» (цит. по: *McNally*. S. 88). О «стране кнута» Тютчев не раз читал и как председатель Комитета цензуры иностранной (см.: Брикман М. Ф. И. Тютчев в Комитете цензуры иностранной // *ЛН*. 1935. Т. 19–21. С. 570).

Общеввропейские антирусские настроения усиливались в Германии влиянием внедрявшегося в общественное сознание жупела «панславизма», возникшего в контексте уже не мнимого развития идеи «пангерманизма» (см. об этом: Волков В. К. К вопросу о проис-

хождении терминов «пангерманизм» и «панславизм» // Славяно-германские культурные связи и отношения. М. 1969. С. 25–69). В 1841 г. Н. И. Надеждин писал из Вены, что «со всех концов Германии бьют тревогу; распускают слухи, подозрения, страхи; проповедают вообще ополчение против какого-то страшилища, окрещенного мистическим именем “панславизма”» (Москв. 1841. Ч. III. № 6. С. 515). О всепроникновенности «страшилища» можно судить по словам персонажа соллогубовского «Тарантаса»: «Иногда за табельд’отом делали ему самые ребяческие вопросы: скоро ли Россия завладеет всем светом? правда ли, что в будущем году Цареград назначен русской столицей? Все газеты, которые попадались ему в руки, были наполнены соображениями о русской политике. В Германии панславизм занимал все умы. Каждый день выходили из печати глупейшие на счет России брошюры и книги...» (Соллогуб В. А. Тарантас. Путевые впечатления. М. 1982. С. 211). В них констатировался рост национально-освободительных движений, культурного возрождения, взаимной солидарности славянских народов, кото-

рый, по мнению немецких политиков, мог препятствовать объединению Германии в границах прежней «Священной Римской империи» и таить в себе угрозу осуществления «принципа всеобщей славянской нации» и образования славянской империи во главе с Россией. На самом деле, несмотря на симпатии к России, у деятелей славянских национальных движений в 1830–1840 гг. не было никаких политических программ для объединения. Более того, некоторыми из них провозглашалась прямо противоположная идея австрославизма (см. *коммент.* к ст. «Россия и Революция». С. 344–345*; о проавстрийских настроениях в среде славянства см.: Погодин М. Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник. М., 1844. Ч. 1–2. С. 83–84, 91–92, 161), а правительство Николая I, строго придерживаясь легитимистских принципов Священного союза и европейского статус-кво, пресекало внутри всякие славянофильские попытки возбуждать интерес к национально-освободительным и объединительным устремлениям славянских народов. Автор изданной в 1843 г. в Лейпциге анонимной книги «Slaven, Russen,

Germanen. Ihre gegenseitige Verhältnisse in der Gegenwart und Zukunft» («Славяне, русские, германцы. Их взаимоотношения в настоящем и будущем») подчеркивает, что европейские, и в первую очередь немецкие, публицисты подозревают за термином «панславизм» столько тайных тенденций со скрытыми политическими целями, что стремятся «замарать его нечистотами, изобразить его в виде зловещего страшилища, окутанного в “северную ночь”, и неразрывно связать его в своем распаленном воображении с русским кнутом и сибирскими заснеженными полями. А ведь эти мужи, которые с такой беспримерной яростью нападают на панславизм, принадлежат в Германии как раз к партии, которая называет себя “либеральной”, к той партии, которая с несказанным воодушевлением ратует за идею “германского единства”, “единой объединенной Германии”, “великой немецкой нации”» (цит. по: Волков В. К. К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «панславизм». С. 46). О различных толкованиях идеи «панславизма» см. в кн.: Грот К. К истории славянского самосознания

и славянских сочувствий в русском обществе (Из 40-х годов XIX столетия). СПб., 1904; Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем. СПб., 1913; Колейка И. Славянские программы и идея славянской солидарности в XIX–XX веках. Praha, 1964; Лебедева О. В. Проблемы панславизма в Чехии и в России в первой половине XIX века // *Нация и национальный вопрос в странах Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX в.* М., 1991. С. 98–105; Kohn H. *Panslavism. Its History and Ideology.* 2 ed. New York, 1960; Fadner F. *Seventy years of Pan-Slavism in Russia. From Karazin to Danilevskij: 1800–1870.* Washington, 1962.

Страх перед возрастающим могуществом России и возможным объединением славян под эгидой русского царя служил одним из источников формирования фантастических образов русского варвара или славянского Чингисхана, который якобы угрожает завоеванием всему Западу и даже представляет опасность для всего человечества и который распространялся среди политических деятелей и журналистов различных европейских

стран, в том числе и Германии. Например, Г. Гейне в корреспонденции из Парижа от 31 января 1841 г., опубликованной в *AZ*, призывал в связи с осложнениями на Востоке не опасаться религиозного рвения мусульман: оно «явилось бы лучшим оплотом против стремлений Московии, которая замышляет ни более, ни менее, как завоевать или хитростью добыть на берегах Босфора ключ ко всемирному господству» (*Гейне*. Т. 8. С. 119). Депутат Ф. Беккер, выступая в 1846 г. в Баденской палате, также говорил о стремлении России к мировому господству и о ее новом монгольском нашествии на Германию, особо предупреждая немецкие провинции со славянским населением. О распространенности подобных «мнений иностранцев о России» (этими словами названа соответствующая статья А. С. Хомякова) свидетельствуют и личные впечатления отечественных путешественников. «Нас считают гуннами, грозящими Европе новым варварством, — говорили в 1835 г. студенты профессорского института (В. С. Печерин, М. С. Куторга, А. И. Чивилев и др., побывавшие в Германии и Франции). — Профессора провозгла-

шают это с кафедр, старясь возбудить в слушателях опасения против нашего могущества» (Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 173). О том же писал и А. Н. Карамзин из Парижа в феврале 1837 г.: «...все нас здесь ненавидят, а особенно партия правительства, а все политические специальности принадлежат ей» (СН. 1914. Кн. 17. С. 288). Через семь лет А. Н. Карамзину как бы вторит А. И. Тургенев в своем дневнике: «Германия» вся нас ненавидит» (ЛН-2. С. 87). Примечательна и анонимная статья «Ближайшая война и ее последствия» (Wigand's Vierteljahrsschrift. 1844. Bd I), появившаяся после выхода тютчевской брошюры и отраженная в дневнике А. И. Герцена: «...там для Германии европейская война представлена якорем спасения, и именно война с Россией» (цит. по: Тютч. сб. 1999. С. 234). Подобные оценки и настроения совпадали с выводами из отчета III Отделения за 1841 г.: «Против России сильно предубеждены в Германии. Источником недоброжелательства к русским почесть можно, с одной стороны, предания старинной политики германских народов, с другой — зависть, внушаемую ве-

личием и силою нашей Империи, и мысль, что ей провидением предопределено рано или поздно привлечь в недра свои все славянские племена, и наконец, злобу против России партии революционеров, которые беспрестанно появляющимися в Англии, Франции и Германии пасквилями, изображая Россию самыми черными красками, гнусною клеветою стараются вселить к ней общую ненависть народов» (цит. по: Мильчина В., Осповат А. Комментарии // *Кюстин*. Т. 2. С. 546–547).

О своеобразии «черных красок» в «пасквильной» публицистике и политической лирике 1830–1840 гг. можно судить по лексическому анализу метафорического описания в них разных сфер российской действительности: «...для страны — бескрайняя степь, леденящий полярный круг, Сибирь; для подданных — казаки, киргизы, калмыки, башкиры, татары, курносые, узкоглазые азиаты; для династии и царей: Танталов род, смесь рабства и деспотизма, отцеубийца, народоубийца, лицемер, персонифицированное зло; для общественной сферы — варварство, кнут, нагайка, запах сала и дегтя; для отношений к сосе-

дям — дремлющий великан, распластавшийся гигант, чудовище, хищная птица, борьба между светом и тьмой, солнечным пеклом и ледяным холодом» (Jahn P. Russophilie und Konservatismus. Die Russophile Literature in der deutschen Öffentlichkeit 1831–1852. Stuttgart, 1980. S. 266). По словам немецкого исследователя Д. Гро, весь XIX в. на Западе шла «идеологическая борьба против России под девизом борьбы с деспотией, развития против стагнации, культуры с варварством» (цит. по: Славяно-германские исследования. М., 2000. Т. 1, 2. С. 349).

Двадцать два года спустя после написания «России и Германии» Тютчев, говоря о наблюдавшемся им умонастроении немцев, которое резко контрастировало с мыслями и чувствами «великого поколения 1813 года», подчеркивал: «Они, в продолжение тридцати лет, разжигали в себе это чувство враждебности к России, и чем наша политика в отношении к ним была нелепо-великодушнее, тем их не менее нелепая ненависть к нам становилась раздражительнее» (ЛН-1. С. 400).

...еще один властитель эпохи — обще-

ственное мнение... — Навязываемое и формируемое прессой общественное мнение Тютчев оценивал как существенный фактор идеологической и политической жизни, способный оказывать как отрицательное, так и положительное воздействие на исторический процесс (см. *коммент.* к «Письму о цензуре в России». С. 490–494*).

...ужасное стремление к раздорам, которое, подобно злему фениксу, восставало во все значительные эпохи вашего благородного отечества? — Подразумеваются войны, внешние и внутренние конфликты, смещения границ и территориальные переделы, которые сопровождали тысячелетнюю историю Германии. Даже в годы правления государей Франконской (Салической) династии в XI в. (см. далее *коммент.* С. 267*), когда средневековая Германская империя достигла своего апогея, разные группировки немецкой знати не прекращали вести между собой ожесточенную борьбу. К тому же непрекращавшееся соперничество императоров с папами шло с переменным успехом в зависимости от того, на чью сторону в текущий момент вставали

германские светские и духовные предводители. Новый имперский подъем в годы правления государей из династии Штауфенов (Гогенштауфенов) в XII–XIII вв. также сопровождался «стремлением к раздорам», почти тридцатилетним «междоусобицей». Характерной чертой политического развития Германии XIV–XV вв. стали дальнейшие успехи князей, стремившихся не допустить усиления императорской власти. Подобные тенденции достигли своего пика в Тридцатилетнюю войну.

...в Тридцатилетней войне... — Эту войну Тютчев рассматривал как своеобразную вершину и наиболее типичное проявление упомянутого выше «стремления к раздорам», децентрализации и раздробленности Германии. «В продолжение четверти века, проведенных мною в Германии, — подчеркивал он в письме А. И. Георгиевскому от 30 марта 1866 г., — я постоянно повторял немцам, что *Тридцатилетняя* война кроется, так сказать, в основе их историческ^{ого} положения и что только русская опека временно сдерживает логическое развитие этой при^{сно}сущей силы» (ЛН-1. С. 400). Тридцатилетняя война принесла

чрезвычайное разорение империи Габсбургов. Вестфальский мир (1848) закрепил политическую раздробленность Германии. Немецкие князья добились права заключать союзы между собой и договоры с иностранными государствами, что в действительности обеспечивало их суверенитет. Сама империя, формально оставаясь союзом государств во главе с избираемым монархом и постоянными рейхстагами, на деле превращалась не в конфедерацию, а в неупорядоченную связь «имперских чинов».

Со времен великого правления салических императоров... — В 1024 г. германская корона перешла в руки франконских герцогов из Салического рода — сначала к Конраду II, а затем к Генриху III, когда папская власть стала полностью зависеть от воли императора, церковное управление подчинялось германским светским владыкам, а инвеститура, или предоставление церковной должности, предшествовала хиротонии, церемонии посвящения в епископы. Генрих III, как и его предшественники, считал себя заместителем Христа на земле и полагал, что помазание на царство

дает государю, помимо прочего, благодать священства. Rex u sacerdos (король и священнослужитель — *лат.*) — формула, отражавшая представление о двояком (светском и религиозном) характере власти императора. Однако уже при Генрихе IV перевес германских монархов над римской курией стал ослабевать, а 23 сентября 1122 г. в Вормсе Генрих V был вынужден подписать с папой-бургундцем Каликстом II компромиссный конкордат, по которому император отказывался от инвеституры «через перстень и посох» (их вручение означало назначение на высокую церковную должность), но сохранял за собой привилегию предоставлять избранному духовенству право пользоваться доходами с имений, признанных за ними в качестве лена. В 1125 г., когда Генрих V умер, не оставив наследника, германской короной завладел саксонский герцог Лотарь.

В течение многих веков Германия не занимала по отношению к своей вечной сопернице столь сильного и внушительного положения. — Соперничество Франции с Германией сопровождалось территориальными притязаниями

ниями, когда, например, в конце XV в. первая присоединила числившийся за империей Прованс. С присоединением графства Прованс, герцогств Бургундия и Бретань французское государство, не знавшее себе равных в Западной Европе по территории и численности населения, создавало предпосылки для будущей абсолютистской централизации и претендовало, наряду с империей Габсбургов, на континентальную гегемонию. В период Тридцатилетней войны Франция под руководством Ришелье успешно стремилась ослабить свою «вечную соперницу», претендуя на Эльзас и Лотарингию. И после Вестфальского мира главным противником австрийских Габсбургов, стремившихся расширить собственные владения, оставалась Франция Людовика XIV, с которой они вплоть до середины XVIII в. вступали в многочисленные войны. Особенно неудачными были войны Австрии и Пруссии в конце XVIII — начале XIX в. против революционной, а затем наполеоновской Франции.

Рейн вновь стал немецким сердцем и душой... — Завоеванные Наполеоном террито-

рии на левом берегу Рейна согласно договоренности Венского конгресса вновь отошли к Пруссии.

...Бельгия, которую последнее европейское потрясение, казалось, должно было бросить в объятия Франции, остановилась перед обрывом... — В Бельгии, присоединенной в 1815 г. к Голландии, в августе 1830 г. под влиянием Июльской революции во Франции вспыхнуло восстание, после которого она превратилась в самостоятельное государство (восстание быстро распространилось по Германии, дошло до Аахена и Кёльна, вынудило великого герцога Гессен-Кассельского, короля Саксонского и еще нескольких государей обещать своим подданным конституции). Происходившее нашло безусловную поддержку у нового французского правительства. Вскоре независимость Бельгии признали ведущие европейские державы (позднее и Россия), которые вместе с тем осудили ее претензии в 1838–1839 гг. на Рейнскую провинцию в Пруссии.

...Бургундский союз... — Бургундское герцогство исторически нередко оказывалось

препятствием для объединения французских земель, поскольку его правители стремились к самостоятельности и пользовались тем, что оно формально входило в состав «Священной Римской империи». Возможно, Тютчев неоправданно предполагал возможность возрождения подобного союза в результате усиления немецкого влияния.

...Революция «...» развязала против Германии, против самого принципа германского существования последнюю смертельную битву. — Имеется в виду принцип «Священной Римской империи германской нации», образование которой началось в 962 г. с завоеванием немецким королем Оттоном I Северной и Средней Италии и его торжественным провозглашением императором в «вечном городе». С этой римской коронации принято отсчитывать историю новой, теперь уже германской, империи, которая в разные периоды называлась «Священной империей», «Священной Римской империей», а в XV в. стала именоваться «Священной Римской империей германской нации». Неудачные войны Австрии и Пруссии в конце XVIII — начале XIX в.

против революционной, а затем наполеоновской Франции нанесли новый и сокрушительный удар имперскому принципу, исторически разлагавшемуся «стремлением к раздорам» независимых княжеств и государств.

...венчанный солдат этой Революции... — Наполеон I, в котором Тютчев видел (в отличие, например, от Г. В. Ф. Гегеля, считавшего французского полководца одним из воплощений мирового духа) органически противоречивое выражение революционного принципа в истории (о духовном и метафизическом понимании Революции в мировоззрении Тютчева и ее противопоставленности христианству в контексте божественного и человеческого начал бытия см. коммент. к ст. «Россия и Революция». С. 319–321.)*

*Сын Революции, ты с матерью
ужасной
Отважно в бой вступил — и изне-
мог в борьбе...
Не одолел ее твой гений само-
властный!..
Бой невозможный, труд напрас-
ный!..
Ты всю ее носил в самом себе <...>*

(«Наполеон», опубликовано в 1850 г.).

По Тютчеву, «дивный властитель» не мог одолеть Революцию, но должен был быть побежден ею, ибо обладал «самовластным» и «демоническим» гением, нес в себе «земной, не Божий пламень», заключал «апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле слова» (см.: Карев В. М. Ф. И. Тютчев: Наполеон и Революция (Из истории русской литературной наполеониады) // Россия и Европа (Дипломатия и культура). М., 1995. С. 152–160. См. также *коммент.* к трактату «Россия и Запад». С. 461–463*.

...представлял пародию на империю Карла Великого на ее обломках, вынуждая народы Германии исполнять в ней свою роль и испытывать крайнее унижение... — Тютчев считал неоимперские притязания Наполеона на мировое господство пародийными и необоснованными, поскольку в их основании лежало антиимперское революционное начало (см. *коммент.* к трактату «Россия и Запад». С. 463–465*). Хотя в первое время «венчанному солдату» удавалось демонстрировать многообразные проявления французского владыче-

ства на немецких «обломках». Немецким князьям приходилось раболепствовать перед Наполеоном, и во многих герцогствах и курфюршествах вводились рожденные революцией французские порядки.

...философия истории еще не соблаговолила найти его для нее. — Прежде всего имеется в виду философия истории Г. В. Ф. Гегеля, в «панлогической» универсальной конструкции которой история представлена как эволюция мирового духа в направлении «прогресса свободы»: «Восточные народы еще не знают, что дух или человек как таковой в себе свободен <...> Лишь германские народы дошли в христианстве до сознания, что человек как таковой свободен, что свобода духа составляет основное свойство его природы...» (Гегель. Соч. М.; Л., 1929–1959. Т. 8. С. 18). Сведение сущности разума к свободе, понимаемой как сознание свободы и не отличимой от необходимости, отождествление «сущего» и «объективно-должного» приводили к такому глобальному схематизму, согласно которому лишь так называемые всемирно-исторические (т. е. европейские) народы представляют

собой ступени восхождения мирового духа или этапы всеобщей истории, а «неисторические» (застойные, неразвивающиеся) народы находятся на обочине этого процесса. К последним относятся, например, Китай, Индия, Россия и славянство, в то время как Наполеон или современное Прусское государство предстают как наивысшее воплощение мирового духа и абсолютной свободы. Немецкий мыслитель исключал из истории славянские народы, как не воплотившие в своем жизненном творчестве никакой абсолютной идеи.

Некоторые редкие умы, два или три в Германии, один или два во Франции... — Среди таких умов подразумевается прежде всего Ф. Шеллинг, который говорил П. В. Киреевскому в связи с русско-турецкой войной, только что завершившейся Адрианопольским мирным договором: «России <...> суждено великое значение, и никогда она еще на выказывала своего могущества в такой полноте, как теперь; теперь в первый раз вся Европа, по крайней мере все благомыслящие, смотрят на нее с участием и желанием успеха; жалеют только, что в настоящем положении ее требо-

вания, может быть, слишком умеренны» (Киреевский П. О Шеллинге // Московский вестник. 1830. Ч. I. № 1. С. 115). По словам Н. А. Мельгунова, беседовавшего с Ф. В. Шеллингом позднее, тот «имеет о России высокое понятие и ожидает от нее великих услуг для человечества» (Мельгунов Н. Шеллинг. Из путевых записок // Отечественные записки. 1839. Т. III. № 4–5. С. 121). В обзорной статье «Литература истории Германии за два последних года» А. Куник писал, что Ф. В. Шеллинг «бросит, говорят, в своей новой системе взгляд на Россию, от которой ожидает много, особенно в религиозном отношении» (Москва. 1841. Ч. III. № 5. С. 129). Среди «некоторых редких умов», открывавших Россию, Тютчев мог иметь в виду К. А. Фарнгагена фон Энзе, уверенного, что «в будущем Россия явится во всем своем великолепии» (цит. по: *НЛО*. 1994. № 8. С. 125), или философа Ф. К. Баадера, который в православии и русской Церкви находил подлинную основу для противостояния злоупотреблениям папизма, рационализму протестантизма и в целом упадку христианства на Западе (о Ф. К. Баадере, его размышле-

ниях о России и отношениях с ее представителями см. ст. С. П. Шевырева «Беседы Баадера»: *Москв.* 1841. Ч. III. № 6. С. 378–437; см. также: *Groh.* S. 117–124; *Cadot.* P. 495). Ф. К. Баадер полагал, что подобно тому, как Россия избавила Европу от наполеоновского господства, высокий дух православной Церкви способен помочь ей освободиться от идей Французской революции и антихристианского материализма (см.: Benz E. *Franz von Baader und Kotzebue.* Wiesbaden, 1957. S. 4). К «редким умам» в Германии Тютчев мог относить и известного историка Я. Ф. Фалльмерайера (см. *коммент.* к трактату «Россия и Запад». С. 445*), который «предвидел возникновение проблемы» и «приподнял уголок завесы», высказав идею возможной «восточной великой самостоятельной Европы» и увидев в ней главного врага для Европы Западной (о взаимоотношениях Тютчева с Я. Ф. Фалльмерайером см.: Казанович Е. Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева. 1840-е годы // *Уrania.* С. 145–171; Rauch Georg von. *J. Ph. Fallmerayer und der russische Reichsgedanke bei F. I. Tjutčev* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.* 1953. Bd

I. Нф. 1. S. 54–96). И Ф. Шлегель предполагал в «славянском ожидании» начало «совершенно новой эпохи» в Европе (цит. по: *Groh*. S. 144). Он следует за И. Г. Гердером, видевшим в возможном объединении славян великое будущее и благотворное воздействие их духа и культуры «по всей ныне погруженной в сон Европе» (Гердер И. Г. Избр. соч. М.; Л., 1959. С. 324–325). К немецким умам, высоко оценивавшим положение и перспективы России, А. Осповат (Осповат А. Элементы политической мифологии Тютчева // *Тютч. сб.* 1999. С. 238) относит и Г. Гейне на основании фрагмента из его «Путевых картин» 1829 г.: «Все, что алармисты сочиняли до сих пор об опасности, которой подвергает нас чрезмерная мощь России, — сплошная глупость <...> Если сравнить в смысле свободы Англию и Россию, то и самый мрачно настроенный человек не усомнится, к какой партии примкнуть. Свобода возникла в Англии на почве исторических обстоятельств, в России же — на основе принципов <...> Россия — демократическое государство, я бы назвал ее даже христианским государством, если употреблять это столь часто

извращаемое понятие в его лучшем космополитическом значении: ведь русские уже благодаря размерам своей страны свободны от узкосердечия языческого национализма, они космополиты или по крайней мере на одну шестую космополиты, поскольку Россия занимает почти шестую часть всего населенного мира» (Гейне. Т. 4. С. 225–227). Г. И. Чулков услышал в этом фрагменте «голос Тютчева»: «Здесь та же риторическая идеализация исторической России и ее международной миссии. Мнение, парадоксальное в устах Гейне, совершенно естественно в устах Тютчева. И трудно было бы предположить обратное влияние» (Чулков Г. Тютчев и Гейне // Искусство. 1923. № 1. С. 364). Оставляя в стороне вопрос о влиянии, следует отметить, что антиклерикальная и либеральная структура мысли Г. Гейне не совпадает с «тютчевской схемой», в которой христианство не играет роль «куколки» для «бабочки» демократии, а является субстанциальной основой для империи, Россия же — пример такой империи, а не диктаторский инструмент для воплощения эмансипаторских идей новейшего времени (см. ком-

мент. к трактату «Россия и Запад». С. 458–461*
). В смысловом отношении тютчевское видение международной миссии России противоречит гейневскому, «парадоксальность» которого к тому же достаточно характерна (см. коммент. С. 264*).

Что же касается французских умов, то к ним Тютчев мог относить, например, поэта и государственного деятеля А. Ламартина, предлагавшего в 1840 г. разрешить турецкий вопрос передачей Сирии Франции, Египта — Англии, а Константинополя — России. Такое предложение не могло не привлечь Тютчева, для которого «Москва, и град Петров, и Константинов град — вот царства русского заветные столицы» («Русская география»). В газ. «Débats» от 2 июля 1839 г. А. Ламартин с сожалением предрекал не оправдавшуюся впоследствии закономерность: «...невозможно останавливать более движение России к этой цели, как невозможно прервать течение вод Черного моря к Босфору <...> Я знаю, что Россия не торопится. Ведь никогда не торопятся схватить то, что не может ускользнуть, и нет ничего терпеливее уверенности» (цит. по:

Cadot. P. 505). И Ф. Р. Шатобриан хотя и опасался «русской угрозы», все же признавал за сильной Россией христианскую и цивилизующую роль на Востоке и надеялся извлечь пользу из союза с таким государством, отодвинуть французские границы до берегов Рейна. С меньшими сомнениями приподнял «уголок завесы» над великим будущим России А. де Токвиль в книге «*Démocratie en Amérique*» («Демократия в Америке»), когда писал об этих двух странах как неожиданно оказавшихся на авансцене мировой истории и в первом ряду среди иных народов: «...все остальные народы, кажется, уже понемногу достигли очерченных им природой пределов и должны лишь их сохранять; эти же находятся в постоянном росте: все другие остановились и продвигаются вперед тысячными усилиями; и только эти двигаются легким и быстрым шагом по пути успеха, границу которого еще невозможно обозначить <...> Их отправная точка и пути различны; тем не менее каждый из них, по-видимому, призван таинственным замыслом Провидения взять в свои руки судьбы половины мира»

(Tocqueville A. de. Oeuvres complètes. P., 1951. T. I. P. 430–431). Однако А. де Токвиль противоположно Тютчеву (см. *коммент.* к ст. «Россия и Революция». С. 324*) истолковывал замысел Провидения и роль революционной демократии в нем. Желание сдерживать развитие демократии с ее господством усредненного индивида и, говоря словами Тютчева, «самовластия человеческого я» представляется французскому историку «борьбой против самого Господа, и народам не остается ничего другого, кроме как приспособляться к тому общественному устройству, которое навязывается им Провидением» (Токвиль А. де. О демократии в Америке. М., 1992. С. 30). Среди французских умов Тютчев также мог иметь в виду писателя О. де Бальзака, политического деятеля Э. Моле, философа Л. Г. Бональда, в разной степени признававших восходящую мощь России или выступавших за союз с ней. Ранее подобные оценки высказывал Вольтер: «Удивительные успехи императрицы Екатерины II и русской нации являются сильным доказательством того, что Петр Великий строил на крепком и прочном фундаменте» (цит. по:

McNally. S. 86).

...своеобразие понимания Западом России походило в некоторых отношениях на первые впечатления, произведенные на современников открытиями Колумба... — Фигура Х. Колумба привлекала внимание Тютчева как символ реального исторического новаторства, открывающего в «беспредельности туманной» «новый мир, неведомый, неожиданный» (см. стих. «Колумб», 1844). По его наблюдениям, именно таким непонятным, неведомым, неожиданным миром воспринималась Россия на Западе, отказывавшемся признавать за ним подлинную новизну духовного, исторического и культурного содержания и видевшего в нем лишь разраставшуюся материальную силу и угрозу для собственного существования.

...во время своего могущества Запад даже затрагивал границы сего безымянного мира, вырвал у него несколько клочков и с грехом пополам присвоил их себе, исказив их естественные национальные черты. — Речь идет о славянских народностях, которые в ходе истории оказывались завоеванными ведущими

европейскими государствами и испытывали постоянную угрозу утратить национальную идентичность. Показательным примером в этом отношении было положение южных славян в Австрийской империи, которые претерпевали двойной гнет со стороны немецких и венгерских властей. О разделении славян и искажении их естественных национальных особенностей Тютчев пишет в стихах «К Ганке» (1841, вторая редакция 1867):

⟨...⟩

*Иноверец, иноземец
Нас раздвинул, разломил —
Тех обезьязычил немец,
Этих — турок осрамил ⟨...⟩*

Примечательно, что в отношении к славянским народам, в разное время потерявшим свою былую политическую самостоятельность, находили общий язык представители противоборствующих лагерей, ортодоксальные монархисты и экстремистские республиканцы. Радикальный социалист и поэт Г. Гервег полагал, что «пастух не может потерпеть никаких притязаний на равенство с ним со стороны баранов», которыми он при-

зван управлять, и надеялся, что «в будущей объединенной Германии венгры, поляки, чехи и славяне вообще не будут иметь права голосовать или владеть землей, но смогут быть полезны при занятии на земле ручным трудом» (цит. по: Кан С. Б. Революция 1848 года в Австрии и Германии. М., 1948. С. 38).

...целый Мир, Единый в своем Начале, прочно взаимосвязанный в своих частях, живущий своей собственной, органической, самобытной жизнью... — Главным принципом духовного единства и естественного отличия России и «Нового Света» Восточной Европы в целом Тютчев считал не племенное своеобразие, а «более христианское» православие, которое в меньшей степени, нежели западное христианство, испытывало воздействие фундаментальных светских особенностей предшествующей истории. Подразумеваемые им коренные различия двух миров может пояснить мысль И. В. Киреевского о том, что «римская физиономия» классического язычества, не унаследованного Россией, вносила в христианскую культуру Запада побеждающие элементы секуляризации, мирской иерархич-

ности, рационализма, индивидуализма, вела к торжеству формального рассудка (в терминологии Тютчева — связанного с «самовластным я» опустошающего рассудка): «В этом последнем торжестве формального разума над верою и преданием пронизательный ум мог уже наперед видеть в зародыше всю теперешнюю судьбу Европы как следствие вотще начатого начала» (Киреевский. С. 146). Основополагающую роль православия как органического ядра и сердечного центра «целого мира» отмечал и П. А. Вяземский: «Россия то, что она есть, преимущественно потому, что она дочь Восточной церкви, и потому, что она всегда оставалась верна ей. В Православии заключается ее право на бытие; в нем развивалась протекшая ее жизнь, и в нем задатки ее будущности» (Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1881. Т. 6. С. 276).

...так называемые завоевания и насилия явились самым естественным и законным делом <...> просто состоялось необъятное воссоединение. — Ср. сходный вывод Н. Я. Данилевского, которого Тютчев в письме к В. И. Ламанскому назвал «ревнителем в уровень с

моими чаяниями и притязаниями» (Изд. 1984. С. 341): «Русский народ не высылает из среды своей, как пчелиные улья, роев, образующих центры новых политических обществ, подобно грекам — в древние, англичанам — в более близкие к нам времена. Россия не имеет того, что называется владениями, как Рим и опять-таки Англия. Русское государство от самых времен первых московских князей есть сама Россия, постепенно, неудержимо расширяющаяся во все стороны, заселяя граничащие с нею незаселенные пространства и уподобляя себе включенные в ее государственные границы инородческие поселения» (Данилевский . С. 485). Ср. также суждение А. И. Герцена: «...Россия расширяется по другому закону, чем Америка, оттого что она не колония, не наплыв, не нашествие, а самобытный мир, идущий во все стороны...» (Герцен. Т. 12. С. 428).

Речь идет <...> не о самобытной польской народности <...> а о навязанных ей ложной цивилизации и фальшивой национальности. — С логикой Тютчева своеобразно перекликаются рассуждения П. Я. Чаадаева в ст. «Несколько

слов о польском вопросе» (Чаадаев. С. 370–373): если присоединенная к России часть Польши полноценно развивала собственную культуру, то поляки отошедших к Австрии и Германии областей подвергались онемечиванию. Могущественная держава, какой является Россия, способна обеспечить свободное национальное развитие Польши в составе «большого политического тела», внешняя же ее независимость превратит небольшое государство в яблоко раздора для европейских стран и подвергнет его опасности исчезновения. См. также *коммент.* к ст. «Россия и Революция». С. 337–338*.

С этой точки зрения наилучшим образом можно оценить и истинное значение так называемого Восточного вопроса... — Тютчев с точки зрения органического роста России оценивает и результаты Адрианопольского мира после русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Достижение наиболее выгодного использования черноморских проливов, поддержка национально-освободительного движения народов Балканского полуострова, расширение морской торговли, укрепление по-

зиций в Константинополе, возросший авторитет у южнославянских народов — подобные результаты восточной политики, по мнению Тютчева, свидетельствовали не о завоеваниях и насилиях России, а о ее естественном и законном расширении и воссоединении под единым духовным началом.

...Восточная Европа, эта подлинная держава Востока, для которой первая империя византийских кесарей, древних православных государей, служила лишь слабым, незавершенным наброском... — Тютчев рассматривал Россию, способную объединить славянские народы и сохраняющую православную веру, как прямую наследницу Византийской империи (см. «Записку»* и коммент. к ней*). По его логике, сила, «подлинность» и «окончателность» такой державы должны основываться на осознании и практическом воплощении «менее искаженных» (в сравнении с католичеством и протестантизмом) начал христианства в православии, в отказе от языческих принципов, ослаблявших и приводивших к гибели предшествующие основные империи (Ассирия, Персия, Македония, Рим), которые

упоминаются в незавершенном трактате «Россия и Запад». О «русско-византийском мире, где жизнь и обрядность сливаются и который столь древен, что даже сам Рим, сравнительно с ним, представляется нововведением», размышляет Тютчев в письме к жене в августе 1843 г. (СН. 1914. Кн. 18. С. 9). О призывании «святой Руси», полноправной наследницы «венца и скипетра Византии», идет речь в его стих. «Нет, карлик мой! трус беспримерный!..» (1850). О том, что Россия должна стать «возобновленной Византией» ради «Христовой службы», пишет он в стих. «Рассвет» (1849) и «Пророчество» (1850).

...такая комбинация была уже испробована в 1812 году... — В феврале 1812 г. с помощью угроз и обещаний Наполеону удалось заключить союз с Пруссией, а в марте того же года подписать договор с Австрией против России. Прусское правительство предоставило французскому императору свои территории для сосредоточения армии перед вторжением в Россию. Обе «союзницы» России вели двойную игру: в случае победы Франции они надеялись захватить у России соседние обла-

сти, а в случае поражения — вернуть себе утраченные владения на Западе.

...Рейнского союза... — В 1806 г. Наполеон, по сути дела, присоединил к Франции значительные части Западной и Южной Германии, получивших это название.

...утвердить торжество права, исторической законности над революционным способом действия. — Подразумевается сохранение и продолжение берущей начало от Бога и потому единственно законной Всемирной Божественной Монархии, которые разрушаются в самочинном новаторстве и уступают место разнообразным, скрытным или явным, проявлениям «самовластия человеческого я» в секуляризованных демократиях и республиканских учреждениях. См. коммент. к ст. «Россия и Революция*» и к трактату «Россия и Запад*». Вл. Соловьев называл Тютчева в числе главных источников его собственных размышлений: «Идея всемирной монархии принадлежит не мне, а есть вековечное чаяние народов. Из людей мысли эта идея одушевлена в средние века между прочим Данте, а в наш век за нее стоял Тютчев, человек чрезвы-

чайно тонкого ума и чувства. В полном издании “Великого спора” я намереваюсь изложить идею всемирной монархии большей частью словами Данте и Тютчева» (Письма Владимира Соловьева. Пг., 1923. Т. 4. С. 26–27).

...право, историческая законность — ее собственное основание, ее особое призвание, главное дело ее будущего... — В представлении Тютчева в XIX в. Россия оставалась практически единственной страной, которая пыталась сохранить высшую божественную легитимность верховной власти в самодержавии, опирающемся на православную веру. Однако в последующем, особенно после Крымской войны, Тютчев был вынужден констатировать утрату такого правосознания в ослаблении связи власти с религиозными и духовно-нравственными традициями, в ее самоизоляции и самочинии, а, соответственно, и в отрыве от собственного источника и обезбоживании. «Только намеренно закрывая глаза на очевидность, дорогая графиня, — обращался он 28 сентября 1857 г. к А. Д. Блудовой, — можно не замечать того, что власть в России — такая, какую ее образовало ее собственное про-

шедшее своим полным разрывом со страной и ее историческим прошлым, что эта власть не признает и не допускает иного права, кроме своего, что это право — не в обиду будь сказано официальной формуле — исходит не от Бога, а от материальной силы самой власти «...» Одним словом, власть в России на деле безбожна, ибо неминуемо становишься безбожным, если не признаешь существования живого непреложного закона, стоящего выше нашего мнимого права, которое по большей части есть не что иное, как скрытый произвол» (Изд. 1984. С. 251).

...Россия поддержала целую народность, приходящий в упадок мир, который она воззвала к самобытной жизни, которому вернула самостоятельность и устроила его? — Имеется в виду война России с Турцией, в составе которой после Адрианопольского мира 1829 г. Греция получила автономию. Созванная 3 февраля 1830 г. по инициативе России Лондонская конференция признала полную независимость Греческого королевства от Турции.

Бессмертная слава правящего ныне Росси-

ей Государя заключается в том, что он полнее и энергичнее любого из его предшественников проявляет себя искусным и непоколебимым представителем этого права, этой исторической законности. — Речь идет о Николае I, которого К. Н. Леонтьев называл «великим легитимистом» и который последовательно противопоставлял насильственным революционным изменениям в Европе историческую законность сложившихся монархических династий. Эта оценка личности Николая I Тютчевым отличается от более поздних его оценок.

...глубоко нравственного союза, вот уже тридцать лет соединяющего государей Германии с Россией... — О нравственных принципах союза России с Германией и их противоречивом воплощении в ходе реальной истории см. коммент. С. 253–255*.

Уже давно живя среди вас... — Тютчев находился в Германии на дипломатической службе с 1822 г.

...брани, которая теперь в изобилии расточается по отношению к России... — См. коммент. С. 255–265*.

Книга, которая несколько лет назад имела в Германии шумный отклик... — Имеется в виду «Europäische Pentarchie» («Европейская пентархия»). — См. коммент. С. 259.*

...двух главных государств Союза. — Т. е. Пруссии и Австрии.

...об Июльской революции и о вероятных последствиях, которые она должна была иметь, но не имела для вашего отечества? — Начало Июльской революции положили «три славных дня» (27–29 июля 1830 г.), после того как в обнародованных накануне королевских указах упразднялась свобода печати и вводился сокращавший число избирателей закон. По словам К. Пфеффеля, Тютчев, в ту пору двадцатилетний молодой человек, «с редкой прозорливостью взвешивал последствия Июльской революции». «Ордонансы короля Карла X, — говорил он, — это завещание политического и нравственного устройства в Европе. Французы в дальнейшем будут сожалеть о том, что не оценили их мудрости и необходимости» (Пфеффель К. «Письмо редактору газеты «L'Union»» // ЛН-2. С. 36). Ордонансы спровоцировали строительство баррикад

и восстание в Париже, и уже 28 июля на его улицах появились национальные гвардейцы во главе с ветераном революции 1789 г. и сторонником республиканских принципов М. Ж. Лафайетом, во многом способствовавшим своим авторитетом установлению конституционной монархии Луи Филиппа. Почти сразу же солдаты регулярной армии стали переходить на сторону восставших. Все это привело к поражению роялистов и смене режима Реставрации. Среди последствий Июльской революции были восстания в Бельгии и Польше. Германии удалось почти избежать подобных поворотов, хотя она, вместе с другими европейскими государствами, почти сразу же оказалась вынужденной признать «короля баррикад» Луи Филиппа.

...самой душой движения было прежде всего стремление Франции к громкому реваншу в Европе... — Июльская революция нанесла чувствительный удар Священному союзу, который в первый раз с 1815 г. не мог справиться с революционным движением. В период Реставрации Франция входила в этот Союз, придерживалась принципов легитимизма и

европейского статус-кво, узаконенного трактатами 1815 г. Свержение легитимного монарха означало подрыв сложившегося положения вещей и возможность формирования новых коалиций. Реванш, о котором ведет речь Тютчев, подразумевал поддержку Францией национально-освободительных движений в Бельгии, Испании, недопущение европейских монархов в дела окружающих ее государств, возвеличивание наполеоновской политики и обретение левого берега Рейна. Революционный взрыв во Франции, устранивший в 1830 г. с политической арены Карла X и приведший к власти Луи Филиппа, воспринимался Николаем I как вызов «старому порядку». Но даже он лишь некоторое время противился признать новое французское правительство, хотя и сохранил навсегда враждебное отношение к «либеральному» королю.

...я вполне отдаю должное королю французов, удивляюсь его искусности... — По свидетельству И. С. Гагарина, Тютчев осуждал «искусное» нарушение закона и права престолонаследия, лежавшее в основании правления Луи Филиппа, герцога Орлеанского (см. ЛН-2.

С. 53). Герцог Орлеанский, выступая 3 августа 1830 г. в Палате депутатов, умолчал о том, что Карл X отрекся от престола в пользу своего внука, герцога Бордоского, а его самого назначил лишь регентом. Обе палаты французского парламента обратились к новому претенденту на трон с просьбой принять корону, и через два дня он принес присягу конституции и был провозглашен, говоря словами М. Ж. Лафайета, главой «королевской республики».

...начиная с 1835 года... — В дате ошибка, поскольку по смыслу отсчет следует вести с Июльской революции 1830 г., который и стоит в первой публикации статьи, а в рукописи может прочитываться и как 1835-й.

...верность при всяком испытании сложившимся союзам и принятым обязательствам? — Тютчев здесь отмечает катастрофически исчезающие из политики духовные и нравственные ценности, лежавшие в основании государственной деятельности Николая I. Митрополит Анастасий (Грибановский) называл последнего «государем-рыцарем», а Вл. Соловьев подчеркивал, что этот царь «не был только олицетворением нашей внешней си-

лы. Если бы он был только этим, то его слава не пережила бы Севастополя. Но за суровыми чертами грозного властителя, резко выступавшими по требованию государственной необходимости (или того, что считалось за такую необходимость), в императоре Николае Павловиче таилось ясное понимание высшей правды и христианского идеала, поднимавшее его над уровнем не только тогдашнего, но и теперешнего общественного сознания «...» Кроме великодушного характера и человеческого сердца в этом “железном великанине”, — какое ясное и твердое понимание принципов христианской политики! “Мы этого не должны, именно потому, что мы — христиане”, — вот простые слова, которыми Николай I “опередил” и свою и нашу эпоху, вот начальная истина, которую приходится напоминать нашему обществу!» (Соловьев В. С. Памяти Императора Николая I // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 606, 608). С приведенной характеристикой перекликается мнение французского поэта и политического деятеля А. Ламартина («нельзя не уважать Монарха, который ничего не требовал для себя и

сражался только за принципы»), а также высказывание прусского короля Фридриха Вильгельма IV после кончины Николая I: «Один из благороднейших людей, одно из прекраснейших явлений в истории, одно из вернейших сердец и, в то же время, один из величественных государей этого убогого мира отозван от веры к созерцанию» (цит. по: Николай Первый и его время. М., 2000. Т. 1. С. 5).

...Тьер <...> намеревался <...> возместить на Германи неудачи своей дипломатии на Востоке. — Подразумевается восточный кризис 1840 г., вызванный из-за Турции и ее владений. Осаживая покушение поддерживаемого Францией египетского паши Мухаммед-Али на целостность Порты, Англия, Пруссия, Австрия и Россия заключили 15 июля 1840 г. направленное против Франции соглашение. В ответ возглавлявший французское правительство А. Тьер выступил с воинственными заявлениями и провел через палату депутатов закон о строительстве оборонительных сооружений вокруг Парижа. Именно тогда во Франции стали вспоминать о Наполеоне, раздаваться голоса о грядущей войне со страна-

ми Священного союза, о «французском Рейне» и аннексии Эльзаса и Лотарингии, что вызвало бурную ответную реакцию и небывалый с 1813 г. прилив патриотических чувств в Германии. Как писал Г. Гейне, «Тьер барабанным боем вовлек наше отечество в великое движение, пробудившее политическую жизнь Германии; нас как народ Тьер снова поставил на ноги, и немецкая история будет помнить эту его высокую заслугу» (Гейне. Т. 8. С. 18).

...*пение Rheinlied.* — Вместе с «Германской песней» Х. Хофмана фон Фаллерслебена стих. Николауса Бекера «Rheinlied» («Рейнская песнь») стало в начале 1840-х гг. популярным патриотическим гимном. В нем звучали слова о свободном немецком Рейне, который никогда не достанется французам. В ответ на эту «немецкую Марсельезу» А. Ламартин откликнулся «Марсельезой мира», а А. Мюссе подчеркивал в стих. «Немецкий Рейн», что французы уже обладали этим Рейном (см.: Осповат А. Элементы политической мифологии Тютчева // Тютч. сб. 1999. С. 248, 258).

...*кулачных ударов на границе Пруссии между русскими таможенниками и прусскими-*

ми контрабандистами... — Россия стремилась не изменять и не снижать тарифы и пошлины, что усиливало контрабанду и приводило к пограничным столкновениям: «На границе, где русское правительство установило мощные войсковые кордоны, происходили настоящие бои, с убитыми и ранеными, между прусскими контрабандистами и русскими солдатами» (Simon Ed. L' Allemagne et la Russie au XIX siècle. P. 82).

...шалость <...> великого Гёте... — Об этой шалости И. В. Гёте рассказывает в книге «Из моей жизни. Поэзия и правда» (Гёте И. В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 3. С. 13).

...у вас не было ни Феодализма, ни Папской Иерархии; вы не пережили войн Священства и Империи, Религиозных войн и даже Инквизиции... — Тютчев с известной иронией перечисляет принципиальные элементы европейской истории, которые формировали отличительные особенности жизнестроительных традиций и духовных и культурных ценностей Запада и которые также выделялись в трудах славянофилов (см., напр., ст. И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы

и его отношении к просвещению России» — *Киреевский*. С. 248–293). Воображая гипотетического немца, он, возможно, вступает в полемику и с П. Я. Чаадаевым, в оценке которого, напротив, все перечисляемые элементы, даже религиозные войны и костры инквизиции («кровавые битвы за дело истины»), служили необходимыми этапами на пути абстрактно понимаемого совершенствования человеческого рода (см.: *Чаадаев*. С. 51–52). Очевидна также полемика с А. де Кюстином, писавшим: «У русских не было средневековья, у них нет памяти о древности, нет католицизма, рыцарского прошлого...» (*Кюстин*. Т. 2. С. 432).

...четыре столетия назад достигли единства... — Имеется в виду период правления Ивана III во второй половине XV в., когда формировалось суверенное и централизованное Русское государство во главе с Москвой и осознавалась его преемственность с византийским наследием. См. *коммент.* к трактату «Россия и Запад» (с. 459*) и к «Записке» (с. 307*).

...сравнить две страны и <...> взвесить на точных весах злополучные последствия русского варварства и английской цивилизации...

— С точки зрения Тютчева, нарочитая односторонность и предвзятость в отношении западных политиков и идеологов к России могли бы корректироваться бóльшим вниманием к собственным проблемам. В данном случае имеются в виду такие явления в жизни Англии, как массовый пауперизм, рабский детский и женский труд, каторжное положение в так называемых рабочих домах, беспросветное прозябание в трущобах, беспощадная эксплуатация колоний и т. п. Характеризуя политику Великобритании как «фанатизм гиней», П. А. Вяземский писал: «Англичане, например, находят весьма естественным и разумным начать войну против миролюбивого народа за то только, что правители этого народа мешают иностранцам оскотинивать и отравлять его посредством тайного ввоза опиума» (Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 284).

...утверждение одного человека, одинаково чуждого обеим странам... — Тютчев цитирует А. де Кюстина, который критически писал не только о России, но и об Англии.

...стоглавую гидру парижской прессы, из-

вергающей на нас громы и молнии. — Отрицательное отношение французского общественного мнения к правлению Николая I заметно проявилось после Июльской революции 1830 г., когда восторжествовавший либерализм рассматривал русского царя как самого опасного и непримиримого врага, который хотел бы восстановить свергнутого короля Карла X и служил главной опорой Священного союза. Подавление царскими войсками польского восстания 1831 г. послужило дополнительной причиной для дальнейшего усиления антирусской кампании в парижских газетах, помимо радикально-республиканских, объединявшей и роялистскую «Quotidienne», и умеренно-демократическую «Journal des Débats», и либеральную «National», и другие влиятельные органы. Эта кампания, резко контрастировавшая с дружелюбным тоном французских газет после вступления русских войск в Париж весной 1814 г., как бы подготавливалась в 1820-х гг. опасением перед расширяющейся мощью России, воображением ее завоевательских амбиций, оживлением старых и рождением новых стереотипов в ка-

честве своеобразного защитного механизма. И хотя среди легитимистов, противников революции, сторонников монархии и возвращения на трон старшей ветви Бурбонов раздавались голоса в пользу союза с Россией, господствовали в «стоглавой гидре» все же противоположные мнения, принимавшие порою анекдотический характер или форму брани (см.: *Mc Nally*. S. 117; *Cadot*. P. 175; *Кюстин*. Т. 1. С. 509, 536, 626). Чаще же всего на страницах французской печати обсуждалась тема русской угрозы. Такие подозрения «нас в стремлении захватить весь мир, в желании задушить цивилизацию и превратить Европу в казачий или башкирский стан» П. А. Вяземский называл «банальными обвинениями, имеющими хождения на улицах и в газетах Парижа» и созданными «для того, чтобы напугать и позабавить зевак» (Вяземский П. А. Еще несколько слов о труде г-на де Кюстина «Россия в 1839 году»... С. 84). Речь, однако, шла не столько об испуге и забавах зевак, сколько о влиянии на реальную политику. Так, граф Ш. Ф. де Монталамбер, пэр Франции и католический публицист, прилагавший немало уси-

лий для поддержания польской эмиграции в ее противостоянии с Россией, писал о последней как о предмете лести для одних, неосведомленности для других, инстинктивного страха для всех, как о стране, которую «мы, не колеблясь, объявляем наибольшим врагом всего, что нам еще осталось спасти от христианского общества» (цит. по: Тарле Е. В. Самодержавие Николая I и французское общественное мнение // Былое. 1906. № 9. С. 26). Примером распространенных во Франции публичных представлений о России может служить ее карикатурная история (Histoire dramatique, pittoresque et caricaturale de la Sainte Russie. P., 1854 — Драматическая, живописная и карикатурная история Святой Руси. Париж, 1854), иллюстрированная Г. Дорэ и наполненная картинками нагаек, кнутов, кровавых следов от пыток, лежащих «пачками» на карточных столах рабов, которых проигрывают и выигрывают их хозяева... О подобных представлениях свидетельствует и А. И. Тургенев в письме к П. А. Вяземскому из Парижа: «“Les mystères de la Russie” («Тайны России» — *фр.*) вышла только первая тетрадка с

ж...ми в русских банях. Девушке в руки взять нельзя, и Смирнова не могла показать брошюры Елене Мещерской «...» Автор тот же Fournier (Фурнье — *фр.*) (M. Fournier, автор изданной в 1844 г. в Париже брошюры “Russie, Allemagne et France” — “Россия, Германия и Франция”. — Б. Т.), что собрал вранье о России в одной книжке. Очень злого не будет, вероятно, а просто дрянь — всякая всячина из печатных и салонных дразгов» (ОА-4. С. 286). О том, как парижская пресса питала не только политические умы, но и поэтическое воображение, можно судить по стихам В. Гюго «Карта Европы»:

*О русские! Народ, бредущий в
тундре снежной,
В Санкт-Петербурге — раб, раб —
в тундре безнадежной,
Сам полюс для него стал черною
тюрьмой;
Россия и Сибирь, — о царь! тиран
кровавый! —
Два края скорбные чудовищной
державы:
Один — Насилие, Отчаянье — дру-
гой!*

(Гюго В. *Избранные произведения*. М., 1928. С. 61).

В одном из донесений в III Отделение Я. Н. Толстой так разграничивал «громы и молнии» во французской печати 1830-х гг.: «В полемике, ведущейся против нас, следует различать два враждебных лагеря: одни во имя определенного принципа хотят принизить нашу страну, оскорбить и оклеветать ее — *это неисправимые; для них борьба* — вопрос решенный, и их девиз: война не на жизнь, а на смерть, и таким отвечать незачем! Другие не знают России, они наивно принимают клевету за правду и огорчаются тем, что узнают, — это противники по неведению, их надо просветить, открыть им ряд фактов и, не вступая с ними в спор и воздерживаясь от возражений, просто противопоставить клевете совокупность данных, ее убивающую» (ЛН. 1937. Т. 31–32. С. 572). Одну из задач своей политической публицистики Тютчев и видел как раз в том, чтобы противопоставить предвзятым оценкам и мнениям совокупность историчесофски осмысленных данных о прошлом и настоящем России и Запада.

«ЗАПИСКА»

Автограф неизвестен.

Писарская копия без авторства и заглавия была обнаружена в семейном архиве Тургеневых (ИРЛИ. Ф. 309. № 2301. Л. 1-14). Последние четыре строки этой копии неоднократно и густо зачеркнуты, а ниже приписка А. И. Тургенева: «В сих измаранных строках Т. намекает о себе для редакции статей о России». В архиве М. П. Погодина (РГБ. Ф. 231/III. К. 17. Ед. хр. 41. Л. 1-14) хранятся две копии на *фр.* яз. (также анонимные и неозаглавленные), по которым первый публикатор восстановил замаранный абзац.

Первая публикация — *НЛО*. 1992. № 1. С. 98–103 и 104–113; воспроизведена в другом переводе в *ПСС в стихах и прозе на рус. яз.* С. 389–399.

Печатается по тексту первой публикации. С. 98–103 (на *фр.* яз.). В печатаемый текст внесены исправления по копии ИРЛИ: «deux choses exceptées» вместо «des choses exceptées» (25-й абз.); «qu'il crée» вместо «qu'ils crée» (26-й абз.); «ce concours des forces» вместо «ce concors de forces» (57-й абз.)

В тексте записки в *НЛО* исправлен ряд орфографических ошибок и описок копии *ИРЛИ*, относящихся, главным образом, к расстановке специфических знаков акцентирования и к написанию слова «Eglise» («Церковь») с прописной или строчной буквы. Вместе с тем два исправления требуют комментирования. В словосочетании «le pouvoir Impérial» («Имперская власть» или «власть Императора») 14-го абзаца понижена прописная буква. В 24-м абзаце говорится о единстве и неделимости мира православного Востока, причем понятие «Единства» выражено в копии опять-таки словом с прописной буквы («Un»), которая стала строчной в печатном варианте. В обоих случаях речь идет о концептуально-смысловом использовании прописной буквы, которая должна быть сохранена как во *фр.* тексте, так и в его *рус.* переводе.

Еще в 1843 г. Тютчев направил Николаю I записку («или проект политического содержания»), упоминаемую И. С. Аксаковым: «Есть, впрочем, основание думать, что эта записка касалась нашей политики на Востоке» (*Биогр.* С. 28). А. Х. Бенкендорф, сообщал Тют-

чев в конце сентября 1843 г. жене, «взялся быть проводником моих мыслей при Государе, который уделил им больше внимания, чем я смел ожидать. Что касается до публики, то я мог удостовериться по отголоску, который встретили в ней эти мои мысли, что я напал на правду, и теперь, благодаря молчаливому поощрению, которое мне оказано, можно будет попытаться на что-нибудь серьезное» (там же. С. 29). О такой реакции царя, вдохновлявшей поэта, можно судить и по его письму к родителям от 3/15 сентября 1843 г.: «Он (Бенкендорф. — Б. Т.) уверял меня, что мои мысли были приняты довольно благосклонно, и есть повод надеяться, что им будет дан ход. Я просил его предоставить мне эту зиму на подготовку путей и обещал, что непременно приеду к нему, сюда или куда бы то ни было, для окончательных распоряжений» (там же. С. 30).

Слова «окончательные распоряжения» и «подготовка путей» подразумевают государственные решения по координации различных усилий за границей, направленных на выражение интересов России в зарубеж-

ной прессе. Роль такого координатора и готов был взять на себя Тютчев, на что содержится намек в печатаемой записке (см. С. 143). Можно предположить, что темы и цели обеих записок он пытался не раз довести до царя. В послании к родителям от 27 октября 1844 г. он замечает, что в прошлом году государю были представлены «некоторые мои письма, относящиеся до вопросов дня» (Изд. 1984. С. 98).

До осуществления намеченных планов с участием Тютчева дело не дошло. Тем не менее благосклонность Николая I по отношению к нему выразилась в том, что уволенному ранее дипломату было позволено вернуться на службу в Министерство иностранных дел в марте 1845 г., а через месяц — восстановиться в придворном чине камергера.

Точная дата составления публикуемой записки неизвестна. Скорее всего, она подготовлена в первой половине 1845 г. О ней 15 июня этого года упоминает М. П. Погодин в дневнике: «Поутру Тютчев. О политике. Он привез мне свой мемуар» (ЛН-2. С. 14). Именно со стороны М. П. Погодина как представителя так называемой официальной народности, а

также вообще в славянофильских кругах Тютчев должен был встретить сочувствие. Что же касается других направлений общественного мнения, то среди либералов и западников реакция была далекой от согласия и приятия. В первой декаде октября 1845 г. А. И. Тургенев вступает в оживленную переписку с П. А. Вяземским и досадует, что их общий друг «написал статью для государя (об общей политике) — грезы неосновательные и противные прежним его убеждениям...» (ОА-4. С. 326). А. И. Тургенев еще подчеркивает, что Тютчев может быть полезен России «только просвещенным умом своим, а не проектами восточными и, следовательно, противоевропейскими и, следовательно, антихристианскими и античеловеческими» (там же). Ранее он сообщил Н. И. Тургеневу в Париж, что получил от сестры Тютчева (в замужестве Д. И. Сушковой) копию его записки царю и «исполнился негодования, особливо подумав, для кого она писана...» (цит. по: Осповат А. Л. Новонайденный политический меморандум Тютчева: К истории создания // *НЛО*. 1992. № 1. С. 90). А в середине сентября А. И. Тургенев уведомляет

брата, что посылает ему среди прочих материалов и «знаменитую записку Тютчева императору, служащую продолжением напечатанного его письма, адресованного редактору “Allgemeine Zeitung”, которое вам известно. Он имел 6000 рублей Wartgeld (вознаграждение — нем.), и нынче ему обещают дипломатический пост. Замаранные строки в конце записки содержат довольно ясный намек на пользу, которую он мог бы принести, если бы доверили ему редактирование статей о России для иностранных газет. Покажите эту записку <А. де> Сиркуру, но не потеряйте, ибо ей цены нет» (там же).

Неизвестно мнение о «мемуаре» Тютчева А. де Сиркура, французского публициста, женатого на русской и интересовавшегося общественными процессами в России, о чем свидетельствует его переписка с П. Я. Чаадаевым и написанный им для издававшегося во Франции журнала «Le Chrétien» некролог А. И. Тургеневу. Брат же последнего реагировал однозначно: «Не о наших и не наших, не об истории Византии и ее наследии следует помышлять русским, у коих сердце бьется любовью к

их земле, а о голоде и холоде, о палках и кнуте, одним словом, о рабстве и его уничтожении» (ОА-4. С. 333).

В переписке с П. А. Вяземским А. И. Тургенев акцентирует тему «вознаграждения» и антизападную «восточность» тютчевского проекта и просит первого 15 сентября 1845 г.: «Скажи Тютчеву, чтобы он скорее возвращался на свежий воздух, да хоть в Турин. Понимаю его по несчастью, но извинить не могу: “Не о хлебе едином жив будет человек”. Грустно, очень грустно!» (там же. С. 322). В ответном письме от 29 сентября 1845 г. П. А. Вяземский возражал и спрашивал: «Что ты там городишь вздор о Тютчеве? Что ты в нем понимаешь, но чего извинить не можешь, и зачем посылаешь его *хотя в Турин*? Все это кюстиновщина <...> Нечего в нем извинять, потому что он пока служит из чести и только что считается на службе...» (СН. 1911. Кн. 14. С. 510). На «кюстиновщину» А. И. Тургенев отвечает 6 октября 1845 г. «хомяковщиной», которой Запад опасается и по-своему трансформирует ее: «А Т[ютчев] нехорошо делает, что пишет такие записки: в Москве — это смешная

хомяковщина, а в “Аугсбургской Газете” она обращается в политические затеи, коих невежественная Европа все еще боится, и оттого — лишние войска у ней и у нас. Sapienti sat (Для понимающего достаточно — *лат.*)» (ОА-4 С. 324). Через день А. И. Тургенев упоминает о «вознаграждении» и вновь заводит речь о «неосновательных грезах» Тютчева, переводящихся «в угрозы Европе», и упрекает П. А. Вяземского вместе с его единомышленниками в «равнодушии к мнениям, от коих если не зарождаются, то умножаются рекрутские наборы...» (там же. С. 326). 13 октября 1845 г. П. А. Вяземский отвечал ему, что не знает, какая записка имеется в виду, «но во всяком случае не за то дали ему 6000 рублей, которых между прочим ему *не давали* <...> Могу тебя уверить, что он очень здраво, светло и независимо судит о европейской политике и о нашей. Во всяком случае отчего *восточные проекты* должны неминуемо быть и идти *европейски-ми*, т. е. принимая слово Европа в смысле цивилизации?» (СН. Кн. 14. С. 513). Возможно, П. А. Вяземский был знаком не с одним «проектом» Тютчева или не знал к тому времени

текста записки, однако образ мыслей автора он ясно представлял и (в отличие от А. И. Тургенева) разделял.

Записка Николаю I, по существу, еще не комментировалась в ее историческом содержании, хотя оно непосредственно связано с системой и полнотой тютчевской мысли, а также с основополагающими идеями трактата «Россия и Запад». Первый публикатор оставляет в стороне это содержание, характеризует его как непомерно разросшееся и объясняемое прагматическими целями (желание Тютчева напомнить о себе императору) и сосредоточивает свое основное внимание на биографическом контексте (*НЛО*. 1992. № 1. С. 90–96). Связывая обе записки 1843 и 1845 гг. в единое целое, он ставит акцент на карьерных надеждах их автора, его хлопотах по возвращению на государственную службу и стремлении якобы «выслужиться перед императором» (там же. С. 96). Однако картина, выстраиваемая им с помощью достоверных фактов и гипотетических «мостиков» между ними, на самом деле не является столь однозначной и укороченной ни в личностно-био-

графическом, ни тем более в политическом и историософском планах, что чревато подменной идейных мотивов меркантильными интересами. Карьерные соображения занимали далеко не первое место в сознании Тютчева, вопрошавшего позднее в одном из писем: «Главное тут в слове *служить*, этом, по преимуществу, русском понятии — только кому служить?» (Изд. 1984. С. 287). Свою деятельность на любом поприще он воспринимал как служение национальным интересам России, которые в 1840-х гг. осознавал в контексте тысячелетней истории, что и отражено в публикуемом документе. Именно отсутствие такого сознания нередко удручало Тютчева, размышлявшего позднее о правительственном кретинизме, т. е. неспособности «различать наше я от нашего не я», о политике «личного тщеславия», подчиняющей себе национальные интересы страны, о «жалком воспитании» правящих классов, увлекшихся «ложным направлением» подражания Западу: «...и именно потому, что это отклонение началось в столь отдаленном прошлом и теперь так глубоко, я и полагаю, что возвраще-

ние на верный путь будет сопряжено с долгими и весьма жестокими испытаниями» (Изд. 1984. С. 239). Этот вывод из письма к жене от 17 сентября 1855 г. перекликается с оценкой сложившегося положения вещей в письме к М. П. Погодину от 11 октября того же года: «Теперь, если мы взглянем на себя, т. е. на Россию, что мы видим?.. Сознание своего единственного исторического значения ею совершенно утрачено, по крайней мере в так называемой образованной, правительственной России» (ЛН-1. С. 422). И в 1860-х гг. поэт повторяет: «В правительственных сферах, вопреки осязательной необходимости, все еще упорствуют влияния, отчаянно отрицающие Россию, живую, историческую Россию, и для которых она вместе — и соблазн, и безумие...» (там же. С. 276). Более того, он обнаруживает, что «наш высоко образованный политический кретинизм, даже с некоторою примесью внутренней измены», может окончательно завладеть страной и что «клика, находящаяся сейчас у власти, проявляет деятельность положительно *антидинастическую*. Если она продержится, то приведет господствующую

власть к тому, что она «...» приобретет *антирусский* характер» (там же. С. 330). Тогда России грозит опасность погибнуть от бессознательности, подобно человеку, который утратил чувство самосознания и держится на чужой привязи: «государство бессознательное гибнет...» (там же. С. 372). В письме к И. С. Аксакову от 29 сентября 1868 г. Тютчев пересказывает разговор Николая I с графом П. Д. Киселевым: «...беседуя с ним о каком-то политическом вопросе, покойный государь сказал ему: “Я бы мог подкрепить мои доводы примерами из истории, но в том-то и беда, что истории-то меня учили на медные гроши”. — Слово это и теперь применимо ко всем почти правительствующим, — и потому следовало бы, чтобы печать, без желчи, без иронии, в самых ласковых и мягких выражениях сказала бы им: Вы все люди прекрасные, благонамеренные, даже хорошие патриоты, но всех вас плохо, очень плохо учили истории, и потому нет ни одного вопроса, который бы «вы» постигали в его *историческом* значении, с его исторически-непреложным характером. — И затем следовало бы сделать перечень «таких

вопросов», короткий, но осязательный, указывая на их глубокие, глубоко скрытые в исторической почве корни» (там же. С. 343). Составленная Тютчевым 23 годами ранее записка для Николая I и как бы стала перечнем корневых вопросов, а также попыткой оказать влияние на степень сознательности государства и на преодоление «двойного неведения» (европейского и отечественного) принципов исторического бытия России, чем и объясняется ее «разросшаяся» историософская часть и призыв не терять из виду «всех этих общих исторических соображений». Поэт стремился довести до царя образ мыслей, который складывался у него в 1840-х гг. и правда которого находила отклик в обществе. Что же касается его практических рекомендаций по отношению к печати за рубежом, то они продиктованы политико-идеологическим контекстом — размахом и накалом русофобии, которая встречалась «нашим молчанием», не находила адекватной реакции в правительственных кругах и требовала активного и серьезного противодействия. На отсутствие такого противодействия сетовал А.

И. Герцен: «Бедный русский народ! Некому возвысить голос в его защиту!» (Герцен. Т. 7. С. 308).

...проявляемого к нам в Европе недоброжелательства... — См. коммент. к «Письму русского» (с. 224–228), ст. «Россия и Германия» (с. 255–265*, 283–286*), трактату «Россия и Запад» (с. 450–451*).*

...«Россия занимает огромное место в мире, и тем не менее она представляет собою лишь материальную силу»... — А. С. Хомяков в ст. «Мнение иностранцев о России» писал: «Недоброжелательство к нам других народов, очевидно, основывается на двух причинах: на глубоком сознании различия во всех началах духовного и общественного развития России и Западной Европы и на невольной досаде перед этою самостоятельную силою, которая потребовала и взяла все права равенства в обществе европейских народов» (Хомяков 1988. С. 84). Свойственное «мнению иностранцев» игнорирование православного духовного начала (глубоко отличного от католического и протестантского) в «материальной силе» (и

соответственно страху перед ней) характерно и для противоречивой мысли П. Я. Чаадаева, признающего, как и Тютчев, и А. С. Хомяков, основополагающую роль православия в общественном развитии России и вместе с тем замечаящего: «...мы лишь геологический продукт обширных пространств, куда забросила нас какая-то неведомая центробежная сила, лишь любопытная страница физической географии. Вот почему, насколько велико в мире наше материальное значение, настолько ничтожно все значение нашей силы нравственной» (Чаадаев. С. 190). Ср. также мнение А. И. Герцена в целом о славянах: «История славян скудна. За исключением Польши, славяне скорее подлежат ведению географии, чем истории» (Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен. Т. 7. С. 144).

Она есть плод двойного неведения: европейского и нашего собственного. — Согласно Тютчеву, превратное представление о России обусловлено не только различием в самих основаниях духовного и общественного бытия, но и отсутствием необходимых знаний об этом различии и его проявлениях в жизни. Эту

мысль автора записки может пояснить следующее наблюдение А. С. Хомякова: «Нередко нас посещают путешественники, снабжающие Европу сведениями о России. Кто побудет месяц, кто три, кто (хотя это очень редко) почти год, и всякий, возвратясь, спешит нас оценить и словесно, и печатно. Иной пожил, может быть, более года, даже и несколько годов, и, разумеется, слова такого оценщика уже внушают бесконечное уважение и доверенность. А где же он пробыл все это время? По всей вероятности, в каком-нибудь тесном кружке таких же иностранцев, как он сам» (Хомяков 1988. С. 84). К числу подобных путешественников Тютчев, как и Хомяков, относил и маркиза А. де Кюстина, черпавшего мыслительные ходы и схемы для обобщения впечатлений из «нашего собственного» неведения, т. е. из «подсказывавшейся» логики отечественных либералов и западников (П. Б. Козловский, П. Я. Чаадаев и др.), предававших забвению и не учитывавших в должной мере конструктивную роль православных ценностей и самобытных начал русской истории и культуры. Говоря о тенденциозном европей-

ничанье, методично культивировавшемся со времен Петра I, Н. В. Гоголь отмечал беспрецедентный в мировой истории факт воспитания русского общества «в неведении земли своей посреди самой земли своей»: «Велико незнание России посреди России. Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей» (Гоголь. С. 91).

...Россия — это мир, только начинающий осознавать основополагающее начало собственного бытия. — О своеобразии этого мира и лежащего в его основании начала см. далее в статье, а также коммент. к ст. «Россия и Германия» (с. 274–275), «Россия и Революция» (с. 322–323*, 349–350*), трактату «Россия и Запад» (с. 451–452*, 458–461*).*

...тогда нас называли Восточной Империей, Восточной Церковью... — Подразумевается непосредственная и органическая связь Московской Руси с Византией и православным христианством.

...несет в себе самой свой собственный принцип власти, но упорядочиваемой, сдерживаемой и освящаемой Христианством. — Имеется в виду фундаментальное значение и

иерархически главная роль христианства в понятиях «законной власти» и «империи». По убеждению Тютчева, именно это упорядочивание, сдерживание и освящение составляют всю силу, долговечность и «окончателность» принципа власти и предохраняют ее от самодостаточного и саморазрушительного эстатизма. «Христианство, — подчеркивает И. С. Аксаков, — указав человеку и человечеству высшее призвание *вне* государства; ограничив государство областью внешнего, значением только средства и формы, а не цели бытия; поставив превыше всего начало божественной истины, источник всяческой силы и власти, — низвело таким образом самый принцип государственный на низшее, подобающее ему место» (Аксаков И. С. Ф. И. Тютчев и его статья: «Римский вопрос и папство» // *ПО*. 1875. № 10. С. 328).

Борьба между Западом и нами готова разгореться еще жарче... — Предвидение Тютчева оказалось пророческим не только ближайшим образом, по отношению к Крымской войне, но и в долгосрочной перспективе мировых войн XX в. См. *коммент.* к ст. «Россия и

Революция». С. 337*.

...Восточная Церковь перед лицом Рима «...» является законной наследницей вселенской Церкви. — До XI в. весь христианский мир составлял одну Вселенскую Церковь и канонические и обрядовые различия не отделяли Западную Церковь от Восточной. Позднее преувеличение размеров и характера власти римского первосвященника, догматические (добавления к христианскому Символу веры учения о *filioque*, т. е. об исхождении Святого Духа «и от Сына»), литургические (учение об опресноках) и иные принципиальные особенности западного христианства (см. о них подробнее в *коммент.* к ст. «Римский вопрос». С. 374–375*) привели в 1054 г. к схизме, т. е. к его окончательному расхождению с восточным. Православная Церковь сохранила неизменным учение Христа и апостолов в том виде, в каком оно изложено в Священном Писании, Священном Предании и в древних символах Вселенской Церкви, осознавая себя законной наследницей последней.

С помощью очевидного захвата прав и обязанностей вселенской Церкви. — После разде-

ления Церкви западная ее часть, несмотря на отход от вселенского предания и изменение его, стала называть себя «кафолической», т. е. вселенской в отношении ко всему христианскому миру, что и позволяло Тютчеву говорить о нарушении в ней высшей божественной легитимности. Это нарушение усугублялось также отождествлением папы с Церковью и утверждением его роли как представителя апостола Петра, которому, по словам Григория VII, «Бог дал власть вязать и разрешать и на земле и на небе, никого не исключая из-под его власти».

...для достижения искомой цели он не гнушался никакими средствами: ни насилем, ни хитростью, ни кострами, ни иезуитами. — См. коммент. к ст. «Римский вопрос». С. 381–382, 387–389*.*

Для сохранения единства веры он не побоялся исказить Христианство. — Более развернуто об искажении основополагающих начал подлинного христианства в римском католицизме см. ст. «Римский вопрос*» (с. 161–163), где Тютчев подчеркивает исходное и судьбоносное значение «искаженного», «поврежден-

ного», «развращенного» христианства в развитии западной истории.

Три столетия назад Рим сверг половину Европы в ересь, а ересь свергла ее в безверие. — Отмечается триединая связь между искаженным римско-католическим христианством, «ересью» протестантизма и атеизмом.

...Римского престола, подчинившего Церковь вопреки соборным решениям. — Преувеличенное представление Римской кафедры о ее догматическом, каноническом, юридическом первенстве и не ограниченной решениями Соборов власти во всей Церкви проявилось уже во II в., когда на Поместных Соборах в Палестине, Понте, Галлии и в самом Риме обсуждался спорный вопрос о времени празднования Пасхи и когда римский епископ Виктор отлучил и лишил евхаристического общения малоазийских христиан, склонных следовать не римской практике, а восходившей к апостолу Иоанну Богослову традиции. В IX в. папа Николай I, пользуясь борьбой «непримиримых» и «икономистов» в Византийской Церкви и игнорируя соборные определения, объявил патриарха Фотия лишенным сана

как «восхитителя Константинопольского престола», а его преемник Адриан II провозгласил собственную неподсудность и право суда над всеми предстоятелями Поместных Церквей, потребовал осуждения участников Константинопольского Собора 867 г. и подписания ими документа о признании верховной власти папы и о предании Фотия анафеме. Несмотря на решения Великого Свято-Софийского Собора 879–880 гг., на котором произошла реабилитация патриарха Фотия, преодоление церковной смуты и осуждение добавления «филиокве» к Символу веры, достигнутое временное единство между Востоком и Западом на православных началах, устремленность Римского престола к безусловному первенству и могуществу по образцу абсолютной светской власти способствовала окончательной схизме. После разрыва с православным Востоком мнение о непогрешимости и власти римского папы над Церковью продолжает еще более укрепляться на Западе, хотя Пизанский, Констанцский и Базельский Соборы в первой половине XV в. отвергли абсолютистский примат Рима и подчинили его в де-

лах веры соборным решениям.

...проявление Божественного правосудия, незримо присутствующего во всем происходящем в мире. — Здесь Тютчев настаивает на Богооткровенном характере и провиденциальной закономерности исторического процесса.

...ультрамонтанская политика... — Т. е. политика ультрамонтан, представителей религиозно-политического течения (ультрамонтанства) в католицизме, ставившего себе целью восстановление престижа пап после их Авиньонского пленения, т. е. вынужденного пребывания с 1309 по 1377 г. в Авиньоне, начало которому положил Климент V, подчинившийся диктату французского короля Филиппа IV в ходе спора о прерогативах духовных и светских властей. Сам термин «ультрамонтанство» (от *лат.* *ultra* — далее, за пределами, по ту сторону и *montes* — горы, букв. — находящееся по ту сторону гор, т. е. за Альпами по отношению к Франции, в Риме) возник первоначально во Франции и Германии и с XV в. означает крайние устремления в католицизме, признающие власть папы выше со-

борной, а в светской области — выше всякой государственной, отрицающие самостоятельность национальных церквей и направленные на усиление неограниченного влияния и вмешательства Римского престола в религиозные и светские дела других государств. В XVI в. наиболее активными ультрамонтанами стали иезуиты. Одним из проявлений ультрамонтанства в начале XIX в. могут служить идеи Ж. де Местра, который, как и Тютчев, выступал против революционных изменений в обществе, но, в отличие от последнего, предлагал для этого создать союз католических монархий, объединенных властью папы. На I Ватиканском Соборе ультрамонтане добились провозглашения догмата о непогрешимости папы. Их влияние отразилось и в «Силлабусе» (от *лат.* Syllabus — перечень) — в приложении к энциклике Пия IX от 8 декабря 1864 г. («Перечень главнейших заблуждений нашего времени»), в котором осуждались общественные и научные тенденции и принципы (социализм, коммунизм, атеизм, рационализм, свобода воли и т. п.), умаляющие авторитет и влияние папства. Тютчев откликнул-

ся на это стих. «Encyclіca» (т. е. папское послание — лат.):

⟨...⟩

*Столетия шли, ему прощалось
много,
Кривые толки — темные дела —
Но не простится правдой Бога
Его последняя хула...
Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столь-
ко лет, —
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!»*

(1864)

Этот факт отметил более трех столетий назад величайший итальянский историк нового времени. — Имеется в виду Никколо Макиавелли, подчеркивавший в XII главе «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия»: «Если бы князья христианской республики сохраняли религию в соответствии с предписаниями, установленными ее основателем, то христианские государства и республики были бы гораздо целостнее и намного счастливее, чем они оказались в наше время ⟨...⟩ Так вот,

мы, итальянцы, обязаны Церкви и священникам прежде всего тем, что остались без религии и погрязли во зле. Но мы обязаны им еще и гораздо большим, и сие — вторая причина нашей гибели. Церковь держала и держит нашу страну раздробленной «...» Укоренившись в Италии и присвоив себе светскую власть, римская Церковь не оказалась ни столь сильной, ни столь доблестной, чтобы суметь установить собственную тиранию над всей Италией и сделаться ее государем «...» Таким образом, не будучи в силах овладеть всей Италией и не позволяя, чтобы ею овладел кто-нибудь другой, Церковь была виновницей того, что Италия не смогла оказаться под властью одного владыки, но находилась под игом множества господ и государей. Это породило столь великую ее раздробленность и такую слабость, что она делалась добычей не только могущественных варваров, но всякого, кто только ни желал на нее напасть» (Макиавелли Н. Избр. соч. М., 1982. С. 409–410).

...ультрамонтанское влияние подавило, погасило все самое чистое, истинно христианское в галликанской Церкви? — Галликанство

(от лат. назв. Франции — Галлия) — возникшее в XIII в. течение среди французских католиков, направленное на достижение самостоятельности и независимости национальной церкви от Римского престола. На созванном в 1682 г. Людовиком XIV национальном Соборе была принята Декларация галликанского духовенства, ограничивающая власть папы. Когда революционные события первой половины XIX в. заставляли правящие круги Франции искать поддержки у Римского престола и ультрамонтан, ослаблявшееся ранее влияние галликанства сошло на нет.

Не Рим ли разрушил Пор-Рояль и, лишив Христианство наиболее доблестных защитников, так сказать, руками иезуитов обезоружил его перед нападками философии восемнадцатого века. — Пор-Рояль — монастырь, основанный в 1204 г. в предместье Парижа, а в 1625 г. обособившийся еще и в самой столице Франции. С Пор-Роялем тесно связаны имена крупных философов, писателей, ученых (Б. Паскаль, Ж. Расин, А. Арно, П. Николь и др.). Оба монастыря боролись с папством и иезуитами за чистоту христианства и стали опло-

том янсенизма, сформировавшегося в 30-е гг. XVII в. религиозного течения в католицизме (по имени голландского теолога Янсения) и выступавшего как полемическая реакция на влияние возрожденческого гуманизма, на рискованные компромиссы и чрезмерное обмирщение церковной жизни, как попытка сохранить и упрочить авторитет подлинного христианства. Политико-государственные притязания пап, слишком мирские устремления в некоторых монашеских орденах, распространенное у иезуитов применение юридического взгляда на отношения человека к Богу, приспособление к вопросам совести приемов, выработанных гражданским судопроизводством, делали из Церкви «слишком человеческий» институт. Янсенисты, напротив, подчеркивали изначальную слабость испорченного первородным грехом свободной воли человека, хрупкость его земных устремлений, первостепенную роль благодати и предопределения, необходимость строгих религиозных правил и нравственного самосовершенствования. Деятельность янсенистов и Пор-Рояля нашла принципиальных против-

ников в лице иезуитов, осуждалась римским папой и преследовалась королевской властью. В 1709 г. монастырь был уничтожен. Такое отношение «поврежденного», говоря словами Тютчева, христианства к подлинному и ослабление последнего давало в XVIII в. представителям просветительской философии (Вольтер, Кондорсе, Дидро, Гольбах, Гельвеций и др.) аргументы в их атеистической и материалистической пропаганде. Аналогично Тютчеву оценивал значение Пор-Рояля И. В. Киреевский, писавший о его насельниках (в ст. «Сочинения Паскаля, изданные Кузнем», «О необходимости и возможности новых начал для философии») как о выразителях христианского любомудрия, преодолевающих односторонность римской схоластики и философского рационализма. «Но происки иезуитов разрушили Пор-Рояль с его уединенными мыслителями; с ними погибло и рождавшееся живительное направление их мыслей <...> Таким образом, самобытная философия Франции замерла в самом зародыше, и образованность французская, требовавшая какого-нибудь умственного дыхания, должна

была подчиниться хохоту Вольтера и законам чужой философии, которая явилась тем враждебнее для религиозных убеждений Франции, что не имела с ними ничего общего» (Киреевский. С. 301).

...наших несчастий в семнадцатом столетии... — Имеется в виду поддержка самозванцев и вторжение Польши (в правление короля Сигизмунда) в Россию, сопровождавшееся активизацией тайной деятельности Рима: «Римский двор внимательно следил за отношениями Лжедмитрия к Польше, потому что от них всего более зависело дело католицизма, введение которого в свое государство обещал самозванец папе...» (Соловьев С. М. Соч.: В 18 кн. М., 1989. Кн. IV. Т. 7–8. С. 427–428).

Он опустошил народные силы в Богемии и развратил нравственный дух в Польше... — Богемия (Чехия) приняла крещение, как и Русь, от Византии, но затем началось «наступление» Рима. Деятельность славянских просветителей, равноапостольных Кирилла и Мефодия, оставила заметный след в историческом и культурном развитии Чехии. Около 880 г. Мефодий крестил чешского короля Борживо-

го. Но уже в 885 г. греко-славянское богослужение было запрещено вел. кн. Моравии Святотополком, а ведущие позиции стала занимать католическая Церковь. Предреформационное гуситское движение в XV–XVI вв. (о его оценках Тютчевым см. далее ст. «Римский вопрос») явилось реакцией на «искажения» христианства в католицизме. Папство было вынуждено сделать ряд уступок гуситам, но затем восстановило господствующее положение, после того как в первой трети XVII в. Чехия попала под власть Габсбургов. Что же касается развращения нравственного духа Польши, то Тютчев подразумевает здесь революционный настрой католических священников в ней.

...хранилище веры, исключительное право владения которым он норовился присвоить себе даже ценою схизмы. — Со второй половины IX и в особенности в первой половине X в. папство вступило в упорную борьбу за проникновение в славянские страны. «Притязания на Болгарию, Сербию, Моравию и Богемию, открытое наступление на восточную церковь и славянскую литургию, введенные в

этих странах со времен Мефодия и Константина (864–870 гг.), приводили к острым столкновениям, имевшим характер отнюдь не только религиозный «...» Несмотря на энергичное противодействие, которое оказывали германо-католическим захватчикам народные массы в этих странах, в течение нескольких десятилетий германским прелатам удалось во многих местах вытеснить восточный христианский культ (славянскую литургию, обрядность), заменив его латинским богослужением. Тем не менее некоторые элементы славянской литургии сохранялись в Моравии и в Богемии в течение длительного времени, в Кroatии же они встречались и в XIX в.» (Рамм Б. Я. Папство и Русь в X–XV веках. М., 1959. С. 17–19). См. также: Dvornik F. Rome, Kiev et Byzance au IX siècle. P., 1924.

...мы имеем в своих союзниках против Рима его историю... — См. выше, а также коммент. к ст. «Римский вопрос». С. 375–382*.

...охватившая ныне Европу религиозная реакция... — Подразумевается активная роль католицизма в социально-культурной жизни Франции 1830–1840 гг., когда проповеди попу-

лярных священников привлекали большое общественное внимание. «Аббат Дюпанлу и проповедник Равиньян, — писал П. В. Анненков, — составляют первые звенья той религиозной реакции, которая обнаружилась в последнее время в Париже. Надо вам сказать, что обстоятельства приготовили и очистили ей дорогу, так что появление ее никого не удивило. Всякий, кто пожил в Париже месяцев шесть или семь, как я, скажет вам о необычайном равнодушии общества ко всему, что делается перед глазами его, о потере им последней веры в свои собственные идеи, в дело рук своих, о изнеможении и апатии его <...> И вдруг раздается голос старого католицизма, который никак не может отстать от Западной Европы, им вскормленной, и является к детищу тотчас, как задумалось оно после тревоги широкого пира. Если принять в соображение, что теперь идет дело не о семинарии, не о десятине какой-нибудь, а о введении католицизма в нравы и о принятии им под покров вопросов века, то нынешняя религиозная реакция может иметь важные последствия для Франции» (Анненков П. В. Па-

рижские письма. М., 1983. С. 61–62). О «грозных волнах ультрамонтанских» см. в записи А. И. Тургенева от 10 марта 1845 г. (Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825–1826). Л., 1964. С. 264).

...папизм составляет всю слабость католицизма. — Имеется в виду идея притязания пап, их борьба за власть и абсолютное светское верховенство, приводившая в ходе истории к искажению и ослаблению подлинного христианства.

Сила без слабости сохраняется лишь во вселенской Церкви. — Подразумевается Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь, дух и предание которой сохраняются после схизмы в Восточной Церкви и сила которой заключается во вменяемости по отношению к искажениям и «слабостям» исторического христианства и человеческой природы, в устремлении к сбережению неизменной чистоты и изначальной цельности связи человека с Богом. «Церковь, — писал А. С. Хомяков, — живет даже на земле не земною, человеческой жизнью, но жизнью божественной и благодатною. Посему не только каждый из

членов ее, но и вся она торжественно называет себя святою. Видимое ее проявление содержится в таинствах; внутренняя же жизнь ее в дарах Духа Святого, в вере, надежде и любви. Угнетаемая и преследуемая внешними врагами, не раз возмущенная и разорванная злыми страстями своих сынов, она сохранилась и сохраняется неколебимо и неизменно там, где неизменно хранятся таинства и духовная святость, — никогда не искажается и никогда не требует исправления. Она живет не под законом рабства, но под законом свободы, не признает над собой ничьей власти, кроме собственной, ничьего суда, кроме суда веры (ибо разум ее не постигает), и выражает свою любовь, свою веру и свою надежду в молитвах и обрядах, внушаемых ей духом истины и благодатью Христовою» (Хомяков 1994. С. 16).

...в первые дни Реформации, когда вожди этого религиозного движения <...> единогласно зывали к Восточной Церкви. — Здесь интерпретируется обращение Лютера в его диспутах со сторонниками папы (после обнаружения им на дверях Виттенбергского храма знаменитых девяноста пяти тезисов по во-

просам отпущения грехов) к православной конфессии, не подчиненной Римскому престолу, как к возможности существования иных, не связанных с папством, форм христианства.

...это вопрос об Империи. — См. трактат «Россия и Запад»* и коммент. к нему (с. 452–461*).

...православный Восток, весь этот огромный мир, возвышенный греческим крестом, един в своем основополагающем начале и тесно связан во всех своих частях, живет своей собственной жизнью, самобытной и неразрушимой. — Здесь Тютчев повторяет мысль о православно-славянском своеобразии России и Восточной Европы.

...Бог «...» восхотел исправить эти две ошибки, для чего и сотворил московского Царя. — Почтительное отношение славян к «московскому Царю» как к единственно приемлемому и законному заступнику Тютчев отметит в ст. «Россия и Революция», используя услышанный от И. С. Гагарина зимой с 1833 на 1834 г. рассказ австрийского генерала Ф. Шварценберга, который признавался И. С.

Гагарину: «Ваше правительство не знает всех своих сил. Например, я вхожу в хижину поселянина в одной из наших австрийских областей. На стене прилеплена облатками бумажная довольно уродливая картина, представляющая человека в белом мундире. “Цо то?” — спрашиваю я поселянина. “То австрийский царь”. А тут рядом другая такая же фигура в зеленом мундире. “Цо то?” — “То наш царь”. А приметьте, прибавлял Шварценберг, этот царь, которого австрийский мужик называет своим царем, в противоположность австрийскому императору, это русский император» (цит. по: ЛН-2. С. 53).

...Запад <...> рассматривает населяющие Турцию народности лишь как добычу для раздела. — Благодаря победе России в войне с Османской империей 1828–1829 гг. балканские провинции Порты (Болгария, Фракия, Македония, Босния и Герцеговина, Албания) постепенно вовлекались в международные отношения и вызывали все большее внимание соперничавших на Балканах европейских государств, которые, опасаясь там укрепления позиций России, усиливали свое поли-

тическое влияние, расширяли торгово-экономические связи, вели религиозно-культурную пропаганду. Например, французское правительство, используя стремление болгар к созданию национальных школ, открывало в их землях католические школы с преподаванием на болгарском языке и с участием подготовленных в Руане священников-славян, а министр иностранных дел Ф. Г. Гизо полагал, что подобные школы в турецких владениях помогут более эффективно проведению на Балканах французской политики. Обеспокоенная усилением католической экспансии Франции на Востоке, Англия выступила в начале 1840-х гг. в защиту протестантизма в Османской империи. В свою очередь, австрийское правительство воспользовалось правом покровительства католикам для обеспечения значительного влияния в Боснии и Западной Герцеговине. Именно подобные тенденции давали Тютчеву материал для далеко идущих выводов.

Запад попросту хотел бы в девятнадцатом веке вновь вернуться к тому, что он уже пытался делать в тринадцатом... — Имеет-

ся в виду правление папы Иннокентия III (1198–1216), когда был организован IV крестовый поход, во время которого крестоносцы заняли столицу Византии Константинополь и на несколько десятилетий утвердились на Востоке.

...прозелитизм Запада, убежденного, что всякое общество, не устроенное в точности по западному образцу, недостойно существования. — Это убеждение по-своему проявилось во время схизмы, когда в ответ на предложение Константинопольского патриарха Михаила Керулария о восстановлении общения с Востоком папа Лев IX заявил, что римская Церковь — «глава и мать Церквей», а если найдется народ, придерживающийся иного мнения, то такой народ есть «собрание еретиков», «скопище схизматиков», «синагога сатаны», «совершенное ничто»... Подобная позиция во многом предопределяла и крестовые походы против «неверных», а также последующие завоевательные планы и войны Запада, деятельность иезуитов и т. п. С другой стороны, социальные и культурные достижения греко-римского и романо-германского

мира отождествлялись с общечеловеческой цивилизацией и историческим прогрессом, что как бы принуждало разные народы повторять чужую жизнь, насильственно переносить на свою почву результаты естественного развития европейских стран, оправдывать тиранию и рабство (ср. высказывание В. Г. Белинского о законности владычества «цивилизованной» Турции над южными славянами как народом с более низкой культурой). Подобную логику А. А. Григорьев определял как посягательство на органическую историю предков и живую жизнь современников «во имя узкой теории, во имя условного идеала образованности и нравственности, как будто *вне* его, этого германо-романского идеала, ничего не было в прошедшем и будущем для человечества» (Григорьев А. Эстетика и критика. М., 1980. С. 171). В критическом отношении к идее однородного человечества и «единоспасающей» европейской цивилизации, порою становящейся агрессивной к другим культурам, Тютчев в той или иной степени солидарен со славянофилами, почвенниками, евразийцами, с А. А. Григорьевым, Н. Н. Стра-

ховым, К. Н. Леонтьевым, Н. Я. Данилевским, А. С. Хомяковым, И. В. Киреевским, Н. С. Трубецким, Ф. М. Достоевским, Н. В. Гоголем, А. С. Пушкиным и др. В прозелитизме Запада он находил и один из истоков наблюдавшейся им русофобии.

...исторический Промысел, сокрытый в таинственной глубине человеческих дел... — Здесь Тютчев вновь отмечает провиденциальную закономерность исторического процесса. См. коммент. к ст. «Римский вопрос». С. 371–372*.

Уже в тринадцатом веке Восточная Империя <...> нашла в себе достаточно жизненных сил, чтобы отбросить латинское владычество... — О неудавшейся попытке латинского владычества см. коммент. С. 304*.

...с тех пор подлинная Восточная Империя, православная Империя, значительно восстановилась после своего упадка. — Подразумевается преемственное продолжение византийских традиций православной державности на Московской Руси после падения Константинополя в 1453 г. и образования сильного централизованного государства в правление Ива-

на III.

...западная наука <...> судила о Восточной Империи так, как недавно господин де Кюстин судил о России... — Подразумеваются искаженные политическими, идеологическими, психологическими штампами суждения автора «России в 1839 году».

Поньне никто не сумел верно оценить <...> основного жизненного начала, обеспечившего тысячелетнее существование Восточной Империи... — Речь идет о православном христианстве.

...Христианство <...> каким его выразила Восточная Церковь <...> отождествившееся не только с национальным началом государства, но и с сокровенной жизнью общества. — Впечатлениями об органическом единстве «верослужения» и «жизни» Тютчев делится в 1843 г. с женой после посещения часовни с чудотворной иконой Иверской Божьей Матери: «Одним словом, все произошло согласно с порядками самого взыскательного православия... Ну что же? Для человека, который общается к ним только мимоходом и в меру своего удобства, есть в этих формах, так глу-

боко исторических, в этом мире Византийско-русском, где жизнь и верослужение составляют одно, — в этом мире столь древнем, что даже Рим, в сравнении с ним, пахнет новизною, есть во всем этом для человека, снабженного чутьем для подобных явлений, величие поэзии необычайное, такое величие, что оно преодолевает самую ярую враждебность... Ибо к ощущению прошлого, — и такого уже старого прошлого, — присоединяется невольно, как бы предопределением судьбы, предчувствие неизмеримого будущего...» (цит. по: *Биогр.* С. 21). Влияние восточного христианства на «сокровенную жизнь» простого человека был вынужден признать даже А. де Кюстин, что было отмечено Н. В. Гоголем: «Широкие черты человека величавого носят и слышатся по всей Русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с дурной стороны Россию, не мог скрыть изумления своего при виде про-

стых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги» (Гоголь. С. 181).

Она заняла только кромку мира, уготованного ей Провидением... — Здесь Тютчев вновь подчеркивает провиденциальный характер истории.

Вот почему эта Империя, несмотря на величие своего основного начала, постоянно оставалась в состоянии эскиза... — Об «эскизности» «первой» (Византийской) империи, которую должна продолжить и восполнить Россия, см. коммент. к ст. «Россия и Германия». С. 276–277*.

...в 1462 году, великий Иван III вступил на

престол в Москве. — Подчеркивается роль вел. кн. Московского и всея Руси Ивана III в укреплении единой державы и в завершении объединения русских земель в большое и сильное государство, которое осознавало себя как наследника Византийской империи и столица которого вскоре станет восприниматься как Третий Рим. Историк С. М. Соловьев писал: «...державы Западной Европы узнают, что на северо-востоке существует обширное, самостоятельное Русское государство кроме той Руси, которая подчинена польским королям, и начинают отправлять в Москву послов, чтобы познакомиться с новым государством <...> Иоанну III принадлежит почетное место среди собирателей Русской земли, среди образователей Московского государства; Иоанну III принадлежит честь за то, что он умел пользоваться своими средствами и счастливыми обстоятельствами, в которых находился во все продолжение жизни» (Соловьев С. М. Соч. Кн. III. Т. 5–6. С. 8–9).

...теперь же стремится подорвать основания этой Церкви философской проповедью. — Возможно, Тютчев имеет в виду сочинения

французского политического деятеля и католического мыслителя Ж. де Местра, критически относившегося к православной конфессии и провозглашавшего теократию римского папы высшим выражением божественной монархической власти, или популярные во Франции 1830–1840 гг. проповеди аббата Ф. де Ламенне и А. Лакордера, пытавшихся соединить традиционное христианство с социалистическими идеями и пролетарскими требованиями и тем самым подрывавших его основания. П. В. Анненков упоминает о близком к христианскому социализму «новом проповеднике г. Шателе, который воспекает хвалы даже автору “Орлеанской девственницы”» (Анненков П. В. Парижские письма. С. 63). Подразумевается также религиозно-культурная экспансия европейских стран на Востоке (см. *коммент.* С. 304*). В более широком и глубоком плане (не политическом и идеологическом, а онтологическом и историософском) соотношение между Откровением и философией оценено Тютчевым в его принципиальном возражении Ф. В. Шеллингу (см. *коммент.* к трактату «Россия и Запад». С. 415–416*

).

...он стремится подстрекать и покровительствовать там созданию малых незаконнорожденных народностей... — Тютчев полагал, что дробление, поддержка или, напротив, осуждение тех или иных национально-освободительных движений среди славянских народов, тяготевших к России, является составной частью политики западных государства в их достижении собственных целей и выгод.

Происходившее недавно в Греции... — Имеется в виду восстание греческого населения против правления немцев-католиков (в 1832 г. сын баварского императора Людвига I Оттон I занял греческий престол по соглашению европейских государств). Оно в известной мере инициировалось Англией, стремившейся обеспечить за собой преобладающее влияние в Греции, вопреки намерениям двух других ее «держав-покровительниц» — Франции и России. Тем не менее в подготовке договора участвовали представители как «английской», так и «французской» и «русской» партий, а также патриотически настроенные офицеры. Народный бунт в Афинах усиливал-

ся, грозя уже самому существованию монархии в Греции. Оттон I вынужден был пойти на уступки восставшим, требовавшим конституционных изменений — создания временного правительства, увольнения иностранцев с государственной службы и т. д., что встретило одобрение иностранных посланников в Греции и их правительств. Лишь Николай I как последовательный приверженец монархического принципа и антиконституционалист выразил возмущение лояльным отношением к бунтовщикам своего посланника Г. А. Катакази и приказал отозвать его. Смягчить недовольство царя пытался К. В. Нессельроде, убеждавший его, что новое правительство тесно связано с духовными, историческими, политическими принципами самодержавной России, с религиозным и нравственным началами, объединяющими русский и греческий народы: хотя революционная группа «подняла мятеж для получения конституции, она очень далека от того, чтобы быть преданной конституционным теориям в том значении, которое им придают во Франции и в Англии, и очевидно, что по существу

она хотела действовать в интересах православной религии, столь неблагоразумно пренебрегаемой королем Оттоном» (цит. по: Международные отношения на Балканах. 1830–1856 гг. М., 1990. С. 109). Тютчев надеялся, что действия в интересах православной религии позволят, как он пишет далее, укрепить духовную связь между «маленькой страной и великим целым».

Мы чересчур походили на учеников... — Подразумевается постоянная оглядка на Европу и западническая подражательность, сопутствовавшие русской истории и политике, общественной и культурной деятельности. Именно такое «ученичество» мешало, по мнению Тютчева, постигать двойной принцип (христианско-державный) исторического существования России, который он называет выше. В ст. «Мнение русских об иностранцах», сочувственно воспринятой поэтом, А. С. Хомяков подчеркивал, что «при нашей ученической зависимости от западного мира мы только и можем позволить себе поверхностную поверку его частных выводов и никогда не можем осмелиться подвергнуть строгому до-

просу общие начала или основы его систем» (Хомяков 1988. С. 107). Тютчев в своих политических статьях стремится как раз преодолеть подобную зависимость и на почве конкретных событий и фактов выделить «общие начала» западного мира.

...в абсурдном и тем не менее всеобщем мнении, признающем и даже преувеличивающем нашу материальную силу и вместе с тем сомневающимся в том, что такое могущество одушевлено нравственной и самобытной исторической жизнью. — См. коммент. С. 293.*

...Империя «...» оказывающаяся единственной выразительницей двух необъятных явлений: судеб целого племени и лучшей, самой неповрежденной и здоровой половины Христианской Церкви. — Тютчев неоднократно подчеркивает онтологические и исторические «преимущества» (ими можно при должном их осознании воспользоваться или, напротив, не воспользоваться) связи славянских народов (прежде всего русского) с «лучшим», неискаженным и неразвращенным христианством в православии.

...современное поколение так заблудилось в тени горы, что с трудом различает ее вершину?.. — Ср. аналогичный образ горы применительно к России (коммент. к ст. «Россия и Германия». С. 250*), историческое величие и значение которой, по мнению Тютчева, недопонимают ее «торопливые» защитники от инвектив книги А. де Кюстина «Россия в 1839 году».

Не должны ли мы сами положить конец такому положению дел? — Тютчев был сторонником более активной политики в нейтрализации антирусской пропаганды и поиске на Западе интеллектуальных сил, симпатизировавших России и способных достойно освещать ее интересы в заграничной печати. В этом он отличался от Николая I, склонявшегося к действию по принципу: «собака лает, а караван идет».

...о недавнем прискорбном и скандальном отступничестве... — Можно предположить, что речь идет о тайном переходе в 1842 г. в католичество И. С. Гагарина, приятеля и сослуживца Тютчева по дипломатическому представительству в Мюнхене, и принятой

им на себя миссии. «Гагарин считал своей миссией “обращение в истинную веру не только России, но и всех славянских стран, все еще пребывающих в схизме”, что и было им изложено в сочинении, написанном при вступлении в 1842 г. в орден иезуитов» (Дмитриева Е. Е. Обращения в католичество в России в XIX в. // Мировое Древо. М., 1996. Вып. 4. С. 93).

...в состоянии раздробленности существующих в Европе мнений и интересов... — Т. е. монархических, республиканских, демократических, социалистических, коммунистических, гуманистических и т. д. «мнений» и разнообразных противоборствующих политических и экономических «интересов» в Европе.

Не раз люди выдающиеся <...> давали мне недвусмысленные знаки своей доброй воли и благосклонного отношения к нам. — К числу таких людей Тютчев мог относить известного немецкого профессора-эллиниста Ф. Тирша, выступавшего с грекофильскими и прорусскими статьями в AZ, или мюнхенского востоковеда Я. Ф. Фальмерайера (см. коммент. к трактату «Россия и Запад». С. 445–447). А. И.

Тургенев в письме от 9 августа 1842 г. сообщал брату о своем разговоре с Тютчевым: «...он много рассказывал мне о некоем Фалль-мерайере, бывшем мюнхенском профессоре, который, говорят, является русским шпионом и о котором передавали мне в Киссингене как о человеке, способном служить нашим интересам в немецких газетах, но чьими услугами Россия не пользуется» (цит. по: НЛО. 1992. № 1. С. 93).

...истинно полезным было бы <...> обосноваться в самой уважаемой газете Германии, иметь в ней авторитетных и серьезных посредников... — Имеется в виду AZ. По словам Тютчева (в передаче А. И. Тургенева в письме брату от 7 июля 1842 г.), эта газета «охотно вошла бы в отношения с нами; она это много раз предлагала и даже сулила деньги тем, кто станет писать для нее о России, но тогда наше министерство [иностраннх дел] кобенилось: с презрением отвергло предложение, говоря, что ему дела нет до того, что говорят или пишут немецкие журналисты о России» (там же).

...на местах будет находиться умный че-

ловек... — Таким человеком (с соответствующими полномочиями и функциями) Тютчев видел самого себя.

Если эта идея будет принята благосклонно... — О благосклонной реакции Николая I см. коммент. С. 288*.

РОССИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

Автограф неизвестен. Возможно, его не существовало вообще, поскольку «записка» была продиктована Тютчевым жене (см. ниже).

Списки — Эрн. Ф. Тютчевой с заголовком «La Révolution et la Russie» — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 13. Л. 1-40. В конце первого — подпись рукою Д. И. Сушковой «Théodore Tutchév», а в начале второго рукою К. Пфеффеля надписано: «1848. Mémoire de Tutchév» («1848. Записка Тютчева»). Писарская копия без подписи и заглавия — в архиве Н. К. Шильдера (РНБ. Ф. 859. К. 30. Ед. хр. 12. Л. 1-10). Писарский экземпляр — архив Вяземских (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1118. Л. 28-37). Перед первым абзацем отмечено рукою П. А. Вяземского: «Писано Тютчевым 1848, после февральской революции».

Первая публикация — *Mémoire présenté à l'Empereur Nicolas depuis la Révolution de février par un Russe, employé supérieur des affaires étrangères // P. de Bourgoing*. Politique et moyens d'action de la Russie, impartialement appréciés. P., 1849.

На *фр.* яз. под заглавием «La Russie et la Révolution» (в плане трактата «Россия и Запад» на месте 8-й главы тот же заголовок) с указанием имени автора и впервые в *рус.* переводе напечатано в *РА.* 1873. № 5. С. 895–912; 912–931. Публикация легла в основу *Изд. СПб., 1886.* С. 442–460 и 529–545; *Изд. 1900.* С. 474–492 и 559–576; *Изд. Маркса.* С. 295–307 и 344–351. Стала источником репринтного издания *фр.* и *рус.* текстов — Тютчев Ф. И. Политические статьи. С. 32–50 и 118–134, а также для напечатания в *рус.* переводе — Тютчев Ф. Русская звезда. С. 272–284; Тютчев Ф. И. Россия и Запад: Книга пророчеств. С. 131–149; в другом переводе — *ПСС в стихах и прозе.* С. 399–409.

Печатается по *Изд. СПб., 1886.* С. 529–545 (на *фр.* яз.). В печатаемый текст внесено изменение по первой публикации и спискам: «commencent déjà à se dessiner» вместо

«commencent déjà à le dessiner» (25-й абз.).

Среди наиболее заметных различий между публикациями в РА и в Изд. СПб., 1886 можно отметить в последнем тенденцию понижения прописных букв в существительных и прилагательных, обозначающих национальную или конфессиональную принадлежность.

18/30 мая 1848 г. Эрн. Ф. Тютчева извещала своего брата К. Пфеффеля: «Дорогой друг, посылаю вам копию записки, которую мой муж продиктовал мне шесть недель тому назад <...> Прошу вас, сообщите эту статью Северину и скажите ему, что государь читал и *весьма одобрил* ее; он даже высказал пожелание, чтобы она была напечатана за границей. Однако, помимо того, что было бы очень трудно (если не сказать невозможно) рассчитывать на появление подобной статьи в “Allgemeine Zeitung”, момент для ее обнародования, повторяю, упущен. Надеюсь, что мой муж напишет другую статью, и тогда мы попросим вас содействовать ее переводу и публикации в Германии...» (ЛН-2. С. 225). Видимо, в ожидании

«другой статьи» не терялась надежда и на напечатание «этой». Во всяком случае, Эрн. Ф. Тютчева прибегает к посредничеству П. А. Вяземского — передать «записку» мужа уже К. Пфеффелю через русского посланника в Мюнхене Д. П. Северина. Советуя последнему прочесть ее, П. А. Вяземский отмечает высокий градус переживания автором описываемых событий: «Ты легко вообразить себе можешь, как Тютчев теперь кипит и витийствует. Сначала, как пошла эта перепалка событий одного другого неожиданнее, я, право, был болен за него, что он изнеможет под тягостью впечатлений и потрясающих ударов. Но теперь он обдержался и новое возмущение ему нипочем» (РС. 1896. № 1. С. 91). При этом П. А. Вяземский «корректирует» мнение Эрн. Ф. Тютчевой об одобрительном отношении к «записке» Николая I: «Государь был, сказывают, очень ею недоволен. Жаль, что нельзя напечатать ее. А почему нельзя, право, не знаю. Мы уже чересчур осторожны и умеренны» (там же. С. 90). Можно предположить, что недовольство царя было вызвано призывами к активному заступничеству славян, входив-

ших в государственный состав западных «союзников» России. Выбор между реальной поддержкой угнетенных единоверцев и соблюдением формальных законоуложений Священного союза, между национально-освободительными движениями и европейским равновесием монархических династий всегда представлял для Николая I нелегкую задачу. Думается, именно этот выбор объясняет недоумение П. А. Вяземского и поправку приведенной выше оценки Эрн. Ф. Тютчевой в ее очередном письме к брату 19 сентября / 1 октября 1848 г.: «Император готов разделить его точку зрения в теории, но отнюдь не на деле» (ЛН-2. С. 229).

Обойдя стороной первоначально христианской державности в «записке», К. Пфеффель акцентировал в ответе этатизм и панславизм: «Вы знаете, сестра, что я не сторонник панславизма; вы вспомните, может быть, что в моих письмах к г-ну Кольбу я настаивал на необходимости превращения Австрии в славянскую державу с тем, чтобы оказать противодействие стремлению России к поглощению. Продолжаю верить, что в этом состоит

естественная роль Австрии и что в этом — единственный смысл ее существования, если так можно выразиться» (ЛН-2. С. 228). Здесь К. Пфеффель отчасти разделяет популярную весны 1848 г. идею австрославизма, противопоставленную как пангерманизму, так и панславизму и подразумевающую независимость и равноправие славян внутри обновленной, конституционной Австрии. Вместе с тем К. Пфеффель был согласен с Тютчевым в определении духовных причин революции и распространял копии записки среди заинтересованных лиц в Германии и Франции. Одна из них оказалась в руках бывшего французского посланника в Мюнхене Поля де Бургуэна, с которым Тютчев был знаком и который опубликовал ее с комплиментарными оценками и полемическими комментариями в Париже в мае 1849 г. в составе брошюры «Mémoire politique. Politique et moyens d'action de la Russie, impartialement appréciés» («Политическая записка. Политика и способы действия России, беспристрастно оцененные»). Как сообщал К. Пфеффель, публикатор издал «записку» Тютчева тиражом в 12 экз., пере-

данных Луи Наполеону Бонапарту, видному политическому деятелю Франции Матье де Моле, члену Законодательного собрания и главе монархической оппозиции Адольфу Тьеру и другим высокопоставленным лицам. При этом имя автора «записки» не указывалось, оригинальный текст был сокращен и опубликован под придуманным названием «Mémoire présenté à l'Empereur Nicolas depuis la Révolution de février par un Russe, employé supérieur des affaires étrangères» («Записка, представленная императору Николаю после Февральской революции одним русским чиновником высшего ранга Министерства иностранных дел»).

Характеризуя издательские мотивы и содержание комментариев, Р. Лэйн отмечает: «Свое решение напечатать “Записку” русского автора Бургуэн мотивировал необходимостью довести до сведения политических лидеров Французской республики этот документ, который “весьма точным образом определяет настроения Санкт-Петербургского кабинета” и является, по мнению Бургуэна, “своего рода манифестом (правда, чисто теоретическим)”

выражающим позиции России по отношению к революционным событиям в Западной Европе. Бургуэн утверждал, что это произведение “если и не санкционировано, то по крайней мере секретно разрешено русским правительством” (с. II), с “молчаливого согласия” которого и “было направлено в первых числах октября для немедленной публикации в одном из важнейших городов Германии” (с. IV). К моменту выхода брошюры Бургуэна “Записка” еще не была опубликована в Германии, тем не менее она уже приобрела там, по выражению того же Бургуэна, “полугласность”, поскольку широко распространялась среди германских политических деятелей в копиях (с. V). Это дало Бургуэну основание заявить: “При настоящем положении дел, вооруженный к тому же если и не формальным разрешением, то неофициальным согласием, я не вижу никаких препятствий к частичной публикации этого документа, которому самой судьбой предназначено появиться в немецких и французских газетах в полном виде” (с. V). Бургуэн не скрывал своего восхищения “бывшим коллегой по дипломатической

службе»: он писал, что «Записка» — «труд одного из самых искусных и осведомленных чиновников той русской Канцелярии, где сформировалось <...> столько выдающихся дипломатов, столько политических редакторов, посвященных во все тонкости нашего языка»; далее он называет автора «Записки» «смелым и дерзким антагонистом» Февральской революции, а его «панславизм» «исполинскими бреднями»...» (ЛН-1. С. 234).

Реакцией на публикацию «записки» Бургуэном стало выступление обозревателя *RDM*, который также ошибочно оценивал ее как почти официальный документ, ловко запущенный в дипломатические круги и с мистической стороны освещающий скрытую политику царя. Он увидел в ней «самый манифест московского панславизма и его формулу, если не точную и ясную, то по крайней мере узнаваемо очерченную» (*RDM*. 1849. Vol. 2. 14 juin. P. 1053). По его мнению, французские либералы не понимают той угрозы для Европы, которая исходит от поддержки русским императором «славянских братьев и единоверцев» на Западе. В конце июня 1849 г. обширные

выдержки из статьи Тютчева «Denkschrift dem Kaiser von Russland nach der Februar-Revolution übergeben von einem höheren Beamten im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten» («Докладная записка русскому императору, переданная после Февральской революции высокопоставленным чиновником в Министерстве иностранных дел») печатаются в AZ (№ 175. 24 Juni). 15/27 июня 1849 г. К. Пфеффель писал Эрн. Ф. Тютчевой из Мюнхена, не предпочтет ли поэт «полную публикацию этим полусообщениям? В таком случае я попросил бы нашего друга г-на Герара (известного французского историка Б. Э. Герара. — Б. Т.) послать в редакцию “Revue des Deux Mondes” ту копию, которая находится у него, и потребовать ее публикации. Если Тютчеву угодно, можно будет приложить сопроводительное письмо, имеющее целью поправить неверные утверждения г-на Бургуэна, и в частности заглавие “Записки”, которое этот искусный дипломат вздумал ей дать. Будьте добры, не медлите с ответом по этому поводу, Герар прочитал “Записку” с восторгом; она действительно маленький ше-

девр «...» Ваш муж может составить себе обще-европейскую известность в качестве политического писателя, — это зависит только от него самого» (*ЛН-2*. С. 232). Поэт не откликнулся на такое предложение, а через три недели отзыв о его статье немецкого католического публициста К. Э. Йарке «Glossen zur Tagesgeschichte» («Комментарии к текущей истории») появился в журнале «Historisch-Politische Blätter für das katholische Deutschland» (1849. Bd 24. 15 July). Анализируя этот отзыв, Р. Лэйн заключает, что его автора «в первую очередь интересуют три вопроса: определение Тютчевым революции, его отношение к попыткам объединения Германии и антикатолическая направленность его выступления. Йарке полагает, что немцам надлежало бы стыдиться того, что антихристианскую сущность революции впервые охарактеризовал русский автор. Он возражает против тютчевской мысли, что Германия — страна “разрушительной философии”, указывая на то, что долгое время литература была единственным связующим звеном между разрозненными германскими народами. Йарке до-

бавляет, что русскому автору следовало бы познакомиться и с той Германией, которая ненавидит “разрушительную философию”. В качестве подтверждения антикатолической направленности “Записки” Тютчева цитируется шестнадцать строк, в которых католическая церковь обвиняется в отступничестве от христианских заповедей. Свою защиту католицизма Йарке превращает в нападение на православие, обвиняя его в тех же грехах, в которых Тютчев обвинял католицизм» (ЛН-1. С. 235). Накануне Крымской войны ст. «Россия и Революция» появилась в нем. переводе и была представлена как секретный документ русской дипломатии, подвергавшийся резкой критике редактора Ф. Паалцова: «Russische Denkschrift nach dem Februar-Ereigniss von 1848» («Русская докладная записка о февральских событиях 1848»). — Paalzow F. Aktenstücke der Russischen Diplomatie. Erste Lieferung. В., 1854 (Паалцов Ф. Из деловых бумаг русской дипломатии. Б. 1854). В то же время, когда достоянием общественного внимания стали письма Ф. И. Тютчева к жене и ее брату К. Пфеффелю (см. вступ. к ст. «Римский

вопрос*»), немецкий журнал «Historisch-Politische Blätter für das katholische Deutschland» (1854. Bd 33) также интерпретирует их содержание как выражение официальной точки зрения русского правительства и вновь обращается к его ст. «Россия и Революция». «С целью ввести читателя в курс дела относительно этих писем, — отмечает Р. Лэйн, — дается резюме статьи “Россия и Революция”. Избрав тютчевскую формулу о двух противостоящих друг другу в Европе “действительных силах” — Революции и России — ключом к пониманию международной политики России во время Восточного кризиса, анонимный обозреватель “Blätter...” переходит к опровержению этой формулы как упрощенной, цитируя ее десять раз на десяти страницах. При этом формулируется немецкая “средняя позиция”. Отклоняя альтернативу “Россия или Революция”, автор утверждает, что такое противопоставление было бы совершенно верным, если бы не была забыта третья, “средняя”, сторона — немецкая. И заключает: “Tres faciunt collegium (Трое — уже коллегия — лат.), слава Богу!”» (ЛН-1.

С. 243–244).

Все рецензенты и комментаторы, несмотря на различное восприятие, скорее акцентируют в статье Тютчева политические, нежели историософские вопросы. В стороне остается последовательное рассмотрение фундаментальной связи того или иного типа христианства (православия и католичества), обуславливающего коренные представления человека о себе и своих основополагающих ценностях, с принципиальными метаморфозами истории и неодинаковым пониманием государственных, общественных, идеологических устремлений и проблем.

В России «записка» ходила в списках и широко обсуждалась в московских и петербургских салонах. 22 июля 1848 г. С. П. Шевырев сообщил М. П. Погодину: «У Чаадаева есть мемория, Тютчевым написанная и читанная Государем, который желал, чтобы она была отпечатана. В ней просто объявление войны немцам за славян. Чаадаев хотел бы сообщить тебе эту меморию. Достань. Это весьма важно» (*Барсуков*. 1895. Кн. 9. С. 273). М. П. Погодин отвечал: «Записки Тютчева я не видал

до сих пор. Прошу тебя достать ее и прислать мне поверней» (там же). С. П. Шевырев в свою очередь извещал, что «мемория Тютчева теперь у Бодянского. Ее можно иметь от Сушкова. Пошли к нему записку» (там же. С. 274). П. Я. Чаадаев, знакомивший летом 1848 г. с «запиской» московское общество, уведомлял С. П. Шевырева: «Вчера, бывши в Сокольниках, искал вашего дома, возвращаясь от Дюклу в темноте, но не нашел. Я имел с собою для вас *меморию* Тютчева, которую теперь вам посылаю. Желал бы очень дать ее прочесть Погодину, но не знаю, как бы это устроить; она мне нужна в понедельник. Прочитав, увидите, что вещь очень любопытная. Жаль, что нет здесь Хомякова: послушал бы его об ней толков» (Чаадаев. С. 339).

И уже в послании к автору «интересной записки о текущих событиях» П. Я. Чаадаев, соглашаясь с ее выводами, скрыто иронизирует по поводу недостаточной теоретической осознанности и практической внедренности выдвигаемой Тютчевым положительной идеи — России как истинно христианской державы и альтернативы Революции: «Но, признаюсь

вам, меня повергает в изумление не то, что умы Европы под давлением неисчислимых потребностей и необузданных инстинктов не постигают этой столь простой вещи, а то, что вот мы, уверенные обладатели святой идеи, нам врученной, не можем в ней разобраться. А между тем ведь мы уже порядочно времени этой идеей владеем. Так почему же мы до сих пор не осознали нашего назначения в мире? Уж не заключается ли причина этого в том самом духе самоотречения, который вы справедливо отмечаете, как отличительную черту нашего национального характера? Я склоняюсь именно к этому мнению, и это и есть то, что, на мой взгляд, особенно важно по-настоящему осмыслить» (там же).

Уже давно в Европе существуют только две действительные силы: Революция и Россия. — Знаменательно, что представление о России и Революции как о главных противоборствующих силах было свойственно и классикам марксизма, хотя у них оно получало противоположные оценки и истолкования. Так, Ф. Энгельс в марте 1853 г. подчеркивал: «...на

европейском континенте существуют фактически только две силы: с одной стороны Россия и абсолютизм, с другой — революция и демократия» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. М., 1957. Т. 9. С. 15). По его убеждению, ни одна революция не только в Европе, но и во всем мире не может одержать окончательной победы, пока существует теперешнее Русское государство — по-настоящему ее единственный страшный враг. В отличие от Ф. Энгельса, Тютчев рассматривал революционные социально-политические явления не обособленно, а как проявления фундаментальной метафизической тенденции бытия, в которой человек, подобно Адаму, противопоставляется Творцу и ставит себя на его место. Революция для Тютчева есть не только зримое историческое событие, но и — прежде всего — Дух, Разум, Принцип, следствием которого оно (со всем многообразием своих социалистических, демократических, республиканских и т. п. идей) является. Корень Революции — удаление человека от Бога, ее главный результат — «цивилизация Запада», «современная мысль», бесплодно полагающая в своем непо-

слушании Божественной воле и антропоцентрической гордыне гармонизировать общественные отношения в ограниченных рамках «антихристианского рационализма». П. Я. Чаадаев, прочитавший «записку» Тютчева еще в рукописи и распространивший ее в московском обществе, был солидарен с ее выводом. «Как вы очень правильно заметили, — писал он автору, — борьба, в самом деле, идет лишь между революцией и Россией: лучше невозможно охарактеризовать современный вопрос» (Чаадаев. С. 339). Комментируя тютчевские воззрения, И. С. Аксаков подчеркивает: «Этот взгляд на Революцию не как на случайный взрыв, объясняемый злоупотреблениями власти, а как на нравственный факт общественной совести, обличающий внутреннее настроение человеческого духа и оскудение веры в Западной Европе, еще полнее развит у Тютчева в другой его статье, в связи с истолкованием папства <...> Заслуга Тютчева в том, что он ранее других постиг Революцию, взглянул на нее не как на практический факт, а как на явление человеческого духа, разоблачил внутреннюю логику ее процесса, безоши-

бочно предсказал ее дальнейшие превращения и последствия и мужественно провозгласил свое осуждение во всеуслышание всей Европы, не смущаясь опасением прослыть за человека нелиберальных и ретроградных мнений, поборника деспотизма и т. д.» (*Биограф.* С. 137–138). Позднее, в письме к жене от 1/13 апреля 1854 г. Тютчев уточняет свой взгляд на противостояние России и Революции: «Восточный вопрос в том виде, как он теперь пред нами предстал, является не более и не менее, как вопросом жизни или смерти для трех предметов, доказавших до сих пор миру свою живучесть, а именно: Православная церковь, Славянство и Россия — Россия, естественно включающая в свою собственную судьбу оба первые понятия. Враги этих трех понятий прекрасно это сознают, и отсюда проистекает их вражда к России. Но кто эти враги? Как они называются? Не Запад ли это? Быть может, но в особенности это — революция, воплотившаяся на Западе, в коем нет теперь ни одного элемента, не пропитанного революциею» (*СН.* 1915. Кн. 19. С. 201). В контексте этих устойчивых убеждений неправо-

мочным выглядит мнение Л. П. Гроссмана, что Тютчев, подобно Наполеону, носил в себе революцию и чувал в ней нечто родное и близкое, неудержимо влекущее к себе: «...революция в своем метафизическом плане соответствовала какой-то коренной сущности его души и полным тоном отвечала на ее заветнейшие запросы» (Гроссман Л. Тютчев и сумерки династий // Гроссман Л. Мастера слова. М., 1928. С. 59). С точки зрения Гроссмана, ключ камергера тщательно скрывает от нас трехцветную кокарду Тютчева-республиканца, сочувственного провозвестника наступающей республиканской эры, который не переставал изучать психологию и дух революции во всех ее формах (от греческого восстания и декабристского бунта через польские мятежи и европейские волнения до террора в России и Парижской коммуны) и в конце концов сменил «ужас перед грозным смыслом безбожной революции» на «признание в ней жизненных начал обновления и творческих сил». Подобные суждения противоречат букве и духу тютчевской мысли.

...отсутствие ума в нашем веке, оупев-

шем от рассудочных силлогизмов... — Тютчев отмечает отрицательное воздействие агрессивного рационализма, который он противопоставляет «уму», подлинной мудрости, позволяющей понимать и оценивать текущие события и явления не в позитивистской сокращенности, а в многомерной полноте исторических связей и судеб. Поэт неоднократно подчеркивал необходимость вменяемости человека по отношению к ограниченным возможностям своего ума в контексте сверхрационального постижения исторического бытия. «Мы увидим, — писал И. С. Аксаков, — как резко изобличает он в своих политических статьях это гордое самообожание разума, связывая с ним объяснение Европейской революционной эры, и как, наоборот, возвеличивает он значение духовно-нравственных стихий Русской народности <...> Его я само собою забывалось и утопало в богатстве внутреннего мира мысли; умялялось до исчезновения в виду Откровения Божия в истории, которое всегда могущественно приковывало к себе его умственные взоры» (*Биогр.* С. 45). Скептическое отношение Тютчева (как и дру-

гих русских писателей, например Ф. М. Достоевского или Л. Н. Толстого) к рационально-логическому постижению мира и человека и к «научным» системам, конструируемым в отрыве от исторических традиций и религиозных корней, подчеркнуто в ст. В. Е. Ветловской «Проблема народности в публицистике Ф. И. Тютчева (В европейском контексте)» (РЛ. 1986. № 4. С. 149). Христианское Откровение стало в его мысли альтернативой подобным системам и особым знанием, преодолевающим их односторонность. Ср. суждение Н. В. Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму. Словом, храни вас Бог от односторонности! Смотрите разумно на всякую вещь и помните, что в ней могут быть две совершенно противоположные стороны, из которых одна до времени вам не открыта» (Гоголь. С. 62–63).

Прежде всего Россия — христианская держава, а русский народ является христиан-

ским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. — Для Тютчева православие является «духом», а славянская стихия — «телом» державы. Такое «избирательное сродство» и соподчинение в сочетании с особенностями исторического развития и создавало неподвластную прагматическому рассудку «задушевность» и «смиренную красоту» жертвенного самоотречения и сердечного бескорыстия, которые сам он различал в русском народе (см. стих. «Эти бедные селенья...» (1855), «Умом — Россию не понять...» (1866) и т. п.). В данном отношении взгляды Тютчева совпадали с мнениями других религиозных писателей и славянофильских мыслителей. Так, об органическом соединении христианских начал и славянской природы размышлял Н. В. Гоголь: «Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами

позабытой, близкого закону Христа, — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреодолимое к соединению людей и братской любви между ними...» (Гоголь. С. 192). Сходным образом высказывался и Н. Я. Данилевский: «Самый характер русских, и вообще славян, чуждый насильственности, исполненный мягкости, покорности, почтительности, имеет наибольшую ответственность с христианским идеалом» (Данилевский. С. 480). И в политических стихотворениях поэта о славянском единстве почти всегда присутствует христианская тема как его основа. Еще в 1842 г. он призывает благословение «Небесного Царя» и уповает на «Божью Благодать» в деле возрождения «Славянской Семьи» и «приближенья

Света», в котором польский поэт А. Мицкевич может сыграть роль «вестника Нового Завета». Знаменательно и суждение «постороннего» лица, И. Г. Гердера, писавшего о «теле» славян: «Они были милосердны, гостеприимны до расточительства, любили сельскую свободу, но были послушны и покорны, враги разбоя и грабежей» (*Гердер*. С. 470–471). О влиянии «духа» на такое «тело» писал Ю. Ф. Самарин: «В национальный быт славян христианство внесло сознание и свободу <...> славянская община, так сказать, растворилась, приняла в себя начало общения духовного и стала как бы светскою, историческою стороною церкви» (Самарин Ю. Ф. Соч. М., 1900. Т. 1. С. 63). Исключительную роль христианства в душевно-духовном строе русских людей признавал и П. Я. Чаадаев, когда писал П. А. Вяземскому в 1847 г.: «Мы искони были люди смиренные и умы смиренные; так воспитала нас Церковь наша. Горе нам, если изменим ее мудрому учению! Ему обязаны мы всеми лучшими народными свойствами своими, своим величием, всем тем, что отличает нас от прочих народов и творит судьбы наши» (*Чаадаев*.

С. 314). В ст. «Россия и Запад» (написанной в годы Крымской войны и озаглавленной, как и трактат Тютчева) К. С. Аксаков определял «нравственный образ России» тем, что «христианское учение глубоко легло» в основание жизни русского народа. Ф. М. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» рассматривал эти категории как свойства высшего развития личности: «Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование себя в пользу всех есть, по моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли» (Достоевский. Т. 5. С. 79).

Революция же прежде всего — враг христианства. — Этот антихристианский характер в классическом виде проявился во время Великой Французской революции в стремлении «дехристианизировать» и «натурализиро-

вать» сами рамки и основы общественной жизни. Так, при закрытии храмов вместо традиционных обрядов предлагался «культ Разума» (на праздновании этого культа в Соборе Парижской Богоматери Разум изображала актриса в голубом платье и с красной повязкой на голове). Основное содержание религии «Высшего Существа» заключалось в почитании «республиканских добродетелей». Решением Конвента в октябре 1793 г. вводился революционный календарь, согласно которому за начало летосчисления, или новой эры, принимался день провозглашения во Франции республики (22 сентября 1792 г.). Месяцы делились на декады по отличающей их погоде, растительности, плодам или сельскохозяйственным работам. Воскресные дни упразднялись, а вместо церковных праздников вводились революционные. Многие священники подвергались репрессиям, а регистрация браков, рождений и смертей была передана светским властям.

...шестидесяти лет... — Т. е. со времени Великой Французской революции, об антихристианском «новшестве» которой и размышля-

ет далее автор.

...новым становится самовластие человеческого я, возведенное в политическое и общественное право и стремящееся с его помощью овладеть обществом. — Тютчев рассматривает «самовластие человеческого я» (как и Революцию — его непосредственное следствие) в самом широком и глубоком контексте как богоотступничество и утверждение возрожденческого принципа «человек есть мера всех вещей», превращавшегося в дальнейшей эволюции в принцип «я есть мера всех вещей» (со всей ограниченностью не только его идеологических притязаний и рационалистических теорий, но и тайных и прихотливых желаний).

...наивно богохульственные разглагольствования, ставшие как бы официальным языком нашей эпохи, что новая Французская Республика явилась миру, дабы исполнить евангельский закон? — Имеется в виду глубинная трансформация и искажение евангельских идей и заповедей в «новом христианстве» социалистов-утопистов, в лозунгах свободы, равенства и «всеобщего братания»,

которые оживились среди левой радикальной части революционного процесса 1848 г. и которые подменяли свободное единение людей в Боге принудительным братством. Свобода, равенство, братство — или смерть: так позднее заостренно выражал эту подмену сходно с Тютчевым и Достоевский. «Само собою разумеется, — подчеркивал И. С. Аксаков, — что при таком неизбежном, роковом внутреннем противоречии, все усилия революции создать государство на прочном языческом основании оказались тщетными; так что для дрессировки “братий” и для закрепощения государству “граждан” (citoyens), революция вынуждена была прибегнуть к средству, неведомому в языческом мире — к террору, и во имя свободы, равенства и братства явила свету такую чудовищность деспотизма, с которою может только равняться поджог Парижа петролеем, учиненный Парижскою коммуною...» (Биограф. С. 181).

...зачем Революции выказывать себя враждебной к духовенству и христианским священнослужителям, которые не только претерпевают, но принимают и усваивают ее... — Име-

ются в виду первоначальные уступки конституционным и либеральным реформам папы Пия IX. Еще под воздействием народных выступлений в Турине 22–25 октября 1847 г. в Папской области впервые в ее истории было сформировано правительство как орган исполнительной власти и учреждена Государственная консульта — прообраз будущего парламента. Введение конституции в Сицилийском королевстве 29 января 1848 г. и в Тоскане 17 февраля 1848 г. вынудило согласие Пия IX на переход Папской области к светским и конституционным методам правления, что было законодательно закреплено принятием специального регламента.

Февральский взрыв... — Подразумевается начало революционных волнений во Франции, когда 22 февраля 1848 г. десятки тысяч парижан вышли на улицы и площади города для участия в запрещенной правительством демонстрации, вступили в ожесточенные стычки с полицией, стали возводить баррикады, а батальоны национальной гвардии уклонялись от борьбы с восставшими. 23 февраля перепуганный король Луи Филипп дал от-

ставку правительству Ф. Г. Гизо. Вечером того же дня войска стреляли в безоружных демонстрантов, что спровоцировало массовые и решительные выступления рабочих, ремесленников, студентов под руководством вожаков социалистов и тайных республиканских обществ. В ночь на 24 февраля столица покрылась баррикадами, почти все ее стратегические пункты были заняты восставшими, а днем Луи Филипп отрекся от престола в пользу малолетнего внука, графа Парижского, и бежал в Англию. После захвата Тюильрийского дворца королевский трон был вытасчен на площадь Бастилии и сожжен. 25 февраля Временное правительство провозгласило Францию республикой, приняло на себя обязательство обеспечить всех граждан работой, а еще через несколько дней издало декрет о введении всеобщего избирательного права. О подробностях «февральского взрыва» см.: Анненков П. В. Парижские письма. «Февраль и март в Париже 1848 года». С. 163–233.

...мудрости нашего века, которая благодушно вбила себе в голову, что ей удалось укротить Революцию конституционными за-

клинаниями... — Подразумеваются сторонники конституционных монархий, надеявшиеся (или вынужденные) уступками новых учреждений умерить радикальные республиканские требования и предотвратить революционные «захваты». Так, когда в Берлине возникло сильное напряжение между бунтовавшими демонстрантами и правительственными войсками, прусский король Фридрих Вильгельм IV 18 марта 1848 г. издал указ с предложением ввести во всех землях Германского союза конституционное правление, что не «укротило» и не предотвратило кровопролитие. И австрийский император Фердинанд I вынужден был прибегнуть к «конституционным заклинаниям», предусматривающим создание двухпалатного парламента. Однако так называемая октроированная конституция была с негодованием отвергнута венскими революционерами из-за содержащихся в ней монархических элементов и императорского права накладывать вето на решения обеих палат.

...проглотив Реставрацию <...> Революция не сумела стерпеть и другой, ею же порожи-

денной, власти, которую она признала в 1830 году... — Разгром армии Наполеона в битве при Ватерлоо привел к реставрации монархии Бурбонов во Франции, к возвращению на трон Людовика XVIII. Однако конституция, получившая название «Хартия 1814 г.» и устанавливавшая в стране конституционно-монархическое правление, ограничивала власть короля двухпалатным Законодательным корпусом, вокруг которого постепенно формировалось умеренное крыло либеральной оппозиции, конституционалисты-роялисты («доктринеры») во главе с профессором философии и адвокатом П. П. Ройе-Колларом и ее более радикальная часть во главе с Б. Констаном. Одновременно из среды интеллигенции, студенчества, служащих, отставных военных образовалось тайное общество карбонариев, которое ставило целью ниспровержение династии Бурбонов с помощью революционного переворота и учреждение республики, в состав руководителей которой входили многие видные политические деятели. Взошедший на трон после смерти Людовика XVIII Карл X ужесточил борьбу с подоб-

ными тенденциями, однако после Июльской революции вынужденно бежал в Англию. Власть сначала перешла к Временному правительству во главе с либеральными депутатами банкиром Ж. Лафитом и генералом М. Ж. Лафайетом, а затем к представителю Орлеанской династии, «королю-буржуа» Луи Филиппу, возглавившему «царство банкиров». Революция 1848 г. «поглотила», в свою очередь, либеральную конституционную монархию Луи Филиппа, правившего с 1830 г.

...среди всех государей Европы «...» нашелся лишь один, кто с самого начала обнаружил и отметил великую иллюзию 1830 года... — Имеется в виду Николай I, осуждавший двойные стандарты и «фальшивое поведение» в ходе «позорной Июльской революции» 1830 г., а также ту поспешность, с которой были признаны ее результаты европейскими государствами (Николай Первый и его время. М., 2000. Т. 1. С. 113–114).

...Государь, воплотивший русскую мысль... — Речь идет о Николае I, в идеологии и политике которого прослеживается отчетливая и последовательная устремленность к преодо-

лению отрицательных последствий безоглядного западничества, активизации плодотворных начал собственной истории. «Во мне поднимается волна почтения к этому человеку, — невольно восхищался противоречивый А. де Кюстин. — Всю силу своей воли направляет он на потаенную борьбу с тем, что создано гением Петра Великого; он боготворит сего великого реформатора, но возвращает к естественному состоянию нацию, которая более столетия назад была сбита с истинного своего пути и призвана к рабскому подражательству <...> Чтобы народ смог произвести все то, на что способен, нужно не заставлять его копировать иностранцев, а развивать его национальный дух во всей его самобытности» (Кюстин. Т. 1. С. 362). Действительно, Николая I можно считать самым национальным из монархов, занимавших до него престол Петра I. Он верил в призвание Святой Руси и по мере сил и понимания пытался служить ей. Так, большое значение царь придавал укреплению православия и мерам против распространения сектантства и невнятного мистицизма, свойственного предшествующему

правлению, а также развитию национальных традиций в государственном строительстве, культуре, искусстве, образовании и воспитании. Одним из проявлений «русской мысли» была для Тютчева и последовательная антиреволюционная позиция Николая I, сказавшего после восстания декабристов вел. кн. Михаилу Павловичу: «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохраняется дыхание жизни, пока Божиею милостью я буду императором» (цит. по: Николай Первый и его время. Т. 1. С. 17). Вместе с тем Николай I не разделял идею Тютчева об объединении славян под эгидой России, находя в этом устремлении угрозу принципам всеевропейского монархического легитимизма и революционный потенциал, и призыв поэта в стих. «Пророчество» (1850) встать «как всеславянский царь» воспринял однозначно: «Подобные фразы не допускать» (см. об этом: ЛН-1. С. 252).

...в теперешнем состоянии мира лишь русская мысль достаточно удалена от революционной среды, чтобы здраво оценить происходящее в ней. — Этот вывод перекликается с

мнениями других русских писателей и мыслителей. «Россия по своему положению, географическому, политическому etc. есть судилище, приказ Европы <...> Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны», — заключал А. С. Пушкин (*Пушкин*. С. 237). По убеждению П. Я. Чаадаева, не только географическое и политическое положение, но и духовная дистанция, отделяющая созерцательную монархическую Россию от деятельного революционного Запада («мы публика, а там актеры, нам и принадлежит судить пьесу»), позволяет ей незамутненным взором оценивать европейские волнения: «...я думаю, что большое преимущество — иметь возможность созерцать и судить мир со всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких корыстей, которые в других местах мутят взор человека и извращают его суждения» (*Чаадаев*. С. 157). На ином уровне противопоставление Тютчевым «русской мысли» и «революционной среды» соотносится с его противопоставлением русского ума и французской риторики в письме И. С. Гагарину от

7 июля 1836 г.: «Мне приятно воздать честь русскому уму, по самой сущности своей чуждающемуся риторики, которая составляет язву или скорее первородный грех французского ума» (Изд. 1984. С. 19).

...уступки и жертвы <...> принесенные монархической Европой для июльских установлений в интересах мнимого status quo... — По свидетельству И. С. Аксакова, уже в момент принесения этих жертв Тютчев оценивал их как преддверие череды грядущих революций, «неминуемое наступление для Европы революционной эры» (Биогр. С. 65).

...главная задача этой партии, в течение последних восемнадцати лет, заключалась в полнейшем революционизировании Германии... — Июльская революция 1830 г. во Франции дала мощный толчок последующему революционизированию Германии. Уже осенью 1830 г. в Берлине распространялись антиправительственные листовки и осуществлялись попытки строить баррикады, а в Гессен-Дармштадте дело дошло до вооруженных столкновений между крестьянами и кавалерийскими частями. В Ганновере и Саксонии под впечат-

лением французских событий государи должны были пойти на уступки и даровать конституцию, в Бадене либеральные депутаты добились принятия ландтагом законов о выкупе феодальных повинностей и смягчении цензуры. Весной 1832 г. в баварском Пфальце прошла 20-тысячная демонстрация, а радикальные студенты организовали во Франкфурте-на-Майне революционное выступление и пытались поднять восстание. Революционные цели ставило перед собой и тайное «Общество прав человека» в Гессене, возрождавшее лозунг Французской революции «Мир хижинам — война дворцам!» и разгромленное в 1834 г. Большую активность представители немецкой «революционной партии» проявляли в 1830-х гг. и в эмиграции (общество «Молодая Германия» в Швейцарии, «Союз отверженных» и «Союз справедливых» во Франции), непосредственно участвуя и в местных волнениях. Идеолог «Союза справедливых» писатель В. Вейтлинг оценивал уголовников и люмпенов как перспективных субъектов «революционного действия». С середины 1840-х гг. К. Маркс и Ф. Энгельс раз-

вертывают теоретическую, писательскую и организационную деятельность, выдвигая идеи классовой борьбы, насильственной смены общественно-экономических формаций, политического господства пролетариата, создав в 1847 г. Союз коммунистов, а в феврале 1848 г. — «Манифест Коммунистической партии». Восстание силезских ткачей в июне 1844 г., так называемая «картофельная война» в апреле 1847 г., когда были разгромлены многие лавки и даже выбиты стекла во дворце наследника престола, как и подобные упомянутым выше явления, составляли важные вехи восемнадцатилетнего революционирования Германии.

Шестьдесят лет господства разрушительной философии... — Имеется в виду закономерное развитие немецкой философии от классического идеализма к материализму и позитивизму, к господству разнообразных проявлений «самовластия человеческого я» в сфере мысли из-за отказа от религиозного обоснования бытия и всецелой опоры на автономный разум. Уже будучи председателем Комитета цензуры иностранной, Тютчев

неизменно подчеркивал неприятие «школы рационалистов и материалистов», идей и книг О. Конта или Л. Фейербаха, Д. Ф. Штрауса или Ж. Э. Ренана, Л. Бюхнера или К. Фохта, вольно или невольно выступавших «против авторитета Библии», отвергавших «всякую возможность существования Бога и всякую надежду на бессмертие души», «низводящих Спасителя на степень человека». Тютчев подчеркивал, что «таких сочинений более всего оказывалось на немецком языке, ибо в Германии рационализм стал духом, господствующим почти во всех слоях общества» (цит. по: Бриксман М. Ф. И. Тютчев в Комитете цензуры иностранной // *ЛН*. М., 1935. Т. 19–21. С. 569). Истоки подобных результатов поэт видел в отрыве от религии, в нарушении иерархической субординации между ними, когда, например, у Г. В. Ф. Гегеля или И. Канта рациональное знание и логический разум становились выше истины Откровения и учения Церкви. Тем самым открывались пути для отрицания христианства у младогегельянцев или Л. Фейербаха и выдвижения антропоцентрических утопий, сциентистских теорий, ре-

волюционных идей и т. п. Тютчев по-своему воспроизводит славянофильскую логику, согласно которой «католичество порождает протестантизм, протестантизм порождает идеалистическую философию и Гегеля, а гегелианство переходит в материализм» (Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 184).

...главнейшее революционное чувство — гордыню ума... — Здесь выразительно проявляется еще раз толкование революции не только в социально-политическом, но и в духовном, историческом, антропологическом, психологическом плане. Сходно с Тютчевым мыслит и Н. В. Гоголь: «Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого, — гордость ума. Никогда еще не возростала она до такой силы, как в девятнадцатом веке <...> Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но страсти ума начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противуречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких лич-

ных сношений еще не имевшие — и уже друг друга ненавидящие» (Гоголь. С. 189). С такой гордостью ума Тютчев и связывает «возрастание ненависти к России», о которой он далее рассуждает и которая наглядно проявится через два месяца в речах депутатов Франкфуртского национального собрания. Так, умеренный демократ К. Фогт предсказывал войну против «восточного варварства», а радикальный демократ А. Руге утверждал, что объединению мирных народов должна предшествовать «последняя война» против России, о которой вел речь и К. Маркс в «Новой Рейнской газете».

...зрелищем, которое представила миру Германия после февральской революции. — После начала революции во Франции вести о ней быстро достигли Германии. Обстановка накалялась в Гессен-Дармштадте, Вюртемберге, Баварии и других государствах Германии. В Вене в ночь с 13 на 14 марта вспыхнуло восстание, Богемия требовала автономии, охваченная волнениями Венгрия грозила отделением, итальянские провинции объявили себя независимыми от Австрийской империи, а

Пьемонт начал войну против нее. Волны мартовской революции захватили и Пруссию. 3 марта в Кёльне состоялось массовое выступление рабочих, подготовленное местной организацией Союза коммунистов, а берлинский бунт привел 17–19 марта к уличным боям и баррикадным сражениям, в результате которых прусскому королю Фридриху Вильгельму IV пришлось выполнить целый ряд требований участников восстания и стоявших за ними либеральных кругов.

...они вдохновлялись искренним и всеобщим чувством германского единства. — Требование национального воссоединения уже давно выдвигалось оппозицией, а к началу 1848 г. опять обострилось и приняло новые формы. На встрече в Гейдельберге либеральные политики из юго-западных германских земель приняли решение о создании революционного органа для проведения выборов в общегерманское Национальное собрание. Таким органом стал предпарламент, заседавший во Франкфурте-на-Майне, в соборе св. Павла. Подготовленные им выборы в Национальное собрание проходили с середины ап-

реля до середины мая 1848 г.

К наиболее безумным заблуждениям нашего времени относится представление, будто страстное и пламенное желание большого числа людей в достижении какой-либо цели достаточно для ее осуществления. — В критическом отношении к массовому сознанию, к республиканско-демократическим ценностям, установлениям и процедурам позиция Тютчева органично совпадает с мнениями других русских писателей и мыслителей, не соблазнявшихся прогрессивными чаяниями. Так, А. С. Пушкин писал об «отвратительном цинизме» демократии, когда создается иллюзия исполнения истинных требований народа его поверенными, а реальная власть оказывается на самом деле в руках «малого числа», К. Н. Леонтьев — о либерально-эгалитарной демагогии, приводящей к нигилистическому упрощению бытия и образованию «исполинской толчеи» однообразно-усредненных индивидов. Подобные высказывания характерны для Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, В. В. Розанова, К. П. Победоносцева и многих других.

...для Германии (не для той, какой ее изображают газеты, а для действительной, созданной историей)... — Тютчев полагал, что для Германии более, чем для какой-либо другой страны, характерно идеологическое насилие печатного слова над органической самобытностью исторической жизни. См. коммент. к трактату «Россия и Запад». С. 442*.

...представителями тех двух принципов, которые вот уже более трех столетий соперничают друг с другом в Германии. — Речь идет о соперничестве династических «принципов» австрийских Габсбургов и прусских Гогенцоллернов, которое после Вестфальского мира 1648 г. доходило до военных действий друг против друга двух главных государств «Священной Римской империи германской нации».

Такая политическая комбинация, осуществившая в Германии единственно подходящую для нее систему объединения... — Имеется в виду «венская система» Священного союза, в которой Россия как примиряла соперничающие «принципы» в Германии, так и служила ей защитой от территориальных притя-

заний Франции. Тем большее разочарование Тютчев испытывал от того, что Австрия и Пруссия втягивались накануне Крымской войны в антирусскую коалицию. В одном из писем он сокрушался: «Россия опять одна против всей враждебной Европы, потому что мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии есть только переходная ступень к открытой вражде. Иначе и не могло быть, только глупцы и изменники этого не предвидели. Обе немецкие державы, помимо расовой антипатии, в течение сорока лет слишком многим были обязаны России, чтобы не ждать с нетерпением первого благоприятного момента, чтобы ей отомстить. Вот уже сорок лет, что Россия заставляет их жить в мире между собой и не подвергать своими раздорами Германию внутренней революции и чужеземному нашествию. Вот что они, главным образом, имеют против нас. Я хорошо знаю, что при теперешнем настроении умов в Германии там себя обманывают *достаточно* для того, чтобы убедить себя в том, что разрывая, как они собираются это сделать, союз 1813 года, обе германские державы выказывают

храбрость и патриотизм. Это еще одна лишняя ложь в числе многих других. Это отпадение, которым они думают упрочить независимость Германии, есть только начало подчинения революционному влиянию Франции. Им внушает это подлость, с разными затаенными мыслями внутренней и взаимной измены. Надо закрывать глаза на очевидность и забыть все прошлое, чтоб не понимать, что вне тесного союза с Россией единение Германии не имеет основы и столь ненавистное русское влияние, если прекратится, тотчас будет заменено чем-нибудь вроде Рейнской конфедерации, приноровленной к требованиям времени, то есть: Бонапартистской и Красной одновременно. Но надо надеяться, что на этот раз попытка не будет напрасной, потому что она будет окончательной и непоправимой» (СН. 1915. Кн. 19. С. 195).

...дело разрушения в стране продвинулось гораздо дальше, чем при Наполеоне... — См. коммент. к ст. «Россия и Германия». С. 269.*

Взгляните на Австрию, обесславленную, подавленную, разбитую сильнее, нежели в 1809 году. — Речь идет о поражении от Напо-

леона при Ваграме и вынужденном заключении так называемого Шенбруннского мира, в результате которого Зальцбург отошел к Баварии, а Истрия и Триест объединились с Далмацией и присоединились к Франции под названием Иллирийской провинции. Австрия обязывалась еще и поддерживать континентальную блокаду, сократить армию и уплатить Франции контрибуцию. Революционные же события марта 1848 г. показывали, что единство многонациональной «лоскутной империи» Габсбургов начинает трещать по швам. Всесильный К. В. Меттерних скоропалительно подал в отставку и бежал из Вены в Англию. Император Фердинанд I был вынужден отменить цензуру, разрешить бюргерам и студентам вооружаться. Падение монархии во Франции воодушевило революционные силы и в итальянских государствах, активизировавших действия против Австрийской монархии. Еще 5 марта 1848 г. по инициативе Д. Мадзини была основана Итальянская национальная ассоциация для борьбы за «единую, свободную, независимую нацию». В 20-х числах марта произошли восста-

ния в австрийских владениях Ломбардии и Венецианской области, после чего деморализованные австрийские войска спешно отступили. «Разбитость» Австрии усугублялась еще и тем, что в Праге требовали объединения земель Чешской короны (Чехии, Моравии и Силезии) и создания чешского независимого сейма с полноценными политическими правами. К тому же восставший Будапешт 15 марта 1848 г. стал настаивать на создании независимого венгерского правительства, с чем испуганная центральная власть через день согласилась.

Взгляните на Пруссию, обреченную на самоубийство из-за ее рокового и вынужденного потворства польской партии. — Под давлением оппозиционных движений (в конце марта — начале апреля 1848 г. предпарламент прямо выскажется за восстановление Польши) прусский король Фридрих Вильгельм IV 20 марта 1848 г. даровал амнистию полякам, сидевшим в берлинской тюрьме Моабит после неудачной попытки поднять восстание в 1846 г. в Познани во главе с Л. Мерославским и К. Либельтом. Когда на следующий день ко-

роль проезжал по Берлину, приветствовавшие его поляки прикрепили к шляпам польские и немецкие кокарды «в знак братского соединения с немцами». На стихийном митинге Л. Мерославский провозгласил лозунг союза свободной Пруссии с возрожденной Польшей против России. В Берлине был создан революционный комитет и польский студенческий легион для воссоздания Польского государства как заслона для свободной Германии. Великая Польша (Познанщина) стала центром польского национального движения в Прусском государстве, где на митинге 22 марта 1848 г. в речах польских, немецких и еврейских ораторов звучали призывы к совместной борьбе против России. Поляки Познанщины укреплялись в уверенности, что «вся Германия <...> вместе с нами и с наслаждением двинется на москалей». Познанские газеты публиковали мнения польских деятелей, видевших радужные перспективы польско-немецкого сотрудничества. «Если Германия, а прежде всего Пруссия, искренне поможет нам получить свободу и независимость <...> пусть она будет уверена, что нас свяжут

новые, более прочные, чем когда-либо, узы, ибо это узы сближения в быту, просвещения и свободы, имеющие целью взаимопомощь против варварства, темноты и рабства» (цит. по: Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в политике и идеологии. М., 2001. С. 192). Вместе с тем среди населения Познани росли антипруссские настроения: прусские орлы заменялись польскими, отставлялась немецкая администрация (чиновникам приходилось бежать), происходили стычки с прусскими войсками и жандармерией, превратившиеся позднее в вооруженную борьбу против них. Уже в мае 1848 г. в Великом княжестве Познанском началось восстание против Пруссии, которое было подавлено, а на смену эйфории польско-немецкой дружбы пришло новое обострение национальных противоречий.

...Прирейнская конфедерация стремится к возрождению. — Подразумевается стремление Франции не только сохранить территориальный статус, но и расширить свои пределы за счет левого берега Рейна. В связи с растущим национализмом в 1840-х гг. оживает культ

Наполеона I. Именно в эти годы один из ведущих либеральных политиков и государственных деятелей А. Тьер как бы пропагандирует внешнюю политику Бонапарта и риторически оправдывает его завоевания германских земель.

...сборище журналистов, адвокатов и профессоров, собравшихся во Франкфурте... — Речь идет о заседании во Франкфурте-на-Майне так называемого предварительного парламента (предпарламента), созванного для подготовки выборов в единое для всей Германии Национальное собрание на основе всеобщего избирательного права, без всяких ограничений каким-либо имущественным или конфессиональным цензом. Большинство делегатов заседания (с 31 марта по 3 апреля 1848 г.) представляли различные круги либеральной интеллигенции.

Республика уже утвердилась во многих местах Германии... — «Республиканская партия», отличавшаяся более радикальными устремлениями по сравнению с умеренно-либеральными бюргерскими кругами, наиболее активно действовала в юго-западной части

Германии. Ее приверженцы открыто требовали немедленного уничтожения монархической власти в разных немецких государствах, а также создания на федеральных началах вместо прежнего Германского союза Всегерманской республики по образцу Северной Америки или Швейцарии. Тютчев был принципиальным оппонентом республиканской формы правления (см. *коммент.* к трактату «Россия и Запад». С. 435–436*). Имеется лишь одно его высказывание, корректирующее эту однозначность и содержащееся в письме Е. Э. Трубецкой от 15/27 июля 1872 г.: «Нельзя скрывать от себя, что при современном состоянии умов в Европе то из европейских правительств, которое решительно взяло бы на себя почин в деле великого преобразования, открыв республиканскую эру в европейском мире, сделало бы значительный шаг вперед по сравнению со своими соседями — друзьями и недругами. Ибо чувство преданности династии, без которого нет монархии, повсюду слабеет, и если порою происходят обратные проявления, то это лишь *всплеск* в общем великом течении» (цит. по: Пигарев К. Ф. И.

Тютчев о французских политических событиях 1870–1873 гг. // *ЛН*. 1937. Т. 31–32. С. 765). Л. Н. Гроссман делает из этого высказывания вывод о смене тютчевских убеждений (см. наст. изд., с. 320–321*). Однако оно относится прежде всего к Третьей республике во Франции и к тенденциям в западном мире, способным уравновесить усиление милитаристской Германии, грядущие результаты которого он пророчески предсказывал. Тютчев подчеркивает, что падение Франции стало бы «огромным бедствием со всех точек зрения, особенно же с точки зрения нашей собственной будущности. Ибо насколько соперничество сил, образующих Западную Европу, является главным условием этой будущности, настолько окончательное преобладание одной из них над другой было бы страшным камнем преткновения на открывшемся перед нами пути, пуще же всего на свете — осуществление, ставшее неминуемым, единства Германии, этого легендарного Фридриха Барбароссы, которого мы увидим живьем выходящим из его пещеры. Зрелище величественное и прекрасное, я должен с этим согласиться, но я был бы

в отчаянии оказаться его зрителем...» (там же. С. 756).

...мнимые консерваторы... — Имеется в виду конституционно-монархическое большинство франкфуртского предпарламента, находившееся в расколе с «республиканской партией», отвергавшее ее радикализм и программу Г. Струве. Их лидером стал Г. Гагерн, в марте 1848 г. возглавивший либеральное правительство Гессенского герцогства и выступавший за плавные реформы в рамках существующего законодательства и тактических соглашений с монархической властью.

...вероятность крестового похода против России <...> который всегда был заветной мечтой Революции... — Этот поход состоялся в период Крымской войны, когда кричащие противоречия между «реакционными» и «прогрессивными» партиями и несовместимые интересы разных стран оказались примиренными. В ноябре 1853 г. Тютчев писал, отмечая несбыточность надежд на «сердечность» союзников и неукоснительное, но одностороннее исполнение правительством Николая I принятых на себя обязательств: «В сущности,

для России опять начинается 1812 год; может быть, общее нападение на нее не менее страшно, чем в первый раз <...> И нашу слабость в этом положении составляет непостижимое самодовольство официальной России, до такой степени утратившей смысл и чувство своей исторической традиции, что она не только не видела в Западе своего естественного и необходимого противника, но старалась только служить ему подкладкой» (СН. 1914. Кн. 18. С. 61).

...полем сражения оказалась бы Польша. — Разделенная в конце XVIII в. между Австрией, Пруссией и Россией Речь Посполитая в первой половине XIX в. оставалась одним из главных источников «революционного действия». Борьба поляков за восстановление независимого государства неоднократно выливалась в вооруженные восстания, а Февральская революция во Франции и мартовские революции в Пруссии и Австрии усилили их активность во всех польских землях и в эмиграции. В европейских волнениях 1848–1849 гг. польские эмигранты находились в первых рядах на баррикадах и на полях сра-

жений от Парижа до Ломбардии и от Бадена до Венгрии. Неслучайно К. Маркс и Ф. Энгельс поддерживали боевой настрой поляков и считали Польшу незаменимой революционной силой. Предполагалось, что либерализация политики в Пруссии и Австрии будет способствовать выступлению революционизированной Пруссии против третьего участника разделов Польши — России.

...события в Ломбардии... — Сразу же после бегства К. В. Меттерниха из Вены в Ломбардии вспыхнуло восстание. Несмотря на императорский указ о реформах и политических свободах, ломбардские радикалы 18 марта 1848 г. возглавили в Милане вооруженную баррикадную борьбу против правительственных войск. Пять дней повстанцы (знать и буржуа, студенты и профессора, рабочие и ремесленники) сражались с отборными частями австрийской армии Ломбардско-Венецианского королевства под командованием фельдмаршала И. Радецкого, 22 марта отступившими и покинувшими город. Вместо австрийской администрации образовалось временное либеральное правительство во главе с Г.

Казати. События в Ломбардии послужили мощным толчком для дальнейшего развития национально-освободительного движения в Италии. Более того, в Милане стали вынашиваться планы объединения под эгидой Ломбардии двух бывших австрийских провинций.

...венских студентов-реформаторов... — Студенты австрийской столицы принимали активное участие в революционных событиях — вооружались, пытались овладеть арсеналом и даже проникнуть в охранявшийся войсками императорский замок, организовывали «академические легионы», защищали закрытый правительством Венский университет, выступали на митингах с лозунгами: «Долой Меттерниха!», «Да здравствует народное правительство!», «Свободу!».

Итальянцы же с неизменным упорством продолжают видеть в них лишь Tedeschi и Barbari... — Ср. аналогичное суждение Тютчева в его письме к К. Пфеффелю от 12 ноября 1850 г.: «В Италии — вечная война итальянца против варвара, осложненная войной не на жизнь, а на смерть, которую римский католи-

цизм, влачащий за собой обузу светской власти папы, принужден вести с революцией, вооружившейся против него всеми требованиями и всеми иллюзиями национального чувства» (Изд. 1984. С. 147).

...пробуждают опаснейшее осложнение, вопрос жизни или смерти для ее будущности — вопрос племенной. — Европейские революции обострили проблемы объединения Германии. Для «лоскутной» Австрийской империи, включавшей итальянцев, венгров, поляков, чехов, хорватов, словаков, словенцев, украинцев, румын и др., вопрос национальной автономии и независимости являлся миной замедленного действия, которая уже взрывалась в так называемой «галицийской резне» 1846 г., когда польская шляхта испытала на себе стихийную ярость крестьян-русинов. В 1848 г. «племенной вопрос» постоянно давал о себе знать. Польские помещики продолжали ощущать угрозу со стороны украинского крестьянства, в Венгрии революционные либералы отказывались признавать сербов (тяготевших к балканскому Сербскому государству) как нацию и тем самым способствовали уси-

лению их вражды и объединению с хорватами, Богемская хартия Фердинанда I была вынуждена сделать значительные уступки национальному движению чехов, в идее чехов о возрождении средневекового Королевства св. Вацлава немцы видели опасность уже для собственных национальных интересов и т. д. Через два месяца «мина» в очередной раз срабатывает, когда будет разогнан Славянский съезд в Праге и подавлено Пражское восстание.

...литературном патриотизме нескольких пражских ученых... — Имеются в виду В. Ганка, И. Добровский, Я. Коллар, П. Шафарик, Л. Штур, Ф. Челаковский и другие чешские и словацкие филологи, писатели, историки, служившие делу славянского этнокультурного возрождения и солидарности. К середине XIX в. Прага стала своеобразным научным центром славистики, охотно посещавшимся русскими учеными (М. П. Погодин, И. И. Срезневский, О. М. Бодянский и др.). В своих «Путевых записках» 1842–1843 гг. П. В. Анненков отмечал: «Богемия составляет теперь оппозицию Австрии <...> Старания ее ученых и писа-

телей, каковы Ганка, Шафарик и др., о сохранении народного языка есть оружие этой оппозиции. Общими усилиями дошли они до того, что в отечестве своем успели зародить ту особенную гордость национального происхождения, которая известна у них под именем чехизма «...» Они знают, что на востоке есть большое славянское государство, и уверены поэтому, что из славян может быть составлено хорошее государство. Отвращение к немцам и приверженность к России развиты в ученом и высшем сословии Богемии весьма сильно» (Анненков П. В. Парижские письма. С. 275).

...но жизнь Богемии состоит в другом. — Подразумевается более глубинный духовный уровень бытия, заключенный в «гуситских верованиях».

...книги «...» способны скорее раздражать и ослаблять их, чем оживлять и поддерживать. — Здесь Тютчев, подобно А. С. Пушкину (отмечавшему огромные возможности «типографического снаряда» опустошать духовное бытие и развращать традиционные обычаи и нравы), подразумевал «публику», «книжники».

ков», «интеллигентов», «идеологов», накладывающих на органическую самобытную жизнь разных народов искусственные унифицирующие теории (см. *коммент.* к трактату «Россия и Запад». С. 442*).

...гуситских верованиях... — Имеется в виду чешская Реформация, идеологом которой выступил священник, ректор Пражского университета Ян Гус (1371–1415). Он считал главным источником христианского вероучения Священное Писание, хотя и не отрицал Священного Предания, не признавал папу главой Вселенской Церкви, порицал торговлю индульгенциями, требовал возвращения к принципам раннего христианства, уравнивания в правах мирян с духовенством. Был отлучен от Церкви как еретик и сожжен на костре. Последователи учения Яна Гуса, участники народного гуситского движения, выступали против немецкого засилья и католицизма, расшатывая его авторитет и оказывая вооруженное сопротивление всяким карательным мерам. В «гуситских верованиях» Тютчева привлекает устремленность к чистоте христианства, протестантскими же уклонами

в них он пренебрегает. Об осмыслении по-
этом гуситства свидетельствует его стих. «Че-
хам от московских славян» (1869):

⟨...⟩

*Примите Чашу! Всем звездой
В ночи судеб она светила
И вашу немощь возносила
Над человеческой средой.
О, вспомните, каким она
Была вам знаменьем любимым,
И что в костре неугасимом
Она для вас обретена ⟨...⟩*

Сходным образом воспринимал гуситство и Н. Я. Данилевский: «У других славянских народов мы видим гуситское религиозное движение — самую чистую, идеальную из религиозных реформ, в которой проявлялся не мятежный, преобразовательный дух реформы Лютера, Кальвина, а характер реставрационный, восстановительный, стремившийся к возвращению к духовной истине, некогда переданной св. Кириллом и Мефодием» (Данилевский. С. 480–481). А. С. Хомяков называл главу гуситского религиозного движения «великим мужем» и «бессмертным Гусом», кото-

рый вместил в себя всю «современную ученость» и смело вступил «в состязание со всеми богословскими снарядами Рима, не боясь никаких поражений...» (Хомяков 1994. С. 33).

...в возвращениях к старой вере <...> сказывается глубокое различие между Польшей и Богемией... — В данном случае отправное, фундаментальное и решающее значение Тютчев придает размежеванию между подлинным и искаженным христианством, что позднее он подчеркнет в письме к Е. Э. Трубецкой от 6 декабря 1871 г.: «Работа, которая им (вождям Чешской национальной партии. — Б. Т.) предлагает, для восстановления органической связи Богемии с миром Славянским во всей его полноте, с Восточною Европою, одним словом, — такая работа не может быть низведена до размеров исключительно политического движения. У нее корни идут поглубже. Чехия истинно национальная — прежде всего Гуситка, а гуситство не что иное, как возвратное стремление, — весьма сознательное, весьма решительное, хотя и прерванное насильем, — возвратное стремление, повторяю, Чешского племени к Церкви Восточной. Славян-

ская народность Чехов требует, чтоб эта попытка возврата была возобновлена и доведена до конца... Как не поймут в Праге, что повсюду политическое движение сводится к самому нерву Европейского общества, а этот нерв — вопрос социальный и религиозный» (цит. по: Биогр. С. 145). Соглашаясь с логикой Тютчева, И. С. Аксаков комментирует: «Вся будущность Славянской народности у Западных Славян, исповедующих латинство, связана именно с решением религиозного вопроса. Если эти Славяне не отторгнутся от Рима и не возвратятся к древнему церковному единству, т. е. к православию, их историческая судьба будет общая и одинаковая с судьбою иноплеменных народов католического исповедания; они подлежат одному с ними историческому приговору «...» Славянин-латинянин — это извращение Славянской духовной природы. — Сомнительна возможность политической самостоятельности при утрате самостоятельности нравственной, при утрате духовной народной личности» (там же. С. 146).

...самый примитивный либерализм с при-

месью коммунизма в городах и, вероятно, какой-то доли жакерии в деревнях волнуется и дергается на поверхности страны. — Под влиянием революционных событий в Италии и Франции в Праге в конце февраля — начале марта 1848 г. радикально настроенные демократы распространяли листовки с призывами к борьбе с абсолютизмом, за автономию Чехии и предоставление ее народу политических прав и свобод. Либералы со своей стороны отправляли императору петиции с предложениями преобразования австрийской монархии в федеративную. В городах усиливалось стачечное движение рабочих, а деревенские жители отказывались от выполнения повинностей. Волнения последних Тютчев сравнивает с Жакерией (от фр. жак — простак, насмешливая кличка для простонародья) — крестьянским восстанием 1358 г. во Франции, охватившим несколько провинций и жестоко подавленным. Слово «жакерия» стало нарицательным во Франции для стихийных крестьянских восстаний.

...если Австрийской империи суждено развалиться после потери Ломбардии и сейчас

уже полного освобождения Венгрии? — После пятидневных кровопролитных боев восстание в главном городе Ломбардии Милане одержало победу, и после отступления войск австрийского фельдмаршала И. Радецкого там было сформировано Временное правительство. Что же касается Венгрии, то она первой в Австрийской империи откликнулась на февральские события 1848 г. во Франции. 3 марта 1848 г. на заседании государственного собрания Венгерского королевства лидер оппозиции Л. Кошут (его выступление вошло в историю Австрии как крещенская речь австрийской революции) потребовал ответственного перед национальной законодательной властью правительства и конституции для всей империи. Вышедшие 15 марта на улицы Пешта рабочие и ремесленники, студенты и представители демократической интеллигенции добились своих целей. Австрийский император вынужден был согласиться на создание в Венгерском королевстве независимого, ответственного перед парламентом страны правительственного кабинета.

...говорил мне Ганка... — Вацлав Ганка (1791–1861) — один из деятелей чешского культурного возрождения, много занимавшийся переводами со славянских языков и общавшийся с учеными и писателями разных славянских стран. В стих. «К Ганке» (поэт записал его в альбом В. Ганке 26 августа 1841 г.) Тютчев называет его «мужем добра», который на «Пражских высотах» для славянского единства «засветил маяк впотьмах». Ранее П. В. Анненков сожалел, что «не был у Ганки: всех русских принимает он как родственник <...> и берет с них обещание выучиться по-чешски. До сих пор мало еще примеров, чтоб сдерживали слово. Кстати о славянизме. В Вене познакомился я с профессором Срезневским. Человек этот совершает подвиг европейский: от Балтийского моря и до Адриатического изучает он славянские племена, их наречия, обычаи, песни, предания, и большую частью пешком, по деревням и проселочным дорогам. Теперь он в Вене доучивается по-сербски и потом собирается обойти Иллирию, Далмацию и Черногорию. Особенную прелесть его составляет необычайная, гер-

манская любовь к своему предмету. Он решительно убежден, что славянскому племени предоставлено обновить Европу, и с восторгом показывал нам карты, говоря, каким образом соотичи наши разлились от Померании до Венеции. За две станции от Венеции есть еще славяне, в Австрии их 18 миллионов. Турция почти вся состоит из них, и, по остроумным его доказательствам, даже вся полоса Европы от Рейна принадлежала некогда славянам. Он будет обладателем богатейших фактов, с помощью которых и объяснится, наконец, наша народная физиономия» (Анненков П. В. Парижские письма. С. 15). Эта запись отражает ту атмосферу, в которой формировались тютчевские идеи славянского единства и Восточной Европы как «особого мира». Ср. аналогичную упомянутой карту П. Шафарика, которой Тютчев оперирует в беседе с Я. Ф. Фальмерайером, 12 марта 1843 г. записавшим в дневнике мысль собеседника: «Византия — свящ. город; патриарх и торговля; Киев — центральный пункт и сердце славянства; Балк, мать городов; зудит переместить столицу, славянская карта Шафарика; крайн-

ское (Крайна) ближе всего к русскому» (цит. по: Казанович Е. Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева (1840-е гг.) // *Уrania*. С. 151).

...неизменное расположение, с каким к России, русскому имени, его славе и будущности всегда относились в Праге национально настроенные люди... — Примеры такого расположения показывали деятели чешского культурного возрождения. Так, Ф. Челаковский переводил на чешский язык произведения А. С. Пушкина, А. А. Дельвига, Н. М. Языкова, И. И. Козлова, И. И. Дмитриева, знакомил соотечественников с русским музыкальным искусством, выражал идею сближения славянских народов. Поэт К. Эрбен переводил на чешский язык летописи Нестора, «Слово о полку Игореве», «Задонщину». Многие русские слависты были поклонниками научных трудов (в частности, «Славянских древностей») П. Шафарика, о котором тепло отзывались О. М. Бодянский, Т. Н. Грановский, И. И. Срезневский, М. П. Погодин и др. Вместе с тем Тютчев преувеличивает постоянство расположенности, о которой идет речь. Например, один из главных поборников австрославизма Ф. Палацкий

опасался раздробленности Австрии, которая могла бы способствовать вовлечению славянских народностей в русскую универсальную монархию, а известный панславист Л. Штур даже заявлял, что Россия и есть «самый большой неприятель славян Центральной Европы» (цит. по: Рокина Г. В. Ян Коллар и Россия: История идеи славянской взаимности в российском обществе первой половины XIX в. Йошкар-Ола, 1998. С. 80). Знакомясь с подобными, противоположными его собственным устремлениям, мнениями, Тютчев позднее писал Ю. Ф. Самарину: «Есть у Славянства злейший враг, и еще более внутренний, чем немцы, поляки, мадьяры и турки. Это их так называемые *интеллигенции*. Вот что может окончательно погубить славянское дело, извращая его правильные отношения к России. Эти глупые, тупые, с толку сбитые интеллигенции до сих пор не могли себе уяснить, что для Славянских племен нет и возможности самостоятельной исторической жизни вне законно-органической их зависимости от России. Чтобы возродиться Славянами, им следует прежде всего окунуться в Россию. Массы

славянские это, конечно, инстинктивно понимают, но на то и *интеллигенция*, чтобы развращать *инстинкт*» (ЛН-1. С. 426). В другом письме Тютчев подчеркивал трудности живого духовного единения между славянами и Россией: «Все зависит от того, как славяне понимают и чувствуют свои отношения к России. В самом деле, если они — а к этому весьма склонны некоторые из них, — если они видят в России лишь силу — дружескую, союзную, вспомогательную, но, так сказать, *внешнюю*, то ничего не сделано и мы далеки от цели. А цель эта будет достигнута лишь тогда, когда они искренно поймут, что составляют *одно* с Россией, когда почувствуют, что связаны с нею той зависимостью, той органической общностью, которые соединяют между собой все составные части единого целого, действительно живого. Увы, через сколько бедствий, вероятно, придется им пройти прежде, чем они примут эту точку зрения, целиком и со всеми ее последствиями» (Изд. 1984. С. 300). Ср. точку зрения К. Н. Леонтьева, который не имел в этом отношении никаких надежд и считал необходимым отличать в

политическом идеале «вопрос православно-восточный от вопроса всеславянского, считать первый единственным якорем спасения, а второй — лишь неизбежным (либеральным) злом, крестом, испытанием, ниспосланным нам суровой историей нашей...» (Леонтьев К. Плоды национальных движений на православном Востоке // Леонтьев К. Цветущая сложность. М., 1992. С. 224).

...будет справедливым признать <...> существование исторического закона, провиденциально управлявшего до сих пор ее судьбами... — Здесь в очередной раз подчеркивается основополагающая роль Божественного Провидения, которому человеческая воля должна следовать и может сопротивляться (см. коммент. к ст. «Римский вопрос». С. 371–372*).

...именно самые заклятые враги России с наибольшим успехом способствовали развитию ее величия. — Имеется в виду борьба с татаро-монгольским игом и западными агрессорами, в которой выковывалось могущество и самосознание Русского государства. Тютчев считал необходимым пристальнее и осмысленнее относиться к урокам прошлого, чтобы

извлекать из них уроки для «повторяющейся» современности: «Теперь никакой действительный прогресс не может быть достигнут без борьбы. Вот почему враждебность, проявляемая к нам Европой, есть, может быть, величайшая услуга, которую она в состоянии нам оказать. Это, положительно, не без промисла. Нужна была эта, с каждым днем все более явная враждебность, чтобы принудить нас углубиться в самих себя, чтобы заставить нас осознать себя. А для общества, так же как и для отдельной личности, — первое условие всякого прогресса есть самопознание» (Изд. 1984. С. 142–143).

...в окружении славянских племен, одинаково ему ненавистных. — В Венгерском королевстве проводилась политика мадьяризации сербов, хорватов, словаков и других национальностей, введение венгерского языка в качестве обязательного в учреждениях, школе и даже церкви. На требования сербов предоставления им национальной автономии и использования родного языка глава революционной Венгрии отвечал, что «вопрос будет решен мечом», если они будут настаивать на

своих притязаниях. «Ненависть», о которой говорит Тютчев, имела давнее происхождение. Кочевавшие у берегов Дуная и Тиссы мадьяры вели борьбу со славянскими племенами, стремясь обратить их в рабство (осев в конце IX в. в Карпато-Дунайском бассейне, они также совершали набеги на Германию, Францию, Северную Италию). Походы на Трансильванию, Хорватию, Галицию в XI–XIII вв., присоединение к Венгерскому королевству Болгарии, Молдавии, Валахии, Словении в XIV в. не способствовали укреплению межнациональной «дружбы». Попав под власть турок, Венгрия в XVI в. стала терять свою силу и избирать на престол австрийских Габсбургов. Однако память о былом могуществе вдохновляла и революционеров, как пишет Тютчев, на мечты «о восстановлении прежних границ», что приводило сербов Воеводины, румын Трансильвании, русинов Закарпатья, хорватов в оппозицию венгерскому революционному режиму.

...впавший в детство отец взят под опеку...

— Речь идет об австрийском императоре Фердинанде I, страдавшем слабоумием.

Уже ставился вопрос об окончательном присоединении Трансильвании. — Еще в 1830-е гг. мадьяры вели активную агитацию в Трансильвании с целью ее присоединения к Венгрии, а в революционный период этот вопрос ставился более радикально. В национальном движении румын венгерские лидеры усматривали угрозу революции и территориальной целостности королевства.

...программы, вырабатываемой ныне в Пресбурге. — С конца 1847 г. в Пресбурге, где заседало Государственное собрание Венгерского королевства, оппозиция вырабатывала общую платформу из «10 пунктов»: ответственное правительство, народное представительство, право собраний, отмена неотчуждаемости дворянских имений, инкорпорация Трансильвании и т. д. 3 марта 1848 г. на сейме в Пресбурге глава оппозиции Л. Кошут доказывал необходимость замены «разлагающегося трупа» венской монархии конституционным правлением. Усиление подобных требований и ослабление центральной власти, как пишет далее Тютчев, предоставляло Венгерскому королевству большую свободу в его

жестких отношениях со славянскими народами.

...другого Императора, упорно признаваемого этими верными племенами за единственно законного. — Имеется в виду Николай I. О таком восприятии русского царя восточными славянами свидетельствует рассказ австрийского генерала Ф. Шварценберга, переданный И. С. Гагариным Тютчеву, а позднее И. С. Аксакову (см. ЛН-2. С. 53).

...разрушающие Запад толчки землетрясения... — Образ революции как землетрясения повторяется в трактате «Россия и Запад» (см. коммент. С. 436*).

...терзающие его пропаганды (католическая, революционная и проч. и проч.), хотя и противоположные друг другу, но объединенные в общем чувстве ненависти к России... — Это общее чувство сблизило в период Крымской войны, казалось бы, непримиримые партии: в общих проклятиях самодержавию польские эмигранты вставали под турецкие знамена, венгерские революционеры смыкались с австрийским императором, К. Маркс и Ф. Энгельс находили общий язык с Наполеоном.

ном III и Пальмерстоном.

...Европа Карла Великого... — Карл Великий (ок. 742–814) — франкский король с 768 г. из династии Каролингов, с 800 г. — император, который покорил Саксонию, присоединил Италию и Баварию, отодвинул испанскую границу до Эбро, увеличил территорию державы почти вдвое и объединил в ней почти всю христианскую Европу. Это объединение было торжественно санкционировано папским престолом, когда на Рождество 800 г. папа Лев III в Риме возложил на Карла Великого императорскую корону. Фигура этого крупнейшего правителя, централизовавшего и сблизившего светскую и духовную власть, стоявшего у истоков истории, метаморфоз и судеб Запада, постоянно привлекала внимание Тютчева. Еще в 1830 г. он перевел из драмы В. Гюго «Эрнани» монолог дон Карлоса перед гробницей Карла Великого, который характеризовался как исполин, создавший «европейский мир» и владычествующий над ним вместе с папой:

⟨...⟩

Когда из алтаря они исходят оба

—
Тот в пурпуре, а сей в одежде белой гроба,
Мир, цепenea, зрит в сиянье торжества
Сию чету, сии две полы божества!
<...>

О противоречиях во взаимодействии «сей четы» и искажениях высокого потенциала христианской державы в исторической эволюции империи Карла Великого, в превратностях последовательного развития католицизма, реформаторских и революционных действий Тютчев не раз заводит речь как в произведениях («Римский вопрос», «Россия и Запад»), так и в частной переписке. Например, в письме к И. С. Аксакову, где говорится о «теснейшем союзе Франции с Папством» как «двух властолюбий» в борьбе (в ней король Сардинии Виктор Эммануил II занимал выжидательную позицию) против окончательного объединения Италии и присоединения к ней Рима гарибальдийцев, поэт замечал: «А так как *тысячелетний* круг у нас перед глазами замыкается, то мы и увидим повторение

старой были — Наполеон III, конечно, не Карл Великий, но французы все те же франки, а бедный Виктор Эммануил так и глядит *Дезидерием* (в 774 г. Карл Великий, поддерживая папу Адриана I, победил короля лангобардцев Дезидерия, а его самого заточил в монастырь. — Б. Т.). Не худо было бы в современной памяти освежить историю всей этой процедуры. Выродившееся христианство в римском католицизме и выродившаяся Революция в наполеоновской Франции — это два естественных союзника. И от этого сочетания произойдут такие последствия, каких мы и не предвидим» (ЛН-1. С. 313). Как обычно, Тютчев рассматривает текущий момент в свете «исполтинского размаха» тысячелетней истории.

С. 157...Европа трактатов 1815 года... — Подразумевается европейское статус-кво, сформированное после разгрома Наполеона и создания Священного союза. В письме к К. Пфеффелю от 12 ноября 1850 г. Тютчев отмечал: «В настоящее время формула 1815 г. исчерпана, солидарность принципов, которая существовала у трех кабинетов Священного союза, не существует более. Революционный

дух насмерть поразил эту солидарность, которая одна только была достаточно сильна, чтобы господствовать над противоречивостью интересов» (Изд. 1984. С. 145).

...доведенный до бессмыслия разум «...» невозможная отныне свобода. — Имеется в виду абсурдность и беспомощность агрессивного просветительского рационализма, стремящегося изменять жизнь согласно «книжным» принципам идеологического позитивизма и прагматизма, но не осознающего того, что, например, те или иные политические формы, общественные отношения или юридические нормы сами по себе мертвы, не включают положительного критерия, а приобретают значительность при их религиозно-культурном и духовно-нравственном содержании. Отсюда непредвиденные повороты и неожиданные тупики истории. Что же касается свободы, то подлинная свобода как добровольное следование людей Божественной воле и евангельским заповедям теряется, по Тютчеву, в их рабстве низшим страстям и греховным началам своей собственной природы.

...громадную Империю, всплывающую подобно Святому Ковчегу... — Спасительный образ православной России, всплывающей «Святым Ковчегом» над волнами всеобщего европейского затмения, почти дословно совпадает со словами В. А. Жуковского, писавшего своему воспитаннику, наследнику престола, сразу же после получения известий о Февральской революции 1848 г. во Франции: «Более, нежели когда-нибудь, утверждается в душе моей мысль, что Россия посреди этого потопа (и кто знает, как высоко подымутся волны его) есть ковчег спасения, и что она будет им не для себя одной, но и для других, если только посреди этой бездны поплывет самобытно, *не бросаясь в ее водоворот*, на твердом корабле своем, держа его руль и не давая волнам *собою властвовать*» (Жуковский В. А. Сочинения: В 6 т. СПб., 1885. Т. 6. С. 540–541). Тютчев не мог знать содержания письма Жуковского, датированного 17 февраля, когда в апреле 1848 г. заканчивал статью. Переключка образов свидетельствует об общих духовных корнях, родственной идеологии и типологии политического мышления обоих поэтов. Одинаковое

восприятие революционных событий, места и роли России в них по-своему проявилось и в их поэтическом творчестве. В 1848 г. на тему «Россия и Революция» Тютчев пишет стих. «Море и утес», уже непосредственно навеянное стих. В. А. Жуковского «К русскому великану». И у того и у другого образ бунтующих волн воплощает революционный Запад, а образ незыблемого утеса — самодержавную Россию. Стихотворение В. А. Жуковского и последняя строфа стихотворения Тютчева были одновременно напечатаны в газ. «Русский инвалид» от 7 сентября 1848 г. И. С. Аксаков отмечает: «Пьеса “Море и утес” написана в 1848 году, после февральской революции, и, очевидно, изображает Россию, ее твердыню... Не знаем, обратили ли эти стихи внимание на себя в свое время и были ли поняты в смысле, нам объясненном; но трудно сомневаться в их настоящем значении, особенно в виду статьи “Россия и Революция”» (*Биограф.* С. 116–117). В своих ассоциациях Тютчев мог опираться на представление С. С. Уварова о самодержавии как краеугольном камне величия «русского колосса» в известном триедин-

стве Православия, Самодержавия и Народно-сти. В письме к последнему от 20 августа 1851 г. поэт замечал: «Достаточно говорили о Русском Колоссе. В конце концов признают, я надеюсь, что это — Великан, и Великан, хорошо сложенный...» (Изд. 1984. С. 177). Позднее образ «русского колосса» появляется у Ф. М. Достоевского в значении оплота всеславянского единения во имя «настоящего воздвижения Христовой истины» (Достоевский. Т. 23. С. 47–50).

РИМСКИЙ ВОПРОС

Автограф неизвестен. Списки — РГБ (Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 14. Л. 1-13) рукой К. Пфеффеля, озаглавлен «La question romaine par l'auteur du mémoire sur la situation actuelle: 1849. Publié dans la Revue des Deux Mondes» («Римский вопрос, написанный автором записки о современном положении: 1849. Опубликовано в Ревю де Дё Монд»); Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 15. Л. 1-12 — сделан Эрн. Ф. Тютчевой, озаглавлен «La question Romaine» («Римский вопрос»). Над заглавием запись: «Publié dans la Revue des Deux Mondes. Livraison du 1 janvier 1850» («Опубликовано в

Ревю де Дё Монд в номере от 1 января 1850»). Тот же заголовок и на месте второй главы в плане трактата «Россия и Запад».

Первая публикация — *RDM*. 1850. Т. 5. 1 janvier. P. 119–133 с заглавием «La papauté et la question romaine au point de vue de Saint-Pétersbourg» (по копии К. Пфевфеля — см. *ЛН*-2. С. 239).

С указанием автора и впервые в *рус.* переводе (с правкой первых страниц И. С. Аксаковым) — *РА*. 1886. № 5. С. 35–51 со следующим комментарием П. И. Бартенева: «Во Французском подлиннике эта статья Ф. И. Тютчева озаглавлена: “La papauté et la question romaine au point de vue de Saint-Pétersbourg”. Статья писана для иностранцев, и нам кажется, что сочинитель, если бы писал по-русски, озаглавил бы ее так, как сделано в Русском нынешнем переводе. И то сказать, что 36 лет назад меньше было разницы между выражениями “Русская” и “Петербургская” точка зрения <...> Самостоятельное и веское слово Тютчева было одним из достопамятнейших проявлений русской мысли перед Западной Европою, и вот почему Р. Архив считает долгом своим по-

знакомить с ним читателей» (РА. 1886. № 5. С. 33). В *Изд. СПб., 1886* опубликован фр. текст (с. 546–571), ставший вместе с переводом (с. 461–487) источником для *Изд. 1900* (с. 493–518 и 577–602), *Изд. Маркса* (с. 307–324 и 352–363) и для репринтного издания фр. и рус. текстов — Тютчев Ф. И. Политические статьи. С. 51–77 и 135–158, а также для издания в рус. переводе — Тютчев Ф. Русская звезда. С. 284–301; Тютчев Ф. И. Россия и Запад: Книга пророчеств. С. 37–63; в другом переводе — *ПСС в стихах и прозе*. С. 409–424.

Печатается по *Изд. СПб., 1886*. С. 546–571 (на фр. яз.).

Расхождения между первой публикацией и *Изд. СПб., 1886* заключаются в разном членении абзацев, разбивок внутри отдельных предложений и в соответствующих пунктуационных изменениях. В первой публикации, в отличие от последующих, слова «christianisme», «église», «catholicisme», «protestantisme», «papauté», «pape», «état», «empereur», «révolution», «réforme», «unité» и ряд других, характерно начинавшихся в текстах Тютчева с прописной буквы, печата-

ются со строчной.

Статья, озаглавленная первоначально «La Papauté et la Question Romaine» («Папство и Римский вопрос») и законченная 1/13 октября 1849 г., в плане трактата «Россия и Запад» и в списках носит заглавие «La Question Romaine» («Римский вопрос»). Она вызвала наиболее оживленный, широкий и длительный интерес не только проблематикой, сопряженностью в ней религии и политики, «вечных» и «текущих» вопросов, но и тем, что была опубликована в одном из самых популярных европейских журналов *RDM*. Основанный в конце 1829 г. как литературное и туристическое издание, он вскоре стал активно печатать политические материалы и превратился в рупор Июльской монархии, ее короля Луи Филиппа в борьбе против притязаний легитимистов, республиканцев и социалистов. Число подписчиков неуклонно росло, и хотя февральские дни 1848 г. внесли смятение в сознание главного редактора Ф. Бюлоза и его сотрудников, *RDM* продолжал придерживаться своеобразного сочетания принципов либерализма и

конституционной монархии, одоббив репрессивные действия кабинета Л. Э. Кавеньяка. «Цель Франсуа Бюлоза заключалась в том, чтобы сделать из журнала антиреволюционное знамя, объединить вокруг себя верных и ностальгирующих сторонников свергнутой монархии» (Broglie Gabriel de. Histoire politique de la Revue des Deux Mondes. P., 1979. P. 67). Борьба с республиканскими и социалистическими идеями, защита деловых людей и крупных собственников, критика популярных «социальных теорий» как «устаревших мечтаний», поддержка запретительных мер против политических клубов, сомнение в необходимости неограниченного и всеобщего избирательного права, беспокойство перед исчезновением традиционных и моральных ценностей, понятий долга и чувства семьи, перед издержками безбрежной свободы печати и другие подобные темы и мотивы звучали в *RDM*. Антиреволюционный пафос статьи не мог не привлечь редакцию. Однако критика Тютчевым современной западной цивилизации и ее католических истоков никак не совпадала с позицией журнала.

9/21 октября 1849 г. Эрн. Ф. Тютчева писала своему брату К. Пфеффелю: «На днях, как только представится возможность, я пошлю вам новое произведение моего мужа. Это вторая глава труда, которым он занят и который будет называться “Россия и Запад”. Эта вторая глава называется “Папство и Римский вопрос”; она вполне приложима к тому, что на наших глазах происходило и, к сожалению, до сих пор происходит в Италии, а потому глава эта в силу своей злободневности может быть отделена от остального труда и напечатана самостоятельно. Вы сами увидите, дорогой друг, в какой газете можно поместить эту статью <...> Это произведение, которое вызовет великое негодование в католическом мире, вряд ли встретит серьезный отклик за границей. И здесь было бы то же самое, однако, если эта статья (или брошюра) придет к нам с Запада, и тем более без подписи, читать ее будут с бóльшим интересом. Вообще в России любят читать или читают с доверием только то, что исходит из-за границы, особенно из Парижа» (ЛН-2. С. 235).

При активном посредничестве К. Пфеффе-

ля новая статья, названная им в письме к Эрнестине Федоровне младшей сестрой «России и Революции», была напечатана 20 декабря 1849 / 1 января 1850 г. «“Записка” вашего мужа, — писал он ей через неделю, — появилась в новогоднем номере “Revue des Deux Mondes”. Ее предваряет небольшое введение, которое напоминает о “записке”, опубликованной в июне, и воспроизводит нескромные намеки, сделанные тогда г-ном Бургуэном, несмотря на то, что в своем сопроводительном письме я настаивал на неофициальном характере второй “записки”. Надеюсь, что никаких неприятностей для вашего мужа из-за этого не последует. Привожу слова, шокировавшие меня: *“Следовало бы перечитать то, что мы сказали в июньском выпуске по поводу “записки” о современном положении в Европе, представленной императору Николаю одним русским дипломатом”*» (ЛН-2. С. 239). К. Пфеффель имеет в виду отзыв о ст. «Россия и Революция» в *RDM* от 14 июня 1849 г., где говорилось о ней как о «почти официальном документе». И к новой статье, опубликованной без имени автора, было придумано добавле-

ние, выводящее ее за пределы личного мнения частного лица и представляющее Тютчева в качестве негласного рупора правительственной политики: «La papauté et la question romaine au point de vue de Saint-Petersbourg» («Папство и римский вопрос с точки зрения Санкт-Петербурга»).

И хотя Тютчева несколько смутило добавление в заглавие «точки зрения Санкт-Петербурга», он был доволен публикацией статьи именно в этом журнале, несмотря на полемическое предисловие к ней. Автор предисловия ставил своей задачей показать «новые претензии греческой церкви», считающей себя «хранительницей религиозной и нравственной истины», но склонной «опираться на земную власть и служить ей в большей степени, нежели пользоваться ею, как это охотно делает католическая церковь» (*RDM*. 1850. Vol. V. 1 janv. P. 117). По его мнению, греческая церковь под покровом государственной мощи России в настоящее время «стремится ни к чему иному, как к изменению религиозной оси мира, и лишь потому, что политическая ось мира тоже, кажется, смещается» (там же. С.

118). С особой настороженностью он встретил фразу Тютчева о появлении в Риме после многовекового отсутствия русского императора и, сравнивая последнего с Карлом Великим, в ироническом ключе истолковал ее: «...прежний Карл Великий был одновременно слугой и защитником папства; он много давал, но еще больше получал. В конце концов именно папа сделал его императором, но императором западного мира, следовательно чуть-чуть новым выскочкой и узурпатором. На Востоке же всегда пребывал старый и законный император, от которого папа отделился. Это отделение не ослабило положение и права православного императора, возвращающегося в Рим, приносящего все папе и ничего не предполагающего от него получить; он приносит ему силу, утерянную папством, после того как оно прониклось западным духом и стало во главе западного мира, столь смятенного и плохо управляемого; он приносит папе святость восточной традиции, которую ничто не исказило и не сокрушило; он прибыл, наконец (и это является выражением гордыни и властолюбия греческой церк-

ви, или, скорее, императора, превращаемого ею сразу в Цезаря и святого Петра), чтобы покончить со схизмой, прощая папство и одновременно защищая его» (там же. С. 118).

Главный редактор Ф. Бюлоз писал через два дня после публикации статьи К. Пфеффелю: «Я получил Записку о Римском вопросе, которую вы благоволили прислать мне из Мюнхена, и вы найдете ее в только что появившемся номере “Revue” от 1 января. Надеюсь, что автор, писатель с очень большим дарованием, владеющий с поразительной силой нашим языком, извинит мне предпосланные его записке оговорки. “Revue” не могло принять этой статьи без такого предисловия.

Прошу вас соблаговолить передать автору это объяснение и одновременно чувства восхищения, питаемого мною к силе и точности его мысли. Допуская кое-какие оговорки, которыми со своей точки зрения не должно пренебрегать “Revue”, но которые оно всегда будет высказывать с тем уважением, коего заслуживает человек выдающийся, — русский писатель будет всегда с радостью здесь принят и таким образом станет, быть может, про-

водником в Западной Европе идеей и настроением, одушевляющих его страну и его правительство. Что же касается “Revue”, то повторяю вам, милостивый государь, и прошу вас известить о том вашего шурина (если я верно осведомлен), что оно будет в восторге служить таким путем духовным посредником между двумя великими странами. Примите, господин барон, уверение в моем высоком уважении» (цит. по: *Пигарев*. С. 129).

По словам Эрн. Ф. Тютчевой, ее муж был «глубоко тронут» пересланным ему К. Пфеллем письмом Ф. Бюлоза, а также тем радушием и «широтой, с какой редакция “Revue” отнеслась к его идеям». Что же касается читательской реакции на эти идеи, то уже в первые две недели января 1850 г. стали появляться разнообразные отклики в печати на анонимную статью, выражающую «точку зрения Санкт-Петербурга» (их содержание передано и процитировано в статье Р. Лэйна «Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840-х — начала 1850-х годов»). Одним из первых выступил известный католический публицист П. С. Лоранси. «Лоран-

си, — пишет Р. Лэйн, — продолжил свою полемику с Тютчевым в отзыве на “Папство...”, напечатанном в журнале “L’Autorité”. Лоранси признает талантливость автора “Папства...”, “человека несомненно выдающегося ума, чей язык обнаруживает привычку к духовно-нравственному размышлению”. Он говорит об его “уме, высоком и спокойном”, о “речи, полной значения и надежды”. Приведя краткое резюме статьи Тютчева, Лоранси приходит к заключению, что “это, несомненно, новая теория единства”, “блестящая противоположность теориям христианского единства, изложенным г-ном де Местром”. По мнению Лоранси, русский автор “с отважной ясностью и неопровержимой определенностью” указал на недостатки Запада, но при этом несправедливо взвалил всю вину за них на Ватикан. С точки зрения Лоранси, статья Тютчева двойственна: она проникнута, с одной стороны, христианско-православным духом, а с другой — протестантским и еретическим. “В ней одновременно обнаруживается смесь здравого смысла и заблуждения, любовь к истине и боязнь истины. Христианин

по складу своего мышления, этот государственный деятель совсем не таков в своей доктрине: его логика противоречит его намерениям <...>

В статье Лоранси было использовано обращенное к Тютчеву письмо, автором которого был не кто иной, как Пфеффель. Это письмо, датированное ноябрем 1849 г. (еще до появления “Папства...” в печати), развивает критику основных положений статьи Тютчева, наменную в первом же письме Пфеффеля к сестре, написанном им после получения рукописи “Папства...”.

Пфеффель обвиняет Тютчева в том, что он создал “произведение, с начала до конца отмеченное печатью “протестантизма”. “Пользуясь образом, созданным в вашей “Записке”, — писал Пфеффель, — можно сказать, что вы вооружились обоюдоострым мечом, который одним ударом разит и тех, за кого вы боретесь, и тех, на кого вы нападаете <...> Среди выдвигаемых вами аргументов против Римской церкви нет ни одного, который нельзя было бы обратить против церкви Русской”. Пфеффель, в частности, не соглашается с точ-

кой зрения Тютчева на то, что светская власть папы привела папство на край революционной пропасти. Он утверждает, что именно благодаря этой власти католицизм смог сохранить свое положение, несмотря на Реформацию, англиканство и абсолютизм Людовика XIV. В заключение Пфеффель заявляет: “Вы боретесь не только с католической доктриной, но <...> восстаете против истории и против вашего собственного православия, утверждая несовместимость мирского и духовного начал и вынося смертный приговор власти, объединяющей эти два начала, по вашему мнению непримиримые”. В глазах Пфеффеля “Записка” Тютчева только подтверждает точку зрения Жозефа де Местра, высказанную в его книге “О папе”: “Ни один русский не смог бы писать против этой (католической. — Р. Л.) церкви, не доказав тем самым, что он протестант” <...>

Одним из первых отзывов на “Папство...” была анонимная статья в газете “Le Constitutionnel” от 7 января 1850 г. Обозреватель газеты разъясняет идеи, выраженные в статьях “Россия и Революция” и “Папство...”,

усматривая в них “фанатическую преданность императорской воле”. Считая, что успехи России в Восточной Европе неотвратимы, ибо Запад утерял веру и сплоченность и ему нечего противопоставить монолитному единству русского колосса, обозреватель критикует верховное руководство западной церкви, не прилагающее достаточных усилий, чтобы защитить католицизм.

Мрачные прогнозы обозревателя этой газеты сразу же были подвергнуты сомнению брюссельской газетой “L’Indépendance Belge”: “В утверждениях “Le Constitutionnel”, — писала она, — несомненно есть доля истины, но, по нашему мнению, он преувеличивает ту роль, которую царь может быть призван сыграть как pontifex (жрец — *лат.*; здесь — первосвященник. — *Б. Т.*) за пределами своей империи”.

Другой газетой, вступившей в спор с “Le Constitutionnel”, была “L’Univers”. Она обвинила “Le Constitutionnel” в том, что он предоставил свои страницы для прославления России, ее религии и ее “императора-самодержца-пontiфекса”. Вскоре же последовал ответ:

“Le Constitutionnel” упрекал “L’Univers” в клевете и отводил от себя упрек в какой-либо солидарности с взглядами русского публициста.

Принял участие в полемике и католический журнал “L’Ami de la Religion”. В нем была помещена заметка, порицающая “Le Constitutionnel” за критику Ватикана. Через четыре дня в том же органе была опубликована статья Ф. де Шампаньи об угрозе католицизму со стороны России. Хотя статья Тютчева в ней и не упоминается, но полемическая направленность против нее французского журналиста очевидна. Греческая церковь, предоставленная самой себе, в состоянии упадка и обветшания, без сомнения, не являлась бы опасным противником для католицизма — такова мысль Шампаньи. Но, “став достоянием царей, их орудием и служанкой”, она получает поддержку со стороны светской власти, “столь необходимую для всех лжерелигий”. Шампаньи призывает приложить как можно больше усилий для обращения славян в католицизм <...>

Едва затихшую дискуссию по поводу статьи Тютчева вскоре, однако, возобновил жур-

нал “L’Ami de la Religion”, опубликовавший в нескольких номерах пространное выступление А. Кошена “L’Eglise catholique jugée par un diplomate russe et par un ministre anglican” (“Католическая церковь перед судом русского дипломата и англиканского пастора”). К Тютчеву относится первая часть этого выступления. Называя статью “Папство...” “весьма любопытным сочинением”, “замечательным документом”, “простодушным и величавым”, обозреватель журнала считает этот документ прежде всего произведением “русского дипломата”. Вместе с тем Кошен утверждает: “Но нет необходимости в длительной дискуссии, чтобы показать, сколь неточны суждения анонимного автора как о состоянии современных обществ, так и о самом духе церковной истории”. Тютчевские проекты не вызывают у французского публициста сочувствия. Он отвергает его философию истории и, впадая в риторический тон, восклицает: “Что я говорю? Нужно ли здесь входить в какие-либо обсуждения и не достаточно ли просто как христианину и как французам заявить протест!”. Подобно Тютчеву, Кошен верит в

будущее примирение церквей, но на иной основе, чем “русский дипломат”, — на основе Рима. В этом отношении позиции двух авторов были диаметрально противоположны: Тютчев считал, что “именно Римская церковь, отделившись от церкви Русской, отказалась от правоверия”. Кошен убежден в обратном. Отсюда и иной путь воссоединения: “Католическая церковь еще достаточно сильна на Западе, чтобы не быть вынужденной отдаться в руки России, которую, к тому же, она готова принять в свои”.

Точка зрения Кошена разделялась автором статьи, озаглавленной “Le despotisme russe” (“Русский деспотизм”), напечатанной в газете “Le Correspondant”. Статья принадлежала публицисту А. Доже. Он отдавал должное “серьезному и торжественному тону обсуждения, возвышенной и глубоко справедливой оценке политического положения Европы”, содержащейся в статье Тютчева о папстве и обнаруживающей “многоопытный в государственных делах ум”. Но он энергично возражал против главного положения своего анонимного противника (в постскрипуме он оши-

бочно приписал авторство статьи Д. Н. Блудову): “... это вовсе не мы могли отделиться <...> а это вы <...> отошли от Рима”.

Дискуссия приняла новое направление, когда в нее включился прежний коллега Тютчева по Русской миссии в Мюнхене, а теперь эмигрант и священник ордена иезуитов И. С. Гагарин. Он отказывается расценивать “Папство...” как “ловко рассчитанную неосторожность” петербургского кабинета и рассматривает эту статью в ином свете: “Мы видим здесь появление в литературном мире того, что, за отсутствием более точного определения, назовем *московским пьюзеизмом* (пьюзеизм — от имени Э. Б. Пьюзи (1800–1882), деятеля “оксфордского движения”, стремившегося к объединению католической и англиканской церквей. — *Б. Т.*), ибо существует в России, и преимущественно в Москве, нечто такое, что не является ни религиозной сектой, ни политической партией, ни философской школой, но содержит в себе все это понемножку. Это котерия, если хотите, но котерия (от *фр.* *coterie* — кружок, группка; узкая и сплоченная группа лиц, преследующая свое-

корыстные цели. — Б. Т.), имеющая свои мнения, свои тенденции — политические, религиозные, философские; она их развивает, распространяет, и, кажется, пришло время ими заняться. *Русский дипломат* — приверженец или эхо этой котерии; он смело формулирует ее доктрины перед европейской публикой”. Гагарин имеет в виду московских славянофилов (хотя Тютчев отнюдь не был приверженцем всех этих идей); он поясняет, что выбрал для их обозначения наименование “московский пьюзеизм” потому, что эта “котерия” исповедует одинаково глубокое отвращение и к протестантизму, и к католицизму. Заканчивая свое краткое изложение и возвращаясь к статье о папстве и римском вопросе, Гагарин утверждает: “Эта точка зрения, достоинством которой является неоспоримая оригинальность, весьма ясно определена в разбираемой нами статье”. Гагарин справедливо усматривает ликующие ноты в тютчевском утверждении (имя Тютчева, он, впрочем, нигде не называет), что, порвав с православной традицией вселенской церкви, Рим вызвал как собственный упадок, так и упадок Запада в це-

лом. Гагарин называет это утверждение “радостным криком варвара” (“ce cri de joie tartar”). Окончание статьи Тютчева он расценивает как “хаос ложных идей и туманных выражений”. Затем Гагарин возвращается к “московской школе”, излагая ее вражду к Петру I. Он также обращает внимание на то, что называется им “внешней политикой московской школы”, отождествляя ее с панславизмом и ксенофобией. Его изложение взглядов “котерии” на европейские революции и будущее призвание славянских народов удостоверяет, что Гагарин читал также тютчевскую статью “Россия и Революция”. Он заканчивает так: “Мы сочли полезным несколько подробно изложить мнения московской школы, чтобы показать, насколько связана с нею статья в “Revue des Deux Mondes”, и тем самым дать возможность лучше оценить значение этих странных доктрин”» (ЛН-1. С. 238–240).

Таковы были первые отклики, появившиеся в заграничной печати после публикации «Папства...». В середине января 1850 г. А. О. Россет писал А. О. Смирновой, что «статья Тютчева (...) наделала шуму в Париже, а те-

перь все ее здесь читают» (РА. 1896. № 3. С. 371). А. С. Хомяков, хвалебно отзываясь о стихотворениях Тютчева в письме к А. Н. Попову, одновременно подчеркивал: «Статья его в "Revue des Deux Mondes" вещь превосходная, хотя я и не думаю, чтобы ее поняли и у вас в Питере, и в чужих краях. Она заграничной публике не по плечу» (Хомяков 1900. Т. 8. С. 200). В Москве с пониманием к публикации отнесся и Ф. Н. Глинка, которому Тютчев выражал признательность: «Душевно рад, что статья вам понравилась. Впрочем, — простите мне самолюбивое признание — я и не сомневался в вашем сочувствии и одобрении. Вы из малого, малого числа весьма зрячих и понимающих» (цит. по: Поэты тютчевской плеяды. М., 1982. С. 191). О том, что происходило в Петербурге, сообщал П. А. Вяземскому в Константинополь П. А. Плетнев в середине февраля 1850 г.: «Его (Тютчева. — Б. Т.) статья в 1-й январской книжке Revue d. d. m. о папе и императоре Николае теперь составляет модный разговор общества» (Плетнев П. А. Сочинения и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 404). В этом же месяце А. И. Кошелев писал А. Н. По-

пову из Москвы: «Чаадаев хлопочет о статье Тютчева, помещенной в *Revue des Deux Mondes* об Римском вопросе и готовится писать возражение <...> Хомяков ею доволен и хотя не апробует все мнения, но вообще видит в ней явление замечательное. По-моему, статья эта и написана неотлично, и содержит в себе более ложных, чем истинных мыслей. Его определение слова революция, его понятие о народной войне — просто нелепости» (*РА*. 1886. № 3. С. 353).

О том, какого рода возражение собирался сочинять Чаадаев, можно судить по его письму в начале 1850 г. к Е. А. Долгоруковой: «Заметьте, что спор о светской власти пап был начат отнюдь не греческой церковью, а новейшими протестантами, детьми XVIII века и предшественниками сегодняшних мудрецов. Это они первыми открыли, что Иисус Христос подразумевал небо в этих словах (“Царствие Мое не от мира сего” (Ин. 18, 36). — *Б. Т.*), что царствие Божие, как и Его Церковь, есть царствие невидимое, что Бог желает править лишь в сердцах людских и прочее в том же роде <...> Слишком часто забывают о задаче,

стоявшей перед христианством на Западе, о силах, с которыми ему надо было там бороться. Не замечают, что не догмат и не честолюбие некоторых старых священников построили там церковь, а настоятельная потребность целого нарождавшегося мира, победоносных племен, которые воцарились на дымящихся развалинах мира, и самих этих руин, все еще всемогущих своим пеплом и прахом; что даже если *“церковь и устроилась там как царство мира сего”*, это было потому, что она не могла поступить по-другому, это было потому, что ее великим призванием в этом полушарии христианского мира было спасение общества, которому угрожало варварство, подобно тому, как в другом (полушарии) ее великим призванием было спасти догмат, которому угрожало губительное дуновение с Востока и изощренный ум греков; что папа не отправился в Aix-la-Chapelle (резиденция Карла Великого, сейчас Аахен. — Б. Т.), чтобы возложить императорскую корону на голову Карла Великого, но что последний прибыл в Рим, чтобы ее получить из его рук; наконец, что отнюдь не папство создало историю Запада,

как, похоже, считает наш друг Тютчев, но что, напротив, именно история создала папство» (Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. М., 1991. Т. 2 С. 237–238).

Реакция на статью в *RDM* не ограничивалась ближайшими непосредственными откликами. Так, в вышедшей в 1851 г. в Париже книге фурьериста Д. Лавердана «Socialisme catholique. La déroute des Césars. La Gaule très chrétienne et le czar orthodoxe» («Католический социализм. Поражение цезарей. Христианнейшая Галлия и православный царь») существенные смысловые акценты этой статьи менялись на противоположные и уже не западная цивилизация, а русское самодержавие характеризовалось как «лихорадочное торжество человеческого я». Резкой и тенденциозной критике подверг «Папство...» живший в Париже польский эмигрант Ж. Б. Островский, выступления которого в периодической печати были объединены и дополнены в опубликованной им в 1851 г. на *фр. яз.* книге «La Russie considérée au point de vue européen» («Россия, рассматриваемая с европейской точки зрения»). Общение этого эмигранта с из-

вестным французским историком Ж. Мишле оказало на последнего определенное влияние, под чьим воздействием, пишет Р. Лэйн, он «написал свой горький этюд» «Les Martyrs de la Russie» («Мученики России»), одна из глав которого посвящена декабристам. Ж. Мишле без оснований считал, что автор «Папства...» всего лишь «писец», преданно следующий велениям Николая I, «царский рупор», «секретарь властительного господина», «один из его рабов», «его агентов, обрабатывающих главнейшие органы европейской прессы» и т. п. «Статья Тютчева характеризуется как «непрямая, но очень ясная и очень достоверная <...> мистическая и благочестивая форма императорской пропаганды». Мишле обращает к Тютчеву его же слова, несколько их перефразируя: «Против кого направлен этот крестовый поход? против демократического индивидуализма <...> Но что такое сам царь и русское правительство? Это индивидуализм». Историк противопоставляет друг другу две формы индивидуализма: с одной стороны, французский республиканский, с другой — русский самодержавный. «Если республиканское

я (*le moi républicain*) — беспокойно, мятежно, преисполнено суеты, то это беспокойство плодотворно, эта тревожная суета производительна <...> Царизм — это тоже *индивидуальное я (le moi individuel)*, но что же он производит?” Мишле обвиняет Николая I в желании стать божеством, приводя в доказательство заключительные строки статьи Тютчева, в которых описывается посещение царем собора св. Петра в Риме. Слова: “Распростертый царь был не один там...” — получают в интерпретации французского историка уничтожающе памфлетную окраску. С возрастающим пафосом заканчивает Мишле свою филиппику словами, имеющими в виду Францию великих идей 1789 года: “Охранительница Новой церкви, она остановит на пороге этого адского Мессию, приходящего во имя Бога. Убийца дела Господня, Его живого творения, что намерены вы делать здесь? Возникает новый мир, мир человечности и справедливости. Франция стоит на пороге, и вам не ступить далее. Она говорит повелительно: “Вы не войдете!”» (ЛН-1. С. 241).

В 1852 г. снова выступил П. С. Лоранси, на

этот раз с книгой «La Papauté. Réponse à M. Tutcheff, conseiller de S. M. l'Empereur de Russie» («Папство. Ответ Г. Тютчеву, советнику Е. В. Императора России»), в которой развивались положения его статей и подводились своеобразные полемические итоги. Если, по мысли Тютчева, из-за отпадения от Вселенской Церкви, внутреннего нравственного истощения и подмены духовной власти светской властью пап католицизм неизбежно вызывает реформацию, революцию, безбожие и индивидуализм современной цивилизации, то, по логике П. С. Лоранси, напротив, именно в России духовная власть порабощена светской, которая использует Церковь в своих целях, пренебрегая нравственными задачами.

Логика П. С. Лоранси в полемике с Тютчевым вызвала возражения А. С. Хомякова, который в 1853 г. опубликовал в Париже под псевдонимом Ignotus (Неизвестный) брошюру на фр. яз. «Quelques mots par un chrétien orthodoxe sur les communions occidentales à l'occasion d'une brochure de M. Laurentie» («Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу

брошюрыг. Лоранси»). «В статье, напечатанной в “Revue des Deux Mondes” и писанной, как кажется, русским дипломатом г. Тютчевым, — отмечал А. С. Хомяков, — указано было на главенство Рима и в особенности на смешение в лице епископа-государя интересов духовных с мирскими как на главную причину, затрудняющую разрешение религиозного вопроса на Западе. Эта статья вызвала в 1852 году ответ со стороны г. Лоранси, и этот-то ответ требует опровержения» (Хомяков 1994. С. 27). Автор брошюры оставляет в стороне общественно-политические последствия церковных разногласий и сосредоточивает свое внимание на богословском ядре возникшей полемики, полагая, что Церковь возглавляет Христос, а не духовный или светский правитель. Поэтому неправомерно, как это делает П. С. Лоранси, навязывать русскому государю роль видимого главы Церкви. Опровергая и другие обвинения французского автора, направленные на поиск в православной традиции протестантских уклонений, А. С. Хомяков как бы развертывает сжатые выводы Тютчева и раскрывает заключенную в них

логику, показывает внутреннюю причинно-следственную связь и закономерное движение западного религиозного сознания от разрыва со Вселенской Церковью до современного безверия через промежуточное посредничество протестантизма. «Авторитет папы, заступивший место вселенской непогрешимости, был авторитет совершенно внешний <...> Папа делался каким-то невольным оракулом, каким-то истуканом из костей и плоти, приводимым в движение затаенными пружинами. Для христианина этот оракул ниспадал в разряд явлений материального свойства, тех явлений, которых законы могут и должны подлежать исследованиям одного разума; ибо внутренняя связь человека с Церковью была порвана. Закон чисто внешний и, следовательно, рассудочный, заступил место закона нравственного и живого, который один не боится рационализма, ибо объемлет не только разум человека, но и все его существо.

Государство земное заняло место Церкви Христовой. Единый живой закон единения в Боге вытеснен был частными законами, нося-

щами на себе отпечаток утилитаризма и правовых отношений. Рационализм развился в форме властительских определений; он изобрел чистилище, чтоб объяснять молитвы за усопших; установил между Богом и человеком баланс обязанностей и заслуг, начал прикидывать на весы грехи и молитвы, проступки и искупительные подвиги; завел переводы с одного человека на другого, узаконил обмены мнимых заслуг; словом, он перенес в святилище веры полный механизм банкирского дома. Единовременно Церковь-государство вводила государственный язык — латинский; потом она привлекла к своему суду дела мирские; затем взялась за оружие и стала снаряжать сперва нестройные полчища крестоносцев, впоследствии постоянные армии (рыцарские ордена), и наконец, когда меч был вырван из ее рук, она выдвинула в строй вышколенную дружину иезуитов «...» Отыскивая источник протестантского рационализма, я нахожу его переряженным в форме римского рационализма и не могу не проследить его развития «...» Нетрудно было бы показать, что римское тавро отметило неизгладимым клей-

мом учения реформаторов и что все тот же присущий папству дух утилитарного рационализма стал духом Реформы <...> Западный раскол есть произвольное, ничем не заслуженное отлучение всего Востока, захват монополии Божественного вдохновения — словом, *нравственное братоубийство*. Таков смысл великой ереси против вселенскости Церкви, ереси, отнимающей у веры ее нравственную основу и по тому самой делающей веру невозможною» (там же. С. 42–43, 45, 70).

Накануне Крымской войны о Тютчеве вновь вспоминает французский публицист Е. Форкад, называя его «русским де Местром» и одновременно высокопоставленным чиновником, якобы выражающим не личную точку зрения, а рискованные мнения официальной дипломатии России. Е. Форкад излагает свое понимание основных положений ст. «Папство и Римский вопрос» (отпадение Рима от Вселенской Церкви, вызвавшее в дальнейшем протестантизм и революцию, надежды на его возвращение в лоно православного единства под началом русского императора) и заключает: «Вот до чего может дойти, даже

у лучших умов, устремленность русского прозелитизма; очевидна та миссия, о которой грезит православный император. Для России императора Николая, как раньше — Бориса Годунова, Москва стала третьим Римом. Самодержец удвоен в царе утопистом, мистагогом. Такие идеи в его голове и религиозная экзальтация его народов не позволяют ли говорить о том, что «...» воинственная Россия хочет навязать Европе “христианский Коран”?» (Forcade E. La question d’Orient. Les négociations confidentielles de Londres et de l’Eglise russe — Форкад Е. Восточный вопрос. Конфиденциальные переговоры Лондона и русской Церкви // *RDM*. 1854. Vol. 16. 1 avril. P. 189). Примечательно, что Э. Форкад одним из первых не только в России, но и на Западе увязывает тютчевскую мысль с понятием Третьего Рима (см. *коммент.* к трактату «Россия и Запад». С. 459*), упоминая введение патриаршества на Руси и приводя высказывания из соответствующих церковных документов. В таком религиозно-национальном самосознании, экзальтированном после победы над Наполеоном «полуцивилизированного народа», он видит боль-

шую опасность для «либеральной цивилизации Запада», которая должна «заставить отступить новый завоевательский и деспотический фанатизм Востока <...> Мы уверены в триумфе западной цивилизации; но это будет тяжелая и длительная война, и не ясно ли, что для ее ведения необходим союз всех интересов и всех живых сил?» (там же).

Через два месяца в том же журнале Е. Форкад публикует еще одну статью («L'Autriche et la politique du cabinet de Vienne dans la question d'Orient» — «Австрия и политика Венского кабинета в Восточном вопросе» — *фр.*), в которой вновь призывает передовую Европу выступить «против нашествия религиозного самодержавия и политики восточного варварства», обращаясь к письмам Тютчева в 1854 г. к жене и ее брату К. Пфеффелю, этой «занимательной корреспонденции русского дипломата», выдающегося человека, находящегося у правительственного руля, являющегося энергичным сторонником и красноречивым защитником политики императора Николая. Автор статьи цитирует большие фрагменты этих писем, рассматривающие

мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии перед Крымской войной как измену «союзу 1813 года» и готовность перейти к открытой вражде, как своеобразную «благодарность» германских государств за освобождение от наполеоновской Франции. Э. Форкад не находит ничего предосудительного в подобной политике, вспоминая, что еще в 1821–1823 гг. К. В. Меттерних уже пытался отдалить Австрию от России, но революции 1830 и 1848 гг. еще теснее сблизили их, и оправдывает поворот на сто восемьдесят градусов в намерениях и действиях первой безусловной необходимостью приостановить растущее могущество и влияние второй. «Русское восхождение над Центральной Европой беспрепятственно и безмерно осуществлялось в течение сорока лет: вот положение, конец которому кладет новая политика Австрии. Австрия разрывает с основанными на принципах альянсами, похожими на политическую религию; она возвращается к естественной системе независимости государств, сильных и искусных, к союзам на основе интересов» (*RDM*. 1854. Vol. 6. 1 juin. P. 886). Особое неприятие у Э. Форкада вызывает

Тютчевское понятие «великой греко-русской Восточной Империи», в которой он усматривает «узурпаторский и завоевательский дух» и противостоять которой призывает все ранее враждовавшие между собой европейские державы.

Неправомерное повышение статуса Тютчева в государственной табели о рангах, отождествление его философии истории с «политикой Санкт-Петербурга», а также предубежденное и неадекватное истолкование той и другой не могли не вызвать у него безнадежно скептической реакции. После прочтения первой из двух статей Э. Форкада в письме к жене от 21 апреля / 3 мая 1854 г. он отмечал бесперспективность возможного диалога и ответов на эмоциональные доводы автора, поскольку «для слова, мысли, рассуждения необходима нейтральная почва, а между ними и нами не существует ныне ничего нейтрального... Разрыв совершился, и он будет с каждым днем все более чувствительным. Уже давно можно было предчувствовать совершившееся. Было ясно, по крайней мере для тех, кто признавал, что эта бешеная

ненависть, эта ненависть цепного бульдога, которая уже в течение тридцати лет все разрасталась на Западе против России, которая возмущалась тем, что, казалось бы, должно было ее успокоить, эта ненависть, говорю я, должна была в один прекрасный день порвать свою цепь» (СН. 1915. Кн. 19. С. 203–204).

Письма Тютчева 1854 г. активно использовал и другой французский публицист, Ш. де Мазад, также находя в них выражение «тайных и далекоидущих видов политики России с ее безмерными претензиями и захватническими устремлениями», для воспрепятствования которым Франции следует объединиться с Германией и отвести от Европы эту угрозу (*RDM*. 1854. Vol. 6. 14 juin. P. 1280).

Уже в разгар Крымской войны, сразу же после кончины Николая I, Тютчеву неожиданно адресует письмо П. С. Лоранси, один из самых активных критиков его статьи в *RDM*. «Лоранси, — пишет Р. Лэйн, — обезоруживающе обращается к Тютчеву как к своему товарищу по мысли: “...во время войны философ не бывает обречен подчиняться предубеждениям гражданина”. Он ссылается на то, что

его письмо написано “с точки зрения более высокой, чем обычные соображения политики”. Под предлогом объяснения того, что он эвфемистически называет “непопулярностью” России на Западе, он указывает на гнет православия в стране. Лоранси призывает Россию обратиться к католицизму и тем самым быстро положить конец Крымской войне. В противном случае Россия по-прежнему будет оставаться “вне движения именно христианской цивилизации”. Единственный путь для России — это прекратить войну и таким образом “реабилитировать” Восточный мир. В заключение Лоранси заявляет: “Новый мир возникнет; и великим и благословенным будет имя того государя, который первым приложит руку к этому делу единства и свободы; никто другой не будет более прославлен в истории со времен Константина «Великого»”. Такая неловкая попытка повлиять на нового главу Российской империи, Александра II, могла вызвать у Тютчева только презрение» (ЛН-1. С. 244).

В такой форме П. С. Лоранси как бы вновь возражает и Тютчеву, и А. С. Хомякову и напо-

минает о церковно-конфессиональных аспектах, «отодвинутых» в процессе обсуждения тютчевский идей в условиях обострившегося Восточного вопроса и связанной с ним религиозно-политической проблематики. И. С. Гагарин в изданной им в 1856 г. брошюре «La Russie sera-t-elle catholique?» («Станет ли Россия католической?») переиначивает логику Тютчева и меняет местами плюсы и минусы в оценке основных положений его статьи в *RDM*. «Перефразируя слова Тютчева, — отмечает Р. Лэйн, — Гагарин говорит о христианской церкви: “...недостаточно, чтоб она была единой и вселенской, нужно еще, чтобы она была независимой <...> Действительная борьба существует лишь между католицизмом и революцией <...> Два принципа противостоят друг другу — революционный принцип, по самой сути своей антикатолический, и принцип католический, по самой сути своей антиреволюционный”. Усматривая в тютчевской утопии славянско-православной Державы экспансионистские интенции, Гагарин ставит его аргументацию с ног на голову. Он осуждает его идеи как “политические доктрин-

ны, весьма радикальные, весьма республиканские, весьма коммунистические”, усматривая в них “восточную формулу революционной идеи XIX века”. Гагарин заключает призывом, обращенным к Восточной церкви, — вернуться в лоно церкви католической» (там же). Примечательно отношение к подобным призывам В. С. Печерина, ставшего католическим монахом и как бы совпадающего в своих оценках и выводах с Тютчевым, а не с И. С. Гагариным. В мыслях последнего, отмечает В. С. Печерин в письме Ф. В. Чижову от 3 июля 1873 г., звучит «один и тот же напев: “Вне Католичества несть спасения для России”. Какая галиматья! — Именно теперь, когда все католические племена приняли революционное направление и когда высшие духовные власти беспрестанно подстрекают народ к восстанию против предержавных гражданских властей» (РГАЛИ. Ф. 130. Оп. 1. Ед. хр. 76 а).

Отвечать И. С. Гагарину публично взялся А. С. Хомяков, опубликовав в 1858 г. в Лейпциге на *фр. яз.* свою работу «Encore quelques mots par un chrétien orthodoxe sur les communions

occidentales à l'occasion de plusieurs publications religieuses, latines et protestantes» («Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу некоторых религиозных сочинений, латинских и протестантских»). Эта публикация возвращала одновременно и к полемике с П. С. Лоранси, возбужденной ст. в *RDM*. А. С. Хомяков вновь акцентирует богословско-церковную сторону дискуссии, вспоминая свою первую брошюру, и настаивает на том, что «Церковь есть откровение Святого Духа, даруемое взаимной любви христиан, той любви, которая возводит их к Отцу через Его воплощенное Слово, Господа нашего Иисуса. Божественное назначение Церкви состоит не только в том, чтобы спасти души и совершенствовать личные бытия: оно состоит еще и в том, чтобы блюсти истину откровенных тайн в чистоте, неприкосновенности и полноте через все поколения, как свет, как мерило, как суд» (Хомяков 1994. С. 172). Католичество же со своим догматическим и социально-политическим рационализмом и недостаточной проявленностью нравственного закона, «за-

мещая» соборную Вселенскую Церковь «римским верховноначалием», не следует этому предназначению, является «древнейшей формой протестантства» и естественно порождает его в виде Реформы XVI в. в Германии (со всеми вытекающими в последующем революционными следствиями). А. С. Хомяков упрекает И. С. Гагарина за то, что тот оставляет в стороне обсуждение фундаментальных вопросов веры и истины (на основе уяснения которых только и возможно искомое единство), заводя речь о земных выгодах союза между папой, императором и русской Церковью и католизации России, смешивая религию и политику. Обвинения же «ретивых защитников православия» в скрытой революционности автор лейпцигской брошюры квалифицирует как донос.

Разнообразные прямые и косвенные отклики, расходившиеся после публикации тютчевской статьи в *RDM*, в 1857 г. достигли Англии, где лондонский католический журнал «The Rambler» (Vol. XI) опубликовал статью «The Russian Church» («Русская Церковь» — *англ.*). В ней шла речь о вышедшей в

Брюсселе анонимной брошюре, рассматривавшей сочинения И. С. Гагарина и привлекаящей к обсуждению обширные выдержки из статьи Тютчева в *RDM*. Автор брошюры пытается увидеть в Тютчеве сторонника воссоединения Восточной и Западной Церквей и заключает: «Если латинцы искренно желают примирения, они должны отказаться от своего заносчивого и властного тона <...> Россия ничуть не хуже Франции» (цит. по: *ЛН-1*. С. 245). Автор же статьи в своих комментариях был более осторожен и считал полезным для Восточной церкви сделать первый шаг в примирении с Римом. В 1858 г. немецкий журнал «Historisch-Politische Blätter für das katholische Deutschland» (Bd 41) подверг порицанию мнение брюссельской брошюры и поддержал позицию «The Rambler». О том, как развивалась эта полемика, а также завершалась дискуссия в целом вокруг «Папства и Римского вопроса», пишет Р. Лэйн: «Немецкий журнал вступает в спор следующим замечанием: “Никто не ошибется, если увидит в ней [брошюре] истинно русское вдохновение, связанное, возможно, с именем, которое на следующих

страницах будет часто называться». Поскольку на следующих страницах повторяется только имя Тютчева, эти слова намекают на то, что будто бы Тютчев сам является автором или инициатором брюссельской брошюры. Странно, что у журнала возникло такое подозрение, ибо в брошюре содержатся весьма лестные высказывания о статьях Тютчева с раскрытием имени автора, что со стороны Тютчева было бы нескромно» (ЛН-1. С. 245). Обозреватель журнала подозревает Тютчева и в тайном стремлении разрушить «всю свободную и независимую организацию римско-католической церкви», заключая: «Пока история католической церкви воспринимается русским статским советником как порождение произвола и как мать революции <...> утрачивается нечто очень важное — подлинное понимание церкви <...> Нам всегда казалось, что упорство в расколе имеет своей настоящей причиной отклонение от истинной идеи церкви: легко определить, что подобное отклонение нашло свое наиболее сильное выражение в записке Тютчева» (там же. С. 246–247). Данный вывод показывает, сколь

устойчивым в процессе полемики оставалось неадекватное истолкование тютчевской логики, поскольку именно «подлинное понимание церкви» и связанных с ним онтологических, догматических, историософских, антропологических, духовных, нравственных вопросов составляет, как и у А. С. Хомякова, фундамент его мысли, определяющий социально-политические построения. Перестановка «базиса» и «надстройки» и преувеличенное внимание ко второй без учета (и в ущерб) первого и приводила немецкого обозревателя (как и П. С. Лоранси, и И. С. Гагарина) к подобным умозаклучениям. «Это, насколько удалось установить, — отмечает Р. Лэйн, — последний значительный отклик на тютчевскую статью о папстве. В 1862 г. еще раз ополчится против нее неистощимый Лоранси в книге “Le Pape et le Czar” (“Папа и царь”). В 1863 г. лондонский “The Times” назовет Тютчева “московским Ювеналом”. Двумя днями позже это будет подхвачено Герценом в его статье с нападками на стихотворение Тютчева “Его светлости князю А. А. Суворову”. В 1864 г. отзовется на “Папство...” немецкий

публицист А. Пихлер. В 1867 г. польский журналист Ю. Клячко вспомнит о резонансе, вызванном в свое время этой статьей. Он охарактеризует Тютчева как “любопытный тип представителя русского общества”, “московского Исайю”. В 1873 г. Л. Боре упомянет о газетной шумихе, связанной с “Папством...”, и процитирует несколько строк из “России и Революции”, назвав их “замечательными во всех отношениях”. Но к этому времени политические статьи Тютчева уже теряют остроту злободневности и становятся достоянием истории» (там же. С. 247).

...неумолимой логике, вносимой Богом, как тайное правосудие, в события сего мира. — Убеждение Тютчева в том, что в исторических событиях и эмпирической жизни сокрыта высшая божественная зависимость и упорядоченность, не раз выражалось в его стихах: «Мы ждем и верим Провиденью — / Ему известны день и час...» («Славянам», 1867); «По Всемогущему призыву / Свет отделяется от тьмы...» («Ю. Ф. Абазе», 1869) и т. д. Следовательно, истинное призвание человека и наро-

да заключается в том, чтобы идти к «таинственной мете», постичь «правду Бога», обрести высшее сознание «путей небесных» (стих. «Как дочь родную на закланье...», 1831; «Неман», 1853; «Хотя б она сошла с лица земного...», 1866 и др.). В противном случае богоотступничество само в себе несет наказание, рано или поздно, всем ходом истории и внутренней логикой событий «свершается заслуженная кара за тяжкий грех, тысячелетний грех...» («Свершается заслуженная кара...», 1867). Вместе с тем, по свидетельству дочери Анны Федоровны, Тютчев иногда выражал сомнение в провиденциальном характере истории, заявляя в отчаянии, что «мир движется идеями и произволом людей», т. е. столь губительным и неприемлемым для него «самовластием человеческого я». В возражении А. Ф. Тютчевой на эти сомнения угадывается ее влияние на обозначенные выше убеждения отца: «Но когда знаешь, что Провидение не только поэтическая метафора, начинаешь понимать, что все на свете имеет скрытую причину и цель» (ЛН-2. С. 265). Такое понимание неоднократно подчеркивается Тютчевым. По-

этому представляется неправомерным чересчур однозначное акцентирование в его мировоззрении идеи всемогущего античного Рока: «Тютчевское ощущение бытия человека — и личного, и исторического — трагично. Человек обречен и в более широком плане (как бы ни определить тяготеющую над ним силу: Рок, Всеобщая Необходимость или иногда у Тютчева даже Всеобщее Бессмыслие), и в более узком, личном (судьба, жребий отдельного человека)» (Петрова И. В. Мир, общество, человек в лирике Тютчева // *ЛН-1*. С. 45). На самом деле языческое понимание Судьбы не перевешивает в творчестве Тютчева христианских представлений о Божественном Промысле. К тому же, вырастая из юношеского «горацианства», поэт все более критически относился к «мысли греков» («история ошибок и неудачных попыток стать в области мышления на почву твердую») и противопоставлял «христианскую цивилизацию» «римскому варварству». П. Я. Чаадаев в «Философических письмах» подверг уничтожающей критике античное мировоззрение и его носителей как «страну обольщения и ошибок, откуда гений

обмана так долго распространял по всей земле соблазн и ложь» (см. об этом: Тарасов Б. Н. Цена веков // Чаадаев П. Я. Цена веков. М., 1991. С. 15–17).

Глубокий и непримиримый раскол, веками подтачивающий Запад... — Подразумевается борьба между первосвященниками и императорами, католицизмом и протестантизмом, христианством и революцией.

...свершившимся на наших глазах в Риме... — Речь идет о революционных событиях 1848–1849 гг. в Италии и о двусмысленной роли в них католического духовенства и римского первосвященника.

...кроме разве что Англии... — Имеется в виду одно из направлений в протестантизме Англии — англиканство, зародившееся в период Реформации после разрыва местной католической церкви с Римом и сложившееся как «средний путь» между римским католицизмом и континентальным протестантизмом во время царствования королевы Елизаветы I (вторая пол. XVI в.). В области догматики и обряда в англиканстве существовало определенное размежевание между «высо-

кой» (близкой к католицизму) и «низкой» (сугубо протестантской) церковью. Именно в среде «высокой» церкви в 30-40-х гг. XIX в. наблюдались известный подъем и особая активность англиканских богословов (Э. Пьюзи, Дж. Ньюмен, Г. Мэннинг, Дж. Кэбл и др.), вошедших в так называемое Оксфордское движение.

...идолопоклонство западных людей перед всем, что является формой, формулой и политическим механизмом. — Это идолопоклонство, «последнюю религию Запада», Тютчев выводит из более фундаментального, связанного с революционным принципом «самовластия человеческого я» и вытекающими из него глобальными рационалистическими и индивидуалистическими тенденциями. В этом плане Тютчев опять-таки обнаруживает типологическое единство с теми русскими писателями и мыслителями, кто был озабочен духовным оскудением человека в ходе исторического развития отмеченных идолопоклонств. «Весь частный и общественный быт Запада основывается на понятии о индивидуальной, отдельной независимости, предпола-

гающей индивидуальную изолированность. Оттуда святость внешних формальных отношений, святость собственности и условных постановлений важнее личности» (Киреевский. С. 147). Достоевский оценивал условные политические и общественные механизмы как несвятые святыни, законнический формализм которых скрывает и тем самым еще более укрепляет эгоистическую природу индивида, «съедая» все, что не вмещается в его рамки и относится к высшим, созидающим личность, началам (любовь, совесть, милосердие, благородство, справедливость, честь, достоинство и т. п.). По убеждению Тютчева, именно нравственная ослабленность и духовная необеспеченность либеральных и полулиберальных установлений, их замаскированное произрастание из темных корней эгоцентризма и открывают широкие двери, как он пишет далее, для быстрых захватов революции.

...выступает, подобно солнцу, промыслительная логика, управляющая силой внутреннего закона событиями мира. — Ср. также уподобление солнцу промыслительной ло-

гики в стих. «Песнь Радости» (Из Шиллера) (1823): «... Великий Бог! Жизнь миров и душ светило!». Это уподобление восходит к «Солнцу правды» в тропаре «Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».

Скоро исполнится восемь веков с того дня, как Рим разорвал последнее звено, связывавшее его с православным преданием вселенской Церкви. — Имеется в виду 1054 г., когда произошло окончательное разделение между Западной и Восточной Церквами.

Догматические различия, отделяющие Рим от православной Церкви, известны всем. — Тютчев имеет в виду прежде всего *filioque* — букв. «и от сына» (лат.). Сформулированное впервые на Толедском церковном соборе в 589 г. добавление к христианскому Символу веры, согласно которому Святой Дух исходит от Бога Отца. Добавление же заключалось в утверждении, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Православная Церковь не приняла этого добавления, что явилось одним из поводов к разделению в 1054 г. христианства на западное и восточное. Среди других догматических

различий следует отметить положения о неприкосновенности греха к природе Богоматери, а также о главенстве папы (впоследствии и его непогрешимости) в Церкви Христа. Среди отличительных особенностей католического учения необходимо подчеркнуть его своеобразное пелагианство (Пелагий — британский монах IV–V вв., утверждавший, что человек может самостоятельным усилием восходить до Бога), в котором умалялась роль Спасителя и Благодати и преувеличивались возможности и заслуги изначально испорченного первородным грехом человека. Этот антропоцентрический крен и приводил (о чем пишет далее Тютчев) к пониманию Царства Христова как царства мира сего. Политико-государственные притязания пап со всеми их злоупотреблениями, чересчур мирские устремления в некоторых монашеских орденах, применение юридического взгляда на отношение человека к Богу и т. п. превращали Церковь в «слишком человеческий» институт.

...*Церковь Одна...* — Этими словами называется и богословское сочинение А. С. Хомяко-

ва, которое вместе с его ответом П. С. Лоранси в связи со ст. «Римский вопрос» могло бы пояснить мысль Тютчева. Речь идет о Вселенской Церкви любви, свободы и истины во главе с Иисусом Христом, которая только в отношении к человеку делится на видимую и невидимую, а в историческом плане (после многих расколов и отпадений) сохраняет верность своим догматам на православном Востоке. Когда же исчезнут ложные учения и ереси, тогда отпадет необходимость в наименовании «православной», ибо не будет неистинного христианства. «Церковь называется *единою, святою, соборною* (католическою и вселенскою), *апостольскою*, потому что она едина и свята, потому что она принадлежит всему миру, а не какой-нибудь местности, потому что ею святятся все человечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ или одна страна, потому что сущность ее состоит в согласии и в единстве духа и жизни всех ее членов, по всей земле признающих ее, потому, наконец, что в Писании и учении апостольском содержится вся полнота ее веры, ее упований и ее любви» (Хомяков

1994. С. 7).

...пропасти <...> между двумя мирами, между двумя <...> человечествами, пошедшими под двумя разными знаменами. — Имеется в виду глубинное различие в историческом развитии России и Запада, обусловленное разделением христианства на православное и католическое.

Иисус Христос сказал: «Царство Мое не от мира сего». — В этих словах Иисуса Христа, обращенных к Понтию Пилату (Ин. 18, 36), выражено противоположное всяким «гуманизирующим» и «адаптирующим» представлениям понимание христианства, которое уточнено в Нагорной проповеди: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут...» (Мф. 6, 19–20). По убеждению Тютчева, перенесение центра тяжести с «сокровищ на небе» на «сокровища на земле» склоняет историю на путь губительного антропоцентризма с его разнообразными иллюзиями и злоупотреблениями, кон-

кретные проявления которых он отмечает в своей статье.

А между этими двумя смыслами лежит расстояние, отделяющее божественное от человеческого. — Тема соотношения «божественного» и «человеческого», «сверхъестественного» и «естественного» начал в природе и истории лежит в основании историософии Тютчева, который видел в протестантизме движение к антропоцентрическому, материалистическому и атеистическому пониманию бытия, к нигилистическому торжеству «человеческого» и «природного».

Рим, и правда, поступил не так, как Протестантизм, и не упразднил Церковь как христианское средоточие в угоду человеческому я, но он поглотил ее в римском я. — По мысли Тютчева, протестантизм, выступая против «конфискаций», «захватов», злоупотреблений и искажений христианства в католичестве, вместе с водой выплескивал и ребенка, отказываясь от ценности живого церковного опыта, от Предания, постановлений Вселенских Соборов, творений Отцов Церкви, большинства таинств, почитания икон и т. п. и опи-

рался на зыбкую почву «человеческого я», произвольного разумения, ограниченного индивидуального рассудка, что как бы освящало своеволие и эгоцентризм, создавало условия для произрастания «антихристианского рационализма» и революционных принципов. В стих. «Я лютеран люблю богослуженье...» (1834) Тютчев говорит о драме «высокого ученья» христианства в протестантизме, голый и пустой храм которого как бы символизирует переход от распадающейся веры к господству атеистического сознания. Несмотря на внешнее противоборство протестантского и римского я, он обнаруживает у них общий корень в разных проявлениях не только отделения божественного от человеческого, но и растворения первого во втором.

...страшную, но неоспоримую связь сквозь разные времена между зарождением Протестантизма и захватами Рима. — В установлении и характеристике этой связи Тютчев полностью сближался со славянофилами. «Связанная с бытом житейским и языческим на Западе, — писал А. С. Хомяков, — она (римская Церковь. — Б. Т.) долго была темною и

бессознательною, но деятельною и сухо-практическою; потом, оторвавшись от Востока и стремясь пояснить себя, она обратилась к рационализму, утратила чистоту, заключила в себе ядовитое начало будущего падения, но овладела грубым человечеством, развила его силы вещественные и умственные и создала мир прекрасный, соблазнительный, но обреченный на гибель, мир католицизма и реформатства» (Хомяков 1988. С. 49). Глубокое искажение христианского принципа в римском устройстве, пишет Тютчев далее, отрицание «божественного» в Церкви во имя «слишком человеческого» в жизни и послужило связующим началом между католичеством и протестантизмом. «Протестантизм сказал последнее слово папизма, — подчеркивал архимандрит Иларион Троицкий, — сделал из него конечный логический вывод. Истина и спасение даны любви, то есть Церкви — таково церковное сознание. Латинство, отпав от Церкви, изменило этому сознанию и провозгласило: истина дана отдельной личности папы, — пусть одного папы, но всё же отдельной личности без Церкви, — и папа же заве-

дует спасением всех. Протестантизм только возразил: почему же истина дана одному лишь папе? — и добавил: истина и спасение открыты всякой отдельной личности независимо от Церкви. Каждый отдельный человек был произведен в непогрешимые папы. Протестантизм надел папскую тиару на каждого немецкого профессора и со своим бесчисленным количеством пап совершенно уничтожил идею Церкви, подменил веру рассудком отдельной личности и спасение в Церкви подменил мечтательной уверенностью в спасение через Христа без Церкви, в себялюбивой обособленности от всех» (Архимандрит Иларион (Троицкий). Христианства нет без Церкви. М., 1992. С. 7).

Революция, представляющая собой не что иное, как апофеоз того же самого человеческого я... — См. коммент. к ст. «Россия и Революция». С. 324.*

...не преминула признать за своих и приветствовать как двух славных учителей не только Лютера, но и Григория VII. — Основатель немецкого протестантизма Мартин Лютер (1483–1546), обвиненный Римом в ереси и

публично сжегший в 1520 г. осуждавшую его папскую буллу, привлекал революционеров антицерковной оппозиционностью, радикальной критикой официального католического учения, индивидуалистическим бунтарством единоспасающей «личной веры». Подобные же свойства, но уже направленные, напротив, на укрепление католицизма и соединенные с волей к власти и тайным тактическим маневрированием, были присущи и папе-реформатору Григорию VII Гильдебранду (ок. 1020–1085), возглавлявшему римский престол в 1073–1085 гг. На протяжении 20 лет, находясь рядом с предшественниками, он готовил обновление церковной жизни, получившее по его имени название григорианской реформы: предполагались суровые наказания для духовенства за нарушение безбрачия, а также за продажу и покупку своих должностей, лишение светских властей права на инвеституру, т. е. на назначение, смещение и перевод епископов, запрет верующим причащаться у женатых или корыстолюбивых священников и т. п. Свою программу Григорий VII сформулировал в «Диктате

папы», в соответствии с которым и светская власть подчинялась «наместнику Бога на земле», никому неподсудному, имеющему исключительное право именоваться вселенским епископом, выбирать и короновать императора.

...три звена этого ряда... — Т. е. католицизм — протестантизм — революция, образующие триединый фундамент европейской цивилизации и способствующие «апофеозу» отделяющейся от Бога личности с ее вне- или антихристианскими (в логическом завершении) принципами. В гегельянстве, особенно в левом, три звена этого ряда трактовались в смысле, обратном тютчевскому. Так, в сочинении 1840 г. «Gegenwart und Zukunft Europas» («Современное состояние и будущее Европы»), от которого мог полемически отталкиваться Тютчев, А. Руге противопоставлял романо-германское начало славянскому как свободу и неволю, историческое развитие и застойное прозябание, а положительное значение первого для всего человечества определял как эволюцию от Реформации, принесшей духовное раскрепощение, и Французской

революции, давшей политическую свободу, к объединению Пруссии и германских государств как «центральной европейской нации». Если Ж. де Местр разводил три звена этого ряда и, в отличие от А. Руге, противопоставлял первое из них двум другим как положительное отрицательным, то в русской религиозно-консервативной мысли взаимосвязь католицизма, протестантизма и революции истолковывалась именно в тютчевском духе. Об исторической и типологической связи протестантизма и атеизма, католичества и революции (на основе духовного материализма, искажения христианства, устранения из него Христа и насильственного объединения человечества) размышлял Ф. М. Достоевский в очерке «Три идеи», так же, как и Тютчев, противопоставляя западным «звеньям» православно-славянские основы иной цивилизации (Достоевский. Т. 25. С. 5–9). Он же еще раньше, намечая план соответствующей статьи и ссылаясь на А. С. Хомякова, как и Тютчев, подчеркивал: «Доказать, что папство гораздо глубже и полнее вошло во весь Запад, чем думают, что даже и бывшие рефор-

мации есть продукт папства, и Руссо, и французская революция — продукт западного христианства и, наконец, социализм со всей его формалистикой и лучиночками — продукт католического христианства» (ЛН. 1971. Т. 86. С. 244). Ср. также сходную мысль А. С. Хомякова: «...Западная Европа развивалась не под влиянием христианства, но под влиянием латинства, т. е. христианства, односторонне понятого, как закон внешнего единства. Тот, кто понимает историю, может легко усмотреть постепенное развитие этого начала в идее всехристианства (*tota Christianitas*), понятого как государство, в борьбе императоров и пап, в крестовых походах, в военно-монашеских орденах, в принятии одного церковно-дипломатического языка (латинского) и т. д. Он увидит, что и вся жизнь Запада была проникнута этим началом и развивалась в полной зависимости от него, в иерархии феодальной, в аристократизме, в понятии о праве, в понятии о государственной власти и т. д.» (Хомяков 1988. С. 200). Ю. Ф. Самарин, которого Тютчев относил к умнейшим людям и предисловие которого к богословским трудам А. С. Хо-

мякова называл «замечательной вещью», подчеркивал в этом предисловии: «Прежде, мы видели перед собою две резко определенные формы западного христианства, а между ними Православие, как бы остановившееся на распутии; теперь же мы видим Церковь, иначе живой организм истины, вверенной взаимной любви, а вне Церкви — логическое знание, отрешенное от нравственного начала, то есть рационализм, в двух моментах его развития, а именно: рассудка, хватающегося за призрак истины и отдающего свободу в рабство внешнему авторитету, — это Латинство, и рассудка, доискивающегося самодельной истины и приносящего единство в жертву субъективной искренности, — это Протестанство <...> Кажется, при свете происходящего на наших глазах, пора наконец уразуметь, что Латинство и Протестанство и вся выработанная ими система доказательств не более как проводники к неверию и что все, нами отсюда заимствованное, обращается нам же на пагубу, подавая рационализму единственное оружие, какое только он может с успехом обратить на нас» (Хомяков 1900. Т. 2. С. XXX,

XXXIV). По мнению исследователя, «мысль Тютчева, что *средоточием* жизни в христианстве служит Церковь, что Рим право, принадлежащее одной только Церкви, конфисковал в пользу папы, что Протестантство, переноса на каждую личность узурпированные папою права, лишь расширило сферу действия рационалистического начала, выдвинутого впервые Римом, что Римская Церковь организовалась по образу государства, — все это излюбленные мысли Хомякова» (Завитневич В. З. Алексей Степанович Хомяков. Киев, 1902. Т. 1. Кн. II. С. 1259–1260). Сам А. С. Хомяков в постановке религиозного вопроса как основополагающего для истории как Запада, так и России отдавал первенство Тютчеву.

Она стала учреждением, политической силой — Государством в Государстве. — Эту мысль Тютчева обсуждал П. Я. Чаадаев, оправдывая превращение Западной Церкви в «политическую силу», в «государство в государстве». Без такого превращения, обусловленного, как считает Чаадаев, исторической необходимостью, обществу и цивилизации угрожала бы гибель от наступления мощных

сил варварства, с которыми более покорная властям, более духовная и более совершенная Церковь могла бы не справиться. Таким образом, светское могущество римских первосвященников оказалось неизбежным историческим результатом, который для них явился сначала тяжелым испытанием, но которым они затем злоупотребили из-за «вечных законов человеческой природы» (Чаадаев. С. 452–453). По Тютчеву же, отсутствие в католицизме целенаправленной воли к преобразению темной основы человеческой природы и соответствующие злоупотребления приводили как раз к саморазложению христианства, к ослаблению его подлинной созидательной роли в ходе истории.

В этом устройстве зародилось и столкновение притязаний, вражда интересов, что не могло не привести вскоре к ожесточенной схватке между Священством и Империей «...» поистине нечестивому и святотатственному поединку... — Устроение католической Церкви как политической силы неизбежно выливалось в борьбу за абсолютное верховенство. В VIII в. при папе Стефане II утверждает-

ся его право на обладание светской властью. С XI в. папы распространяли влияние не только на духовенство, но и на императоров. «Диктатом» Григория VII верховенствующий римский епископ признается единоличным, никому не подсудным правителем Церкви. К XII в. при Иннокентии III борьба пап за главенство над светской властью достигла триумфа, когда английский король и другие монархи признали себя его вассалами. Иннокентий III заявлял, что от папской курии должен зависеть в конечном итоге выбор императора, что папы имеют право вмешиваться во все дела светской власти во всех католических государствах: «Подобно тому, как Бог-создатель вселенной установил два великих светила в тверди небесной: большее, дабы днем руководило, меньшее же — ночью, так и в тверди церкви вселенской... он установил два великих достоинства — большее, дабы, подобно дням, душами руководило, и меньшее, которое, подобно ночам, руководило бы телами: таковы — папское полновластие (auctoritas) и королевское могущество (potestas). И затем — так же, как луна свет

свой получает от солнца, она же меньше и качественно и количественно, но одинакова по положению и действию, так и королевское могущество от папского полновластия получает сияние своего достоинства» (цит. по: Рамм Б. Я. Папство и Русь в X–XV веках. С. 92). Однако усилиями французского короля Филиппа IV Красивого и немецкого Людвига Баварского всеилие папства было поставлено в зависимость от монархов, выразительным проявлением которой стало почти семидесятилетнее Авиньонское пленение пап (1309–1377). На Базельском соборе (1431) светская власть пап получила узаконенное ограничение.

...столько злоупотреблений, насилий, гнусностей, копившихся веками для подкрепления вещественной власти... — Соблазны, возникавшие в ходе борьбы католического духовенства за мирскую власть, приводили не только к крестовым походам или кострам инквизиции, но и к продаже церковных должностей и духовного сана, торговле отпущениями грехов и т. п. Все это накапливало подраэумеваемые «гнусности», которые с особой

силой выливались наружу в эпоху Возрождения и выражались в неистовых оргиях в храмах и монастырях (см. об этом: Обратная сторона титанизма // Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982. С. 120–138). Ярким примером развращенности нравов среди высшего духовенства того времени может служить папа Александр VI Борджиа, при котором ни один кардинал не назначался без большого денежного взноса и который не только имел четырех незаконных детей, но и сожительствовал со своей дочерью Лукрецией, бывшей также любовницей его брата Цезаря. В своей статье Тютчев как бы спорит и с А. де Кюстин-ном, «забывшим» подобные «гнусности» и утверждавшим прямо противоположное: «Римская церковь в одинокой своей борьбе спасла чистоту веры, отстаивая по всей земле, с возвышенным благородством, с героическим терпением и нестигаемою убежденностью, независимость духовенства против посягательства всех и всяческих мирских властей. Где найти церковь, которая не дала бы тем или иным земным правителям принизить себя до положения духовной полиции?

Такая церковь только одна — католическая; ценою крови мучеников она сберегла себе свободу, вечный источник жизни и могущества. Будущее всего мира принадлежит ей, ибо она сумела остаться беспримерно чиста» (Кюстин. Т. 2. С. 437).

...предоставленное самому себе человеческое я по своей сущности является антихристианским. — В представлении Тютчева забывший Бога и лишенный своих мистических корней человек утрачивает высшую нравственную норму бытия, подлинную свободу, теряет способность различения добра и зла, становится «бешеным» («между Христом и бешенством нет середины») и обречен на тупиковое развитие. Мысль о судорогах существования и иудиной участи отрекшегося от Бога и полагающегося на собственные силы, не преображенного благодатью «человеческого я» неоднократно подчеркивалась поэтом в его письмах.

Первая французская революция «...» положила почин возведению антихристианской идеи на престол правительственного управления... — См. коммент. к ст. «Россия и Рево-

люция». С. 323–324*.

Речь идет, несомненно, о догмате верховной власти народа. — В свете высшей божественной легитимности дехристианизированные республиканские принципы представлялись Тютчеву фиктивными, скрывающими разрушительное и количественно увеличенное «самовластие человеческого я». На этот пункт публикации (в целом высоко оценивая ее) отреагировал А. С. Хомяков в письме А. Н. Попову: «За одно попеняйте ему, за нападение на *souveraineté du peuple* (верховная власть народа — *фр.*). В нем действительно *souveraineté suprême* (верховная власть — *фр.*). Иначе что же 1612 год? И что делать Мадегасам, если волею Божию холера унесла семью короля Раваны? Я имею право это говорить, потому именно, что я анти-республиканец, анти-конституционалист и проч. Само повиновение народа есть *un acte de souveraineté* (акт верховной власти — *фр.*)! А все-таки статья Ф. И. Т. есть не только лучшее, но единственное дельное, сказанное об европейском деле, где бы то ни было. Скажите ему благодарность весьма многих» (Хомяков 1900.

Т. 8. С. 200–201). В понимании А. С. Хомякова противоречия между верховной властью народа и самодержавием снимаются: народ принадлежащую ему верховную власть добровольно передает сменяющимся государям и вновь вступает в свои права только тогда, когда прекращается династическое престолонаследие (например, избрание династии Романовых после династии Рюриковичей).

...«Кто не со Мною, тот против Меня». — Слова Иисуса Христа, обращенные к фарисеям (Мф. 12, 30).

...будто лишенная всякого сверхъестественного освящения нравственность достаточна для исполнения судеб человеческого общества. — Здесь Тютчев также выражает общую для христианского сознания мысль о том, что без органической связи человека с Богом историческое движение деградирует в результате господства материально-эгоистических начал над духовно-нравственными. Именно в таком господстве, например, видел П. Я. Чаадаев принципиальную причину непрочности и недолговечности старых языческих цивилизаций, изнутри своей внешней

мощи и кажущегося процветания никак не подозревавших о подспудном гниении и грядущем распаде. По логике философа только при прямом и постоянном воздействии «христианской истины» создается естественное первенство духовного над материальным и соответственно происходит «воспитание человеческого рода», делается возможным истинное приращение общественного благоустройства. В том же ключе высказывается и Ф. М. Достоевский: «При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, *ибо она же и создавала ее*. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью <...> А стало быть, “самосовершенствование в духе религиозном” в жизни народов есть основание всему, ибо самосовершенствование и *есть исповедание полученной религии*, а “гражданские идеалы” сами, без этого стремления к самосовершенствованию, никогда не приходят, да и зародиться не могут <...>

Когда же утрачивается в национальности потребность общего единичного самосовершенствования *в том духе, который зародил ее*, тогда постепенно исчезают все «гражданские учреждения», ибо нечего более охранять» (Достоевский. Т. 26. С. 165–166).

...подобного зрелища, которое представляла несчастная Италия в последнее время... — Речь идет о борьбе за национальную независимость, демократические преобразования и государственное объединение Италии в 1848–1849 гг. Тютчев рассматривал эту борьбу как составную часть общемирового процесса, в ходе которого созидательные принципы христианского единства растворяются в революционных началах «самовластия человеческого я» и его разнообразных воплощениях.

В условиях разрушения созданных умеренными либералами мифов о Пии IX и Карле Альберте как духовном и военном вождях Италии политическую инициативу осенью 1848 г. перехватили радикальные демократы. Выдвинутая ранее Д. Мадзини идея созыва общеитальянского Учредительного собрания нашла широкий отклик в стране. Складывав-

шаяся обстановка вынудила герцога Тосканы Леопольда объявить главой правительства республиканца Д. Монтанелли и скрываться в неаполитанской крепости Гаэте. Туда же был вынужден бежать из республиканизующегося Рима, назначив более либеральное правительство, и Пий IX. Подъем республиканского движения заставил короля Пьемонта прервать перемирие и в марте 1849 г. возобновить безуспешную войну с Австрией. Потерпев поражение и спасая династию, Карл Альберт отрекся от престола, передал правление сыну Виктору Эммануилу II и покинул Италию. Месяцем раньше Пий IX обратился из Гаэты к правительствам Австрии, Испании и Франции с просьбой восстановить светскую власть папы в Римской области. Римская республика оказалась в кольце неаполитанских, австрийских и французских войск и, несмотря на ожесточенное сопротивление, пала 3 июля 1849 г. 22 августа прекратил борьбу и последний очаг революции — осажденная Венеция. Таковы события «последнего времени», представавшиеся взору Тютчева во время написания его статьи.

...целый народ оказался одержим такого рода припадком. — Борьба 1848–1849 гг. за национальную независимость, демократические преобразования и государственное объединение Италии отличалась повсеместным энтузиазмом, включала самые широкие слои населения — от студентов и крестьян до профессоров и священников. А. И. Герцен, посетивший Италию в этот период, недоумевал: «Как это случилось, что страна, потерявшая три века тому назад свое политическое существование <...> вдруг является с энергией и силой, с притязанием на политическую независимость и гражданские права, с притязанием на новое участие в европейской жизни?» (Герцен А. И. Письма из Франции и Италии // Герцен. Т. 5. С. 98).

...лозунгом всеобщего и напряженного безумия оказалось имя Папы!.. — Оппозиционное движение в Италии усилилось при вступлении на папский престол в 1846 г. Пия IX, который учредил консультативный совет с участием светских лиц, ослабил цензуру и разрешил сформировать национальную гвардию, а также стремился оседлать революционный

дух времени, заявлял о себе как о противнике обскурантизма и стороннике прогрессивных преобразований, обещал поддерживать научные конгрессы и обеспечивать свободу промышленному развитию. Дарованная им амнистия политическим заключенным встретила повсеместный восторг. Общественное мнение воспринимало его как «друга цивилизации», долгожданного папу-реформатора, основателя новой Италии, посредника между католичеством и демократией. «Крик искреннего восторга, — писал А. И. Герцен, — раздался не только в Церковной области, но во всей Италии; все, уповавшее лучшей будущности, окружило Пия IX; они сделали из доброго, благонамеренного человека — великого понтифика, освободителя Италии, величайшего венценосца в Европе» (там же. С. 105). Тысячные толпы народа следовали за Пием IX в праздничные дни, мужчины и женщины носили шарфы и ленты его цветов, в честь папы сочинялись гимны, а композитор Дж. Россини написал посвященную ему кантату. Еще осенью 1838 г., говоря о послании архиепископа Туринского, где затрагивались разно-

гласия между правительством Пруссии и папским престолом, Тютчев писал в депеше К. В. Нессельроде: «К несчастью, постоянно выступая против духа времени, католическое духовенство не замечает, что оно само поражено им гораздо более серьезно и более глубоко, нежели оно полагает, и то, что оно принимает за проявление религиозного рвения, — по большей части есть не что иное, как проявление того же самого духа мятежа против власти и той же самой ненависти ко всякому ограничению, в коих заключается главная болезнь нашего времени» (цит. по: *Летопись* 1999. С. 195).

...выказывали стремление поклоняться Папе и одновременно старались отделить его от Папства. — В результате Пий IX оказался как бы зажатым между сторонниками конституционного правительства и войны с Австрией, с одной стороны, и последовательными папистами, иезуитами — с другой. Отсюда его стремление «проводить реформы, никого не обижая» и противоречивость поведения. Например, он обещал законодательные и муниципальные реформы в духе последних вея-

ний и одновременно обрушивался на «новый прогресс», предавая проклятию учения, подрывающие светскую власть папы. Уже в первые революционные месяцы Пий IX был вынужден обращаться «к народам Италии» с призывами сохранять верность своим государям, не ввергать страну во внутренние распри и смуты, не участвовать в войне против австрийцев и не создавать единой Итальянской республики во главе с папой. Двойственность его положения улавливал А. И. Герцен: «Конституция Пия хуже неаполитанской, уродливая смесь католической теократии с английским представительством. Папа и святой коллегийум могут отвергать всякое предложение двух камер, инквизиция и доминикальные суды остались; дозволялось печатать все светское без цензуры, но решение вопроса — что светское, что духовное представлялось цензуре; разделение очень трудное там, где министры — кардиналы, где папа — царь, где финансовые меры — чуть не догматы и полицейские распоряжения — оканчиваются эпитимиею. Самое лучшее в конституции было то, что она доказала миру возмож-

ность конституционного папы; впрочем, она доказала это в то время, как мир с своей стороны стал догадываться, что *никакого* папы не нужно» (Герцен. Т. 5. С. 124).

...развязалось наиболее ожесточенное гонение на иезуитов. — Гонения на иезуитов усилились к 1848 г., когда сопротивление нарастающим секулярным тенденциям в Италии заставило клерикальную оппозицию заключить негласный австро-иезуитский союз. Один из теоретиков реформированного папизма философ В. Джоберти называл в пяти-томном сочинении «Современный иезуит» общество иезуитов «великим врагом Италии». Иезуиты выпроваживались из Генуи, Турина, Неаполя и других городов. Когда известие о мартовской революции 1848 г. в Вене достигло Рима, первое требование возбужденной толпы заключалось в их изгнании. Несмотря на защиту Пия IX, правительство было вынуждено закрыть иезуитскую коллегию.

Орден иезуитов... — Католический монашеский орден «Общество Иисуса» был основан в 1534 г. испанским дворянином Игнати-

ем Лойолой. В уставе ордена к трем обычным монашеским обетам (целомудрия, бедности и послушания) добавлялся четвертый — «безропотно и слепо повиноваться папе и его преемникам во всем...». Главная его задача заключалась в борьбе с Реформацией, в защите, укреплении и расширении папской власти, в стремлении распространить католичество во всем мире, «стать всем для всех». Папы даровали ордену исключительные привилегии, согласно которым его члены получали неограниченные права в сфере исповеди и проповеди, могли изменять устав в соответствии с духом времени и местными обстоятельствами, имели возможность заниматься торговлей и банковскими операциями, освобождались от денежных повинностей и т. п. Обособленное положение иезуитов позволяло им утверждать, что они не входят в состав ни белого, ни черного духовенства, а подчиняются лишь постановлениям своей корпорации. Методическая регламентация всех аспектов жизни в «дружине Иисуса» сочеталась со строгими иерархическими отношениями и железной дисциплиной. Миссионерская дея-

тельность иезуитов в Азии, Африке и Америке приобрела огромные масштабы и продемонстрировала подмену ее целей, перестановку «духовного» и «материального». Так, в Мексике орден владел лучшими сахарорафинадными заводами и доходными серебряными рудниками. В Парагвае ему удалось создать целое государство из поселений по нескольку тысяч человек. Отцы ордена своими богатыми коллекциями, собранными в дальних странах, знакомством с языками и обычаями экзотических народов способствовали обогащению науки, распространению в Европе азиатских изобретений. Говоря в целом, иезуиты наиболее полно и отчетливо выразили подчеркнутый Тютчевым принцип смешения религии и политики в католичестве, использования первой для второй с целью увеличения силы и мощи в делах мира сего. Этот принцип признает и историк ордена Кретино-Жоли, пишущий, что иезуиты пытались осуществить сделку между бесконечным совершенством и порочною природой человека. Такая составляющая «проблему», «загадку» ордена сделка укрепляла двусмысленности,

компромиссы и прочие «естественности» жизни, которые и подвергали Церковь «болезням и похотям плоти», «конфисковывали» ее ради текущей выгоды. Это-то и вызывало сопротивление упомянутых Тютчевым искренних христиан, стремившихся к «чистоте», а не «смешению», «идеалам», а не «естественностям», «абсолютам», а не «относительностям».

...многие католики <...> от Паскаля до наших дней — не переставали из поколения в поколение испытывать явное и непреодолимое отвращение к ордену иезуитов. — Полемика Паскаля (1623–1662), французского религиозного мыслителя и ученого XVII в., с иезуитами в его книге «Письма к провинциалу» (сохранившейся в библиотеке Тютчева) отличалась неприкрытым отвращением к ним, которое питалось благочестием, ощущением правды и неприятием какой-либо смеси лжи и истины. Особо резкой критике в «Письмах...» подверглась так называемая казуистика, своеобразная моральная наука иезуитов, оправдывающая греховные поступки человека благими целями с помощью бесконечных юриди-

ческих комментариев и изощренных софистических приемов. Таковым было отношение к иезуитам и Тютчева. Поэтому явным недоразумением выглядит утверждение К. Пфеффеля, что автор «Римского вопроса» «открыто встал на защиту ордена иезуитов, предмета ненависти и всяческих клевет со стороны так называемой либеральной партии, равно как и демагогов...» (Пфеффель К. «Письмо редактору газеты l'Union» // ЛН-2. С. 36).

...глубокую внутреннюю связь между устремлениями, учениями и судьбами ордена с устремлениями, учениями и судьбами римской Церкви... — Связь эта основывалась на общем фундаменте «своеволия», предпочтения «земных» интересов «небесным», сосредоточенности на непросветленной человеческой активности и «политике» в противоположность духовному самоочищению и Богопослушанию. Отмеченная общность, как пишет Тютчев, принимала в деятельности ордена иезуитов «одержимый» и «преступный» характер, что позволяет говорить о нем как о подлинном и сгущенном выражении католи-

чества.

...люди, исполненные пламенной, неутомимой, часто геройской ревности к христианскому делу... — Тютчев имеет в виду прежде всего первоначальный этап миссионерской деятельности иезуитов в Азии, Африке и Америке, когда они проповедовали католическую веру, не страшась зачумленных поселений, охотников за черепами, жестоких гонителей, и нередко принимали мученическую смерть.

«...не Моя воля, но Твоя да будет!». — Слова из молитвы Иисуса Христа: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22, 42).

...зablуждение, укорененное в первородном грехе человека... — Тютчев выводит «своеволие», «самовластие», «апофеоз» человеческого в истории вообще и в католицизме (включая иезуитов) в частности из первородного греха. Согласно библейскому преданию, в основе изначального для всего человеческого рода грехопадения Адама лежала антропоцентрическая гигантомания, выразившаяся в желании его свободной воли соперничать с

Творцом и стать «как боги». Соединение в своевольном жесте первочеловека зависти, гордости, самовозвышения и прообразует несовершенное темное начало человеческой природы, то «немощее и брэнное тело», те «болезни и похоти плоти», которые в католичестве «съедают» и «проглатывают» высокую духовную заданность христианства. В альтернативном плане для Тютчева «менее искаженное» христианство в православии более вменяемо по отношению к радикальным последствиям первородного греха и их отрицательным проявлениям в истории, заботится о преобразении темной основы человеческой природы и предупреждении смешения ее несовершенных качеств с высокими духовными целями и задачами. О первородном грехе как о всеобъемлющей «тайне, объясняющей все и необъяснимой ничем» см. в письме Тютчева А. Ф. Аксаковой (Изд. 1984. С. 359).

...колеблясь между гонениями и триумфом... — Двойственность, загадочность, прикованность к «праху земных интересов» ордена иезуитов вызывали неоднозначную реакцию в разных странах. В 1594 г. его представи-

телей изгнали из Франции, после того как вдохновленный ректором иезуитской коллегии Гиньяром молодой парижанин Шастель пытался заколоть короля Генриха IV. Тем не менее в 1608 г., после долгих переговоров, Генрих IV призвал их вновь из-за опасения новых коварных покушений на его жизнь. Иезуиты были изгнаны из Португалии в 1759 г., как замешанные в покушении на короля Иосифа I, снова из Франции — в 1764 г. из-за злоупотреблений в торговле. В 1773 г. папа Климент XIV распустил орден, но Пий VII в 1814 г. восстановил его. Пять раз изгонялись иезуиты и из России.

...традиционная ненависть к иноземцу, к варвару, к немцу... — См. коммент. к ст. «Россия и Революция» (с. 338–339) и к трактату «Россия и Запад» (с. 436*).*

...людям с незаурядным литературным даром. — Имеется в виду неокатолическое течение, представленное такими именами, как Н. Томмазо (1802–1874) или В. Джоберти (1801–1852). Популярный политик и писатель Н. Томмазо в книге «Новая надежда Италии» призывал духовенство и государей содейство-

вать национальному возрождению и указывал на папу-реформатора как на центральную фигуру этого движения. Являясь одним из крупных мыслителей Италии XIX в., аббат В. Джоберти стал идеологом объединения раздробленных итальянских государств в конфедерацию во главе с римским папой (см. о нем: Эрн В. Философия Джоберти. М., 1916). Политическое и духовное возрождение Италии в общеполитическом плане истолковывалось им, несмотря на местный патриотизм, как преодоление узкополитического психологизма современного Запада и проявление универсальной Идеи, онтологической гражданственности, «пелазгической мудрости». По замыслу В. Джоберти, Италия должна выработать особый творческий принцип общежития, создать «новую теократию», сказать миру спасительное Слово, которое стало бы и условием ее собственного спасения. Красноречиво само название одной из его книг — «О духовном и гражданском первенстве итальянцев» (1843). В противовес идеологам демократии и республиканизма В. Джоберти, как сторонник «неогвельфизма», уповал на

обновленный католицизм и монархические традиции, на восстановление единства церкви и народа, на открытый диалог (а не революционное насилие) между клерикальными, династическими, либеральными, демократическими силами, заинтересованными в укрупнении и усилении Италии. В. Эрн так характеризовал выводы и оценки философско-политических взглядов и идеологии итальянского мыслителя: «Нельзя не подивиться исключительной проницательности и духовной зоркости Тютчева, который в самый разгар стремительных событий 1848–1849 гг., в высший момент политической влиятельности Джоберти, когда восторженные клики в его честь оглашали всю Италию и утопия его вот-вот была готова осуществиться, из поэтической тишины своих европейских странствий сумел с удивительной четкостью поставить диагноз горячке политического джобертианства, охватившего Италию...» (Эрн В. Философия Джоберти. С. 262–263). К политическим деятелям с незаурядным литературным талантом Тютчев мог относить и видного романиста А. Манцони, активного сторонника

объединения Италии и ее культурного возрождения, оказавшего влияние и на В. Джоберти, и на графа Ч. Бальбо, автора книги «Надежды Италии», считавшего возможным создание союза итальянских монархов под верховенством римского папы или сардинского короля.

...под покровительством Понтификата...
— Т. е. под властью и влиянием Римского престола, католического первосвященника, папы (от *лат.* pontifex — жрец).

...в третий раз овладеть мировым скипетром. — Под первыми двумя попытками подразумеваются претензии на универсальное господство языческой Римской империи, после падения которой притязания на «мировой скипетр» второй раз выразились уже в христианском Риме, в борьбе пап с императорами.

...нечто вроде христианского Халифата...
— Халифат — власть халифа, духовного главы мусульман, почитавшегося в качестве преемника Мухаммеда, а также название государств, образованных в VII в. после смерти Мухаммеда. Сторонникам католического воз-

рождения и «Новой теократии» был присущ своеобразный мессианиззм и гегемонизм в деле создания из раздробленных государств единой и мощной итальянской державы, возрождения прежней роли Рима под началом папского престола. В стремлении к такой державе и к такой роли с ними солидаризировался (вопреки предубеждениям против папства и монархического правления) и последовательный республиканец и демократ Д. Мадзини. В письме-обращении к Пию IX он признавал его огромный авторитет в Европе и призывал папу воспользоваться им для укрепления католической веры и объединения Италии. Мистический мессианизм идей Д. Мадзини предполагал далеко идущие проекты изменения политической карты Центральной и Юго-Восточной Европы, не всегда учитывавшие исторические, этнические, национальные, культурные, государственные особенности других народов.

...есть действительное сродство между утопией и Революцией... — Это сродство заключается в том, что радикал-реформаторы во «внешних» проектах и практических дей-

ствиях по изменению общественно-политической и государственной реальности не учитывают «внутренних» сил испорченной и несовершенной человеческой природы, на свой лад преломляющих и искажающих их рациональные теории. Несовпадение между «диалектикой чистого разума» и «эмбриогенезом жизни», расхождение книжных революционных идей с реальными их последующими воплощениями остро переживались А. И. Герценом: «...мы были свидетелями, как все упования теоретических умов были осмеяны, как демоническое начало истории нахохоталось над их наукой, мыслию, теорией, как оно из республики сделало Наполеона, из революции 1830 г. — биржевой оборот» (Герцен А. И. С того берега // Герцен. Т. 6. С. 29). В отличие от Тютчева А. И. Герцен отказывался корректировать революционный утопизм на путях постижения Откровения, оценивая их как «староверческие воззрения», «подогретые остатки римских и христианских воспоминаний». Очередные неожиданные катаклизмы и метаморфозы революции 1848 г. не смогли его вывести за пределы (если воспользовать-

ся его собственными словами в характеристике известной циклической теории исторического круговращения Дж. Вико) беличьего колеса антропоцентризма, «вечной игры жизни», в объяснении которой упор делается им на диаметрально противоположный тютчевскому вектор — на физиологические условия природы человека и общественного бытия.

...Революция <...> сбросила маску и представила перед миром в облике римской республики. — Революционное движение в Риме, «желание поклоняться Папе и одновременно отделить его от Папства», привели к тому, что находившийся у власти ставленник Пия IX граф Росси, готовившийся распустить представительные палаты, 15 ноября 1848 г. был убит. В ответ на последовавшие затем народные демонстрации папа неудачно пытался опереться на наемную швейцарскую гвардию, после чего согласился на создание светского правительства из умеренных демократов, а в ночь на 25 ноября был вынужден бежать из Рима в крепость Гаэту. 21 января 1849 г. на основе прямого, всеобщего и тайного голосования были проведены выборы в римское Учрежде-

тельное собрание. По предложению Д. Гарибальди, прибывшего в Папскую область со своими легионерами, собрание постановило лишить светской власти папу и провозгласить республику, что и было сделано 9 февраля при огромном стечении ликующего народа и пушечных выстрелах. Вскоре были провозглашены углубляющие революцию антиклерикальные реформы: национализация имущества католических орденов и монастырей вместе с землей, уничтожение политических привилегий духовенства, упразднение инквизиции и церковных судов, установление светского контроля над обучением и благотворительностью.

...связать замышляемое государственное устройство с республиканскими традициями древнего Рима. — Тютчев имеет в виду прежде всего одного из вождей «республиканской партии» Д. Мадзини, в воображении которого рисовался идеал «священного вечного Рима», в теократии отклонившегося от своей миссии. Следовательно, необходимо вернуться к языческим традициям республиканского Рима и внести их дух в европейскую политику.

ку. Хотя из тактических соображений ему приходилось вести диалог с папским престолом и делать ему своеобразные уступки.

Теперь эта партия разгромлена и власть Папы по видимости восстановлена. — Светская власть папы была немедленно восстановлена, а все предшествующие демократические преобразования отменены, после того как французские войска 3 июля 1849 г. взяли штурмом осажденный Рим.

...французское вмешательство... — В ночь на 22 апреля 1849 г. президент Французской республики Луи Наполеон Бонапарт начал интервенцию против Римской республики, объясняя ее необходимостью защищать земли Папского государства «от притязаний австрийцев и неаполитанцев». После ожесточенных сражений с республиканскими войсками из других стран 3 июля французам удалось завладеть Римом.

...вот уже шестьдесят лет... — Т. е. со времен Французской революции 1789 г. Своеобразное французское «двоеволие» Тютчев отмечал еще в апреле 1839 г. в депеше К. В. Несельроде, говоря о политическом кризисе и

борьбе между Луи Филиппом и А. Тьером: «В том, что происходит, содержится важный урок. При виде нравственного упадка, в который пришли все без исключения партии Франции, мало-помалу наступает отрезвление. Все происходящее с очевидностью показывает, что пятьдесят лет революционного разума истощили все силы этой нации, оставив ей в удел лишь бесплодные содрогания» (цит. по: *Летопись 1999*. С. 215).

Сама душа Франции раздвоена. — Раздвоенность между революцией и католичеством вполне отчетливо проявилась в колебаниях французского правительства по отношению к развитию событий в Италии. С одной стороны, Франция считала себя традиционной защитницей папской власти, а с другой, новая демократическая роль после Февральской революции 1848 г. заставляла ее поощрять итальянских либералов и опять-таки традиционно противодействовать австрийскому влиянию в Италии. В конце концов эти колебания разрешились, и под давлением собственных папистов и ультрамонтанистов Французская республика изменила принципам и весной

1849 г. послала войска для подавления родственной ей демократии под предлогом защиты римского населения от иностранных государств и избежания анархии.

...правительства Конвента в период Террора... — Имеется в виду якобинская диктатура 1793–1794 гг., когда исполнительная, а фактически и законодательная власть была сосредоточена в руках робеспьеровского Комитета общественного спасения. Конвент принял закон, объявлявший подозрительными всех не получавших свидетельств о благонадежности от народных собраний. Подозрительные выявлялись местными органами и подлежали аресту. Карательными учреждениями якобинской диктатуры стали Комитет общественной безопасности и революционный трибунал, осуществлявший террор.

...уже сорок лет... — Т. е. со времен завоеваний Наполеона.

...оно несет на себе печать провиденциальной кары. — Тютчев вновь подчеркивает здесь «неумолимую логику» высшей божественной закономерности и «тайного правосудия».

...рану, которая уже восемьсот лет не перестает кровоточить!.. — В очередной раз отмечаются последствия христианского разделения в 1054 г.

...христианское начало никогда не погибло в римской Церкви... — Тютчев в письме к И. С. Аксакову от 29 сентября 1868 г. различает в католичестве собственно христианскую и папистскую стороны, наблюдая в ходе истории возобладание и господство последней над первой: «...в среде католичества есть два начала, из которых, в данную минуту, одно задушило другое: христианское и папское; что христианскому началу в католичестве, если ему удастся ожить, Россия и весь православный мир не только не враждебны, но вполне сочувственны. Между тем как с папством раз навсегда, основываясь и на тысячелетнем и трехсотлетнем опыте, нет никакой возможности ни для сделки, ни для мира, ни даже для перемирия; что папа — и в этом заключается его *raison d'être* (смысл существования — *фр.*) — в отношении к России всегда будет *поляком*, в отношении к православным христианам на Востоке всегда будет *туркою*» (ЛН-1. С.

343). Выступая не против другой конфессии, а против искажения христианской истины в ней, Тютчев близок к позиции славянофилов, которых нередко упрекали в предвзятом антикатолицизме. «Все прекрасное, благородное, христианское, — писал И. В. Киреевский, — по необходимости нам свое, хотя бы оно было европейское, хотя бы африканское. Голос истины не слабеет, но усиливается своим созвучием со всем, что является истинного где бы то ни было» (Киреевский. С. 187). Комментируя высказываемую далее надежду Тютчева на объединение церквей, И. С. Аксаков подчеркивает: «Но само собой разумеется, при современном положении дела, вопрос о воссоединении церквей <...> получает несколько иное значение, чем соглашение догматических различий, хотя и оно, конечно, необходимо. Возвращение к древне-церковному вселенскому единству возможно для Рима лишь под условием: развенчания себя как высшего земного авторитета, смирения пред вселенским единством, отрешения от всех мирских атрибутов власти, возрождения в духе братской любви и свободы Христовой.

Другого спасительного исхода для Рима и для западного христианства, без сомнения, нет, но не подлежит также никакому сомнению (как Тютчев и выразился вполне определенно в своей статье), что этому исходу должен предшествовать целый ужасающий ряд потрясений, превратностей, бедствий...» (*Биограф.* С. 182–183).

...эпизод, связанный с посещением Рима русским Императором в 1846 году. — Речь идет о посещении Рима Николаем I, сопровождавшим жену на лечение.

РОССИЯ И ЗАПАД

Автограф — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 10. Л. 1-23.

Список (рукой Эрн. Ф. Тютчевой) — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 11. Л. 1-24.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 201–225.

Воспроизведено на рус. яз. — Тютчев Ф. И. *Россия и Запад: Книга пророчеств*. С. 17–27, 70–73, 78–80, 86–89, 100–103, 125–126, 155–157; в другом переводе — *ПСС в стихах и прозе*. С. 431–448.

Печатается по тексту первой публикации. С. 201–205 и 210–217 (на *фр.* яз.). В печатаемый

текст внесены изменения и уточнения по автографу: «l'apothéose du moi» вместо «l'apothéose de moi» (7-й абз. «Главы I» «1» La situation en 1849); там же в 9-й абз. «pour y vivre» вместо «pour vivre», в 10-й абз. ««нрзб.»» вместо «trop de», в 17-й абз. добавлено пропущенное слово «menacée» после «sauver la société», в 18-й абз. ««нрзб.»» вместо пропущенного слова; там же «2» во 2-й абз. ««нрзб.»» comme recouvert» вместо «avait classés comme le recours» и «ce mirage que vit» вместо «ce mirage vit», в 3-й абз. «d'édifier» вместо «de faire» и ««нрзб.»» вместо «jamais»; там же «3» в 1-й абз. «le sont plus assez» вместо «le sont assez», во 2-й абз. «les souverainetés locales» вместо «les souverains locaux» и «ne se servir d'un de ses bras que» вместо «ne se servir q'un de ses bras»; «preti» вместо «pretri» (1-й абз. «Материалов к главе III» «2» «L'Italie»); «pour de la suprématie» вместо «pour la suprématie» (5-й абз. «Материалов к главе IV» «1» L'Unité Allemande); «le principe plastique» вместо «le principe» (14-й абз. «Материалов к главе VI» La Russie); ««нрзб.»» вместо «brisé» (7-й абз. «Материалов к главе VII» «1» La Russie et Napoléon);

там же стих. Тютчева в 8-м абз. приводится по второму тому настоящего издания (в автографе слова «сам» в 1-й и 7-й строках, «судьбы» в 4-й строке, «роковой» в 8-й строке начинаются с прописной буквы, после существительного «заклинанье» нет двоеточия, а после местоимения «ты» стоит запятая; «le Pouvoir du Principe Révolutionnaire» вместо «le pouvoir du principe révolutionnaire» (4-й абз. «Материалов к главе IX» «2»).

Автограф включает черновые материалы для трактата «Россия и Запад» на *фр. яз.*, которые в первой публикации размещены в соответствии с его программой.

По сравнению с автографом первая публикация имеет ряд отличий, касающихся, главным образом, понижения прописных букв в отдельных словах и в меньшей степени шрифтовых выделений в тексте. Особенности размашистого почерка — буквы «с», «s» или «т» иногда повышаются даже там, где для этого нет никаких оснований. К тому же конспективный характер рукописи и быстрое фиксирование предварительных мыслей не предполагают тщательного соблюдения всех

орфографических правил, и в ней можно встретить написание одних и тех же слов то со строчной, то с прописной буквы.

На 1-й странице списка, в котором отсутствуют варианты программы, а глава I скопирована неполностью, рукою Эрн. Ф. Тютчевой сделана запись: «Brouillon d'une lettre adressée au prince Wiazemsky» («Черновик письма князю Вяземскому»). После текста главы I «La situation en 1849» («Положение дел в 1849 г.») в списке добавлены слова: «La question romaine (qui a paru dans la Revue des Deux Mondes)» — «Римский вопрос (опубликованный в журнале Ревю де Дё Монд)». После материалов трактата помещена копия наброска письма П. А. Вяземскому, сделанная Эрн. Ф. Тютчевой и с ее предваряющими словами: «Brouillon d'une lettre adressée je crois au Pce Wiazemsky» («Черновик письма, думаю, Кн. Вяземскому»). Частично на *фр. яз.* и в полном переводе на *рус. яз.* текст письма опубликован И. С. Аксаковым (*Биогр.* С. 175–178).

1

Знакомясь после кончины поэта с его архивом, И. С. Аксаков замечал: «Немало уди-

вятся многие, когда узнают, что в бумагах Тютчева, уже после его смерти, отыскана черновая Французская рукопись, содержащая план целого обширного сочинения, преимущественно о политическом призвании России, — сочинения, из которого последние две напечатанные его статьи были только отрывком или отдельными главами <...> эти заметки очень важны, как выражающие ту сокровенную, задушевную думу автора, с которою мы были до сих пор лишь отчасти знакомы по неясным намекам, разбросанным в статьях и стихах, как прежде, так и позднее написания заметок» (*Биогр.* С. 200.) «План» и «заметки» представляют собой подготовительные материалы к неоконченному историософскому трактату, рукопись которого содержит два варианта его программы и в основном конспективные наброски семи глав из девяти. По замыслу автора, место VIII главы должна была занять уже опубликованная ранее статья «Россия и Революция», а II — статья «Римский вопрос», которую он завершит 1/13 октября 1849 г. и которая осмыслялась им не только как самостоятельная работа, но и как часть

единого целого. И именно это целое как бы заново освещает, дополняет и углубляет содержание и проблематику публицистических произведений поэта. Возможно, к непосредственному осуществлению замысла Тютчев приступил в сентябре 1849 г. (13 сентября помечен примыкающий к трактату и публикуемый далее «Отрывок»), но уже 1/13 января 1850 г. его жена в письме К. Пфеффелю констатирует: «Что же касается моего мужа, который два месяца назад, казалось, был убежден, что мир обрушится, если он не напишет труд, часть которого я вам послала и для которого были подготовлены все материалы, — так вот, мой муж вдруг все забросил» (ЛН-2. С. 240). Нельзя с достоверностью судить о причинах, не позволивших Тютчеву развернуть в должной полноте свое сочинение. И. С. Аксаков отмечает в качестве таковых отсутствие у автора навыков к систематическому труду, а В. В. Кожин — осознание им бесполезности диалога с Западом (о его предположениях на сей счет см.: Кожин В. В. Незавершенный трактат «Россия и Запад» // ЛН-1. С. 184–186). Гораздо существеннее другое: даже в таком

виде «наброски» дают основание говорить об обширном замысле и всеобъемлющем труде. «В немногих сохранившихся отрывках, — заключает Л. П. Гроссман, — здесь раскрывается грандиозный план охвата единой историко-философской системой всех вопросов европейского будущего. Это целый *Tractatus politicus*, но только как молитвенник, с крестом на переплете» (Гроссман Л. Тютчев и сумерки династий // Гроссман Л. Мастера слова. М., 1928. С. 44).

Крестом на переплете исследователь с известной долей иронии своеобразно символизирует ту христианскую основу, которая определяет содержание, структуру и характер историсофской системы Тютчева и вытекающие из нее идеологические и политические следствия и игнорирование или недоучитывание которой приводит к неадекватному истолкованию ее конкретных положений и непосредственной проблематики опубликованных статей, к противоречащим друг другу исследовательским выводам. В. А. Твардовская отмечает, что в литературе о Тютчеве, особенно увеличивавшейся в 1960–1970 гг.,

общественно-политические взгляды поэта остаются наименее изученными. Расхождения исследователей в их понимании и оценке весьма значительны — от определения Тютчева как «идеолога самодержавия и апостола всемирной теократии» до утверждения, что поэт «глубоко презирал самодержавно-крепостническую систему, предвидя ее неизбежный крах», а «его консерватизм не был лишен черт стихийной революционности» (Твардовская В. А. Тютчев в общественной борьбе пореформенной России // *ЛН-1*. С. 132).

Подчас противоположные выводы обусловлены отсутствием внимания к христианской метафизике как основе тютчевской историсофской и политической мысли, определяющей в ней всю расстановку принципиальных значений и смысловых акцентов (свое влияние на такое отсутствие внимания оказывают недостаточность живой веры, увлечение спиритизмом и другие подобные факты личной жизни поэта, порою неправоммерно проецируемые на всю совокупность его убеждений). По свидетельству А. И. Георгиевского,

поэт высоко ценил «нашу православную церковь», «глубоко понимая все значение религии в жизни отдельных людей и целых народов» (ЛН-2. С. 124). То же самое подчеркивает и М. П. Погодин: «В последнее время возникшие на Западе религиозные распри подали ему повод выразить свои мысли о православии, и оказалось, что он, не занимавшись никогда этим предметом, не принимав, кажется, много к сердцу, уразумел его силу, его историческое значение, лучше, живее многих его законных служителей» (там же. С. 25). И. С. Аксаков приходил к безоговорочному умозаключению, которое зачастую вообще не берется в расчет современными исследователями, что в философско-историческом мирозерцании Тютчев «был христианин — по крайней мере таков был его Standpunkt (позиция, точка зрения — нем.)» (там же. С. 51).

И именно Standpunkt поэта, его убеждение в том, что государственная и общественная жизнь не могут быть надлежащим образом устроены без опоры на христианский фундамент, позволяет ему оценивать духовно-нравственное состояние людей как важнейшую

характеристику времени, как неоценимый (хотя и невидимый) фактор высшего реализма и подлинного прагматизма. Подобные зависимости имели для Тютчева непреложный характер, сравнимый с физическими законами, и служили ему индикатором для определения возможного хода тех или иных событий. И в данном отношении подлинно реалистическое значение его внутренней логики может быть подчеркнуто словами Н. В. Гоголя, писавшего о «высшей битве» в современной цивилизации — не за временную свободу, права и привилегии, а за человеческую душу, отсутствие света в которой не заменят никакие конституции и которой для ее исцеления необходимо вернуть забытые и отвергнутые христианские святыни. Сам поэт отмечал, что «исконно-православное, христианское учение» есть «единственно-руководящее начало» в «безысходном лабиринфе» коренных жизненных противоречий.

Таким образом, в историософской системе Тютчева христианская метафизика определяет духовно-нравственную антропологию, от которой, в свою очередь, зависит истинное

качество и подлинная плодотворность социально-политического уровня, место того или иного государства в Богочеловеческом процессе. Однако, как правило, государственная, этническая или общественная проблематика в построениях поэта рассматривается язычески-обособленно, вне глубинного христианско-антропологического контекста, что приводит к смещению иерархии значений и смыслов в его политических статьях и публицистических высказываниях.

Изучение публицистических произведений Тютчева показывает, как изменялись их оценки не только в зависимости от объема знаний конкретного материала и широты контекстуального горизонта, но и от своеобразия мировоззрения и степени адекватности методологии того или иного исследователя. Первыми попытками анализа и оценки историко-философского и политического наследия поэта стали статьи А. М. Иванцова-Платонова «Несколько слов о Ф. И. Тютчеве и его воззрениях на церковно-политический вопрос Запада» (*ПО*. 1875. № 9. С. 59–75) и И. С. Аксакова «Ф. И. Тютчев и его статья “Римский вопрос и

папство”» (там же. С. 76–98; № 10. С. 325–344). Первый рассматривает общественно-исторические взгляды Тютчева и А. С. Хомякова как дальнейшее развитие концепции А. С. Хомякова: угрожающее Европе и Западной Церкви рационалистическое своеволие есть логическое развитие ложного начала, внесенного католицизмом в христианскую жизнь его протестантским отделением от вселенского единства.

И. С. Аксаков также подчеркивает связь тютчевской мысли с идеями А. С. Хомякова и славянофилов относительно православия и католицизма как главных начал, определяющих расхождение в судьбах России и Запада, и заключает: «Основное положение Тютчева представляется, по нашему мнению, истиною неопровержимою: всякое христианское общество, перестав быть христианским, осуждается на безвыходную анархию и революцию» (там же. № 10. С. 343). Заслуга автора *Биогр.*, имевшего возможность познакомиться с архивами писателя и материалами к трактату «Россия и Запад», заключается в том, что он вернул прижизненное обсуждение политиче-

ских статей Тютчева на почву законов его собственного творчества, выделив определяющую роль религиозно-историсофских принципов, вне которых идеологические, государственные, общественные и этнические проблемы теряют свое истинное значение и перспективу. И. С. Аксаков же отметил «замечательную способность Тютчева: усматривать в отдельном явлении, в данном внешнем событии, его внутренний, сокровенный, мировой смысл. Откидывая внешние частности, он в каждой заботе текущего дня обращается мыслью назад, к ее историческим основам, ищет и отыскивает в случайном и временном вопрос *пребывающий*, — роковой, как он выражается. Вот и причина, почему его политические статьи, хотя и вызваны событиями, которым минуло более четверти века, несколько не утрачивают значения современности» (*Биогр.* С. 134).

В дальнейших интерпретациях публицистики Тютчева ее Standpunkt и методология не всегда учитываются в должной мере, а акцент делается, как при жизни автора, на внешних событиях, современных явлениях,

осмысление которых осложнялось к тому же особенностями доктрины или мировоззрения толкователя. Хотя В. С. Соловьев еще остается в своих оценках в системе религиозных смыслообразующих координат, очерченных Тютчевым. «Как во всей природе наш поэт признавал живую душу, которою держится единство и целостность мира, подобным же образом он признавал и живую душу человечества, и видел ее — в России. Как, по словам одного учителя церкви, душа человеческая *по природе* христианка, так Тютчев считал Россию по природе христианским царством. Так как смысл истории в христианстве, то Россия, как страна по преимуществу христианская, призвана внутренне обновить и внешним образом объединить все человечество <...> Его вера в Россию не основывалась на непосредственном органическом чувстве, а была делом сознательно выработанного убеждения <...> Эта вера в высокое призвание России возвышает самого поэта над мелкими и злобными чувствами национального соперничества и грубого торжества победителей <...> Позднее — вера Тютчева в Россию высказывалась в про-

рочествах более определенных. Сущность их в том, что Россия делается всемирною христианскою монархией <...> Одно время условием для этого великого события он считал соединение Восточной церкви с Западною чрез соглашение Царя с Папой, но потом отказался от этой мысли, находя, что папство несовместимо со свободой совести, т. е. с самою существенною принадлежностью христианства. Отказавшись от надежды мирного соединения с Западом, наш поэт продолжал предсказывать превращение России во всемирную монархию, простирающуюся, по крайней мере, до Нила и до Ганга с Царьградом как столицей. Но эта монархия не будет, по мысли Тютчева, подобием звериного царства Навуходоносорова, — ее единство не будет держаться насилием <...> Великое призвание России предписывает ей держаться единства, основанного на духовных началах; не гнилою тяжестью земного оружия должна она облечься, а “чистою ризою Христовою”» (Соловьев В. Ф. И. Тютчев // Соловьев В. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М., 1990. С. 294–296). Вместе с тем в других рабо-

тах подобную тютчевской устремленность к созданию универсальной православной империи со столицей в Константинополе В. С. Соловьев характеризует как цезарепапизм (см. *коммент.* к «Отрывку»^{*}). Стремясь преодолеть самодержавие в теократии, а православие в «религии Св. Духа», культивируя идеи «Третьего Завета», «Св. Плоти», «небесно-земного царства», «абсолютной церковной общности», по-своему оценивал историософскую теорию Тютчева Д. С. Мережковский, называвший ее «византийской реставрацией», «кощунством из кощунств», «мерзостью из мерзостей», русским всемирным империализмом и цезарепапизмом. По его мнению, поэт своей беспощадной логикой ясно и отчетливо доводит до конца православно-самодержавную идею, о которой «косноязычно мямлят» новые славянофилы (С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, В. Ф. Эрн, П. А. Флоренский). Он также полагает, что в противопоставлении восточной и западной теократий Тютчев идет дальше всех славянофилов и Достоевского и превосхищает последнего в определении антихристианской и «антихристовой» сущности

революции: «...все мысли Достоевского о “человекобожестве” революции — почти дословное повторение Тютчева» (Мережковский Д. С. Две тайны русской поэзии // Мережковский Д. С. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М., 1991. С. 469).

Вслед за Д. С. Мережковским Л. С. Козловский отмечает идейную общность Тютчева и Ф. М. Достоевского, подчеркивая, что первый еще раньше в сжатой форме сформулировал положения второго о всемирно-историческом призвании России спасти Европу от антихристианского революционаризма. Говоря о воспевании обоими мыслителями двух по видимости противоположных идеалов христианской кротости и смирения и государственной военной мощи и величия, Л. С. Козловский, подобно Д. С. Мережковскому, но в гораздо меньшей степени акцентирует экспансионистский мотив расширения Царства Русского и завоевания Царьграда. Хотя он вынужден признать в построениях и Тютчева, и Достоевского ведущую роль православного начала, которое ориентирует и организует государственную и национальную жизнь России и

составляет главный залог ее исторической миссии в мире (Козловский Л. Мечты о Царьграде: Достоевский и К. Леонтьев. I. Достоевский // *Голос минувшего*. 1915. № 2. С. 95–115).

С точки зрения вселенских и вековечных начал национального бытия и значения Царьграда для религиозного призвания России рассматривает историософию Тютчева П. Кудрявцев, выделяя самую главную мысль поэта: «По Тютчеву, историческая жизнь может развиваться в двух направлениях — она может двигаться или к Богу, или от Бога, откуда и началами жизни — все равно: личной или общественной — могут быть два взаимно исключающих друг друга начала: вера в Бога, внутренне связанная с отречением человеческого я от себя самого, с подчинением его воле Божией, и безбожие, столь же внутренне связанное с самовластием человеческого я...» (Кудрявцев П. Россия и Царьград. Три момента в литературной истории вопроса. Киев, 1916. С. 5). П. Кудрявцев связывает идеи Тютчева и Ф. М. Достоевского о Царьграде как столице Православия, великой восточнохристианской империи, страдающих и нуждающихся-

ся в освобождении славянских народов с представлениями «софийцев» о Константинополе как о граде Софии Премудрости Божией в исследованиях Е. Н. Трубецкого (Национальный вопрос. Константинополь и св. София. М., 1915) и С. Н. Дурылина (Град Софии. Царьград и св. София в русском народном религиозном сознании. М., 1915). Вместе с тем он опасается развития экспансионистских интенций, заложенных в константинопольской теме (о ее понимании Тютчевым и другими представителями русской мысли см. *коммент.* к «Отрывку»^{*)}).

Среди работ об историософии и публицистике Тютчева следует отметить очерк М. Бородкина «Славянофильство Тютчева и Герцена» (СПб., 1902), в котором столь разные писатели, исходившие из противоположных (религиозных и атеистических) предпосылок, сближаются на основе отречения от индивидуалистического Запада после непосредственно жизненного знакомства с ним.

Изучение социально-исторических взглядов Тютчева в 20-30-х гг. XX в. несло отпечаток коренных послереволюционных перемен в

общественном сознании, хотя и в затрудненных идеологических обстоятельствах сохранилась исследовательская устремленность к более или менее объективному их освещению. Так, П. Н. Сакулин заключает, что «общая идеология Тютчева носит славянофильскую окраску, и его отношение к революционному Западу можно считать типичным для всего русского *славянофильства*» (Сакулин П. Н. Русская литература и социализм. М., 1924. Ч. 1. С. 478). Отмечает он и методологические особенности историософии поэта («нити вечного и временного скрещивались в его душе»), а также возводит ее генеалогию к западным источникам: «Мысль Тютчева неслась в том же потоке идей, какой в Европе создавал политиков-мыслителей типа Жозефа де Местра, Бональда, Шатобриана, соединявших политику с принципами христианства и мистики» (там же. С. 466). Однако такое безоговорочное сближение Тютчева с политиками-мыслителями данного типа по внешнетематическому и категориальному сходству скрывает принципиальное различие между ними, согласно которому католицизм являет-

ся для первого источником «революционного действия», а для вторых — главным противоядием против него. Обнаруживая в историко-софской публицистике русского поэта своеобразную философию революции и предельное заострение антитезы «революция и христианство», П. Н. Сакулин приходит к выводу, что в ней «вопросы политического и социального порядка заслонены религиозной проблемой, как основной в жизни народов» (там же. С. 472). На самом деле речь должна идти не о «заслоненности», а о фундаментальной связи религиозной проблемы с политическими и социальными вопросами.

Г. И. Чулков, выделяя в творчестве Тютчева первостепенное значение православного начала, тем не менее характеризует его как панславистского империалиста: «Он верил, что в славянстве заложен этот универсализм и — мало этого — что универсализм этот оправдан высшей санкцией христианского сознания и православной церкви... Тут уж явная аналогия с концепцией Достоевского. Славянофилы первого призыва были чужды империализма <...> И панславизм они утвер-

ждали не с тою энергией, какая диктуется последовательным империализмом» (Чулков Г. Стихотворение Тютчева «14-ое декабря 1825» // *Уrania*. С. 75). Проводя правомерную аналогию между концепциями Тютчева и Ф. М. Достоевского, исследователь, однако, превращает основополагающую роль в них «христианского сознания и православной церкви» в некую реабилитирующую и вспомогательную функцию для утверждения самодовлеющего этнического этатизма.

После публикации Л. П. Гроссманом статьи «Тютчев и сумерки династий» (*Русская мысль*. 1918. № 1. С. 63–89) получило распространение представление об эволюции симпатий поэта от теократии к демократии, о его стихийном творческом бунтарстве и невольной революционности. Отголосок этого представления слышится в работе В. Я. Брюсова «Пушкин и царизм», автор которой заключает, что Тютчев и Достоевский бессознательно, в глубинах своего творческого миропонимания, были революционерами (Брюсов В. *Мой Пушкин*. М.; Л., 1929. С. 303).

В 1930-е гг. К. В. Пигарев публикует статьи

«Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России» (ЛН. 1935. Т. 19–21. С. 177–218) и «Ф. И. Тютчев о французских политических событиях 1870–1873 гг.» (ЛН. 1937. Т. 31–32. С. 753–776), в которых вводится в оборот обширный архивный материал, касающийся его дипломатической деятельности, историко-философских и общественных взглядов. Автор статей стремится оставаться на почве конкретных международных событий, так или иначе оценивавшихся поэтом. Когда же он прибегает к обобщающим формулировкам, то в них политическая плоскость разъединяется с религиозной основой, а Тютчев характеризуется как утопический панславист. Позднее в книгах «Жизнь и творчество Тютчева» (М., 1962) и «Тютчев и его время» (М., 1978) К. В. Пигарев в более нейтральных выражениях сохраняет приведенные выводы.

Во второй половине XX в. появляется значительное число работ, так или иначе оценивающих публицистику Тютчева. Применительно к ней Д. Д. Благой как бы воспроизводит ленинское «раздвоение» Л. Н. Толстого на слабого мыслителя и гениального художника,

когда, не совпадая с самосознанием публициста и поэта, заключает: «Вопреки Тютчеву — автору реакционных политических статей, всячески заклинающих революцию, Тютчев — гениальный лирик-философ вдохновенно славит “роковые минуты истории”, наступление эпохи “всеобщих переворотов”» (Благой Д. Литература и действительность. Вопросы теории и истории литературы. М., 1959. С. 456).

Автор очерка «Историческое мировоззрение Ф. И. Тютчева» (Черепнин Л. В. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968. С. 183–216), в отличие от многих других исследователей, касается самой методологии и системы тютчевской мысли, охватывающей всю обозримую историю и рассматривающей ее как процесс смены в разных государственных формах «законных» и «незаконных» империй. При этом отмечается важность для публициста «трех понятий» (Россия, православная Церковь, Славянство), воплощенное в действительности единство которых способно противостоять революционной идее «самовластия человеческого я» и

учению о «верховой власти народа», а также его склонность к провиденциальному истолкованию исторического развития. «Как можно видеть, — заключает Л. В. Черепнин, — в рассуждениях Тютчева о Восточной империи много такого, что выходит за рамки реальной жизненной практики и здоровой политики. Здесь больше надуманных построений, связанных с реакционными сторонами мировоззрения автора, чем непосредственных выводов из истории» (там же. С. 197).

Ведущая роль в историософии поэта имперского принципа акцентируется и в другой работе (Торопыгин П. Г. Тютчев и Чаадаев // Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли. Саратов, 1989. С. 75). Исследователь ссылается на статью Ю. М. Лотмана «Тютчев и Данте. К постановке проблемы» (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1983. Вып. 620. С. 31–35), где речь заходит о «двух мифах» в политической концепции Тютчева (Москва — Третий Рим и противостоящая папству Империя) и во втором обнаруживаются дантевские истоки его историософии. Устанавливая философско-по-

литическое сходство между Данте и Тютчевым, Ю. М. Лотман вместе с тем подчеркивает зеркальную противоположность построений последнего логике П. Я. Чаадаева. Развивая умозаключения Ю. М. Лотмана, П. Г. Торопыгин повторяет и мысль своего предшественника об этой противоположности.

В статье В. Е. Ветловской «Проблемы народности в публицистике Ф. И. Тютчева (В европейском контексте)» (РЛ. 1986. № 4. С. 139–152) освещается тютчевский идеал (совпадавший со славянофильским) «сущностного и должного», стремление поэта уловить особые черты русской культуры, выработавшиеся под воздействием православных традиций и национальных устоев, а также способных служить для нового типа нравственных и социальных отношений у славянских народов. Европейский же контекст составляют те тенденции западной жизни, которые к середине XIX в. проявились в открытых общественных конфликтах, кровавых революциях, агрессивном индивидуализме, подлежащих, с точки зрения поэта, преодолению на основе народных ценностей неиска-

женного христианства. В статье С. А. Долгополовой «Тютчевский миф о Святой Руси» (Тютчев сегодня. Материалы IV Тютчевских чтений. М., 1995. С. 29–37) эти ценности рассматриваются в свете особо значимого для поэта идеала Святой Руси, а также «правильного взаимного соотношения» церкви, государства и народа.

В связи с выходом *ЛН-1, 2* и публикацией незавершенного трактата «Россия и Запад» возросло число исследований, касающихся обстоятельств создания Тютчевым публицистических сочинений и их содержания. Во вступительной статье к трактату В. В. Кожин разводит Тютчева и славянофилов на основании того, что ключевым понятием в построениях первого становилась «Держава», а вторых — «община». Он также подвергает критике стремление «видеть в Тютчеве “панслависта”, т. е. безоговорочно приписывать ему в конечном счете “племенную”, “расовую” идею. На деле Тютчев, размышляя о “второй”, Восточной Европе, “душою и двигательной силою” которой служит, по его мнению, Россия, имел в виду вовсе не племен-

ную, расовую, но духовно-историческую связь этой «второй Европы»» (ЛН-1. С. 191).

В редакционном предисловии к ЛН-1 подчеркивается необходимость пересмотра традиционно безоговорочной «приписки» поэта к идеологии панславизма и осмысления исторического и социально-нравственного значения «утопии великой славяно-православной Державы под эгидой России», восходящей «в своих истоках к историософским мечтаниям допетровской Руси о Москве — “Третьем Риме”...» (там же. С. 8). Консервативно-монархические взгляды Тютчева, размышлявшего о некоей идеальной автократии с опорой на народ, его мировоззрение в целом оцениваются в предисловии как весьма сложные и противоречивые и еще далекие от удовлетворительной характеристики. Статья В. А. Твардовской посвящена социально-политическим взглядам, точнее, их отражению в конкретно-исторической ситуации идейной борьбы различных политических сил в 60-е гг. XIX в. Вместе с тем в ней отмечены общие предпосылки тютчевского историософского мышления, в котором одно из главных мест занима-

ет самодержавная форма правления (там же. С. 139–140). Однако при отсутствии внимания к христианскому началу (при одновременной сосредоточенности на социальном факторе) в «идеализме» и имперской логике Тютчева исследовательница находит не совместимый с ними эклектизм в его размышлениях — «политический» и «духовный» панславизм, а также элементы «охранительной», буржуазной, крестьянской идеологии.

Оценки историософии и публицистики Тютчева содержатся в работах, посвященных его творчеству или его месту в истории панславизма. Так, Н. Я. Берковский определяет его, сближая с Ф. М. Достоевским, как сторонника духовного и политического обособления России от Европы, как проповедника христианского смирения внутри общества и милитаристской «языческой» наступательности государства на международной арене (Берковский Н. Ф. И. Тютчев // Тютчев Ф. И. Полн. собр. стих. Л., 1987. С. 8). По мнению А. Л. Осповата, в трактате «Россия и Запад» должна была получить окончательный вид «панславистская доктрина» автора (Осповат А. Л. К

источникам незавершенного трактата Тютчева «Россия и Запад»: Неопубликованное письмо А. Н. Попову // *Тютч. сб.* 1999. С. 289).

Статья М. Ю. Досталь рассматривает «славянскую доктрину» Тютчева как оригинальную интерпретацию идеи славянской взаимности на русской почве, как объединение славян под эгидой России, что не соотнобразовывалось с их национально-освободительными движениями и реальной политикой российского самодержавия (Досталь М. Ю. Славянский вопрос в творчестве и общественно-политической деятельности Ф. И. Тютчева // *Общественная мысль и славистическая историография.* Калинин, 1989. С. 8–14). Автор устанавливает черты сходства и различия в 40-е гг. XIX в. между взглядами Тютчева, славянофилов, М. П. Погодина, С. С. Уварова, а также полагает, что «историческая утопия греко-славянской державы» способствовала созданию на Западе мифа о панславистской угрозе, хотя объединение славян не являлось приоритетной целью внешней политики России того времени и даже вызывало опасение у Николая I из-за возможных революционных

последствий. В статье отмечается, что такая держава воплощает в себе всемирно-исторический закон и нравственные ценности, заложенные в «истинном христианстве». Но о самом этом законе и первостепенной роли православия речи уже не идет.

Игнорирование или недоучитывание основополагающего значения «истинного христианства» в целостной системе тютчевской мысли ведет к неадекватному освещению ее иерархических связей, к акцентированию в ней зависимых уровней (например, панславизма) в качестве определяющих (Лебедева О. В. Культурные и политические аспекты православной миссии в землях австрийских славян в XIX веке // Балканские исследования. Российское общество и зарубежные славяне. XVIII — начало XX века. М., 1992. Вып. 16. С. 96). Однако если речь заходит о православной миссии России и о православии как фундаменте историософии, то последняя выходит за пределы панславизма в строгом определении этого понятия. Тем более что сама исследовательница подчеркивает «второстепенность» для Тютчева, у которого «Россия более

православная, чем славянская», племенной среды по отношению к православному началу. Когда подобные «нюансы» остаются без внимания, то на первый план выдвигается сугубо державная идеология. «На примере трактата Ф. И. Тютчева как в разрезе можно видеть особую логику великодержавного панславизма. В подобном соединении имперского принципа со славянской идеей на первый план выступает этатистское мировоззрение» (Павленко О. В. «Славянский фактор» в отношениях России и Австрии в 40-60-е годы XIX в. // Славяно-германские исследования. М., 2000. Т. 1, 2. С. 276). Выводы другой славяноведческой работы как бы противоречат вышеприведенным, поскольку в ней подчеркивается в размышлениях поэта «духовная миссия» России, по своей сути и смыслу не совместимая ни с этатизмом, ни с великодержавным панславизмом. «Публицистика Ф. И. Тютчева 40-х годов чутко реагирует на идейно-политические перемены в Европе. Распространение либеральных идей в западноевропейских землях, подъем национальных настроений в Германии и Австрии находят отклик в тют-

чевской концепции о миссии православной России в возрождении Европы. Вместе с Тютчевым выходит на русскую интеллектуальную сцену определенно выраженное противопоставление “духовной” России и “материальной” меркантильной Западной Европы, которой чужда подлинная религиозность. Концепция духовной миссии России была у Тютчева выражена в проекте задач русской заграничной политики в Европе, особенно Центральной» (Ивантышинова Т. Россия и Центральная Европа во взглядах славянофилов // Балканские исследования. Вып. 16. С. 31).

Среди зарубежных исследований, затрагивающих тютчевскую публицистику, ее мировоззренческие основания и методологические предпосылки, следует отметить цитируемую выше работу Р. Лэйна «Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840-х — начала 1850-х годов» (*ЛН-1*. С. 231–252). Книга французского слависта Д. Стремоухова (*La Poésie et l'idéologie de Tioutchev. Strasbourg, 1937* — Поэзия и идеология Тютчева. Страсбург, 1937) отличается тем,

что не содержит избыточно оценочных суждений, а описывает основные темы тютчевской мысли, в которой Папство, Реформация и Революция составляют три этапа западной цивилизации, Революция воплощает в себе антихристианский принцип апофеоза человеческого я, а им противопоставляется близкая к дантовской идея вселенской монархии, раскрываемая в контексте законных и узурпированных империй. П. Шайберт помещает статьи Тютчева в контекст проблематики взаимоотношений России и Европы, обсуждавшейся славянофилами, П. Я. Чаадаевым и Ф. М. Достоевским, и в резком выделении по этому революционной темы подчеркивает новаторство его теократических построений и противопоставления Восточной и Западной Церквей (Sheibert Peter. Von Bakunin zu Lenin (От Бакунина до Ленина). Leiden. 1970. S. 289–291). А. Шелтинг рассматривает Тютчева в ряду мыслителей (С. П. Шевырев, И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, И. С. Аксаков), стремившихся раскрыть специфические черты русского народа и религиозное призвание «Святой Руси» (Schelting Alexander von. Rußland

und der Westen im russischen Geschichtsdenken der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Россия и Запад в русской исторической мысли второй половины 19-го столетия). В., 1989. S. 76). Еще один исследователь ставит поэта в обозначенный ряд, называя И. В. Киреевского философом, А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина теологами, М. П. Погодина и И. С. Аксакова публицистами, К. С. Аксакова историком, а Тютчева министром иностранных дел славянофильства и характеризуя последнего как националистического панслависта (Fadner F. Seventy years of Pan-Slavism in Russia. From Karazin to Danilevskij: 1800–1870. Washington, 1962).

В статье О. Симчич «Консервативное мышление Тютчева и современность» (Тютчев сегодня. Материалы IV Тютчевских чтений. М., 1995. С. 38–54) автор трактата характеризуется как критик «современности», или «модерна», под которым понимается развитие европейской мысли с эпохи Просвещения. «Все, что считается большим достижением модерна: рационализм, релятивизм, субъективизм, индивидуализм, позитивизм, — поэт не прием-

лет и прямо или косвенно подвергает критике и осуждению» (там же. С. 39). В самой масштабности тютчевской мысли с ее опорой на Абсолют и «исторический финализм», на верховный законный авторитет и интегральные принципы Православной Вселенской Империи, с ее напряженным вниманием к «фундаментальным, последним антиномиям» и тяготением к единству и гармонии исследовательница находит противостоящий утопический ответ на хаотический индивидуализм и энтропийный революционаризм модерна, на отсутствие в нем созидательных начал.

Среди работ писателей и мыслителей русского Зарубежья выделяются статья П. М. Бицилли «Державин — Пушкин — Тютчев и русская государственность» (Бицилли П. М. Избранное. Историко-культурологические работы. София, 1993. Т. 1. С. 276–303), где историко-политические взгляды поэта рассматриваются в контексте «русской идеи» и борьбы добра и зла, и в особенности две статьи Г. В. Флоровского: «Исторические прозрения Тютчева» и «Тютчев и Владимир Соловьев (главы из книги)» (Флоровский Г. Из про-

шлого русской мысли. М., 1998. С. 223–235; 344–357). Г. В. Флоровский подчеркивает, что противопоставление России и Революции дает ключ к пониманию историософской системы Тютчева, в которой они являют собой не только политические или эмпирические силы, но и «два универсальных метафизических закона, два завета человеческого миропорядка», «два единства»: одно, скрепленное «кровью и железом», другое — «любовью» — две «власти» (там же. С. 225). Эти два духовных закона воплощаются на Востоке и на Западе, который через создание узурпаторской Империи, отпадение Рима от Вселенской Церкви и последующую Реформацию образовал «круг разрушительных последствий первородного своеволия»; выход же из него заключается в признании узлового «христианского факта» (законная Империя начинается с Константина Великого на Востоке), продолжающегося в «другой Европе», в формирующейся «Великой Греко-Российской Православной Империи». В логике Тютчева Г. В. Флоровский усматривает ключ к пониманию историософии Ф. М. Достоевского, а в его конкрет-

ных размышлениях — схему для критики А. С. Хомяковым западных вероисповеданий и материал для заимствований (образ русского царя в папском Риме) в теократических построениях В. С. Соловьева.

В обзорной статье «О некоторых особенностях отечественных исследований политического наследия Ф. И. Тютчева» (Тютчевские чтения на Брянщине. Материалы I–IV чтений. Брянск, 2001. С. 34–57) С. Ю. Гридин констатирует смысловую непроясненность основных категорий тютчевской историософии (империя, церковь, племя, революция и т. д.) и отсутствие должного внимания к их внутренним связям и взаимодействию. Отсюда многообразие выводов в работах, носящих, как правило, не системный, а фрагментарный характер, либо затрагивающих частные вопросы общественно-политической деятельности поэта или создания им тех или иных политических статей, либо прибегающих к обобщающим формулировкам без опоры на весь диапазон конкретного материала. Действительно, выделение одной категории в ущерб другим (особенно основополагающим) и без

определения ее иерархического места в целостной ценностной структуре тютчевской мысли вольно или невольно заставляет исследователей с разными мировоззрениями и идеологическими предпочтениями «приписывать» Тютчева к разным идейным направлениям (то же славянофильство, панславизм или официальная народность), с позициями которых он может до известной степени совпадать и которые при сохранившихся упрощающих стереотипах и априорных «истинах» сами нуждаются в обновленных характеристиках.

2

Для адекватного восприятия историософии и публицистики Тютчева необходимо хотя бы эскизное воссоздание целостного и полноценного горизонта и контекста его мысли, в котором свое место занимает и своеобразие личностных устремлений поэта. «Только правда, чистая правда, — признавался он дочери, — и беззаветное следование своему незапятнанному инстинкту пробивается до здоровой сердцевины, которую книжный разум и общение с неправдой как бы спрятали в

грязные лохмотья» (ЛН-2. С. 221). Однако, по его мнению, «познанию всей незамутненной правды жизни препятствует свойство человеческой природы питаться иллюзиями» и идейными выдумками разума, на который люди уповают тем больше, чем меньше осознают его ограниченность, и о правах которого они заявляют тем громче, чем меньше им пользуются.

Именно в таком контексте занимают свое место постоянные изобличения Тютчевым, говоря словами И. С. Аксакова, «гордого самообожания разума» и «философское сознание ограниченности человеческого разума», который, будучи лишенным этого сознания, прикрывает «правду», «реальность», «сердцевину» жизни человека и творимой им истории «лохмотьями» своих ограниченных и постоянно сменяющихся теорий и систем. Поэт принадлежит к наиболее глубоким представителям отечественной культуры, которых волновала в первую очередь (разумеется, каждого из них на свой лад и в особой форме) «тайна человека» (Ф. М. Достоевский), как бы не видимые на поверхности текущего суще-

ствования и не подвластные рациональному постижению, но непреложные законы и основополагающие смыслы бытия и истории. Такие писатели пристальнее, нежели «актуальные», «политические» и т. п. литераторы, всматривались в злободневные проблемы, но оценивали их не с точки зрения модных идей «книжного разума» или «прогрессивных» изменений, а как очередную временную модификацию неизменных корневых начал жизни, уходящих за пределы обозреваемого мира. Тютчеву свойственно стремление заглянуть «за край» культурного, идеологического, экономического и т. п. пространства и времени и проникнуть в заповедные тайники мирового бытия и человеческой души, постоянно питающие и сохраняющие ядро жизненного процесса при всей изменчивости в ходе истории (до неузнаваемости) его внешнего облика. Можно сказать, что за «оболочкой зримой» событий и явлений поэт пытался увидеть саму историю, подобно тому, как, по его словам, под «оболочкой зримой» природы А. А. Фет узревал ее самое. Без учета этой онтологической и человековедческой целеустрем-

ленности подлинное содержание поэтической или публицистической «фактуры» в тех или иных его произведениях или размышлениях не может получить должного освещения.

Здесь будет уместным привести принципиальное возражение Тютчева Ф. В. Шеллингу, сделанное в начале 1830-х гг.: «Вы пытаетесь совершить невозможное дело. Философия, которая отвергает сверхъестественное и стремится доказывать все при помощи разума, неизбежно придет к материализму, а затем погрязнет в атеизме. Единственная философия, совместимая с христианством, целиком содержится в Катехизисе. Необходимо верить в то, во что верил святой Павел, а после него Паскаль, склонять колена перед *Безумием креста* или же все отрицать. Сверхъестественное лежит в глубине всего наиболее естественного в человеке. У него свои корни в человеческом сознании, которые гораздо сильнее того, что называют разумом...» (ЛН-2. С. 37).

Применительно к публицистике в споре поэта с Ф. В. Шеллингом важно выделить его

историософский «кристалл», непосредственно связанный с христианским онтологическим и антропологическим основанием. Тютчев в резко альтернативной форме, так сказать по-достоевски (или-или), ставит самый существенный для его сознания вопрос: или апостольско-паскалевская вера в Безумие креста — или всеобщее отрицание, или примат «божественного» и «сверхъестественного» — или нигилистическое торжество «человеческого» и «природного». Третьего, как говорится, не дано. Говоря словами самого поэта, это — самое главное и роковое противостояние антропоцентрического своеволия и Богопослушания (по его убеждению, между самовластием человеческой воли и законом Христа немислима никакая сделка). Речь в данном случае идет о жесткой противопоставленности, внутренней антагонистичности как бы двух сценариев («с Богом» и «без Бога») развития жизни и мысли, человека и человечества, теоцентрического и антропоцентрического понимания бытия и истории. «Человеческая природа, — подчеркивал поэт незадолго до смерти, — вне известных верований,

преданная на добычу внешней действительности, может быть только одним: судорогою бешенства, которой роковой исход — только разрушение. Это последнее слово Иуды, который, предавши Христа, основательно рассудил, что ему остается лишь одно: удавиться. Вот кризис, чрез который общество должно пройти, прежде чем доберется до кризиса возрождения...» (цит. по: *Биогр.* С. 198). О том, насколько владела сознанием Тютчева и варьировалась мысль о судорогах существования и иудиной участи отрекшегося от Бога и полагающегося на собственные силы человека, можно судить по его словам в передаче А. В. Плетневой: «Между Христом и бешенством нет середины» (*ЛН-1.* С. 567).

Представленная альтернатива типологически сходна с высшей логикой Ф. М. Достоевского (достаточно вспомнить образ Ставрогина в «Бесах» или рассуждения «логического» самоубийцы в «Дневнике писателя»), неоднократно предупреждавшего, что «раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов» и что, «начав возводить свою “вавилонскую башню” без

всякой религии, человек кончит антропофанией». Обозначенная альтернатива входит в самую основу мировоззрения Тютчева, пронизывает его философскую и публицистическую мысль и иллюстрируется в таком качестве фундаментальной логикой В. С. Соловьева: «Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отнести к себе и все определить собою, — пока эта темная основа у нас налицо — не обращена — и этот первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое *настоящее дело* и вопрос *что делать* не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления <...> Истинное дело возможно, только если и в человеке и в природе есть положительные и свободные силы света и добра; но без Бога ни человек, ни природа таких сил не имеет» (Соловьев. Т. 2. С.

Выводы Ф. М. Достоевского и В. С. Соловьева подчеркивают, в русле какой традиции и какого подхода находится мышление Тютчева, которое в такой типологии не получило должного освещения в его философии истории. Согласно логике поэта, «без Бога» и без следования Высшей Воле темная и непреработанная основа человеческой природы никуда не исчезает, а лишь принаряживается и маскируется, рано или поздно дает о себе знать в «гуманистических», «научных», «прагматических», «государственных», «политических» и иных ответах на любые вопросы «что делать?». Более того, без органической связи человека «с Богом» историческое движение естественно деградирует из-за губительной ослабленности высшесмыслового и жизнеутверждающего христианского фундамента в человеке и обществе, самовластной игры отдельных государств и личностей, соперничающих идеологий и борющихся группировок, господства материально-эгоистических начал над духовно-нравственными.

Эта связь исторического процесса с вопло-

щением в нем или невоплощением (или искаженным воплощением) христианских начал, а соответственно и с преображением или непреображением «первородного греха», «темной основы», «исключительного эгоизма» человеческой природы заключает глубинное смысловое содержание философско-публицистического наследия Тютчева. По его мнению, качество христианской жизни и реальное состояние человеческих душ является критерием восходящего или нисходящего своеобразия той или иной исторической стадии. Чтобы уяснить возможный исход составляющей сокровенный смысл истории борьбы между силами добра и зла, «следует определить, какой час дня мы переживаем в христианстве. Но если еще не наступила ночь, то мы узрим прекрасные и великие вещи» (СН. 1915. Кн. 19. С. 205).

Между тем в самой атмосфере общественного развития, а также грубых материальных интересов и псевдоимперских притязаний отдельных государств в политике поэт обнаруживал «нечто ужасающее новое», «призвание к низости», воздвигнутое «против Христа

мнимыми христианскими обществами». В год смерти он недоумевает, почему мыслящие люди «недовольно вообще поражены апокалипсическими признаками приближающихся времен. Мы все без исключения идем навстречу будущего, столь же от нас сокрытого, как и внутренность луны или всякой другой планеты. Этот таинственный мир может быть целый мир ужаса, в котором мы вдруг очутимся, даже и не приметив нашего перехода» (цит. по: *Биогр.* С. 198). Не преобразование, а, напротив, все большее доминирование (хитрое, скрытое и лицемерное) ведущих сил «темной основы нашей природы» и служило для него основанием для столь мрачных пророчеств. Поэт обнаруживает, что в «настроении сердца» современного человека «преобладающим аккордом является принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства» (*ЛН-1.* С. 366). И такое положение вещей, когда гордыня ума становится «первейшим революционным чувством», имеет в его логике давнюю предысторию. Он рассматривает «самовластие человеческого я» в предельно широком и глубоком контексте

как богоотступничество, развитие и утверждение антично-возрожденческого принципа «человек есть мера всех вещей».

По Тютчеву, самая главная нигилистическая революция происходит тогда, когда теоцентризм уступает место антропоцентризму, утверждающему человека мерой всей, целиком от его планов и деятельности зависимой, действительности, а абсолютная истина, «высшие надземные стремления», религиозные догматы замещаются рационалистическими и прагматическими ценностями. Этот антропологический поворот, определивший в эпоху Возрождения кардинальный сдвиг общественного сознания и проложивший основное русло для новой и новейшей истории, и стоит в центре внимания поэта. Разорвавший с Церковью Гуманизм, подчеркивает он в трактате, породил Реформацию, Атеизм, Революцию и всю «современную мысль» западной цивилизации. «Мысль эта такова: человек, в конечном итоге, зависит только от себя самого как в управлении своим разумом, так и в управлении своей волей. Всякая власть исходит от человека; все провозглашающее

себя выше человека, — либо иллюзия, либо обман. Словом, это апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле слова» (ЛН-1. С. 206).

Тютчев раскрывает в истории фатальный процесс дехристианизации личности и общества, парадоксы самовозвышения эмансипированного человека, все более теряющего в своей «разумности» и «цивилизованности» душу и дух и становящегося рабом низших свойств собственной природы. Комментируя мысль Тютчева, И. С. Аксаков пишет: «Отвергнув бытие Истины вне себя, вне конечного и земного, — сотворив себе кумиром свой собственный разум, человек не остановился на полудороге, но увлекаемый роковой последовательностью отрицания, с лихорадочным жаром спешит разбить и этот новосозданный кумир, — спешит, отринув в человеке душу, обоготворить в человеке плоть и поработиться плоти. (...) Овеществление духа, безграничное господство материи везде и всюду, торжество грубой силы, возвращение к временам варварства, — вот к чему, к ужасу самих Европейцев, торопится на всех парах Запад, — и

вот на что Русское сознание, в лице Тютчева, не переставало, в течение 30 лет, указывать Европейскому обществу» (*Биогр.* С. 199).

Для поэта «борьба между добром и злом» составляет «основу мира» (*ЛН.* 1937. Т. 31–32. С. 769), и в этом горизонте под «зримой оболочкой» исторических поворотов, событий и явлений, за внешними политическими столкновениями или дипломатическими конфликтами, за бурными дебатами парламентов или импозантностью королевской короны скрывается вечная война меняющего свои обличья Кесаря со Христом. «Великий тайнозритель природы, Тютчев и в истории оставался прозорливцем. Политические события были для него тайными знаками, символами подспудных процессов в глубинах. По ним он разгадывал последние тайны исторической судьбы... История обращалась для него в Апокалипсис» (Флоровский Г. Тютчев и Владимир Соловьев (Главы из книги) // Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. С. 345).

Как отмечалось, критерием исхода борьбы между добром и злом, отличия действительного упадка не только великого народа, но и

всего человечества от их временного ослабления служили для поэта определение переживаемого этапа в христианстве, сила и действенность христианского сознания и совести, окончательное порабощение которой и есть апокалиптическое преддверие. В письме П. В. Муравьевой в мае 1846 г. он подчеркивает: «Что ни говори, в душе есть сила, которая не от нее самой исходит. Лишь дух христианства может сообщить ей эту силу...» (ЛН-1. С. 486). Тютчев полагал, что человеческая нравственность, лишенная сверхъестественного основания и освящения, не способствует твердому и спасительному духовному росту и недостаточна для «правоспособности» личности, общества и государства. В его представлении подлинное христианство никогда не теряет вменяемости по отношению к радикальным последствиям первородного греха и их отрицательным проявлениям в истории, создает необходимые предпосылки для преобразования темной основы человеческой природы и предупреждения смешения ее несовершенных качеств с высокими целями и задачами, для незамутненного различения добра

и зла в мыслях и чувствах, делах и поступках, в социальном творчестве в целом.

Именно на стыке христианской метафизики, антропологии и историософии появляется понятие «христианской империи» как одно из центральных в тютчевской мысли (а не вообще империи или секулярного государства, как утверждают многие исследователи). По его убеждению, истинная жизнеспособность подлинной христианской державы заключается не в сугубой державности и материальной силе, а в чистоте и последовательности ее христианства, дающего духовно и нравственно соответствующих ей служителей. Основной пункт историософии Тютчева определен в словах Иисуса Христа, обращенных к Понтию Пилату: «...Царство Мое не от мира сего...» (Ин. 18, 36). С его точки зрения, перенесение внимания с «сокровищ на небе» на «сокровища на земле» изнутри подрывало само христианское начало в католицизме, который разорвал с преданием Вселенской Церкви и проглотил ее в «римском я», отождествившем собственные интересы с задачами самого христианства и устраивавшем «Цар-

ство Христово как царство мира сего», способствовавшем образованию «незаконных империй» и закреплению «темных начал нашей природы». В его историософской логике искажение христианского принципа в «римском устройстве», отрицание «Божественного» в Церкви во имя «слишком человеческого» в жизни и проложило дорогу через взаимосвязь католицизма, протестантизма и атеизма безысходной драме и внутренней тупиковости современной истории, ибо духовная борьба в ней разворачивается уже не между добром и злом, а между различными модификациями зла, между «развращенным христианством» и «антихристианским рационализмом», между мнимо христианскими обществами и революционными атеистическими принципами.

Подобно Ф. М. Достоевскому, Тютчев также и ранее его искал спасительного выхода из овладевавшей Россией западной духовно-исторической традиции в неповрежденных корнях восточного христианства, сосредоточенного на духовном делании и преодолении внутреннего несовершенства человека, сохра-

няющего в полноте и чистоте принципы Все-
ленского предания и переносящего их на иде-
алы социально-государственного устройства.
Подлинная христианская империя, наследни-
цу которой Тютчев видел в России, вместе с
объединенным ею славянством, тем и при-
влекала его, что само ее идеальное начало
(искажавшееся в реальной действительности)
предполагает неукоснительное следова-
ние Высшей Воле, соотнесение всякой госу-
дарственной деятельности с религиозно-эти-
ческим началом, духовно-нравственную на-
полненность «учреждений», что гораздо важ-
нее для скрепляющего единства и истинного
процветания державы, нежели внешняя сила
и материальное могущество. В понимании
поэта единство веры, государства и народа в
монархическом правлении предполагало в
идеале развитие всех сторон социальной, эко-
номической и политической жизни, при ко-
тором разные слои общества не утрачивали
бы ее духовного измерения, добровольно уме-
ряли бы эгоистические страсти и корыстные
расчеты в свете совестного правосознания и
свободного устремления к общему благу, ор-

ганически сохраняли бы живые формулы человеческого достоинства: «быть, а не казаться», «служить, а не прислуживаться», «честь, а не почести», «в правоте моя победа». Он полагал, что через свободное и добровольное движение «вперед», осознанную солидарность и активность граждан, сочетание элементов внешнего прогресса с лучшими традициями и человеческими качествами цементируют монархию как высшую форму государственного правления, которой отдавали дань и другие выдающиеся представители русской культуры (А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь и др.).

Основой такой монархии для Тютчева служит «истинное христианство» в православии, противопоставляемое им, как и впоследствии Ф. М. Достоевским, «искаженному христианству» в католицизме. Россия, писал Ф. М. Достоевский, «несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, — православие», она — «хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах» (*Достоевский*. Т. 23.

С. 46). В подобных противопоставлениях Ф. М. Достоевский повторяет ход мысли Тютчева, не раз подчеркивавшего двусмысленную роль и понижающую функцию «ложного», «испорченного», «развращенного» христианства.

Однако в монархическом устройстве России поэт обнаруживает ослабление первенствующей роли православного начала и соответственно проявление на свой лад «самовластия человеческого я», падение духовно-нравственного состояния служителей христианской империи, усиление самочиния бюрократического государства. В результате монархия таит в себе опасности властного произвола, чрезмерной опеки чиновничества над народом, погашения личностной самостоятельности и творческой инициативы, необходимых для преодоления вечно подстерегающего застоя и расцвета плодотворной жизнедеятельности. «Русское самодержавие как принцип, — подчеркивал Тютчев в письме от 2/14 января 1865 г. к А. И. Георгиевскому, — принадлежит, бесспорно, нам, только в нашей почве оно может корениться, вне русской

почвы оно просто немыслимо... Но за принципом есть еще и *личность*. Вот чего ни на минуту мы не должны терять из виду» (ЛН-1. С. 388).

Но именно качество «личности» того или иного государственного лица или чиновника нередко терялось из виду и приводило поэта к отчаянным вопрошаниям: «Почему эти жалкие посредственности, самые худшие, самые отсталые из всего класса ученики, эти люди, стоящие настолько ниже даже нашего собственного, кстати очень невысокого уровня, эти выродки находятся и удерживаются во главе страны, а обстоятельства таковы, что нет у нас достаточно сил, чтобы их прогнать?» (там же. С. 334). Среди разных «обстоятельств» его особенно поражает «одно несомненное обстоятельство», свидетельствующее о том, что «паразитические элементы органически присущи святой Руси»: «Это нечто такое в организме, что существует за его счет, но при этом живет своей собственной жизнью, логической, последовательной и, так сказать, нормальной в своем пагубно разрушительном действии. И это происходит не

только вследствие недоразумения, невежества, глупости, неправильного понимания или суждения. Корень этого явления глубже, и еще неизвестно, докуда он доходит» (там же).

С точки зрения Тютчева, одна из главных задач и заключается в том, чтобы обнаружить истинную почву и корень «этого явления» и преодолеть бессознательность и невменяемость по отношению к нему. Умудренная власть должна по возможности изолироваться от «паразитических элементов» и обходиться без посредничества самодовлеющих бюрократов, осознать свою безнародность и отказаться от «медиатизации русской народности» (т. е. низведения ее на уровень объекта приложения разных сил и идей): *«чем народнее самодержавие, тем самодержавнее народ»* (там же. С. 272). Следовательно, задача заключается в том, чтобы власть прояснила свое религиозное кредо, «удостоверилась в своих идеях», обрела «потерянную совесть», стала более разборчивой по отношению к духовно-нравственному состоянию своих служителей.

Описанная логика составляет основу историософии и публицистики Тютчева, проступает в его политических статьях и придает им истинный масштаб и непреходящее значение. Она также расставляет по своим местам и в надлежащей иерархии такие важнейшие для его мысли понятия, как Христианство, Церковь, Империя, Православие, Католицизм, Протестантизм, Революция, Славянство, Россия, Запад, Человек, Свобода, Разум, Любовь, которые определяют ход Истории. Поэт признавался, что связывать прошлое и настоящее на, так сказать, больших расстояниях, совмещать время и вечность, уяснять возможные судьбы человеческого рода есть настоятельная потребность его существа. «Ближайший исход так же невозможно предугадать, — писал он об историческом процессе, — как нельзя предугадать, какая будет погода через неделю, но что касается окончательного результата, то это совсем иное: он может быть вычислен, как вычисляют затмение, которое произойдет через пятьсот лет» (ЛН. 1937. Т. 31–32. С. 758).

После беседы с Тютчевым летом 1842 г. К.

А. Фарнгаген фон Энзе отметил, что он «имеет дар всеобъемлющего взгляда на вещи» при одновременном чувствовании всего своеобразного (ЛН-2. С. 459). Годом позже он вновь подчеркивает: «С необычайным проникновением Тютчев» говорит о своеобразии русских и славян вообще, о языках, нравах, формах правления; обнаруживает широкий исторический взгляд на древний спор и национальную борьбу греческой и латинской церковей» (там же. С. 460). Уже в первой половине 1830-х гг. всеобъемлющий взгляд поэта проявлялся в его разговорах с А. И. Тургеневым «о религиях, о католицизме, о Лютере и Риме», с Ф. В. Шеллингом о фундаментальном выборе между «Безумием креста» и тотальным отрицанием или в стих. «Как дочь родную на закланье...» (1831), где говорится о «звезде в незримой высоте» и «высшем сознании» народа, о «подвиге просвещения» и целостности державы, об «общей свободе» и единстве «родных поколений» славян.

Индивидуальная траектория развития тютчевской мысли входила в резонанс с культурно-идеологическим контекстом в России.

Поэт на свой лад выражал общую для эпохи тягу сознания к историзму, к всеобъемлющему пониманию протекших и грядущих веков. Так, в начале 1830-х гг. Н. В. Гоголь был убежден, что он «создан историком и призван к преподаванию *судеб человечества*» (цит. по: Барсуков. 1891. Кн. 4. С. 144). Н. В. Гоголь, осуждая узкую фактографическую методологию, обращался к современному историку: «Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои — гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва, — и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие» (Гоголь. С. 127). Стремление ко всеобъемлющему взгляду на судьбы человечества в начале 1840-х гг. констатировал и А. И. Герцен: «В наше время История поглотила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное питание прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что устремляя взгляд назад — мы, как Янус, смотрим вперед» (Московские ведомости. 1843. № 142. С.

С таинственным смыслом истории в целом, с ролью России и Европы в судьбах человечества связаны и основные (католически ориентированные) идеи П. Я. Чаадаева, оспоренные А. С. Пушкиным. Так, еще в 1831 г. последний прочитал два философических письма и, возражая автору, подчеркивал, что единство христианства заключается не в католицизме, а в Богочеловеке, Иисусе Христе. Вполне соглашаясь с философом, поэт пишет, что «величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства» (Пушкин. С. 323). Однако он решительно отвергает утверждение П. Я. Чаадаева, что «мы черпали христианство» из нечистого (т. е. византийского) источника и что «Византия была достойна презрения». А. С. Пушкин защищает перед ним «Греческое Вероисповедание», которое «отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер», и приходит к пря-

мо противоположному, именно «тютчевскому» выводу: «В России влияние Духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях Римско-католических. Там оно, признавая главою своею Папу, составляло особое общество, независимое от Гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой Власти, но огражденное святыней Религии, оно всегда было посредником между Народом и Государем как между человеком и Божеством. Мы обязаны монахам нашей Историю, следственно и просвещением» (цит. по: Юрьева И. Ю. Пушкин и христианство. М., 1999. С. 71). И традиции такого просвещения нельзя растворять в подражании западной цивилизации. По убеждению А. С. Пушкина, «Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою <...> История ее требует другой Мысли, другой формулы...» (там же. С. 72).

В споре А. С. Пушкина с П. Я. Чаадаевым (как и в его стих. «Клеветникам России», а также в характеристике западной прессы: «Европа в отношении к России всегда была

столь же невежественна, как и неблагодарна») намечены важные темы, которые в историко-философских размышлениях Тютчева примут более развернутый и сосредоточенный характер. Эти размышления различными сегментами, в разных культурно-исторических контекстах пересекаются и перекликаются с дискуссиями славянофилов и западников, почвенников и либералов или евразийцев и европеистов. Их логика претворена (как типологически, так отчасти и генетически) в идеях русских писателей и мыслителей самого первого ряда и остается важным уроком для настоящего и будущего. Первопроходческую роль Тютчева признавал А. С. Хомяков, когда подчеркивал, что поэт первым заговорил о судьбах России и Запада в неотрывном единстве с религиозным вопросом.

Февральское движение... — Подразумевается Февральская революция 1917 г. во Франции, подталкивавшая и ускорявшая революционные процессы в странах Западной Европы.

...июньскими днями прошлого года. — Име-

ется в виду июньское восстание парижских рабочих 23 июня 1848 г., после того как был издан указ о роспуске национальных мастерских, а в восточной части Парижа начали возводить баррикады. Восстание развивалось стихийно и после некоторых успехов сменилось обороной захваченных позиций. Учредительное собрание объявило Париж на осажденном положении и передало всю власть в руки военного министра, республиканца генерала Л. Э. Кавеньяка. С помощью регулярной армии и мобильной гвардии к вечеру 26 июня были окончательно подавлены последние очаги сопротивления. Всего в дни восстания и после него было убито около 11 тыс. повстанцев, а более 3,5 тыс. отправлено в ссылку и на каторгу.

Всякое действие вовне ему воспрещено. — Вероятно, подразумевается раздвоенность Запада на «красный» и «белый», «революционный» и «консервативный», которая как бы обессиливает противостоящие стороны и мешает им объединиться для «действия вовне» против России как Восточной Империи, Православной Державы. На самом деле такое

объединение и произошло в период Крымской войны. Тем не менее идея желательной и благоприятной для России разделенности Запада была одной из самых постоянных и устойчивых у Тютчева. Так, в одном из писем накануне Крымской войны он вопрошал: «Что же до вероятного исхода борьбы, весь вопрос для меня сводится к следующему: окажется ли ненависть к нам Запада, как Запада католического, так и Запада революционного, в конечном счете сильнее ненависти, которая их разделяет? Весь вопрос в этом...» (Изд. 1984 . С. 205). Через несколько месяцев он снова подчеркивал, говоря о «вечном антагонизме между тем, что, за неимением других выражений, приходится называть: *Запад и Восток* : ”Теперь, если бы Запад был единым, мы, я полагаю, погибли бы. Но их два: Красный и тот, которого он должен поглотить. В течение 40 лет мы оспаривали его у Красного — и вот мы на краю пропасти. И теперь-то именно Красный и спасет нас в свою очередь”» (там же. С. 208). Еще позже, в письме И. С. Аксакову от 2 октября 1867 г. поэт повторял: «Усобица на Западе — вот наш лучший политический

союз...» (там же. С. 311).

...победа России в Венгрии... — Имеется в виду подавление революционного движения русскими войсками, после того как венгерский сейм 14 апреля 1849 г. принял Декларацию независимости Венгрии и провозгласил династию Габсбургов низложенной. Уже тогда племянник австрийского императора Фердинанда I Франц Иосиф, в пользу которого тот отказался от престола, обратился к Николаю I с просьбой о вооруженной помощи. 21 мая в Варшаве состоялась их встреча. В июне русская армия под командованием И. Ф. Паскевича вошла в Венгрию, и уже 31 августа повстанцы окончательно сдались ей и сложили оружие.

Это вся современная мысль после ее разрыва с Церковью. — Тютчев рассматривал западную цивилизацию с ее «антихристианским рационализмом», невнятным гуманизмом и гипертрофированным индивидуализмом как следствие «революционного» отпадения человека от Бога (см. коммент. «Россия и Революция». С. 319–320*) и Вселенского Православия, знаменательным этапом на длительном пути

которого становится для него трехвековое развитие секуляризирующейся культуры после Реформации (см. *коммент.* к ст. «Римский вопрос». С. 375–377*). П. Я. Чаадаев в отклике о «России и Революции» солидарно размышлял: «Нельзя достаточно настаивать на том, что социальная драма, при которой мы в настоящее время присутствуем, есть прямое продолжение религиозной драмы XVI века, этого гордого протеста человеческого разума против авторитета предания и против духовного принципа, — разума, стремящегося владычествовать над обществом. И вот вскоре обнаружилось, что этот протест, казавшийся самым зрелым умам эпохи столь законным и который действительно был таковым, но от которого тем не менее зависело все будущее народов Европы, сперва внес анархию в религиозные идеи, а затем обрушился на самые основы общества, отвергнув божественный источник верховной власти» (Чаадаев. С. 339–340). В оценке Реформации и Тютчев и П. Я. Чаадаев сближаются с Ж. де Местром, видевшим в ней нигилистический бунт индивидуального разума против всеобщего като-

лического принципа богоустановленной власти и определявшим ее как религиозную и социальную ересь. «Протестантизм — великий враг Европы, которого надлежит задушить всеми возможными, кроме преступных, средствами. Это — губительная язва, непрерывно разъедающая все верховные власти, дитя гордыни, отец анархии, универсальный растлитель» (Maistre J. de. *Ecrits sur la Révolution*. P., 1989. P. 219). В отличие от Ж. де Местра и П. Я. Чаадаева Тютчев не только не проводил противопоставления между католицизмом и протестантизмом, но в первом находил источник второго, необходимую среду и почву для «всей современной мысли после ее разрыва с Церковью».

...это апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле слова. — См. коммент. к ст. «Россия и Революция». С. 324.*

Напрасно сам 2-й Гизо теперь громко выступает против европейской демократии... — Известный историк Ф. Г. Гизо в конце 1820-х гг. читал в Сорбонне популярный курс истории европейской цивилизации и был одним из вдохновителей умеренной либеральной

оппозиции режиму Реставрации, так называемых доктринеров, монархистов-конституционалистов, стремившихся примирить «старую» и «новую» Францию, соблюсти равновесие между династией Бурбонов (отделив от нее ультрароялистов) и идеальными принципами революции 1789 г. (без их воплощенных крайностей). В годы Июльской монархии Ф. Г. Гизо занимал важные государственные должности (министр внутренних дел, министр образования, посол в Англии), а с 1847 г. до революции 1848 г. он возглавлял правительство Франции, отставки которого требовали последовательные республиканцы. В своей политике ему не удалось укротить «демона революции», сочетать «свободу и порядок» во имя «общих интересов». Более того, будучи сторонником высокого имущественного ценза, он произнес слова, подлившие масла в огонь бунтарских настроений: «Обогащайтесь, господа, и вы будете избирателями!» В начале 1849 г. в Париже, Брюсселе и Лейпциге вышла брошюра Ф. Г. Гизо «De la démocratie en France» («О демократии во Франции»), в которой социальный демократический радика-

лизм подвергался резкой критике.

...вашей школы... — Имеется в виду школа «доктринеров», к которой, наряду с другими, принадлежали профессор философии П. П. Ройе-Коллар, историки А. Г. Барант, О. Тьерри, А. Тьер, Ф. О. Минье (об их деятельности см. в кн.: Реизов Б. Г. Французская романтическая историография. Л., 1956), политики В. де Брoльи, П. Ф. де Серра, Ш. Ремюза. В 1824 г. они основали газету «Globe», привлекавшую злободневными материалами публику, активным читателем которой стал Тютчев. По словам И. С. Гагарина в письме к А. Н. Бахметевой от 23 октября / 4 ноября 1874 г., поэт особенно «увлекался чтением “Globe” последних лет Реставрации <...> В этой газете участвовали весьма талантливые люди, которые в эпоху Реставрации возглавляли оппозицию в области философии и литературы, а после Июльской революции почти все они заняли важные места и стали направлять общественное мнение. Именно в “Globe” появилась знаменитая статья под заглавием “Как кончаются догматы”. Здесь возвещалось, что смерть христианства последует в ближайшее время, и вообще

дух газеты был отнюдь не христианский. Не скажу, что “Globe” была для Тютчева Евангелием или требником, но, когда я его знавал, он всецело примыкал к ее направлению» (ЛН-2. С. 45–46). Примечательно, что позднее Тютчев займет отличную от доктринеров позицию и, как бы отталкиваясь от их отношения к христианству, положит его в основу своей историософии. Унаследовав просветительский пафос, доктринеры рассматривали историю как столкновение социальных интересов и потребностей, которое находит выражение в борьбе идей и убеждений, мнений и страстей и, несмотря на войны и революции, ведет к совершенствованию человечества, демократизации общества, обретению личностью все больших индивидуальных прав в развивающейся цивилизации. Понятие «цивилизация», становившееся своеобразным заменяющим эквивалентом для идеи единства в понятии «империя», занимает ведущее место и в знаменитых лекциях главы школы «доктринеров» Ф. Г. Гизо по «Истории цивилизации в Европе». К. Пфеффель утверждает, что в молодости Тютчев испытывал влияние

этой школы, посещая в 1828 г. в Париже лекции Ф. Г. Гизо и встречаясь с последователями П. П. Ройе-Коллара: «Пребывание в Париже было для Тютчева решающим в том смысле, что отметило его последнюю, западническую, если так можно выразиться, трансформацию» (ЛН-2. С. 33). В последующем Тютчев занял иную позицию, что проявилось в его критике протестантизма, цивилизации, демократии, индивидуализма, революции как, так сказать, повивальной бабки прогресса и совершенствования человеческого рода и всей «современной мысли» в целом (см. коммент. С. 429–431*, 437*).

...кто учил нас видеть в религиозной реформации 16-го века <...> эру окончательного высвобождения человеческого разума... — В понимании значения и самых широких и разнообразных исторических последствий Реформации вплоть до «апофеоза человеческого я» Тютчев занимал противоположную школе Ф. Г. Гизо позицию.

И как хотите вы, чтобы после подобных наставлений человеческое я, эта основная определяющая молекула современной демо-

кратии, не стало бы своим собственным идо-
лопоклонником? — Примером такого идо-
поклонства, принципиально неприемлемого
для Тютчева, может служить заключение Ф.
Г. Гизо: «Страсть к личной независимости,
несмотря на всю примесь грубости, материа-
лизма, безумного эгоизма, есть благородное
нравственное чувство, почерпающее свою си-
лу из духовной природы человека: это — удо-
вольствие сознавать себя человеком, это —
чувство личности, самостоятельности челове-
ческой в свободном его развитии <...> Оно бы-
ло внесено и положено в колыбель новой ци-
вильзации варварами. Оно играло в ней та-
кую важную роль, принесло такие прекрас-
ные результаты, что нельзя не выставить его
на вид, как один из основных элементов в
этой цивилизации» (цит. по: ЛН-1. С. 225).

*...в феврале 1848 года, некоторых из вас <...>
посетила внезапная фантазия перевернуть
последнюю страницу этой книги и прочесть
уже известное вам страшное откровение... —
Февральскую революцию 1848 г. и июньское
подавление парижского восстания Тютчев
рассматривал как «последнюю страницу» и*

«страшное откровение» в длительной истории развития «современной мысли» и «эмансипированного разума».

...провозглашения европейским обществом всеобщего избирательного права верховным судьей своих судеб... — Через несколько дней после начала Февральской революции и провозглашения республики Временное правительство во Франции издало декрет о введении всеобщего избирательного права для всех мужчин старше 21 года. Определенную осторожность к этой общественной новации в то время демонстрировал *RDM*, читателем и автором которого был Тютчев. «Журнал не осмеливался осуждать всеобщее избирательное право как абстрактный принцип, но высказывался весьма сдержанно о своевременности его введения у нации, потерявшей спокойствие и традиции размеренной, патриархальной жизни» (Broglie Gabriel de. *Histoire politique de la Revue des Deux Mondes*. P., 1979. P. 78).

...обратиться к вооруженной силе... — Подразумевается подавление Июньского восстания в Париже.

...сможет ли осадное положение когда-либо стать системой правления?.. — Имеется в виду декрет Учредительного собрания, объявившего 24 июня 1848 г. Париж на осадном положении и передавшего всю полноту власти генералу Л. Э. Кавеньяку.

Оно, несомненно, ясно для Божественного Провидения, но неразрешимо для современно-го разума. — Здесь Тютчев в очередной раз утверждает неподвластную рациональному постижению провиденциальную логику истории, с которой человеческие действия могут совпадать или противоречить ей, натываясь на непредвиденные тупики в своем неведении этого совпадения или противоречия и уповании на здравый смысл и трезвый расчет. Эта одна из принципиальных мыслей Тютчева варьируется в его письме к жене от 3 июля 1855 г.: «Надо быть совершенно лишенным высшего инстинкта, чтобы не чувствовать, даже не отдавая себе отчета, что мир человеческий вошел в новую область, что перегородка, отделяющая его от другого мира, который никогда так решительно не отрицали, как теперь, — что эта стена уже действитель-

но только перегородка и она становится все тоньше, так что скоро делается может быть совсем прозрачной. Лучшее доказательство, по-моему, того, что “Сверхъестественное”, если называть его по имени, проникло в дела мира сего — наподобие статуи командора — это полное поражение, очевидное и бесповоротное того, что казалось самим Разумом, Разумом по преимуществу, Мудростью, Наукой, человеческой предусмотрительностью» (СН. 1915. Кн. 19. С. 229).

...неизбывное противоречие между <...> общественным мнением, либеральным мнением, и реальностью фактов... — Тютчев находил в рациональном подходе к жизни, в «книжном разуме», интеллигентской идеологии, становящейся ведущей социальной силой, иррациональную отвлеченность от исторических и антропологических корней и противоречий и соответственно неадекватность в постижении всей полноты, сложности и непредсказуемости окружающей действительности.

...эта столь фантастическая, сколь и действительная сила, которую называют Обще-

ственным Мнением. — Тютчев одним из первых отмечает парадоксальность нового социального феномена, так сказать, миражно оторванного во всепоглощающей пристрастии к идеологической и политической ангажированности и актуальности от фундаментальных проблем человеческого бытия и истории и одновременно обретающего огромную мощь внушающего влияния на умы и воображение людей. «Общественное мнение, — замечал Наполеон, — это невидимая и таинственная сила, которой ничто не может сопротивляться; нет ничего более изменчивого, неясного и сильного; и несмотря на всю свою капризность, оно бывает истинным, разумным, справедливым гораздо чаще, нежели обыкновенно полагают» (цит. по: *Las Cases*. Т. 1. Р. 252). С другой стороны, французский император ясно видел пределы истинности, разумности и справедливости общественного мнения, называя его «публичной девкой» и сравнивая с капризной лошадью, которую необходимо обуздать (см.: Тарле Е. В. Печать во Франции при Наполеоне I // Тарле Е. В. Соч.: В 12 т. М., 1958. Т. 4. С. 502–553). Один из

секретарей Наполеона писал, что тот «всегда был врагом печати и держал все журналы в железных руках. Он часто мне говорил: “Если я сниму с них узду, то через три месяца лишусь своей власти”» (цит. по: Туган-Барановский Д. М. Наполеон и власть. Балашов, 1993. С. 228). По признанию другого современника, для манипулирования общественным мнением правитель Франции прибегал к своеобразной тактике: «...не предоставлять журналистам полной свободы, но вместе с тем внушить читателю приятную уверенность, что журналисты свободны. Для этого стоит постоянно только тайной и невидимой рукой руководить редактированием газет» (там же). Наполеон как бы очертил подвижные границы колебания общественного мнения и формирующей его печати между истиной и ложью, справедливостью и продажностью — параметры, в которых действие «невидимой», «фантастической» и одновременно «реальной» силы, способной, как дышло, поворачиваться в любую сторону, проявлялось для Тютчева все более очевидным и в каком-то смысле фатальным образом.

Странная вещь в конечном счете эта часть «общества» — Публика. — Имеются в виду «книжники», «идеологи», «интеллигенция», лишенная исторических корней и связей, не имеющая в своем сознании религиозно-метафизических оснований и целостного масштаба бытия, но становящаяся на Западе и в России активной социально-политической силой и исходящая в реформаторских устремлениях из собственных «прогрессивных», «гуманистических», «просветительских», «рациональных», «научных» представлений о жизни. Это, пишет Тютчев, «так называемая публика, т. е. не народ, а подделка под него». Он не надеется, что «эта пресловутая интеллигенция поймет и оценит начинающийся всемирный кризис» (ЛН-1. С. 426). Из его уст раздаются категоричные оценки «публики» (ср. противопоставление «публики» и «народа» у К. С. Аксакова), образованных, но лишенных корней, традиций, полномасштабного разума и истинной иерархии ценностей пролетариев умственного труда: «...на то и интеллигенция, чтобы развращать инстинкт» (там же), а также отнимать у человека «са-

мые заветные верования». По убеждению поэта, божественная мудрость и народный инстинкт должны соединиться, минуя средостение антропоцентрических проектов и рационалистического полужнания, амбициозных притязаний и не до конца осознанных действий.

...избранного народа Революции. — Имеются в виду «идеологи» и «книжники», интеллигентское «меньшинство западного общества», которое оторвано от коренных народных «инстинктов», традиций и верований и о котором далее идет речь.

...ненависть к авторитету как изначальный принцип. — «Дух мятежа против власти» и «ненависть ко всякому ограничению» Тютчев считал «главной болезнью нынешнего времени» (цит. по: *Летопись 1999*. С. 195) и связывал его с умалением христианских принципов в «самовластии человеческого я». В бумагах Тютчева И. С. Аксаков обнаружил незаконченное письмо к некоему князю (как считает Эрн. Ф. Тютчева, П. А. Вяземскому), где речь идет об иссякновении христианских источников власти в «Современной Цивилиза-

ции» и о беспрецедентном в истории человечества, «сознательном и рациональном отрицании уже не только такой или другой власти, но и самого принципа власти между людьми»: «Потому что самая сущность современной мысли такова: человек зависит только от самого себя (*l'homme ne relève que de lui-même*); в нем самом, а не в чем-либо другом, источник всякой власти. Когда я называю «современную» мысль, которая так же стара, как человечество, я хочу сказать, что только в мире современном, только в виду христианского закона и из противодействия ему могла эта мысль получить свое полное развитие и приобрести свою необъятную практическую важность. Почему же? Полагая за основание, что человеческий разум довлеет, так сказать, себе самому, — вся философия древности сводится собственно к одной сущности: к автономии человеческого разума. Нет такого мнения, нет такой доктрины, исходящей из этого начала, которая бы не была проповедана в школах философов, от идеализма самого трансцендентального до материализма самого грубого. И однако же все это движение умов ни разу

не произвело на свет ничего подобного тому учению, той Власти, той Силе, которую я назвал Революцией. Потому что, в том возрасте мира и прежде явления христианства, философская мысль, добывая себе человека в индивидууме, могла завладеть, так сказать, только наименьшею его частью. Ибо *гражданин*, — этот раб государства, эта *вещь* государства (но именно только поэтому собственно и человек, — человек по преимуществу, по понятиям древних), — необходимо ускользал из ее рук. Государству же подлежал по праву не только индивидуум, но подлежала и сама мысль человеческая. Только христианство положило конец этой, возведенной в закон, неправоиспособности человеческой души, провозвестив, пред лицом индивидуума, как и пред лицом государства, Того, Кто один истинный Господин им обоим. Подчинение человека Богу сокрушило рабство человека человеку. Или вернее, оно преобразило рабство в добровольное и свободное повиновение; ибо таково по существу своему отношение христианина к власти, за которую он не признает другого авторитета, кроме того, кото-

рым она облечена от Верховного Владыки всяческих. И вот почему новейшая современная мысль, освобождая человека из-под власти Божией, эмансипируя человека от Бога, отнимает тем самым всякий авторитет у власти земной, какая бы она ни была. То есть, другими словами, никакого принципа власти не может в наши дни существовать для общества, которое было христианским и перестало им быть...» (цит. по: *Биогр.* С. 177–178). В характеристике «ненависти к авторитету» как существенного признака «современной мысли» Тютчев сближается с Ж. де Местром. Хотя в подмене последним авторитетом «Верховного Владыки всяческих» как источника власти авторитетом папы он видел одну из главных причин искажения христианского отношения к государственному началу.

...то, что новые учреждения называли по сей день представительствам, не является <...> реальным обществом с его интересами и верованиями... — Тютчев, как и ряд других русских писателей и мыслителей, ясно видел «зазор» между пропагандируемым и реальным содержанием в конституционно-либе-

ральных и республиканско-демократических идеях «публики», «идеологов», «книжников». Так, А. С. Пушкин устами своего персонажа выражал сомнение в участии английского народа в законодательстве и в исполнении требований народа его поверенными. И далее речь заходит об «оттенках подлости», отличающих один класс от другого, о раболепном поведении Нижней палаты перед Верхней, джентльменства перед аристократией, купечества перед джентльменством, бедности перед богатством, повиновения перед властью, которая оказывается в руках «малого числа». И в Северо-Американских Штатах демократия, подчеркивал А. С. Пушкин, проявилась «в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству...» (Пушкин. С. 165). В русле этой логики находятся размышления К. П. Победоносцева, подчеркивавшего, что идеальное теоретическое представление о народовластии неосуществимо на практике, ибо народ вынужден

переносить свое право непосредственного волеизъявления, властительства, законотворчества и т. д. на выборных лиц. Последние же втайне руководствуются не столько общенародными, сколько групповыми, партийными и личными интересами. Поэтому «одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции — и проникает, к несчастью, в русские безумные головы» (*Победоносцев*. С. 31–32).

1848 год явился землетрясением... — Образ землетрясения для всеевропейского революционного года встречается также в ст. «Россия и Революция» (см. коммент. С. 347*).

В Германии междоусобная война составляет саму основу ее политического положения. — См. коммент. к ст. «Россия и Революция». С. 331*.

Сейчас это более, чем когда-либо, Герма-

ния Тридцатилетней войны... — О религиозной и политической войне 1618–1648 гг. протестантских князей и императора «Священной Римской империи германской нации» с католическими князьями, Австрией и папством, в которую оказались втянутыми Франция, Испания, Англия, Голландия, Дания, Швеция и другие страны, как прототипической для исторических междоусобиц в Германии Нового времени Тютчев не раз заводит речь. См. *коммент.* к ст. «Россия и Германия». С. 266*.

...ненависть Италии к пребывающему за горами Варвару. — В процессе истории Италия часто подвергалась нападениям соседних германских племен через северные склоны Альп. О сформировавшемся в результате итальянском восприятии немцев Тютчев пишет в ст. «Россия и Революция» (см. *коммент.* С. 338–339*).

...война, объявленная Революцией, взявшей на вооружение итальянское национальное чувство, опороченному римским папством католицизму. — Революция в Италии совпала с активизацией национально-освободи-

тельного движения 1848–1849 гг., которое после первоначального союза с папой Пием IX приняло антиклерикальную и антипапскую направленность (см. *коммент.* к ст. «Римский вопрос». С. 384–387*).

...вот уже 60 лет составляет ее жизненный принцип... — О своеобразии этого принципа, берущего свое начало и в классическом виде проявившегося во время Великой Французской революции, см. *коммент.* к ст. «Россия и Революция». С. 323–324*. О нем заходит речь и в ст. «Римский вопрос» (см. *коммент.* С. 394*).

...цивилизации, которую антихристианский рационализм отвоевал у римской Церкви... — О борьбе «антихристианского рационализма» с «развращенным христианством» в римской Церкви и ее результатах см. *коммент.* к ст. «Россия и Революция». С. 319–325*. В критике такой цивилизации и ее революционных плодов Тютчев подразумевает и Ф. Г. Гизо, который, напротив, видел в них социальное воплощение христианских идеалов.

...неразрешимые затруднения <...> найдут свое разрешение только в другой половине... —

Тютчев имеет в виду Восточную Европу во главе с Россией, способную, благодаря православному основам «другой» цивилизации, предотвращать и примирять революционные конфликты и противоречия Запада.

...изгнание чужеземца, немца. — Об отрицательном отношении итальянцев к немцам см. коммент. С. 441*.

...классическая утопия — единая Италия. — См. коммент. к ст. «Римский вопрос». С. 390–392*.

Римская реставрация. — Имеется в виду стремление восстановить нечто подобное Древнеримской республике в годы революции 1848–1849 гг.

Италия книжников, ученых, революционеров, от Петрарки до Мадзини. — Поэт Ф. Петрарка (1304–1374), один из наиболее выдающихся гуманистов эпохи Возрождения, был поборником единой Италии (см., например, его канцону «Моя Италия») и противником папства. В 30-40-е гг. XIX в. появляются исторические романы Ф. Д. Гверрацци, трагедии Дж. Никколини, лирика Г. Мамели и А. Поэрио, проникнутые революционными идеями

Дж. Мадзини (1805–1872). Последний в 1831 г. основал тайную республиканскую организацию «Моя Италия» для подготовки вооруженного восстания и объединения Италии, играл значительную роль в борьбе за создание единого итальянского государства, в 1849 г. входил в триумvirат Римской республики.

...это традиция древнего Рима, языческого Рима. — См. коммент. к ст. «Римский вопрос». С. 393*.

Римская Италия... — Имеется в виду древнеримская Италия.

...единство Италии, как его понимают эти господа... — Т. е. либеральная интеллигенция, «книжники, ученые, революционеры».

...Рим владел Империей. — В данном случае имеется в виду притязание на вселенское верховенство и мировое господство языческой Древней Римской империи, павшей под ударами варваров в V в. В целом же для Тютчева смысл понятия «империи», ее «законность» или «незаконность» (узурпаторские претензии) связаны с Истиной подлинного христианского вероучения и неискаженного предания

Вселенской Церкви или отступлением от Нее.

Что такое Империя? Это передача полномочий... — Имеется в виду широко распространенная в Средние века и восходящая к толкованиям на книгу пророка Даниила теория «translatio imperii» — «передачи», «переноса», «перехода» единой мировой державы, которая в каждую историческую эпоху может быть только одна (см. далее «учение об империи» и коммент. С. 452–455”). По представлениям идеологов Западной империи, с коронацией Карла Великого начинается translatio imperii от греков к франкам и затем к германцам, что положило начало «Священной Римской империи». Последняя претендовала на восстановление прерванной преемственности от Рима и соперничала с Византией за право быть вселенской державой, что породило проблему «двух императоров» и сопровождалось в последующем схизмой, разделением Церквей. С точки зрения Тютчева, подобная «передача полномочий» стала «незаконной» и «узурпаторской», ибо «Священная Римская империя» как бы параллельно повторяла Византийскую, Константинопольско-

го патриарха заменял римский папа, а василевса — новоявленный император, после того как империя была законно перенесена на Восток. О теории «translatio imperii» см.: Goez W. *Translatio imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit.* Tübingen, 1958; Ле Гофф Ж. *Цивилизация средневекового Запада.* М., 1992; Буланин Д. М. *Translatio studii: Путь к русским Афинам // Пути и миражи русской культуры.* СПб., 1994. С. 87–154.

Удаление Империи из Рима и перенос ее на Восток... — После завоевания Рима варварами в 476 г. и разделения Римской империи ее центр переместился в Византию, именовавшую себя «империей ромеев» (римлян), носительницей идеи «вечного Рима», где воплотилось Слово. Вместе с тем еще в 330 г. император Константин основал мировую столицу на Босфоре, и «Новый Рим» (этот титул был официально дан Константинополю в третьем каноне второго Вселенского Собора в 381 г.) как средоточие христианской державы противопоставлялся древнему как центру языческой

империи, гонительнице христиан. В этой столице христианского мира созывались Вселенские Соборы, а Константинопольский патриарх с VI в. стал именоваться Вселенским (всехристианским). Для понимания тютчевских представлений о христианской державности необходимо иметь в виду сформулированный «на Востоке», при императоре Юстиниане I (483–565), в шестой новелле Юстинианова Кодекса идеал монархической государственности как «симфонии» священства и царства, Церкви и императорской власти, обретающей источник, силу и смысл своей деятельностью во служении Христу (см. *коммент.* С. 452–455*).

*...это христианская мысль, которую языческая мысль стремится отрицать. — В противоречивом единстве «восточного» наследования имперской идеи Тютчев подчеркивает не связь, а разделение между Римской (языческой) и Византийской (христианской) империями. Более того, в «языческой мысли» Древнего Рима он видит неумиряющую традицию: «Это Кесарь, вечно воюющий со Христом» (цит. по: *Биограф.* С. 231).*

Римское Папство и германская Империя
«...» сначала сообщники, а потом враги. Италия — добыча, оспариваемая ими друг у друга.
— С 962 г., когда после коронации папой Иоанном XII Оттона I в качестве «императора Августа» образовалась эта империя, немецкие короли при смене власти отправлялись в Рим, где очередной папа короновал очередного императора. Однако через некоторое время «сообщничество» превратилось в соперничество, и Италия в XI–XIII вв. стала главной ареной борьбы двух универсалистских и гегемонистских сил — Германской империи, претендовавшей на господство в Европе, и папства, стремившегося утвердить свое верховенство над светскими правителями христианского мира. В ожесточенных конфликтах империи и папства, на время остановленных Вормским конкордатом 1122 г., обе стороны искали поддержки итальянских городов и жаловали им права самоуправления.

Рухнувшая Империя завещает Италию австрийскому господству. — Еще в итоге войны за «испанское наследство» (1701–1714) к Австрии перешли Неаполитанское королевство,

о. Сардиния и Милан, присоединение которого положило начало австрийскому господству в Северной Италии. После крушения наполеоновской империи, по новым договоренностям на Венском конгрессе 1814–1815 гг., Австрия получила в свое владение Ломбардию и Венецию, а на престолах ряда итальянских герцогств оказались представители Габсбургского дома.

Папство сближается с Австрией. — Еще 29 апреля 1848 г. Пий IX в особом «Обращении» заявил о своем нежелании воевать с Австрией, борьбу с которой начинали вести итальянские государства. 18 февраля 1849 г. уже из Гаэты, куда он бежал, папа обратился к правительствам Австрии, Испании и Франции с просьбой помочь восстановить его светскую власть в Римской области.

Дело Независимости все более отождествляется с революционным делом. — Национально-освободительное движение в Италии в 1848–1849 гг. приводило к усилению радикально-демократической составляющей в его рядах.

Французское вмешательство, в пользу Ре-

волюции, только осложняет это положение. — Речь идет об интервенции французских войск, посланных президентом Луи Наполеоном Бонапартом под предлогом защиты римского населения от иностранных армий для подавления Римской республики и установления там своего влияния в противовес Австрии.

Империя восстановлена. — Имеется в виду законная (в понимании божественной легитимности) империя Православного Востока, наследница Византийской, в лоне которой могли бы найти свое «правильное» и достойное место разные народы.

Папство секуляризировано... — О секуляризации папства (т. е. о его растворении в светской власти и передаче ей собственных полномочий) как неизбежном результате его внутреннего развития и последовательного реформирования в духе изменяющегося времени и приспособления к текущей политико-идеологической действительности и революционизирующейся истории см. в ст. «Римский вопрос».

Две вещи по обыкновению одинаково нена-

видимы в Италии: tedeschi и preti. — См. коммент. С. 436–437*.

...прирожденной покровительницей Италии. — По мнению Тютчева, такой покровительницей, разрешающей непримиримый антагонизм между Революцией и Церковью, могла бы стать Православная Империя.

Папа лицом к лицу с Реформацией. — Подразумевается аналогия между положением Пия IX, когда радикализация революционного движения 1848–1849 гг. усиливала антипапские и антицерковные настроения в массах, и положением папского престола, когда антиримские тенденции в период Лютеровых реформ XVI в. грозили вылиться в народные выступления против католицизма.

...на путях возвращения римской Церкви в лоно Православия. — Надежду на такое возвращение и преодоление схизмы Тютчев высказывал в конце ст. «Римский вопрос» и встретил недопонимание в этом вопросе. «Многие, — отмечал он в цитированном ранее незаконченном письме князю П. А. Вяземскому после публикации «Римского вопроса», — прочитав эту статью, говорили мне,

как и вы: “Но разве время теперь думать о соединении церквей? Возможно ли это дело? А если б и было возможно, не представит ли оно для нас более неудобств (inconvénients), чем выгод?..”. Должно быть, я дурно выразился в моей статье, — иначе не могло бы придти и в голову, чтоб я вел речь о возобновлении Флорентийского собора...» (цит. по: *Биогр.* С. 175). Тютчев имел в виду не нечто вроде унии или условно-политического и прагматического договора, а такое «возвращение», при котором римская Церковь отказывалась бы от возникших после ее отделения от Вселенской Церкви «незаконных» притязаний.

Есть только одна мирская власть, опирающаяся на вселенскую Церковь... — Подразумевается Восточная Империя во главе с Россией, имеющая в качестве своей духовной и исторической основы «неповрежденное» христианство, Вселенское Православие.

Гогенштауфены — династия германских императоров (1138–1254), притязавших в лице Фридриха I Барбароссы, Генриха VI и Фридриха II на мировое господство в соперничестве с папами.

...антихристианский принцип... — Подразумеваются антихристианское революционное начало и насилие, тактическое использование которых оборачивается для имперской власти стратегическими просчетами.

Что такое Франкфуртский парламент? — После Мартовской революции 1848 г. во Франкфурте-на-Майне открыло заседания избранное на основе двухстепенной избирательной системы общегерманское Национальное собрание, которое предполагало продолжить работу предпарламента, провозгласить республику и выработать конституцию, сформировать пользующуюся всеобщим доверием исполнительную власть. Его подавляющее большинство составляли либералы и демократы, которых представляли 364 юриста, 154 профессора и литератора, 57 торговцев и чиновников, 85 дворян, 4 ремесленника и 1 крестьянин.

Взрыв Германии идеологов. — «Идеологами», «книжниками», «публикой» Тютчев называет представителей интеллигенции, писательских и журналистских кругов, стремящихся вместить весь объем исторической

жизни и всю полноту действительности в прокрустово ложе «прогрессивных» идей, искусственных теорий и взыскуемых надежд.

...утопия, отсутствие чувства реальности, всегда достаточного у масс, но почти никогда не достающего книжникам. — О связи утопизма и «книжности» см. коммент. к ст. «Римский вопрос». С. 390–391.*

То была Империя с римской душой и славянским телом (завоеванным у Славян). — Имеются в виду земли западных славян, входившие в процессе их колонизации в состав «Священной римской империи германской нации».

Дуализм, внутренне свойственный Германии. — Дуализм, носивший конфессиональный (протестантско-католический) характер, сменялся и усугублялся династическо-государственным соперничеством между Пруссией и Австрией. Показательна в этом отношении война за австрийское наследство, когда после смерти Карла VI в 1740 г. наследственные права на владения австрийской короной перешли к его дочери Марии Терезии. В результате военных действий Пруссия захвати-

ла у Австрии Силезию.

Тридцатилетняя война обустроила и укрепила его. — Тютчев вновь упоминает эту войну как типичное проявление германского дуализма и раздробленности. Итоги Тридцатилетней войны и условия заключенного после нее Вестфальского мира не давали возможности «Священной Римской империи германской нации» стать единой и централизованной абсолютной монархией.

Как только Россия устраняется, война возобновляется. — Россия играла значительную роль в устранении, смягчении и предотвращении последствий обозначенного выше дуализма и в сохранении равновесия между двумя крупнейшими государствами Германии. В частности, российская дипломатия активно участвовала в установлении Тешенского мира 1779 г. между Австрией и Пруссией.

Империя предполагает законность. — Имеется в виду высшая божественная легитимность и укорененность в уходящий за горизонт исторического бытия основополагающей традиции и преемственности как особый фундаментальный источник права и правосос-

знания.

Пруссия незаконна. — Подразумевается отсутствие законности в обозначенном выше смысле и подлинных исторических корней. В 1618 г. маркграфство Бранденбург объединилось с герцогством Прусским, возникшим в 1525 г. на территории Тевтонского ордена. Бранденбургско-Прусское княжество, состоявшее из захваченных в XII–XVII вв. земель (преимущественно славянских и литовских), и стало лишь в 1701 г. собственно Пруссией, Прусским королевством, когда курфюрст Фридрих II торжественно короновался в Кенигсберге.

Империя в другом месте. — Т. е. в законном. См. коммент. С. 442–443*.

...захочет ли она смириться и пребывать Пруссией. — Подразумевается так называемый «малогерманский» путь объединения Германии (во главе с прусскими Гогенцоллернами, а не с австрийскими Габсбургами, как в «великогерманском»), при котором разрозненные немецкие государства должны войти в состав Пруссии. Многие депутаты Франкфуртского парламента, как и гегельянцы в об-

ласти философии, отстаивали первостепенную роль именно Пруссии и отдавали предпочтение первому пути.

...король Пруссии по самой природе своего происхождения никогда не сможет стать императором Германии. — Правившая Пруссией династия Гогенцоллернов происходила из бранденбургских курфюрстов (1415–1701), а не из императорского рода Габсбургов, имевшего к тому же более древнюю родословную.

Пруссия есть не что иное, как отрицание германской Империи. — По мнению Тютчева, «незаконные» имперские амбиции Пруссии представляют собой отрицание «законной» империи, подобно тому, как «революционное» реформаторство М. Лютера является отрицанием «законного» католицизма.

Историческое объяснение хода вещей (только династическое). — После Тридцатилетней войны монархия Габсбургов в XVII–XVIII вв. являлась одной из крупнейших европейских держав. Основное ее ядро составляли наследственные земли Габсбургов — Нижняя и Верхняя Австрия, Тироль, словенские Штирия, Каринтия и Крайна, а

также Истрия и Триест. Кроме того, в состав монархии входили земли чешской и венгерской короны, германские города Фрейбург, Констанц и ряд других территорий на реках Рейн, Неккар и в Эльзасе. Различные по языку, культуре, обычаям и нравам, земли монархии связывались общностью династии, имевшей, в отличие от Пруссии, более глубокие исторические корни и длительное время укреплявшейся и расширявшейся главным образом за счет династических браков и искусного использования политических противоречий в разных странах.

Уничтоженный последними событиями. — Имеются в виду революционные события 1848–1849 гг.

Австрия, став конституционной... — В ходе европейских революционных волнений 3 марта 1848 г. в Государственном собрании Венгрии был зачитан текст речи Л. Кошута, в которой высказывалось требование конституции не только для этой страны, но и для всей Австрийской империи. 15 марта, когда императорский дворец в Вене оказался осажденным студентами и рабочими, был обна-

родован указ о созыве собрания сословий для выработки конституции. В апреле и мае австрийское правительство под давлением событий объявило о введении конституции и всеобщего избирательного права. Однако в последующем обе реформы были отменены.

...или чистое отрицание? — Имеется в виду отрицание самой Австрией своей имперской идеи в заявленных ею конституционных преобразованиях.

...см. Фалльмерайера... — Я. Ф. Фалльмерайер (1790–1861) — немецкий историк и публицист, создатель теории славянского происхождения новоэллинов, изложенной в книге об истории полуострова Мореи в Средние века. В начале 1840-х гг. он длительное время пребывал в Константинополе, излагая впечатления в *AZ*, а затем обобщив их в 1845 г. в двухтомнике «*Fragmente aus dem Orient*» («Восточные фрагменты»). Я. Ф. Фалльмерайер отводил большую роль славянским народам во главе с Россией (в контексте векового противостояния Востока и Запада) в будущем развитии человечества, чем привлекал внимание Тютчева. Мнение последнего на этот

счет Я. Ф. Фальмерайер отметил в дневнике 12 марта 1843 г.: «Введение в обращение идеи Восточной великой самостоятельной Европы в противовес Западной — является, собственно говоря, моей заслугой...» (цит. по: Казанович Е. Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева (1840-е гг.) // *Уrania*. С. 151). О своеобразии «восточных» наблюдений автора «*Fragmente aus dem Orient*», которые могли заинтересовать Тютчева, можно судить по изложению А. И. Герцена: «Г-н Фальмерайер рассказывает в своих “Восточных фрагментах”, каким радостным возбуждением было охвачено греческое духовенство, когда стала слышна пушечная пальба Паскевича под Трапезундом, как ждали монахи Наугуон-Ногос и Афона своего православного освободителя» (Герцен. Т. 7. С. 158). Подобные взгляды и сама масштабность постановки историософских вопросов вызывали у Тютчева желание ближе познакомиться с трудами и личностью мюнхенского ученого. 9 ноября 1842 г. Я. Ф. Фальмерайер записывает в дневнике: «...к г-ну Тютчеву; я один из всех публицистов Запада понимаю, что такое Москва, что Византия; просвещен-

ный разбор моих работ о Морее и моих статей; мы еще не расходились, когда принесли “Всеобщ. Газ.” с первым выпуском моей, отвергнутой Академией, речи» (*Уrania*. С. 146). Автор отвергнутой речи рассматривал Иерусалим, Рим и Константинополь как три судьбоносных града и обнаруживал живучесть представляемой последним византийской традиции, в которой, по его мнению, нет места для частных интересов и сострадательных чувств, а господствует забота о целом и стремление к объединяющей всех деятельности для создания материальной силы, способной к мировому владычеству под эгидой православной Церкви. В такой традиции Я. Ф. Фальмерайер видел опасность для Запада, а германский народ рассматривал в качестве средостения и авангарда борьбы против византийских скифов. В самой масштабности постановки историософских вопросов и в заостренной противопоставленности восточной и западной традиций Тютчев не мог не видеть сходства с собственными построениями, хотя в них эти традиции оценивались прямо противоположным образом. Тем не ме-

нее Тютчев полагал возможным привлечь Я. Ф. Фалльмерайера на свою сторону и на практическое позитивное служение «идеи Восточной великой самостоятельной Европы» (см. об этом: Осповат А. Л. Тютчев и заграничная служба III Отделения (Материалы к теме) // Тыняновский сборник. Пятое Тыняновские чтения. Рига, 1994. С. 122–128). Однако расчеты Тютчева не имели достаточных оснований. Я. Ф. Фалльмерайер твердо придерживался обратных тютчевским оценок Восточной Церкви и Православной Империи, называя русского царя в своих статьях то «вторым Атиллой», то «ханом с Невы», то «новым Чингисханом», а в России видя угрожающее Европе «полуварварское азиатское Монгольское царство» (см. об этом: Rauch Georg von. J. Ph. Fallmerayer und der russische Reichsgedanke bei F. I. Tjutčev // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Bd I. Hf. 1. 1953. S. 72–96). Характерен его отзыв о «Московии» в упоминавшихся «Fragmente aus dem Orient»: «Лишить турок собственности и втянуть эстетически-восприимчивые *немецкие племена* в западню, — составляет душу и жизнь Российства... Греки и

немцы приготовлены как неизбежные жертвы и заранее внесены для будущего порядка в русские регистрационные листы. Ничто не поставлено в зависимость от времени. Москвитянин рассчитывает на вечность своего государства, и именно потому, что он никогда не торопится, он вернее достигает цели... Нашими естественными врагами, нашими ядовитейшими противниками и клеветниками являются во всяком случае русские. По существу в стране порядку, религия и наука у русских не больше, как две податливые девки, которые заодно должны справлять и ремесло сводниц для мирового авторитета Императора-Первосвященника. Немец, наоборот, воздвигает религии, как своей королеве, трон в сердце и присягает на верность науке, как великой, миродержавной власти. Ненависть между такими народами является инстинктом, а всякое соглашение — невозможностью, в особенности когда они находятся в качестве соседей в ежедневном соприкосновении» (цит. по: *Урания*. С. 167). Видимо, Тютчев имеет в виду подобные высказывания Я. Ф. Фальмераера, когда приводит его имя в

контексте обсуждения политических и психологических отношений между немцами и славянами и «естественного права» первых господствовать над вторыми.

...он проистекает из той мысли немца, что его господство над славянами является его естественным правом. — Такое понимание своих «естественных прав» имело давнюю историю, когда с середины X в. Оттон I стал проводить активную восточную политику: «...за счет владений славянских племен, расселявшихся на Лаббе, он стремился удовлетворить захватнические вождедения германских, прежде всего саксонских феодалов. Начинается кровавая эпопея завоевания Восточной Саксонии, земель лужичан. Даже немецкий хронист Видукинд рисует картину беспощадной жестокости и коварства, с помощью которых германским феодалам только и удалось сломить вольный дух свободолюбивых славян» (Рамм Б. Я. Папство и Русь в X–XV веках. С. 31). В последующем история славян рассматривалась лишь в связи с историей Австро-Венгрии и Германии, а о полабских и поморских славянах в период до их завоевания

и истребления говорилось как о немецких подданных. В. И. Ламанский в книге «Об историческом изучении греко-славянского мира» (СПб., 1871) писал, что порою сравнивали славян в интеллектуально-психологическом отношении с неграми и туранцами и что из их сочинений, как и из трудов западных историков в целом, можно составить целую любопытную и поучительную хрестоматию о расовом превосходстве романо-германских народов над славянскими: «Это воззрение прежде всего поражает своею обширною распространённостью. Оно господствует не в одной исторической литературе. Оно ежедневно высказывается в Европе в речах политических ораторов, профессоров и проповедников, в журнальных статьях и брошюрах публицистов. Целые европейские поколения воспитывались, учились, жили, действовали, умерли в этом воззрении» (цит. по: Балугев Б. П. Споры о судьбах России. Н. Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». Тверь, 2001. С. 205). Современный исследователь заключает: «Для обоснования своего господства в славянских землях, для возможного дальнейшего продвиже-

ния на Восток, нового Drang nach Osten немецкие авторы особый упор в своих исторических работах делали на якобы полной неспособности славян к самостоятельному государственному строительству и устройству. Насколько широко была распространена на Западе эта спекуляция в различных политических кругах, свидетельствует тот факт, что ее не постеснялся эксплуатировать даже один из основоположников “научного коммунизма” Ф. Энгельс в своей работе “Революция и контрреволюция в Германии”, опубликованной в виде серии статей в американской газете “New York Daily Tribune” в 1851–1852 гг. <...> Исторический факт вытеснения славян от Эльбы на Восток он горделиво объяснил следствием благотворной “физической и интеллектуальной способности немецкой нации к покорению, поглощению и ассимиляции своих старинных восточных соседей”. С чувством превосходства представителя романо-германского мира над славянами он далее пишет, “что эта тенденция к поглощению со стороны немцев всегда составляла и все еще составляет одно из самых могучих средств,

при помощи которых цивилизация Западной Европы распространилась на Восток нашего континента, что эта тенденция перестанет действовать лишь тогда, когда процесс германизации достигнет границы крупных, сплоченных, не раздробленных на части наций, способных вести самостоятельное национальное существование, как венгры и, в известной степени <...> поляки, и что, следовательно, естественная и неизбежная участь этих умирающих наций <...> состоит в том, чтобы дать завершиться этому процессу разложения и поглощения более сильными соседями”. Имея в виду зародившиеся в эти годы среди чехов и южных славян идеи славянского единения (выразившиеся не только в книгах и статьях, но и в созыве Первого Славянского съезда в Праге в июне 1848 г.), Энгельс категорически отвергает возможность их реализации “в угоду нескольким хилым человеческим группам”...» (там же. С. 205–206).

...как в России. — Смысл этих слов остается неясным.

Венгрия <...> Примет ли она, находясь лицом к лицу с Австрией, условие, которое та

стремится ей создать?.. — Об этом «условии» можно судить по новой австрийской конституции, в которой сводились на нет успехи венгерской революции и упразднялась автономия Венгрии, а от венгерских земель отделялись Хорватия, Словения, Воеводина и Трансильвания. После поражения в октябре 1849 г. венгерской революции австрийский главнокомандующий Хайнау утверждал, что в Венгрии «в течение ста лет не будет революции». Эта уверенность, сочетавшаяся со стремлением Австрии увековечить провинциальный статус мадьяр, подкреплялась многочисленными казнями мятежников, среди которых оказались не только генералы и высшие офицеры, но и первый глава революционного венгерского правительства Л. Батьяни, непричастный к австро-венгерской войне.

...или оставаться славянами, став русскими, или превратиться в немцев, оставаясь австрийцами. — Эту дилемму И. С. Аксаков сопровождал таким комментарием: «Тютчев под словом “стать русскими” вовсе не разумеет ни государственного закрепощения, ни обрусения в тесном смысле слова. Употребив это

выражение, в черновой заметке, для краткости, он дает ему тот смысл, что славяне или должны стать гражданами Греко-Славянского мира, которого душою, без сомнения, может быть и есть только Россия, — или же погибнуть прежде всего духовно, т. е. утратить свою нравственную народную самостоятельность <...> При этом “объединение с Россией” вовсе не означает ни бунта, ни другого какого-либо насильственного действия относительно Австрийского правительства; оно предлагается Тютчевым вовсе не в виде настоятельной практической меры: оно требуется только в области Славянского самосознания, — к тому же прежде всего как объединение духовное, или точнее церковное» (*Биограф.* С. 215–216). В письме к Е. Э. Трубецкой Тютчев говорит позднее о желательности «более истинной, более сознательной, более национальной» политики официальных властей России по отношению к славянам и о предпочтительности «прямому вмешательству» в их дела расширения и углубления единящих духовных и культурных связей (там же. С. 217). В период же составления трактата, в письме к

Л. В. Тенгоборскому от 3 декабря 1849 г., поэт подчеркивает еще одну важную сторону «выбора» славянских народов для будущего России и всего человечества: «Между тем подобный результат, привитие революционного принципа славянским народам, имел бы для современного мира последствия, которые невозможно исчислить. Ибо в отчаянной борьбе между Россией и революцией, где обе являются средоточием и силы и принципов, действительно нейтральными оставались до настоящего времени только эти народы... Очевидно, что та из двух сил, которая сумеет первой привлечь их на свою сторону, собрать их под своим знаменем, эта сила, повторяю, получит больше шансов выиграть великую тяжбу, при которой мы присутствуем...» (ЛН-1 . С. 539). О деятельности Тютчева по укреплению славянского единства см. в кн.: Жакова Н. К. Тютчев и славяне. СПб., 2001.

...если бы Австрии не было, ее нужно было бы выдумать... — Тютчев подразумевает следующее место из «Письма во Франкфурт» (11 апреля 1848 г.) Ф. Палацкого, где впервые была сформулирована его теория австрославиз-

ма: «Если бы Австрийского государства не существовало уже с давних пор, мы должны были бы в интересах Европы, в интересах человечества постараться немедленно его создать» (цит. по: ЛН-1. С. 429).

...недавнее событие... — Имеется в виду вооруженная помощь России Австрии в подавлении венгерской революции.

Западные люди, судящие о России, немного похожи на китайцев... — О разнообразных проявлениях «китайского» взгляда на Россию см. коммент. к ст. «Россия и Германия» (с. 259–265*, 283–286*), к «Записке» (с. 293–294*). О де Бальзак в связи с книгой А. де Кюстина и подобными ему произведениями «коммивояжеров идей» писал: «Заявляю во всеуслышание, что никто из авторов этих сочинений не был в России. Коммерсанты-французы, развернувшие свою торговлю в разных русских городах и в различных частях империи, все становятся русскими, и по возвращении во Францию они не высказывают ничего, что не было бы в пользу императора и русского народа. С ними, поэтому, не приходится считаться. А для коммивояжеров идей, для любо-

пытных Петербург и Москва исчерпывают всю Россию. Они торопятся осмотреть обе столицы, соединенные превосходной дорогой в шестьсот верст, и воображают, что они осмотрели Россию. А между тем, они видели Россию как те, кто, побывав в Кантоне, видели весь Китай; по возвращении в их описаниях на одно правильное наблюдение приходится сотни вымыслов о государстве более более обширном, чем римская империя эпохи Августа» (цит. по: Гроссман Л. Бальзак в России // ЛН. 1937. Т. 31–32. С. 205). Ж.-Ж. Рор, эльзасский протестант, побывавший в России, вынужден был констатировать, что «русский народ почти так же неизвестен у нас, как и китайский» (цит. по: Corbet Ch. L'opinion française face à l'inconnue russe (1799–1894). P., 1967. P. 282). Сходным образом рассуждал и А. И. Герцен, подчеркивавший: «Никто не знает как следует, что же собой представляют *эти русские, эти варвары, эти казаки*; Европа знает этот народ лишь по борьбе, из коей он вышел победителем. Цезарь знал галлов лучше, чем современная Европа знает Россию» (Герцен. Т. 7. С. 149).

...западная колония образованных русских, говорящая их же собственным отраженным голосом... — Имеются в виду такие проживавшие в Европе русские публицисты, как, например, Н. И. Тургенев, И. С. Головин, Н. И. Сазонов или М. А. Бакунин, чья либеральная или революционная фразеология совпадала с западными газетно-журнальными стереотипами.

Запад, поныне видящий в России лишь материальный факт, материальную силу. — Отсюда, как пишет далее Тютчев, безотчетный страх у западных людей перед могуществом этой силы или, как замечает А. С. Хомяков в ст. «Мнение иностранцев о России», чувство «невольной досады» перед ней: «Недоброжелательство к нам других народов, очевидно, основывается на двух причинах: на глубоком сознании различия во всех началах духовного и общественного развития России и Западной Европы и на невольной досаде перед самостоятельной силою, которая потребовала и взяла все права равенства в обществе европейских народов» (Хомяков 1988. С. 84). См. также *коммент.* к «Записке». С. 293*.

...целую половину европейского мира. — Имеется в виду мир православного Востока и Восточной Европы во главе с Россией.

Две вещи: славянское племя, Православную Империю. — По Тютчеву, эти «две вещи» соотносятся между собой, как он пишет далее, подобно «среде» и «принципу» или, как он подчеркивает в другом месте (см. коммент. С. 461*), подобно «телу» и «душе». Это соподчинение в тютчевской иерархии основополагающих понятий своеобразно корректирует и радикализирует К. Н. Леонтьев, критикуя односторонний панславизм и «доверчивое славянолюбие»: «...нужна вера не в само это отрицательное племя, а в счастливое сочетание с ним всего того получужого, преимущественно восточного (а кой в чем и западного), которое заметнее в России, чем у других славян. Нужна вера в дальнейшее и новое развитие Византийского (Восточного) христианства (православия), в плодотворность туранской примеси в нашу русскую кровь; отчасти и в православное *intus-susceptio* (внутреннее восприятие — лат.) властной и твердой немецкой крови и т. д.» (Леонтьев К. Восток, Россия

и Славянство. СПб., 1913. С. 323).

Панславизм, впавший в революционную фразеологию. — Подразумеваются выступления М. А. Бакунина в 1846–1848 гг. (в газете «Constitutionnel», на торжественном праздновании 17-летней годовщины польской революции, на пражском Славянском съезде), в которых он ратовал за союз между русскими и поляками на революционной основе. В «Воззвании к славянам» М. А. Бакунин предрекал скорое падение Николая I («Гольштейн-Готторпа на славянском троне») и пробуждение русского «народа-гиганта»: «В Москве будет разбито рабство всех соединенных под русским скипетром славянских народов, а с ним вместе и все европейское рабство, и навеки будет схоронено в своем падении под своими собственными развалинами; высоко и прекрасно взойдет в Москве созвездие революции из моря и крови, и станет путеводной звездой для блага всего освобожденного человечества» (Бакунин М. Воззвание к славянам. Б., 1904. С. 39).

...смотреть статью Сен-При... — О какой статье идет речь, не установлено.

Именно как православная она заключает в себе и хранит Империю. — Здесь снова подчеркивается первенствующее значение христианского начала перед чисто государственным и этническим.

Что такое Империя? Учение об Империи. Империя бессмертна. Она передается <...> 4 сменявшихся Империи. 5-я — последняя и окончательная. — Подразумевается учение об Империи, объясняющее исторический процесс как смену перечисляемых далее великих мировых монархий (Ассиро-Вавилонская, Мидо-Персидская, Македонско-Греческая, Римская) и восходящее к интерпретациям 2-й (30–44) и 7-й (1-28) глав книги пророка Даниила, дополняемым толкованием 2-го Послания ап. Павла к фессалоникийцам (3–8) о «тайне беззакония», которая «не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь» появление «сына погибели», т. е. антихриста. Пророк Даниил раскрывает значение сна (как тайны «последних дней») царя Навуходоносора, которому приснился огромный и страшный истукан с головой из чистого золота, с серебряными руками и грудью, с

медными бедрами и чревом, с железными го-
леньями, а ногами — частью железными, ча-
стью глиняными. Истукан стоял, пока камень
не оторвался от горы «без содействия рук»,
ударил в его железные и глиняные ноги (пре-
вратив в унесенный ветром прах составляв-
шие его золото, серебро, медь, железо и гли-
ну), а сам «сделался великою горою и напол-
нил всю землю». В пророчестве Даниила раз-
ные части истукана означают четыре сменя-
ющихся друг друга земных царства, а после них
Бог воздвигнет эсхатологическое небесное и
вовсе несокрушимое царство. Комментируя
книгу пророка Даниила, св. Ипполит Рим-
ский писал (ок. 200 г.): «Неужели мы не распо-
знаем в этих событиях, предсказанных неко-
гда Вавилону Даниилом, то, что в наши дни
вот-вот свершится в мире? Так вот, статуя,
описанная Навуходоносору, есть образ импе-
рии мира. В ту эпоху царили вавилоняне: они
были золотой головой статуи. После них пер-
сы будут владычествовать в течение 245 лет,
и это доказывает, что они представляют се-
ребро. Господство переходит затем к грекам
на 300 лет, начиная с Александра Македон-

ского, это медь. А им наследуют римляне, это железные голени статуи, ибо они сильны как железо». Камень, сокрушающий статую, по Ипполиту, это Христос; он сойдет с небес, «как камень, отделяющийся от горы без участия человеческой руки, чтобы ниспровергнуть царства этого мира, установить небесное царство Святых, которое никогда не будет разрушено, Самому стать горой и станом Святых, заполнив всю землю» (цит. по: *Синицына*. С. 17). Четвертое царство, исчезающее вместе с историческим временем после второго пришествия Христа, описано Даниилом в двойном свете — и как прочное, монолитно-единое, и как слабое, смешанно-разделенное (Дан. 2, 40–43). Вместе с тем четвертое царство символизируется в седьмой главе четвертым зверем (первые три похожи на льва, медведя и барса), который необыкновенно страшен, ужасен и силен (Дан. 7, 23–27). Ср. апокалиптического зверя «с семью головами и десятью рогами» в Откровении Иоанна Богослова (17, 3).

В последующем четвертое царство отождествляется с Римской империей, в лоне кото-

рой протекает земная жизнь Христа, созида-
ется «Христово строение», образуется христи-
анская держава и одновременно осуществля-
ются гонения на христиан, сохраняются цеза-
ристские традиции языческой эры, обнару-
живаются признаки последних времен и по-
явления «сына погибели». По мнению совре-
менных исследователей, «трансформация
языческой Римской империи в христианскую
Византийскую, наложение Pax Christiana на
Pax Romana приводит к коренным изменени-
ям в политической концепции: «В IV в. монар-
хическая идея вступает в новый этап своего
мирового развития. От концепции императо-
ра-бога приходят к концепции императора
милостью Бога. Автократор отныне будет под-
ражением «...» и служителем «...», через посред-
ство которого Бог управляет делами людей». Вся
огромная государственная машина Визан-
тийской империи была приспособлена для
выполнения этой провиденциальной миссии
императора — носителя и распространителя
христианства» (Медведев И. П. Империя и су-
веренитет в Средние века (На примере исто-
рии Византии и некоторых сопредельных го-

сударств) // Проблемы истории международных отношений. М., 1972. С. 415 (И. П. Медведев цитирует: D. Zakythinos. Byzance et les peuples de l'Europe du Sud-Est. La synthèse byzantine. Actes du I Congrès international des études balkaniques et sud-est européennes. III. Sofia, 1969. P. 13–14). Учение о христианской империи как «четвертом царстве» пророчества Даниила («Вечном Риме», «Царстве Ромеев») развивалось в трудах Иоанна Златоуста, Козьмы Индикоплова, Мефодия Патарского, Евсевия Кесарийского и других христианских авторов. В логике христианской империи священство и царство как двуединые «ростки» (подобно нераздельному и неслиянному соединению Божественного и человеческого в двух природах Христа) должны сосуществовать в гармоническом согласии («симфонии»), что было сформулировано в шестой новелле Юстинианова Кодекса: «У людей есть величайшие божественные дары, соединенные вышним милосердием, священство и царство: причем то занимается божественными делами, а это, проявляя усердие, руководит человеческими; происходящие из одного

и того же источника, то и другое упорядочивают человеческую жизнь» (цит. по: Буланин Д. М. *Translatio studii...* С. 98–99). И когда цари заботятся о благочестии духовенства, а оно молится за них Богу, когда священство бесспорно, а царство законно, между ними устанавливается доброе согласие и должное взаимодействие. После перенесения в 330 г. столицы в Константинополь (на II Вселенском Соборе в 381 г. он был назван Новым Римом), разделения Римской империи на восточную и западную части и завоевания Рима варварами в 476 г. «окончательная» христианская империя, призванная удерживать приход «сына погибели» и осуществление «тайны беззакония», утверждается в Византии. В наследии «вечного» Рима (как четвертого царства в пророчествах Даниила) Тютчев проводит принципиальное разграничение, отражающееся на всех этапах и сферах его мысли, между языческим «старым» и христианским «новым» Римом. «Особенностью использования Ф. И. Тютчевым теории мировых монархий является разделение Римской и Восточной (Константинопольской) империи, чем

подчеркнуто различие между языческой первой и христианской второй. Он не изложил своих представлений о соотношении между четвертой и пятой империями. Тем не менее факт вычленения Восточной империи как самостоятельной, отдельной от Римской, присвоение ей собственного номера означает, что автор трактата видит разрыв, а не связь между ними. Проектируемая им греко-славянская держава выступала продолжателем и залогом последней, пятой, христианской империи, а не четвертой, Римской» (Синицына. С. 20). О различных аспектах исторического восприятия «учения об Империи» см. в трудах Международного семинара исторических исследований «От Рима к Третьему Риму»: Roma, Constantinopoli, Mosca. Atti del I Seminario internazionale di studi storici «Da Roma alla terza Roma» 21–23 aprile 1981. Napoli, 1983; Popoli e spazio romano tra diritto e profezia. Atti del III Seminario internazionale di studi storici «Da Roma alla terza Roma» 21–23 aprile 1983. Napoli, 1986; Римско-константинопольское наследие на Руси: Идея власти и политическая практика. IX Международный се-

минар исторических исследований «От Рима к Третьему Риму». Москва, 29–31 мая 1989 г. М., 1995; Рим, Константинополь, Москва: Сравнительно-историческое исследование центров идеологии и культуры до XVII в. VI Международный семинар исторических исследований «От Рима к Третьему Риму». Москва, 28–30 мая 1986 г. М., 1997.

Эта традиция отрицается революционной школой на том же основании, что и предание в Церкви. Это индивидуализм, отрицающий историю. — См. коммент. к ст. «Россия и Революция». С. 324*.

...идея Империи была душой всей истории Запада. — Начиная с Римской империи, эта идея постоянно воодушевляла европейский мир. Историк Е. Ф. Шмурло подчеркивал: «Рим оставил народам в наследие великую идею единой всемирной монархии. Вы знаете, какое яркое выражение нашла эта идея в лице Карла Великого, в Оттонах Саксонской династии, в Гогенштауфенах, как импонировала она умам Западной Европы, давала тон всему средневековью...» (Шмурло Е. Ф. Москва — Третий Рим // Славяноведение. 1997. № 5. С.

57). В постсредневековый период идея всемирной империи постепенно теряла христианские и приобретала чисто светские черты, когда в XIV в. Людвиг Баварский и Карл IV сумели освободить власть от влияния папского престола, а императорский трон фактически превратился в должность главы союза немецких территорий. Благодаря деятельности таких представителей династии Габсбургов, как Фридрих III, его сын Максимилиан I и правнук Карл V, был восстановлен высочайший престиж императорского титула. «Священная Римская империя германской нации» стала полем деятельности императоров нового времени, среди которых особо выделялся Карл V. Христианские и династические элементы в имперской идее на Западе сочетались с притязаниями на гегемонизм и светское мировое господство, что по-разному проявлялось в правление Людовика XIV и Наполеона. Далее Тютчев приводит имена правителей, как бы символизирующих важные этапы развития имперского сознания в Европе на фоне такового в России. 4 октября 1853 г. дочь поэта Анна записала в дневнике: «Сомнения нет, мы,

Россия, на стороне правды и идеала: Россия сражается не за материальные выгоды и человеческие интересы, а за вечные идеи «...» Неужели, как постоянно и в прозе и в стихах повторяет мой отец, неужели правда, что Россия призвана воплотить великую идею всемирной христианской монархии, о которой мечтали Карл Великий, Карл Пятый, Наполеон, но которая всегда рассеивалась как дым перед волей отдельных личностей? Неужели России, такой могущественной в своем христианском смирении, суждено осуществить эту великую задачу?» (Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник 1853–1855. М., 1990. С. 124).

Карл Великий. — См. коммент. к ст. «Россия и Революция». С. 347–348*.

Карл V. — С именем Карла V (1500–1558) связана борьба за создание «всемирной христианской монархии» и окончательное конституирование имперской системы нового времени. Он возложил на себя миссию восстановления единства церкви и империи и повел решительное наступление на Реформацию. «Великий план» Карла V включал в себя

разгром Франции, урегулирование религиозно-политических противоречий в империи, решение династических и конституционных вопросов в духе «всемирной монархии» и с помощью применения военной силы. После Аугсбургского религиозного мира (1555) и политических неудач во Франции, Англии и в отношениях с папой Карл V передал управление империей своему брату Фердинанду (см.: Schalk F. Karl V, der Kaiser und seine Zeit. München, 1960).

Людовик XIV. — Правление Людовика XIV (1638–1715), из династии Бурбонов, является периодом наивысшего развития абсолютизма во Франции и ее территориального расширения. Абсолютистская Франция стремилась к захвату всей территории испанских Нидерландов и немецких областей по левому берегу Рейна, подчинению Голландии, Северной Италии и всей Испании с ее колониями. Однако ее имперские амбиции были ослаблены Аугсбургской лигой (коалицией Испании, Австрии и Голландии), которая вместе с Англией вела десятилетнюю войну с ней и в результате Рисвикского мира 1697 г. сумела сохра-

нить прежнее статус-кво. Поражение Людовика XIV в войне за испанское наследство в 1701–1714 гг. положило конец его претензиям на гегемонию в Европе.

Наполеон. — Фигуре Наполеона Тютчев придавал особое значение и видел в ней своеобразное концентрированное воплощение противоречивого единства «старого» и «нового», внешне парадоксальное, но внутренне закономерное саморазрушение «идеи Империи» (вследствие ее «незаконности») в «революционном действии», в «самовластии человеческого я». Наполеон для Тютчева — «великий человек», «самовластный гений», «вещий волхв», не озаренный «освящающей силой», но пораженный змеино-орлиной демоничностью («Два демона ему служили...»). Ср. поэтическое высказывание А. С. Пушкина: «...свершитель роковой безвестного веленья». Такое двойственное восприятие весьма характерно для отношения к Наполеону в России. Например, для М. И. Кутузова Бонапарт, «когда-то великий, а теперь ничтожный», этот «гордый завоеватель» и «современный Ахилл» является одновременно «смесью различных пороков

и мерзостей», «бичом рода человеческого». Исторический подход дает Тютчеву ключ для интерпретации парадоксальной сущности Наполеона как выразительной знаковой фигуры Нового времени.

Революция убила ее, что и послужило началом разложения Запада. — О разных проявлениях революционной борьбы с имперской идеей и о демократическо-индивидуалистическом разложении Запада Тютчев пишет в ст. «Россия и Германия», «Россия и Революция», «Римский вопрос».

...Империя на Западе всегда становилась захватом и присвоением. — Имеется в виду отсутствие божественной легитимности и подлинной преемственности вследствие искаженного христианства, на основе которого строилась Западная империя. По убеждению Тютчева, уже само «незаконное» восстановление империи на Западе при Карле Великом (в нарушение ее «законного» переноса на Восток при Константине Великом) послужило источником подразумеваемых захватов и присвоений.

Это добыча, которую Папы поделили с гер-

манскими Кесарями (отсюда их распри). — См. коммент. к ст. «Римский вопрос». С. 380–381*.

Законная Империя осталась преемственно связанной с наследием Константина. — Подразумевается монархическая Русь, сохранявшая древние церковные заветы и предания и законно унаследовавшая после Флорентийской унии, завоевания Константинополя турками и падения Византии миссию христианской империи. Это преемство как бы стало подготавливаться вскоре после принятия христианства на Руси, когда киевские князья выпускали монеты и печати с изображением Христа, что было атрибутом императорской власти. Подобные имперские притязания обнаруживаются в генеалогических легендах (например, в заявлении сына Ивана III Василия о своем происхождении от кесаря Августа), а также в сказаниях XVI в. о князьях владимирских, древность происхождения которых «мотивируется в знакомом библейском контексте о четырех “великих царствах”, с последнего из которых, через Августа, начинается преемственность древних русских кня-

зей. Важным пунктом в указанной генеалогии являются родственные связи с византийскими императорами — по линии Константина IX Мономаха и князя Владимира Мономаха, что делает их общими родственниками римских цезарей» (Бакалов Г. Универсалистские аспекты идеи о «Третьем Риме» // Рим, Константинополь, Москва: Сравнительно-историческое исследование центров идеологии и культуры до XVII в. М., 1997. С. 217). Тесные церковные, политические, духовные и культурные связи Древней Руси и Византии, ставшие органической составляющей национальной жизни, сохранялись и после падения Константинополя, в период формирования суверенного и централизованного Русского государства во главе с Москвой и ликвидации его зависимости от Золотой Орды. Брак Ивана III с Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора Константина XI, как бы вручал ему имперские права и освящал их. В 1492 г. московский митрополит Зосима провозгласил: «Ныне Господь Бог прославил нашего великого князя Ивана III, нового царя Константина новому граду Кон-

стантину — Москве, и всей Русской земли и иным многим землям государя» (цит. по: Шмурло Е. Ф. Москва — Третий Рим. С. 63). Включение в государственную символику византийского государственного герба и официальное принятие Иваном Грозным титула царя закрепляли за Россией «наследие Константина». Подобно тому как статус Второго Рима был утвержден актом Вселенского Собора 381 г., статус Москвы как «нового» Константинополя, или Третьего Рима был оформлен в Уложенной грамоте Московского Освященного Собора с участием константинопольского патриарха и греческого духовенства, когда в 1589 г., при сыне Ивана IV Федоре, официально произошло каноническое учреждение русского Патриаршества. Русская церковь, ставшая к тому времени автокефальной *de facto*, превратилась в таковую *de jure* на тех же основаниях, что обусловили установление в России царского титула. Историческое понятие Москвы (читай России) как Третьего Рима подспудно формировалось еще в первой трети XVI в. в таких значительных трудах, как Русский хронограф, Никоновская лето-

пись, Сказания о князьях Владимирских, и было сформулировано старцем псковского Елеазарова монастыря Филофеем, писавшим дьяку М. Г. Мисюре Мунехину: «Так знай же, христолюбец и боголюбец, что все христианские царства окончили свое существование и сошлись в едином царстве нашего государя; по пророческим книгам, это есть Ромейское царство. Ибо два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть» (цит. по: *Синицына*. С. 238). Таким образом, Россия оказывается третьим воплощением «Ромейского царства» в метаморфозах «четвертого царства» пророчества Даниила и призвана исполнять роль «удерживающего» от наступления «царства беззакония» и прихода «сына погибели». Хотя Тютчев не употребляет понятия «Третий Рим» и вряд ли был знаком с текстами старца Филофея (они стали публиковаться только в 1860-е гг.), их эсхатологическая логика в понимании России как «окончательной» христианской империи (хранящей православную веру и противостоящей языческим и апостасийным тенденциям истории) типологически оказывается сходной. В аналогичном значе-

нии Тютчев употребляет понятие «Святая Русь» («Не верь в Святую Русь кто хочет, лишь верь она себе самой»), которое встречается и у Филофея («Святая и Великая Росиа») в послании вел. кн. Василию III.

...ложные взгляды западной науки на Восточную Империю... — См. коммент. к «Записке» (с. 305–306), в которой Тютчев сравнивает своеобразие данных взглядов с кюстиновской предвзятостью. О ее характере можно судить по, так сказать, антитютчевскому противопоставлению автором «России в 1839 году» религиозно-государственных основ Восточной империи и западного мира, в котором он следует за Ж. де Местром. Последний полагал, что «вся современная цивилизация вышла из Рима», а Россия оказалась оторванной от нее из-за «схизмы X века», а потому неспособной к подлинному культурно-историческому творчеству (см.: Степанов М. Жозеф де Местр в России // ЛН. 1937. Т. 29–30. С. 597). Непосредственно Тютчев имеет в виду прежде всего взгляды Я. Ф. Фалльмерайера (см. коммент. С. 445–447*).*

Именно в качестве Императора Востока

царь является Государем России. — Имеется в виду христианский Восток, средоточием которого является православная Россия во главе с ее царем. См. подробнее в коммент. к «Отрывку».

«Волим царя восточного православного», — говорили малороссы... — Ссылаясь на Собрание государственных грамот и договоров, И. С. Аксаков отмечает: «Так отвечали Малороссы на вопрос, предложенный Богданом Хмельницким, кому хотят они отдаться в подданство» (*Биогр.* С. 225).

Православная Церковь — ее душа, славянское племя — ее тело. — См. коммент. С. 451–452*, а также у К. Н. Леонтьева: «Церковность — культурна, созидательна, голый племенной национализм разрушительно плоск» (Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. С. 372).

Это кентавр... — Тютчев подчеркивает в этом образе отмеченную ранее изначальную и непримиренную двойственность правления и личности Наполеона, режим которого после переворота 18 брюмера существенно отличался и от революционного, и от рестав-

рационального и не мог быть отождествлен ни с одним из них. На уровне метафизической риторики и поэтически оценочного возвеличивания кентаврическую сущность Бонапарта раскрывал Д. С. Мережковский, называвший его «человеком из Атлантиды», «последним воплощением бога-солнца», «Божиим посланником», но вынужденный признавать и доводы в пользу «корсиканского людоеда», «апокалиптического зверя из бездны», «антихриста» (Мережковский Д. С. Наполеон. М., 1993. С. 7). В историософском плане Тютчева не могло не занимать противоречивое соединение республиканских и монархических, революционных и имперских элементов в деятельности Бонапарта, пытавшегося осуществить некий «синтез» исторического пути Франции от Хлодвига до Комитета общественного спасения. Уже находясь в изгнании, Бонапарт так осмыслял рассматриваемые противоречия: «Надо отличать революционные *интересы* от революционных *теорий* <...> Революционные теории годны лишь для разрушения контрреволюционных. Напротив, при монархическом правлении я сохранил интересы Ре-

волюции, изгнав из нее теории» (цит. по: *Bertrand*. Т. 2. Р. 102). Еще одну сторону своего кентавризма Наполеон раскрывает в беседе с другим свидетелем последних лет его жизни: «Что до меня, то я мог быть только *коронованным Вашингтоном* и мог стать им лишь среди убежденных или господствующих королей <...> Достичь этого разумным путем я мог лишь с помощью *всеобщей диктатуры*, чего и добивался. Сочтут ли это за преступление? Подумают ли, что отказаться от этого было в человеческих силах? <...> Мне необходимо было победить в Москве!..» (*Las Cases*. Т. 1. Р. 273).

Республиканско-монархический «кентавр» по-разному проявлял себя в политике Наполеона. Современники называли его «Робеспьером на коне» и сравнивали, как, например, Стендаль, с Кромвелем: «Революция обрела своего Кромвеля...» (Стендаль. Собр. соч.: В 15 т. М., 1959. Т. 11. С. 45). Сам Наполеон полагал, что как Английская республика умерла вместе с Кромвелем, так и Французская — вместе с ним. С другой стороны, он внимательно относился к опыту Комитета общественного спасения, оправдывал террор, лест-

но отзывался о Ж. Марате, Ж. Дантоне, М. Робеспьере. Последнего он считал необыкновенной личностью и по своим нереализованным способностям наиболее выдающимся из всех людей (см. об этом: *Bertrand*. Т. 1. Р. 175). Освоение революционного опыта помогало ему осуществлять на практике автократические тенденции, которые все заметнее нарастали в его деятельности и быстро воплотились сначала в пожизненном консульстве, а затем в восхождении Наполеона на трон в императорском достоинстве и в утверждении за его родом права престолонаследия. Монархическо-республиканская и имперско-демократическая парадоксальность своеобразно проявилась в выбитой медали, на одной стороне которой изображался портрет Бонапарта с надписью «Наполеон, Император Французов», а на другой были выгравированы слова: «Французская Республика, единая и неделимая». Логика «незаконной» империи диктовала свои условия, и в катехизисе Наполеона последний уже объявлялся наместником Бога на земле, а непокорность ему характеризовалась как противление божественному порядку.

ку. Бонапарт гневался, когда его называли узурпатором, и, по свидетельству К. В. Меттерниха, говорил: «Я нов, как Империя; между Империей и мной существует совершенное сходство» (цит. по: Bertier de Sauvigny G. de Metternich et son temps. P., 1959. P. 221). Имперские амбиции Наполеона распространялись далеко за пределы Европы, уходили за балканский горизонт и охватывали Закавказье, Турцию, Индию в мечтаемом «синтезе» Запада и Востока под началом его собственной короны. С точки зрения Тютчева, в таком имперском замахе отсутствовал «Божий пламень» и господствовал революционный дух «гения самовластного», предопределивший его пародийно-игровое воплощение и последовавшую затем несостоятельность. По словам Ф. Р. Шатобриана, перефразированным в стихах Тютчева, Наполеон есть «детище нашей революции, он поразительно похож на свою мать»; «рожденный главным образом для того, чтобы разрушать, Буонапарте несет зло в самом себе» (цит. по: *Лирика I*. С. 386–387). О генетических, исторических, типологических аспектах кентаврической сущ-

ности Бонапарта см. в кн.: Oeuvres littéraires et écrits militaires de Napoléon. Vol. 1–3. P., 1967–1968; Duverger M. La monarchie républicaine, ou Comment les démocrates se donnent des rois. P., 1974; Великая Французская революция и Россия. М., 1989; Александр I, Наполеон и Балканы. Балканские исследования. Вып. 18. М., 1997; Боботов С. В. Наполеон Бонапарт — реформатор и законодатель. М., 1998.

История его коронавания — это символ всей его истории. — Подражая Карлу Великому, Наполеон пригласил римского папу лично участвовать в коронации и освятить ее церковным помазанием. Однако если восемьсот лет назад Карл Великий отправился на эту церемонию ко Льву III в Рим, то новоиспеченный французский император пожелал, чтобы Пий VII сам прибыл к нему в Париж, в то время как его войска в Северной и Средней Италии угрожали Риму, а папа надеялся на увеличение своих владений и передачу легаций в собственные руки. В подобных обстоятельствах коронавание Наполеона изначально несло на себе печать двойственности, конъюнктурности и пародийности, о которой

Тютчев говорит ниже. Воскрешая права и претензии Карла Великого и играя на чувствах миллионов правоверных католиков, Бонапарт вместе с тем во всем хотел показать свое первенство над римским папой. Пик ритуала получил неожиданный символический смысл: император, не дожидаясь возле алтаря возложения на него короны, выхватил ее из рук папы и сам надел ее себе на голову (по мнению одного из авторитетных наполеоноведов, этот жест не являлся импровизацией, но был заранее составленным протоколом — см. *Tulard*. P. 173), а затем сам же короновал императрицу Жозефину. В дальнейшем «борьба» между Пием VII и Наполеоном продолжала на свой лад старые распри между римскими папами и германскими императорами; Рим был оккупирован французскими войсками в 1808 г., Папская область присоединена к Франции, а Пий VII находился под присмотром в Фонтенбло вплоть до падения Наполеона в 1814 г. О реальном отношении последнего к религии, конкордату, папе и их роли в собственной коронации свидетельствуют его слова: «Если бы в Риме не было пап,

так на этот случай следовало бы их выдумать» (Гораций Вернет. История Наполеона. М., 1997. С. 203). Подробнее об истории коронавания Бонапарта см. в кн.: Masson Fr. *Le Sacre et le couronnement de Napoléon*. P., 1978; Cabanis J. *Le Sacre de Napoléon*. P., 1970.

Революция убила Карла Великого, он захотел его повторить. — Наполеон вполне сознательно стремился «повторить» имперские амбиции и деяния своего исторического предшественника, что проявилось и в его «кентаврической» конституции: «Правление Республикой доверяется императору, титулуемому императором французов». Комментируя данную статью конституции, французский исследователь подчеркивает: «Этот титул был предпочтен королевскому, чтобы пощадить обидчивость революционеров. Он соблазнил Наполеона своей “неограниченностью” и отсылкой к Карлу Великому» (*Tulard*. P. 171). Наполеон открыто заявлял, что «подобно Карлу Великому он будет императором Запада и что он принимает наследство не прежних французских королей, а наследство императора Карла Великого» (Тарле Е. В. Наполеон. М.,

1957. С. 149). К. В. Меттерних, наблюдавший Наполеона вблизи и обнаруживавший в самой природе его личности безграничную и неутолимую жажду мирового господства, отмечал: «Его героями были Александр, Цезарь и, прежде всего, Карл Великий. Притязание стать по факту и по праву преемником последнего странным образом занимало его. В нескончаемых дискуссиях со мной он блуждал и использовал наиболее слабые доводы для поддержания этого странного парадокса» (цит. по: Bertier de Sauvigny. Metternich et son temps. P. 220). О плачевных результатах наполеоновской попытки восстановить Западную империю писал В. Г. Белинский: «В самом деле, чего он хотел? Сделать Францию могущественнейшею землею в мире, чтоб, опираясь на ее порабощение, самому деспотически владычествовать над всем миром, ругаясь над народным правом, и упрочить это владычество за своею династиею. А чего достиг он? — Разорения, обезлюдения и позора Франции, а себе тюрьмы на бесплодной скале Атлантического океана» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 9. С. 315). В стрем-

лении Бонапарта «повторить» Карла Великого Тютчев находил болезненную раздвоенность, неизбежную противоречивость и логическую и историческую необоснованность, поскольку несовместимый с имперским началом революционный принцип «самовластия человеческого я» лежал в фундаменте его вселенских притязаний.

...с появлением России Карл Великий стал уже невозможен... — Т. е. с появлением государства, сохраняющего в основе божественный правопорядок, принимающего эстафету «законной» империи и продолжающую ее традиции.

Его противоречивые чувства по отношению к России, влечение и отталкивание. — Диапазон противоречивых чувств достаточно широк и распространяется от стремления к союзу с Россией до желания ее уничтожить, от презрения до почтения, ставшего более заметным после поражения Наполеона на полях Отечественной войны 1812 г. «Битвы проигрываются, такова военная участь, — говорил он. — В этом нет ничего постыдного. Русские храбры. Русские дойдут до Дуная. Если

они захотят войти в Константинополь, им никто не помешает» (*Bertrand*. Т. 1. Р. 99–100). Вместе с тем ранее он верил в быструю войну с «русскими варварами, у которых нет отечества и которым все страны кажутся лучше той, где они родились»: «Варварские народы суеверны и находятся во власти простых идей. Ужасный удар, нанесенный в сердце Империи, по Великой Москве, по Святой Москве, в одно мгновение предоставит на мою милость эту слепую невежественную массу» (цит. по: *Tulard*. Р. 390). С другой стороны, он боялся России как восходящей империи и рассчитывал в ее «остановке» даже на союз с Англией, своим главным противником. Говоря в целом, можно утверждать, что Наполеон плохо знал не только историю, но и географию России. Среди бумаг походной канцелярии начальника штаба его армии маршала Бертье была обнаружена карта, на которой Китай начинался сразу же за Уралом. В войне с Россией он оказался недальновидным стратегом, ибо, используя пропагандистскую «игру» (фальшивое «Завещание Петра Великого», якобы свидетельствовавшее об извеч-

ной агрессивности «русских варваров» и их стремлении к мировому господству, слухи о намерении освободить крестьян и т. п.), привычно учитывал лишь «арифметические» факторы: количество войск и вооружения, боевой авторитет и выучку личного состава, победные навыки и материальные интересы наемников, опирался на корыстолюбивые начала человеческой природы и оставлял вне всякого внимания духовную сторону происходившего, православные и исторические традиции, когда в судьбоносные моменты забываются на время внутренние раздоры и словесные противоречия в общем самопожертвовании. Именно это самопожертвование более всего удивляло Наполеона у «скифов» (так он называл русских), хотя он упорно пытался, так сказать, материалистически оправдать свое поражение плохими погодными условиями, непредвиденными обстоятельствами, несвоевременностью принимаемых решений и т. п. Тютчев, напротив, считал, что «утлый челн» Наполеона разбился в щепы «о подводный камень веры» (ср. сходное понимание А. С. Хомякова: в борьбе с Наполеоном «огонь

святыни» спалил «силу гордости земной»). Уже в изгнании Бонапарт продолжал по-своему удивляться и хаотически выражать «противоречивые чувства» по отношению к России: «Она угрожает Европе скорым вторжением. За тридцать лет 10–12 миллионов из самых прекрасных провинций Европы, Финляндия — это огромное приобретение. Швеция более ничем не угрожает России <...> Какая разница — принадлежать к такой державе, как Россия, или к Швеции, у которой нет ничего. У России есть деньги, слава, которую она может дать <...> Россия не такова, какой ее себе представляют: в отсутствие магазинов московская дорога без затруднений кормила армию в триста тысяч человек. Москва оказалась огромной...» (*Bertrand*. Т. 1. Р. 99).

...*Эрфуртская история*... — Подразумевается двухнедельная встреча Наполеона с Александром I в немецком г. Эрфурте в октябре 1808 г., которая стала своеобразным тактическим маневрированием и дипломатической игрой двух императоров на фоне непрерывных театральных спектаклей (глава Франции взял с собой труппу актеров), балов, пиров,

парадов, смотров, охотничьих вылазок и верховых прогулок. Наполеону, подстрекавшему Турцию и Иран к более энергичному ведению войны с Россией, было важно разуверить Александра I в своих враждебных намерениях и пообещать не вмешиваться в его восточную политику, а также вовлечь Россию в коалицию против Австрии в случае новой французско-австрийской войны. Русскому же императору необходимо было сохранять видимость союзнических отношений с французским для получения с помощью серий демаршей и фактора времени искомой пропорции сил для укрепления военной мощи и обновления междугосударственных альянсов. Таким дипломатическим демаршем и стала «Эрфуртская история», хотя на первый взгляд она и выглядела уступкой: царь в неопределенных выражениях дал согласие на участие в войне с Австрией и пообещал выставить против нее некоторое число войск (Наполеон же взамен обещал не мешать присоединению к России Финляндии, Молдавии и Валахии). На самом деле он не собирался вести серьезных боевых действий, что выразилось в отклоне-

нии им двух принципиально важных для французского императора пунктов — определения самим Наполеоном причин вступления России в войну с Австрией и незамедлительного продвижения русских войск к австрийской границе.

...личный враг Наполеона — Англия. — Бонапарт считал Англию главным противником и стремился не только разгромить ее военные силы, но и лишить ее политического и экономического влияния, захватив ее колонии и вытеснив с европейского рынка. В ноябре 1806 г. он подписал декрет о континентальной блокаде, согласно которому строго запрещалась торговля с Британскими островами в зависимых от Французской империи странах и нарушение которого сурово каралось, вплоть до смертной казни. О «личном» характере отношения Наполеона к Англии свидетельствуют слова, сказанные им врачу во время агонии: «После моей смерти, которая уже очень близка <...> я хочу, требую, чтобы вы обещали мне, что никакой английский доктор не прикаснется к моему трупу <...> Вы скажете им, что, умирая, он завещал Англии

стыд и поношение последних своих минут» (Гораций Вернет. История Наполеона. С. 605).

Сам он по-древнему пророчествовал о ней: «Она увлекаема роком. Да сбудутся ее судьбы». — Цитируются слова Наполеона (из его приказа по армии от 22 июня 1812 г.) при переходе французов через Неман и их вторжении в Россию.

Он сам, на рубеже России... — Тютчев приводит один из вариантов третьей части своего стихотворного цикла «Наполеон» (1850). Под «новой загадкой» Тютчев подразумевает известные слова, сказанные Наполеоном на острове Святой Елены: «Через пятьдесят лет Европа будет либо революционной, либо оккупированной» (цит. по: Биогр. С. 223).

Наполеон — это серьезная пародия на Карла Великого... — Тютчев объясняет эту пародийность отсутствием в возводимой империи необходимого фундамента и «законности», прочных исторических корней, христианских традиций и Богопослушания, нарушаемого, напротив, революционным самозахватом и своевольной гордыней. «Непорфирородный царь, возжелавший быть еще непомазанным

пророком», — так характеризовал Наполеона в 1813 г. святитель Филарет (Дроздов) в своем «Рассуждении о нравственных причинах невероятных успехов наших в настоящей войне» (цит. по: Гуминский В. Гоголь, Александр I и Наполеон // Наш современник. 2002. № 3. С. 220). Сущностную беспочвенность и обреченность самочинных имперских притязаний Бонапарта подчеркивал К. В. Меттерних, обнаруживая в них «привкус неуместных претензий выскочки»: «Возведенное им огромное здание было исключительно делом его собственных рук, и он сам стал его фундаментом, однако этому гигантскому сооружению недоставало прочных оснований; составлявшие его материалы являлись лишь обломками других зданий и частью прогнили, а частью не имели крепости уже при своем создании. Замок свода был приподнят, и строение рухнуло сверху донизу» (Bertier de Sauvigny G. de. Metternich et son temps. P. 225).

Не чувствуя за собой собственного права, он всегда играл роль... — По Тютчеву, несовместимое с духом подлинной христианской империи лицедейство в политической практике

Наполеона обусловлено теми же причинами, что и ее пародийность. Компенсируя недостаточность «законного» и «вечного» исторософского фундамента в своей деятельности, он был вынужден прибегать к созданию искусственных обстоятельств, к подлогам и подменам, к демагогическим и актерским приемам. «Царствовать — значит играть роль, — заявлял Бонапарт. — Государи всегда должны быть на сцене» (цит. по: Коленкур А. де. Мемуары. Поход Наполеона в Россию. М., 1943. С. 346). Наполеон придавал большое значение печатной пропаганде и манипулированию общественным мнением, видя в них незаменимые орудия для создания с помощью ловкой казуистики необходимых стереотипов. По свидетельству современников, Наполеон нередко заставлял присяжных историографов с чрезмерным пафосом изображать свои победы, прославлять «героя», скрывать собственные промахи и преуменьшать воинскую славу других, а когда готовился к войне, то популяризировал лозунги мира. Особую роль в, так сказать, игровой системе французского монарха играла религия, кото-

рую он, в отличие от Тютчева, рассматривал не как божественную основу империи, а лишь как самый необходимый миф для «человеческих, слишком человеческих» построений. Еще отправляясь в Египет, он взял с собой среди разных сочинений Ветхий и Новый Завет, Веды, Коран, но эти религиозные книги числились по разделу политики, которой и должны были служить. В Египте он представлял себя мусульманином, как бы используя миссионерские приемы иезуитов (проповедуя христианство в Азии и Африке, они для достижения искомых целей нередко становились брахманами, факирами, конфуцианцами и т. п.). Незадолго до смерти Наполеон признавался: «Я очень счастлив, что не имею религии. Это большое утешение, что у меня нет никаких химерических страхов и что я совсем не боюсь будущего» (цит. по: *Bertrand*. Т. 2. Р. 105–106). Заключая конкордат с папой после бурного периода радикального революционного атеизма, он заявлял, что восстанавливает религию «для себя», и видел в христианстве, говоря его собственными словами, не «тайну воплощения», а «тайну социального

порядка», незаменимое средство для закрепления неравенства и успокоения бедных, которые должны надеяться на небесное воздаяние, а не убивать богатых на земле. Как самовластный рационалист и утилитарист, Бонапарт находил в Евангелии лишь «прекрасные притчи, превосходную мораль, но мало фактов» и внутренне предпочитал Коран. Он утверждал, что мусульманский рай «побуждает к битве и обещает блаженство тем, кто погибает в ней. Крылья ангелов врачуют раны. Таким образом, религия Магомета во многом способствовала успехам его оружия (...) Христианская религия не возбуждает отвагу. Как генерал, я не любил христиан в своей армии. Непредвиденная смерть так опасна; нужно столько труда, чтобы попасть в рай, такое значение придают последним моментам жизни, что это мало согласуется с воинственным духом и неожиданной гибелью» (*Bertrand*. Т. 1. Р. 120). В католической же Франции Наполеон неизбежно должен был «играть» с христианством, использовать его как важнейшую составную часть имперского прагматизма. Такая игра была тесно связана с

его общим представлением о человеке, в природе которого он хотя и обнаруживал определенные духовные достоинства и добродетели, но не находил для них существенной опоры, которой считал тщеславные корыстные интересы и личные выгоды. В спорах с К. В. Меттернихом он непоколебимо стоял на этом пункте, полагая, что для активной и успешной политики на социальной сцене и не может быть никакой другой опоры, и расценивал искренние высокие побуждения и благородные мотивы как бесплодное мечтательство. Тот же К. В. Меттерних отмечает, что чувства преданных ему людей Бонапарт сравнивал с чувствами детей и собак, на симпатиях и инстинктах которых следует искусно играть. Подобную игру проницательный австрийский дипломат обнаруживал «сквозь маски, которые французский император умело менял. В его причудах, остроумных выходах, приступах гнева, неожиданных вопросах я привык видеть столько сцен с подготовленными и изученными эффектами, рассчитанными на собеседника» (Bertier de Sauvigny G. Metternich et son temps. P. 218). Отсутствие за-

конного права Наполеон компенсировал пышными парадами и торжествами, созданием привилегированного дворянства и полицейского аппарата, перлюстрацией писем, негласным наблюдением за рабочими, крестьянами и военными, цензурой прессы, театральной и судебной деятельности, что обесценивало вводившиеся в его правление Гражданский, Торговый и Уголовный кодексы и давало новые примеры республиканско-монархической «игры» его кентаврических проявлений.

С Константина начинается 5-я и окончательная Империя, христианская Империя. — Тютчев связывает «окончателность» Империи с ее христианскостью, утверждение которой выразительно проявилось в правление Константина Великого (306–337), продолжавшего традиции «великого» Рима, отмежевавшегося от «падшего» и основавшего Второй Рим. В. С. Соловьев подчеркивает: «Языческий Рим пал потому, что его идея абсолютного, обожествленного государства была несовместима с открывшеюся в христианстве истиной, в силу которой верховная государствен-

ная власть есть лишь делегация действительно абсолютной богочеловеческой власти Христовой» (Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 562). Новое понимание делегации властных полномочий, которое, и с точки зрения Тютчева, есть единственно истинное и законное, заключается в божественном предназначении Империи (метафорическое обозначение Христа как Императора и Царя происходит из Священного Писания), в исполнении воли Бога, что нашло свое обоснование в государственно-идеологических размышлениях Евсевия Кесарийского. «Почти все библейские эсхатологические пророчества о некоем универсальном мире народов Евсевий относит на счет *Rex Constantiniana*, помещая *Imperium Romanum* на место эсхатологического Царства Божия. Политическая реальность Римской империи ставится им в зависимость от церковной доктрины спасения. Своим воскресением, говорит он, Христос заложил основы своего царства на земле и вручил правление им первому христианскому императору в лице Константина Великого. Но это царство, соединившее в себе империю и церковь, уни-

версально только de jure. Поэтому превратить «юридический» универсалитет империи-церкви в универсалитет de facto — долг императора» (Медведев И. П. Роль Византии в средневековом христианском мире вообще и в христианизации Руси в частности // Рим, Константинополь, Москва: сравнительно-историческое исследование центров идеологии и культуры до XVII в. С. 128). Повинуясь этому долгу, «Константин смотрел на себя не как на главу Церкви, а как на Божия служителя, действующего об руку с Церковью. У него было выражение, что он есть епископ по внешним делам (episcopus laicus) <...> Император считал себя обязанным заботиться о мире святых Божиих Церквей, наблюдать за точным исполнением церковных постановлений между своими подданными мирянами и самим духовенством и заботиться о распространении христианства между язычниками. Постепенно в Византии было оформлено твердое учение об отношениях между властями Церкви и государства <...> Это и есть единственно правильная идея. Но фактическое ее осуществление более всего зависит от степени искренно-

сти взаимоотношений, а это, в свою очередь, определяется глубиной и искренностью веры в народе и в представителях власти церковной и гражданской. Фактически независимость Церкви в ее бесспорнейших правах нарушалась всюду, а церковные власти, в свою очередь, при разных случаях вмешивались в не касающиеся их государственные дела, и столкновения между обоими учреждениями наполняют всю историю» (Тихомиров Л. Религиозно-философские основы истории. М., 1997. С. 272–273). Действительно, «единственно правильная идея» во взаимоотношениях Церкви и государства неоднократно искажалась в конкретной практике, что и предопределяло периоды «помрачения» византийской монархии (см. далее *коммент.* С. 473*). Тем не менее идеал «симфонии» сохранял в «христианской империи» свою нормативную непреложность.

Нельзя отрицать христианскую Империю без отрицания христианской Церкви. — Подразумевается нераздельность судеб священства и царства, неразрывность церковной и имперской истории, зафиксированная акта-

ми Вселенского (381 г.) и Поместного (1589 г.) Соборов в понятиях «нового» и «третьего» Рима, ставших мировыми христианскими центрами и попечителями «истинной правой веры». Такое попечительство оставалось обязательным условием и для Третьего Рима, в понятии которого русская Церковь как наследница христианской Церкви первых восьми веков ее существования, Церкви соборного периода, занимает основополагающее место. Падение «великого» Рима осознается старцем Филофеем не только как перенос столицы мира на Восток в IV в. или разрушение варварами Западной Римской империи в V в., но прежде всего «как “отпадение” “латинян” от правой веры при Карле Великом и папе Формосе (IX–X вв.), сопряженное с началом формирования будущей Священной Римской империи, как разделения Церквей <...> Вторая грань периодизации Филофея — предательство православной греческой веры “в латынство” на Флорентийском соборе и “разорение” Греческого царства» (Синицына. С. 326, 234). Следовательно, сохранение чистоты «истинной веры» является одной из самых главных

задач «нового, Третьего Рима».

Церковь, освящая Империю «...» сделала ее окончательной. — См. коммент. С. 470–472.*

...все, отрицающее Христианство, часто весьма могущественно в отрицании, но всегда бессильно в созидании, потому что является бунтом против Империи. — С историко-антропологической точки зрения для Тютчева отрицание христианства и основывающегося на нем имперского социально-государственного строительства узаконивает греховное, непреображенное и непросветленное состояние человеческой природы, являющейся источником «отрицательного», «бунтарского», индивидуалистического, не освященного высшим смыслом исторического творчества.

...Империя, нерушимая в своем начале, в действительности могла проходить периоды слабости, остановок, помрачения. — Среди таких периодов отступления от нерушимого христианского начала Тютчев мог иметь в виду правление гонителя христиан Юлиана Отступника (361–363), действия которого в библейско-имперском контексте охарактеризова-

ны в учительных гимнах (мадрашах) Ефрема Сирина как отступление от нерушимого христианского начала. «Трагедия империи состоит в том, что ее император, крещенный христианин, предался языческим волхвованиям, через это попал в рабство к дьяволу, воздвиг гонения на христиан, перестал радеть о благе империи, доверился магам и гадалателям, затеял опасный и неразумный поход против Персии и, наконец, пал, сраженный Божиим гневом, вызвав своими действиями нарушение равновесия власти духовной и власти светской, а также прямые территориальные потери у ромеев. Таким образом, тема всех четырех мадрашей может быть сформулирована как «Таинственный Промысел Божий и судьбы христианского царства»» (Муравьев А. В. Учение о христианском царстве у преподобного Ефрема Сирина // Традиции и наследие Христианского Востока. М., 1996. С. 335). В тютчевскую логику монархических слабостей, остановок и помрачений укладывается деятельность императоров-ересиархов, императоров-иконоборцев в Византии, частые нарушения «симфонии», отсутствие четких зако-

нов о престолонаследии, политическое вероломство и эпизоды насильственного захвата власти, дворцовых переворотов, Флорентийская уния (1439 г.), духовное падение Константинополя под тяжестью собственных грехов и последующее завоевание турками, а также отступления наследовавшей христианскую империю России от чистоты самодержавных основ в союзе церкви и государства, что неоднократно подвергалось поэтом критическому осмыслению. С точки зрения Тютчева, именно искажение и обесмысливание нормативного идеала «симфонии» священства и царства исторически приводит в конечном итоге к «обессоливанию», обессиливанию и падению христианской империи.

Это история узурпированной Империи. — Византинист Ф. И. Успенский отмечал: «Европейские народы, основав государства на развалинах Римской империи, до тех пор чувствовали себя не на месте, пока не создали своей империи. Империя Карла Великого есть фикция, теоретически разработанная Алкуином и Эйнгардом. Франкский король и его ученые сотрудники понимали, что восстано-

лять Римскую империю, при существовании таковой в Византии, нельзя, а между тем для осуществления политических задач Карла необходимо было обосновать права на его императорский титул» (Успенский Ф. Как возник и развивался в России восточный вопрос. СПб., 1887. С. 22). В то время как Восточная империя считала себя законной преемницей «Ромейского царства», Алкуин называл «главой мира» («caput orbis» — лат.) Карла Великого, видевшего себя восстановителем Западной империи и стремившегося перенести центр тяжести мира с Востока на Запад, изменить вектор *translatio imperii* от греков к франкам. С коронацией Карла Великого за византийскими василевсами в Западной империи не признавали римского (ромейского) титула, «сокращая» его до «rex Constantinopolitanus», «imperator Grecorum», а его подданных именуя не ромеями, а греками (см. об этом: Ронин В. К. Византия в системе внешнеполитических представлений раннекаролингских писателей // Византийский временник. 1986. Т. 47. С. 85–94). В Византии на Карла Великого смотрели как на узурпатора и

позднее ни за Оттонами, ни за Гогенштауфенами не признавали права на императорскую корону. В результате возникли две империи, соперничество которых сопровождалось усилением раскола в Церкви, что привело в конечном итоге к схизме 1054 г. Именно в правление Карла Великого и его властью получила оформление специфически западная религиозная традиция, в рамках которой утвердился изменение Символа веры и прибавление к нему «филиокве» как догмата на Аахенском церковном соборе 809 г. (см. об этом: Иоанн С. Романидис. Филиокве // Вестник Русского Западно-Европейского патриаршего экзархата. 1975. № 89–90. С. 89–115). Возлагая на всесильного короля императорскую корону в 800 г., зависимый от него папа Лев III тем самым возвышал и себя, занимал по отношению к светской власти особое положение и как бы проводил в жизнь завет так называемого «Константинова дара» вопреки установлениям Вселенских Соборов. С точки зрения Тютчева, истоки современного враждебного отношения Запада к России (вплоть до нарождавшейся на его глазах Крымской

войны) следует искать в «истории узурпированной Империи» и ее противостояния «законной Империи».

Папа, восстав против вселенской Церкви, захватил права Империи, которые поделил, как добычу, с так называемым Императором Запада. — В эпоху Вселенских Соборов была сформулирована последовательная православная экклезиология, в границах которой на IV (Халкидонском) Вселенском Соборе 451 г. отмечалась первенствующая роль римской Церкви, поскольку Рим являлся царствующим градом, а также подчеркивалось равенство прав Римского епископа и Константинопольского патриарха, так как Константинополь стал новой столицей (Новым Римом) — городом царя и синклита (правительства). Богочеловеческая и соборная природа Вселенской Церкви во главе со Христом не предполагала слепого и безусловного ее послушания Риму, неподсудности Римского епископа и т. п. Однако искушения и соблазны, связанные с преимуществами Римской кафедры и с исторической памятью о земном могуществе языческого Рима, были достаточно ве-

лики, чтобы, по словам Г. В. Флоровского, «проникать сквозь вековой пласт христианства» (Флоровский Г. Исторические прозрения Тютчева // Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М., 1998. С. 225). В результате вырабатывалось догматическое обоснование примата Римских епископов, а некоторые из них стали смотреть на свою поместную Церковь как на привилегированную, на себя же — как на единственных повелителей всей Церкви Христовой с традиционными прерогативами императорской власти. Еще в конце V в. папа Геласий I заявлял, что папы обладают бóльшим величием, нежели государи, поскольку освящают их, но сами не могут быть освящены ими. В середине VIII в. Римские первосвященники становятся обладателями светской власти, получив во владение отвоеванную у лангобардов франкским королем Пипином Коротким (коронованным папой Стефаном II) территорию Равеннского экзархата и город Рим, находившиеся под скипетром византийского императора и подчинявшиеся Константинополю. Особое значение в возвышении церковной и светской власти

пап имела изготовленная в то время подложная грамота Константина Великого, так называемый «Константинов дар» («Donatio Constantini» — *лат.*), для обоснования получения этой власти из рук первого христианского императора. Дарственная грамота за исцеление Константина от проказы и наставление его в «истинной» вере предоставляла кафедре наместников апостола Петра императорские почести и власть, главенство над всеми христианскими Церквами, а папе — Рим, Италию и западную часть Римской империи. Отдав власть над Западом папству, Константин якобы ограничивал свое господство Востоком, ибо «не подобает земному царю властвовать там, где Небесный царь учредил первенство священства и главенство христианской религии». В IX в. «Константинов дар» вместе с другими подложными документами вошел в сборник церковно-канонических декреталий («Лжеисидоровых декреталий» — по имени жившего в VII в. епископа Севильского Исидора), в котором подобраны многочисленные тексты, якобы относящиеся ко II–IV вв. и подтверждающие, будто Римский

папа является верховным главой, законодателем, «высшим судьей» в Церкви, «единым, высшим, первым епископом христианского мира». Тем самым утверждалось его неоспоримое «право» принимать в последней инстанции решения по всем вопросам религиозной и политической жизни. Как бы в соответствии с подобными декларациями во второй половине IX в. папа Николай I стал ярким выразителем идеи папской теократии и ее примата над светской властью, а также над юрисдикцией восточного христианства, хотя столица всего христианского мира с IV в. находилась в Византии, там созывались Вселенские Соборы, а Константинопольский патриарх с VI в. носил титул Вселенского. Николай I добивался низложения патриарха Фотия, противившегося папской экспансии на Востоке, стремился распространить свое влияние на Болгарию, где по инициативе последнего брата Константина (Кирилл) и Мефодий успешно осуществляли миссионерскую и просветительскую деятельность, стремился вернуть в юрисдикцию Римского престола Иллирию, Калабрию и Сицилию. Патриарх Фотий

оказался в центре борьбы Римской и Константинопольской Церквей (см.: Dvornik F. The Photian Schisme. Cambridge, 1948), ставшей как бы прологом к последовавшему через двести лет их разделению, после которого первая присвоила себе название «католической», т. е. всеобщей, вселенской, и продолжала развивать мнение о собственной супрематии и единоначалии своего главы, доводя это учение до категорических выводов. Вскоре папа Григорий VII сформулировал идею отождествления римского первосвященника с Церковью, которому дана от Бога власть «вязать и разрешать и на земле и на небе», в том числе низлагать и назначать императоров. Все более уподобляясь царствам мира сего и становясь похожей на светскую монархию (в 1302 г. папа Бонифаций VIII издал буллу «Unam Sanctam» о праве Церкви на светскую власть и на обладание не только духовным, но и материальным мечом), римско-католическая Церковь вступала, говоря словами Тютчева, в «святотатственный поединок» за имперскую «добычу» с германскими государями, о котором он ведет речь в ст. «Римский

вопрос».

...начиная с 1815 года Западная Империя уже более не находится на Западе. — Венский конгресс в 1815 г. отказался от восстановления Римской империи. С другой стороны, его решением и созданием Священного союза было окончательно закреплено поражение имперских амбиций Наполеона.

Империя «...» сосредоточилась там, где всегда сохранялась законная традиция Империи. — См. коммент. С. 458–460, 470–473*.*

1848 год стал началом ее окончательного воцарения... — Тютчев здесь мыслит, так сказать, от противного, исходит из «окончательного» растворения имперской традиции в «революционном действии», что столь же однозначно определяет противоположную роль России.

В области светской образование Греко-Славянской Империи. — Т. е. империи, основывающейся на «православной традиции», хранящей и развивающей «наследие Константины».

В области духовной — объединение двух Церквей. — Надежду на такое объединение

Тютчев высказывает в конце ст. «Римский вопрос». См. также коммент. к «Отрывку». С. 485*.

...Австрия «...» прибегла к поддержке России . — См. коммент. С. 427*.

...лишение Римского Папы светской власти . — Т. е. исправление того крена, в результате которого западная Церковь приспособилась к царству мира сего, становилась «политической силой», «государством в государстве» и тем самым лишалась христовой закваски и силы. Ср. вывод современного историка, расценивавшего, подобно Тютчеву, уподобление Римского престола мирскому государству и усиление его политического могущества за счет духовного влияния: «замена духовного меча на материальный есть главная и роковая перемена, а все другие — лишь ее следствия «...» Падение папства во всех аспектах его деятельности можно объяснить принесением в жертву духа во имя меча земного» (Тойнби А. Дж. Постыжение истории. М., 1995. С. 330–331).

«ОТРЫВОК»

Автограф — РГАЛИ, архив Вяземских (Ф. 195. Оп. 1. Д. 5083. Л. 181–181 об.).

Первая публикация на рус. яз. — Пигарев К. Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России // *ЛН*. 1935. Т. 19–21. С. 196.

Печатается по автографу.

«Отрывок» непосредственно примыкает к трактату «Россия и Запад», над которым Тютчев работал в то же время и в котором он развил идею «окончательной» греко-славянской христианской Империи. Еще в конце 1820-х гг. в стих. «Олегов щит» Тютчев упоминает летописное сказание о щите, прибитом киевским князем Олегом на городских воротах Царьграда (ср. одноименное стихотворение Пушкина «Когда ко граду Константина...»). С начала формирования его историософии и политической идеологии и в последующем тема Константинополя как неотъемлемого от судьбы России и всего человечества православного центра мировой истории занимает значительное место в сознании Тютчева. Примечательна «греза», описанная Тютчевым в письме к жене от 9 сентября 1855 г. после

пребывания на «первой площадке Ивана Великого» в Кремле: «И тут мне вдруг пригрезилось, что настоящая минута давно прошла, что протекло полвека и больше, что начинающаяся теперь великая борьба, пройдя целый огромный цикл разных бедствий, захватив и уничтожив государства и поколения людей, была наконец окончена, — что новый мир возник после нее, судьба людей определилась на целые столетия, всякая неуверенность исчезла, что суд Божий совершился. Великая империя основана... Она начинала свое бесконечное существование там, в других краях, под более ярким солнцем, ближе к веянию юга и Средиземному морю. Новые поколения с иными воззрениями и верованиями господствовали над миром и, гордые достигнутым успехом, едва помнили о тех печалях, о той тоске и темной ограниченности, в которой мы теперь живем. И тогда вся эта сцена в Кремле, при которой я присутствовал, эта толпа, так мало сознающая то, что должно было случиться, и теснящаяся, чтобы видеть бедного государя, короткая жизнь которого так скоро будет подточена и наполнена пер-

выми испытаниями великой борьбы, — вся эта сцена показалась мне как бы картиной давнопрошедшего времени, и люди, двигавшиеся вокруг меня, казались давно сошедшими со сцены мира... Я вдруг почувствовал себя современником их правнуков...» (СН. 1915. Кн. 19. С. 232–233). Эту «грезу» Тютчева (ее Л. П. Гроссман в статье «Тютчев и сумерки династий», опубликованной в книге «Мастера слова» (М., 1928), не совсем верно ассоциирует по внешней природной атмосфере — «уголок Греческого архипелага», яркое солнце, ласковые морские волны, безмятежное существование людей — с гуманистической утопией Версилова в «Подростке» Достоевского, его снах о «золотом веке»), как отрывок в целом, иллюстрирует его стих. «Русская география»:

*Москва и Град Петров, и Констан-
тинов Град —
Вот царства Русского заветные
Столицы...
Но где предел ему? и где его грани-
цы —
На север, на восток, на юг и на за-
кат?..
Грядущим временам судьбы их об-*

личат...

Семь внутренних морей и семь великих рек...

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная...

Вот царство Русское... и не пройдет вовек,

Как то провидел Дух, и Даниил предрек...

Эти строки (как и призыв поэта в стих. «Пророчество» к русскому царю как «всеславянскому царю» пасть перед «христовым алтарем» в «возобновленной Византии») нередко истолковывались в политическо-прагматическом плане, как утопическо-экспансионистские. «Непостижимо, как мог Тютчев верить в реальность такой чудовищной утопии, до какой не додумывался ни один из самых крайних панславистов!» (Лигарев. С. 130). По убеждению другого автора, «утопическая, философско-политическая “космогония” немецкой школы и многолетние впечатления от буржуазного развития Западной Европы» причудливо деформировали политическое

мышление Тютчева: поэт оказался «завороженным панславянской утопией» и, как и Достоевский, «грезил Константинополем» (Кублановский Ю. Тютчев в «Литературном наследстве» // Новый мир. 1993. № 6. С. 185). На самом деле речь здесь должна идти не о влиянии немецкой школы, не о панславизме, не о завоевании Константинополя, а о духовной географии и глубинной историософской ретроспективе и перспективе, связанной с пророчеством Даниила (см. *коммент.* к трактату «Россия и Запад». С. 452–455*), понятием «христианской империи» и объясняющей географические пределы «Русского царства». Тютчевскую «географию» можно уподобить «географии» Филофея в интерпретации Московского царства как Третьего Рима. «У Филофея в этом понятии объединены явления, находящиеся в разных сферах бытия, политической и метаисторической: после потери политической независимости всеми православными царствами, в их числе и Греческим, продолжается их метаисторическое существование в России <...> Россия превращается в “Ромейское царство”, т. е. последнее земное царство “про-

роческих книг”. Именно так следует понимать формулу “а четвертому не быти” — как эсхатологический знак, указание на последнее царство <...> судьбы поработенных Османской империей православных царств нераздельно соединялись в России, но не просто в России, а в той, которая становится Ромейским царством, имеющим параметры не географического, но духовного пространства <...> Тождественность понятий “Ромейское царство” — “нынешнее православное царство нашего государя” — “Третий Рим” очевидна. В чем смысл этого отождествления? Непосредственно после текста о трех Римях, последний из которых есть современное Русское государство, Ромейское царство, дана ссылка на толкование к Посланиям апостола Павла “Рим — весь мир” <...> “Ромейское царство”, трижды упомянутое Филофеем (при опровержении претензий “латинян” и их “царства” носить это имя, в утверждении о его неразрушимости и, наконец, в характеристике державы “нашего государя”), — это не конкретное политическое образование или геополитическое понятие, но функция, лишенная един-

ственной пространственно-временной характеристики; носителями ее могут быть разные государственные образования. “Великий Рим” ее утратил, не сохранив конфессиональной чистоты; “Греческое царство” перестало быть ее политическим гарантом; теперь она перешла к России, что служит залогом продолжения земной истории человечества. Здесь выражена идея исторических корней и исторической ответственности» (Синицына. С. 242–243). Именно в таком духовно-идеологическом и «географическом» контексте и смысле «Государь России» является «Императором Востока» (см. *коммент.* к трактату «Россия и Запад». С. 460–461*).

Сходным образом константинопольскую тему и идею «законной Империи Востока» истолковывал К. Н. Леонтьев, надеявшийся на синтез «петербургской власти» и «московской мысли», который, «по прекрасному пророчеству Тютчева, возможен “не в Петербурге и Москве, а в *Киеве* и *Царьграде*”» (Леонтьев К. Н. *Плоды национальных движений на православном Востоке* // Леонтьев К. *Цветущая сложность. Избранные статьи.* М., 1992. С.

246). Ф. М. Достоевский в статье «Утопическое понимание истории» рассматривал Константинополь не как возможную политическую столицу России и славянства, а как преемствуемый ею символический духовный град для сбережения «истинной истины», «Христовой истины»: «Итак, во имя чего же, во имя какого *нравственного* права могла бы искать Россия Константинополя? Опираясь на какие высшие цели, могла бы требовать его от Европы? И вот именно — как предводительница православия, как покровительница и охранительница его, — роль предназначенная ей с Ивана III, поставившего знак ее царьградского двуглавого орла выше древнего герба России, но обозначившаяся уже несомненно лишь после Петра Великого, когда Россия со знала в себе силу исполнить свое назначение, а фактически уже стала действительной и единственной покровительницей и православия, и народов, его исповедующих. Вот эта причина, вот это *право* на древний Царьград и было понятно и не обидно даже самым ревнивым к своей независимости славянам или даже самим грекам. Да и тем самым обозна-

чилась бы и настоящая сущность тех политических отношений, которые и должны неминуемо наступить у России ко всем прочим православным народностям — славянам ли, грекам ли, все равно: она — покровительница их и даже, может быть, предводительница, но не владычица; мать их, а не госпожа <...> это будет не одно лишь политическое единение и уж совсем не для политического захвата и насилия, — как и представить не может иначе Европа <...> Нет, это будет настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воздвижение креста Христова и окончательное слово православия, во главе которого давно уже стоит Россия» (*Достоевский*. Т. 23. С. 49–50). И логика Тютчева предполагает не насильственное, а духовное единство, спаянное не железом, а любовью, иначе достигаются противоположные результаты. «Что до меня, — писал поэт 20 августа 1851 г. С. С. Уварову, — я далеко не разделяю того блаженного доверия, которое питают в наши дни всем этим чисто *материальным* способам, чтобы добиться единства и осуществить согласие и единодушие в поли-

тических обществах. Все эти способы ничтожны там, где недостает духовного единства, и часто даже они действуют противно смыслу своего естественного назначения» (Изд. 1984. С. 177). Примечательна логика А. И. Герцена, исходившего в своем историческом мышлении, можно сказать, из противоположных тютчевским предпосылок, но сближавшегося с ним в оценке конкретных этапных событий: «Обращение России в православие является одним из тех важных событий, неисчислимы последствия которых, сказываясь в течение веков, порой изменяют лицо всего мира. Не случись этого, нет сомнения, что спустя полстолетие или столетие в Россию проник бы католицизм и превратил бы ее во вторую Хорватию или во вторую Чехию <...> Греческое православие связало нерасторжимыми узами Россию и Константинополь; оно укрепило естественное тяготение русских славян к этому городу и подготовило своей религиозной победой грядущую победу над восточной столицей единственному могущественному народу, который исповедует греческое православие <...> Католическая Европа не оставила

бы в покое Восточную Римскую империю в продолжение четырех последних столетий. Было уже время, когда *латиняне* господствовали над Восточной империей. Они бы, вероятно, сослали императоров в какой-нибудь глухой уголок Малой Азии, а Грецию обратили бы в католичество. Россия тех времен не была бы в силах помешать западным государствам захватить Грецию; таким образом, завоевание Константинополя турками спасло его от папского владычества» (Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // *Герцен*. Т. 7. С. 157–158). На таком фоне контрастно выглядит реабилитация «папского владычества» и соответствующее истолкование темы Константинополя в книге В. С. Соловьева «Россия и Вселенская Церковь»: «Предвзятое желание во что бы то ни стало, а поместить центр Вселенской Церкви на Востоке уже само указывает на национальное самомнение и расовую ненависть, способные скорее вызвать разделение, чем христианское единство <...> Но допустим, что <...> Константинополь стал снова столицей православного мира, резиденцией восточного императора,

русского, грека или греко-русского, — для Церкви это было бы лишь возвращением к цезаропапизму Византии» (Соловьев В. О христианском единстве. Брюссель, 1967. С. 320).

Если под «возвращением Константинополя» Тютчев имеет в виду духовное единение православных христиан Востока во главе с Россией и русским царем, то «поглощение Австрии» подразумевает возможный распад Австрийской империи, когда национально-освободительные движения славянских народов создадут условия для их вхождения в состав «законной» и «окончательной» Империи. Позднее, в письмах к А. И. Георгиевскому от 25 октября 1865 г. и 26 июня 1866 г. Тютчев замечал: «То, что происходит теперь в Австрии, есть наполовину *наш* вопрос — так вся будущность наша связана с правильным решением этого вопроса. Это решение состоит в том, чтобы славянский элемент не был совершенно подавлен атакою немцев и мадьяр и под гнетом этой преобладающей силы — и при разъедающих его несогласиях — не отрекся бы фактически от всяких притязаний на свою самостоятельность. Теперь более

нежели когда-нибудь нужны ему поддержка со стороны России — тем *нужнее*, чем менее он сам сознает эту необходимость, — но обстоятельства скоро ему ее выяснят. *Русскому* влиянию следует стать во главе *Австрийского* федерализма посредством прессы, и нашей, и тамошней...»; «Тут дело очень просто: *восемьдесят* миллионов славянского племени, над которыми австрийская опека упраздняется. Может ли Россия без самоубийства предать их *всецело* немцам? <...> Только упразднение Австрии создаст возможность, при преобладающем содействии России, внести в эти массы начало прочного органического строя, т. е. применяя все эти общие воззрения к делу настоящей минуты, мы должны, в случае того страшного столкновения, которое потрясет до основания всю западноевропейскую систему, мы должны, говорю, так заручить себя австрийским славянам, чтобы они поняли, наконец, что вне России нет и не может быть никакого для них спасения...» (ЛН-1. С. 396, 410). Позиция Тютчева не содержит ничего захватнического, поскольку в его понимании материально-насильственные способы един-

ства без свободно-духовного сплочения приводят в конечном итоге к отрицательным для искомой цели последствиям. Имеется лишь одно косвенное (мемуарное) свидетельство, согласно которому поэт как бы противоречит самому себе по отношению к идее добровольного славянского единства. А. В. Мещерский вспоминал о беседе в доме С. Н. Карамзиной в середине 1840-х гг., когда Тютчев «высказал очень воинственные помыслы об умиротворении всех Славянских племен присоединением их силою оружия под скипетр русского царя как о факте неизбежном и о цели, весьма легко достижимой» (цит. по: *Тютч. сб.* 1999. С. 242).

Что же касается второго «факта» в отрывке, то «объединение Восточной и Западной Церквей» Тютчев видел «на путях возвращения римской Церкви в лоно Православия» и ее отказа от «папизма». См. *коммент.* к ст. «Римский вопрос» (с. 395–396*) и к трактату «Россия и Запад» (с. 477*). В своих надеждах на такое объединение он не питал избыточных иллюзий. После объявления Пием IX решения созвать в Ватикане Вселенский Собор для

принятия догмата о «непогрешимости» папы Тютчев 29 сентября 1868 г. писал И. С. Аксакову: «Засим можно было бы заявить впервые от лица всего православного мира, — о роковом значении предстоящего в Риме мни-мо-вселенского собора, о возлагаемой на нас, Россию, в совокупности со всем православным Востоком, неизбежной, настоятельной обязанности протеста и противудействия, а засим — трезво и умеренно предъявить о вероятной необходимости созвания в Киеве, в отпор Риму, православного Вселенского собора.

Не следует смущаться, на первых порах, тупоумным равнодушием окружающей нас среды... Они, пожалуй, не захотят даже понять нашего слова. Но скоро, очень скоро обстоятельства заставят их понять. Главное, чтобы слово, сознательное слово было сказано. — Рим, в своей борьбе с неверием, явится с *подложною доверенностию* от имени Вселенской церкви. Наше право, наша обязанность — протестовать противу *подлога* и т. д.» (ЛН-1. С. 343–344).

Вместе с тем Тютчев с удрученностью на-

блюдал схизматические процессы в самой Восточной Церкви, ту подмену главного второстепенным, «духовного» «политическим», которая в его мысли стала принципиальной характеристикой Западной Церкви. Когда 11 мая 1872 г. экзарх болгарской православной Церкви провозгласил ее независимость от константинопольского патриарха, а тот вскоре объявил ее раскольнической, Тютчев 28 сентября 1872 г. писал И. С. Аксакову: «Одним из наиболее убедительных доказательств нашей общей умственной апатии является глубокое равнодушие, с которым было встречено потрясающее известие о расколе, происшедшем в самом сердце православия, в Константинополе. Это событие — одно из самых значительных, оно чревато самыми серьезными последствиями. Вот мы и опустились до уровня римского католицизма, и падение наше было вызвано сходными причинами: безбожием человека, кощунственно превращающего религию в орудие того, что менее всего на свете с ней связано, в орудие стремления к политическому господству, — и это вторжение политики в область религии не становит-

ся менее пагубным, менее разрушительным от того, что оно осуществляется не в пользу традиционной власти, а в пользу тщедушного, нездорового народа... И то, что единство Церкви принесено в жертву подобным соображениям, что раскол стал политическим орудием в руках партий, что традиции грубо попираются самой деятельностью законной власти, — все это ставит нас в самое ложное и самое невыгодное положение по отношению к сильному католическому движению на Западе. Где теперь спасительная гавань, которую православная Церковь сулила всем, кто терпит крушение на корабле католицизма? Что случилось со всеми нашими обещаниями? — Скоро мы увидим, способна ли православная Церковь найти в себе самой средства для исцеления ран, ей нанесенных» (там же. С. 378).

Константинопольская тема с отсылкой к Тютчеву возникает на страницах «современных диалогов» С. Н. Булгакова «На пиру богов (Pro et contra)», написанных по горячим следам Первой мировой войны. Один из участников диалогов, Беженец, размышляет о «за-

конных» и «незаконных» державах и последствиях падения христианской империи: «Если чем-либо и оправдывается еще существование самостоятельной государственности в истории, так это именно наличием православного царства, которое не только хранит в себе все задания священной империи, но имеет еще и свой апокалипсис; его раскрытие, впрочем, еще впереди, только уже на иных, не на империалистических путях. А теперь, если его, действительно, не стало, то к чему же эти остальные “державы”? <...> Держай ныне “берется от среды” <...>, по слову апостольскому (2 Фес. 2, 7). Теперь мир может беспрепятственно стремиться к последнему, окончательному смешению, в котором свою роль сыграет и панмонголизм» (Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991. С. 255). Если Дипломат отвергает «царьградские мечтания», то Писатель полагает, что «участие в мировой войне могло оказаться великим служением человечеству, открывающим новую эпоху в русской, да и во всемирной истории, именно византийскую. Но этим, конечно, предполагалось бы изгнание турок из

Европы и русский Царьград, как оно и было предуказано Тютчевым и Достоевским...» (там же. С. 237). Однако, продолжает Писатель, Россия изменила своему призванию, вместо вселенского соборного всечеловечества прельстилась пролетарским интернационалом и «федеративной» республикой, продала первенство за чечевичную похлебку, которой тоже не получила. Но, по его мнению, некий неисповедимый зигзаг истории вкупе с германским оружием мог бы помочь восстановить это призвание и первенство: «...отторгая южную Россию, немцы крепче спаивают ее со всем южным и западным австрийским и балканским славянством, сливают славянские ручьи в русском море, может быть, вернее, чем мы это умели. А уж остальное довершит логика вещей, и объединенное славянство, свергнув иго германства, стихийно докатится и до Царьграда. И исполнится предвестие Тютчева, над которым рано еще иронизировать» (там же. С. 244).

ПИСЬМО О ЦЕНЗУРЕ В РОССИИ

Автограф неизвестен.

Списки — РГБ. Ф. 308. К. 1 Ед. хр. 12. Л. 1–9, рукой Эрн. Ф. Тютчевой; писарская копия — в архиве С. Д. Полторацкого (Ф. 233. К. 11. Ед. хр. 72. Л. 1–14), содержит предваряющую ее запись: «*Pia Desideria* (Благие пожелания — *лат.*). Novembre 1857»; далее — справка: «писано Федором Иван., Действ. Ст. Сов., в ноябре 1857. Предоставлено им Министру Иностранных Дел, Князю Александру Михайловичу Горчакову. Читано Государем».

Первая публикация — РА. 1873. № 4. С. 607–620 и 620–632, на *фр.* и *рус.* яз. под заглавием «О цензуре в России. Письмо Ф. И. Тютчева одному из членов государственного совета». Публикация легла в основу *Изд. СПб.*, 1886. С. 488–501 и 572–584; *Изд. 1900.* С. 519–532 и 603–615; *Изд. Маркса.* С. 324–332 и 364–369; стала источником для репринтного издания *фр.* и *рус.* текстов — Тютчев Ф. И. Политические статьи. С. 78–91 и 159–170; публикаций в *рус.* переводе — Тютчев Ф. Русская звезда. С. 301–310; другого перевода — *ПСС в стихах и прозе.* С. 424–431.

Печатается по *Изд. СПб., 1886. С. 572–584 (на фр. яз.)*.

Среди наиболее заметных различий между публикациями в *РА* и в *Изд. СПб., 1886* можно выделить следующие (первыми указываются цитаты из *РА*): «l'état a charge d'âmes aussi bien que l'église» — «l'Etat a charge d'âmes aussi bien que l'Eglise» (12-й абз.); «pouvoir» — «Pouvoir» (16-й абз.).

«Письмо о цензуре в России» занимает особое место среди разнородных официальных, полуофициальных и анонимных записок, писем, статей, получивших широкое распространение с началом царствования Александра II (в ряде случаев они были прямо обращены к царю), критиковавших сложившееся положение вещей в общественном устройстве и государственном управлении и обсуждавших различные вопросы их реформирования. «Историко-политические письма» М. П. Погодина, «Дума русского во второй половине 1855 г.» П. А. Валуева, «О внутреннем состоянии России» К. С. Аксакова, «О значении русского дворянства и положении, какое оно должно занимать на поприще государствен-

ном» Н. А. Безобразова, «Восточный вопрос с русской точки зрения», «Современные задачи русской жизни», «Об аристократии, в особенности русской», «Об освобождении крестьян в России» — эти и подобные им произведения «рукописной литературы», принадлежавшие перу Б. Н. Чичерина, Н. А. Мельгунова, А. И. Кошелева, Ю. Ф. Самарина и других представителей разных идейных течений, в списках расходились по стране. Встречались и такие, в которых рассматривались возможные изменения в области цензуры и печати, например, «Записка о письменной литературе», отражавшая взгляды К. Д. Кавелина, братьев Милютиных и других либералов, или подготовленное П. А. Вяземским для императора «Обозрение современной литературы», утверждавшее полезность для страны критического направления в журналистике и одновременно — необходимость разумной правительственной опеки над «благонамеренной гласностью».

В хаотическом брожении умов и столкновении различных проектов обновления социальной жизни Тютчева можно отнести к

представителям консервативного прогресса, ратовавшим за эволюционные, а не революционные изменения. Не сомневаясь в христианских основах и нравственных началах самодержавия, а, напротив, стремясь укрепить их, он полагал, что «пошлый правительственный материализм», «убийственная мономания», боязнь диалога с союзниками, недоверие к народу, стремление в идейной борьбе опираться лишь на грубую силу подтачивали открытую и незамутненную мощь христианской империи, давали козыри ее противникам, служили не альтернативой, а пособничеством «революционному материализму». Среди подобных следствий «правительственного материализма» поэт особо выделял произвол по отношению к печати, жертвами которого зачастую становились не столько либерально-демократические, сколько славянофильские издания. В русле расширения, по инициативе правительства, гласности «в пределах благоразумной осторожности» и появления массы новых изданий единомышленники Тютчева открывали во второй половине 1850-х гг. свои журналы и газеты («Русская беседа»,

«Молва», «Сельское благоустройство», «Парус»), которые испытывали цензурный гнет и в конечном итоге закрывались. Славянофилы признавали самодержавие одним из главных исконных устоев русской жизни, укреплять который способна свобода совести и слова, преодолевающая убийственный для него чиновничий произвол и казенную рутину. Однако самовластная бюрократия оказывалась сильнее, и позднее, 3 апреля 1870 г., Тютчев писал дочери Анне: «Намедни мне пришлось участвовать в почти официальном споре по вопросу о печати, и там было высказано — и высказано представителем власти — утверждение, имеющее для некоторых значение аксиомы, — а именно, что свободная печать невозможна при самодержавии, на что я ответил, что там, где самодержавие принадлежит лишь государю, ничто не может быть более совместимо, но что действительно печать, — так же, как и все остальное, — невозможна там, где каждый чиновник чувствует себя самодержцем» (Изд. 1984. С. 342).

Для понимания внутренней логики «Письма...» важно еще иметь в виду происходив-

ший во второй половине XIX в. своеобразный поиск адекватного отношения к нарождавшимся в России феноменам общественного мнения, гласности, свободы журналистики (см. об этом: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892; Энгельгардт Н. Очерки истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703–1903). СПб., 1904; Лемке М. К. Очерки по истории цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904; Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати: 60-70-е годы XIX в. Л., 1989; Пирожкова Т. Ф. Славянофильская журналистика. М., 1997; Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв. М., 2001 и др.).

В осмыслении взаимоотношений государства и общества через печатное слово Тютчев своеобразно солидаризировался с такими, например, правительственными деятелями, как в 1860-е гг. П. А. Валуев или позднее К. П. Победоносцев. До известной степени и в фундаментальных вопросах они являлись как бы единомышленниками поэта по прогрессивно-консерватизму (хотя он нередко и резко критиковал конкретные действия П. А. Валуе-

ва) и рассматривали прессу как неоспоримую силу, становящуюся универсальной формой цивилизации и действующую в условиях падения высших идеалов, исторических авторитетов и, говоря словами самого поэта, «самовластия человеческого я» (при этом сознательно или бессознательно, но закономерно превращающуюся в инструмент подобных процессов). В документах разных лет, в том числе и в записке «О внутреннем состоянии России», П. А. Валуев подчеркивал: «При самом даже поверхностном взгляде на современное направление общества нельзя не заметить, что главный характер эпохи заключается в стремлении к уничтожению всякого авторитета. Все, что доселе составляло предмет уважения нации: вера, власть, заслуга, отличие, возраст, преимущества, — все попирается: на все указывается как на предметы, отжившие свое время <...> Наша пресса вся целиком в оппозиции к правительству. Органы прессы являются или открытыми и непримиримыми врагами, или очень слабыми и недоброжелательными друзьями, которые идут дальше целей, какие ставит себе прави-

тельство. Его собственные органы неспособны или парализованы» (Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862. С. 125; Исторический архив. 1958. № 1. С. 142).

В такой парадоксально складывавшейся для самодержавного государства ситуации оппозиционные либеральные, демократические, революционные, легальные и нелегальные издания в России и за рубежом получали и известные моральные преимущества, ибо сосредоточивались на критике реальных недостатков и злоупотреблений существовавшего строя, хотя в своей положительной программе исходили из идеологической риторики невнятного гуманизма и прогресса, утопически уповавшей на внешние общественные изменения, что приводило впоследствии (без учета подчеркнутого Тютчевым антропологического фактора, несовершенной и греховной природы человека) к кровавым революциям, гражданским войнам, упрощению и примитивизации отношений между людьми в цивилизационном процессе. Такая критика при такой «положительной» программе предполагала соответствующий подбор известий и

фактов, их сокращение, поворачивание и освещение с тех сторон, которые требовались не полнотой истины, а политическими, идейными, материальными, финансовыми, личными интересами. «Сочиняя» на этой основе общественное мнение, пресса затем «отражает» и проповедует его, формируя замкнутый круг (оторванный от многообразия социальных «голосов») и оказывая на людей огромное влияние без должной легитимности (в тютчевском понимании этого слова). Отсутствие в газетной деятельности, манипулирующей человеком, достаточных нравственных оснований и подлинной легитимности подчеркивал Н. В. Гоголь: «Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная на-

смешка над человечеством!» (Гоголь. С. 190). К. П. Победоносцев, вопрошая, кто дал права и полномочия той или иной газете от имени целого народа, общества и государства возносить или ниспровергать, провозглашать новую политику или разрушать исторические ценности, замечал: «Никто не хочет вдуматься в этот совершенно законный вопрос и дознаться в нем до истины; но все кричат о так называемой свободе печати, как о первом и главнейшем основании общественного благоустройства <...> Нельзя не признать с чувством некоторого страха, что в ежедневной печати скопляется какая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая над человечеством» (Победоносцев. С. 125, 132). Эта сила ссылается на читательский «спрос», навязываемый ее же ретивым «предложением», которое превращается из свободы в деспотизм печатного слова, уравнивает «всякие углы и отличия индивидуального мышления», отучает от самостоятельного мнения, в массе передаваемых сведений становится источником мнимого знания и образования, рассчитывает с помощью рыночных талантов и

привлекательно-шокирующей информации «на гешефт» и на удовлетворение «низших инстинктов», а не «на одушевление на добро». В результате «никакое издание, основанное на твердых нравственных началах и рассчитанное на здравые инстинкты массы, — не в силах будет состязаться с нею» (там же. С. 129).

Тютчев ясно представлял себе изначальную двойственность и слабую легитимность печатного слова, его внутреннюю оппозиционность и потенциальную разрушительность (эту роль «типографического снаряда» подчеркивал и А. С. Пушкин), склонность опираться на не лучшие свойства человеческой природы и т. п. Поэтому необходимость «ограждать общество от действительно вредного и предосудительного» не вызывала у него как у цензора Министерства иностранных дел с 1848 г. и председателя Комитета цензуры иностранной с 1858 г. никаких сомнений (о деятельности поэта на этих должностях см.: Чулков Г. Тютчев и Аксаков в борьбе с цензурой // Мурановский сб. Мураново, 1928. Вып. 1. С. 7–29; Брикман М. Тютчев в

Комитете цензуры иностранной // ЛН. М., 1935. Т. 19–21. С. 565–568; Жирков Г. В. Тютчев о цензуре // Невский наблюдатель. 1997. № 1. С. 44–45; Жирков Г. В. Век официальной цензуры // Очерки русской культуры XIX века. Власть и культура. М., 2000. С. 227–233). В его представлении такая деятельность может приносить действительную пользу, а не вред, если возглавляется и исполняется по-настоящему многознающими, мудрыми, честными, ответственными людьми, сообразующимися не с пристрастиями и фобиями вышестоящего начальства, а с Истиной и Делом, не с буквой устаревших инструкций, а «с разумом закона, требованиями века и общества». И такие цензоры, помимо Тютчева, стали появляться в лице Н. И. Пирогова, И. А. Гончарова, В. Н. Бекетова, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского... (О себе и таких цензорах он писал в стихах, что, «стоя на часах у мысли», они «не арестантский, а почетный держали караул при ней!».) Хотя в целом господствовали другие, и в одном из писем летом 1854 г. поэт замечал: «Недавно у меня были мелкие неприятности в министерстве, все по поводу этой злосчаст-

ной цензуры. Конечно, в этом не было ничего особенно важного... На развалинах мира, который обрушится под тяжестью их глупостей, они, по роковому закону, останутся жить и умирать в постоянной безнаказанности их идиотизма. Что за отродье, Боже мой! Однако, чтобы быть вполне искренним, я должен сознаться, что эта беспримерная, эта ни с чем не сравнимая недалекость не печаливает меня за судьбу самого дела настолько, насколько, казалось, должна была бы опечалить. Когда видишь, насколько все эти люди лишены всяких мыслей и всякой сообразительности, следовательно и всякой самодеятельности, — становится невозможным приписывать им малейшее участие в чем-либо; в них можно видеть только безвольные колесики, приводимые в движение невидимой рукой» (РА. 1899. № 2. С. 275). За шесть лет до своей кончины Тютчев был вынужден констатировать (несмотря на благие намерения и реформаторские усилия правительства): «Для совершенно честного, совершенно искреннего слова в печати требуется совершенно честное и искреннее законодательство по

делу печати, а не тот лицемерно-насильственный произвол, который теперь заведывает у нас этим делом» (цит. по: Чулков Г. Тютчев и Аксаков в борьбе с цензурой. С. 19). По наблюдению поэта, этот произвол и тяжести цензорских «глупостей» сковывали силы легитимной и «разумно-честной печати», стремившейся искренне и свободно, верой и правдой служить (а не прислуживаться, тем самым дискредитируя ее) «христианской империи», терявшей своих талантливых сотрудников и не имевшей возможности свободно состязаться с либерально-демократическими и революционными изданиями на «твердых нравственных началах» и на гораздо более трудных, нежели критически-разоблачительные, но единственно плодотворных, говоря его словами, «положительно разумных» основаниях.

Различным вопросам функционирования свободного слова в печати, связанного с принципиальными общественными и государственными задачами бескорыстным делом, проникновенной сознательностью, нравственной ответственностью и вменяемостью,

и посвящено «Письмо о цензуре в России». И. С. Аксаков отмечает: «В 1857 году Тютчев написал, в виде письма к князю Горчакову (ныне канцлеру) статью или записку о цензуре, которая тогда ходила в рукописных списках и, может быть, не мало содействовала более разумному и свободному взгляду на значение печатного слова в наших правительственных сферах» (*Биогр.* С. 38–39). С 1856 г. А. М. Горчаков (1798–1883) занимал должность министра иностранных дел, сумел значительно смягчить отрицательные последствия Крымской войны и заключившего ее Парижского трактата, вывести Россию из политической изоляции и усилить ее влияние на Балканах. По словам Тютчева, при новом министре, сменившем «труса беспримерного» К. В. Нессельроде, «поистине впервые действия русской дипломатии затронули национальные струны души» и продемонстрировали «полный достоинства и твердости» тон. С конца 1850-х гг. поэт тесно сблизился с А. М. Горчаковым и с самых разных сторон помогал ему в его деятельности (см. его письма министру и *коммент.* К. В. Пигарева в статье «Ф. И. Тютчев и

проблемы внешней политики царской России» (ЛН. 1935. Т. 19–21. С. 199–235); см. также: Кожинов В. Тютчев. М., 1988. С. 384–406). При проведении национально ориентированной внешней политики А. М. Горчаков придавал большое значение формированию общественного мнения, что отразилось в одном из нескольких адресованных ему стихотворных посланий поэта в 1864 г.:

*Вам выпало призванье роковое,
Но тот, кто призвал вас, и соблюдет.
Все лучшее в России, все живое
Глядит на вас, и верит вам, и ждет.
Обманутой, обиженной России
Вы честь спасли, — и выше нет за-
слуг;
Днесь подвиги вам предстоят
иные:
Отстойте мысль ее, спасите
дух...
(«Князю Горчакову»).*

Как предполагает И. С. Аксаков, стихотворение написано «по поводу грозивших Русской печати новых стеснений» (Биогр. С. 281).

Тютчев не случайно обращается с таким призывом к А. М. Горчакову, который семью годами ранее приглашал его возглавить новое издание, соответствующее новой политике. 27 октября / 8 ноября 1857 г. дочь поэта Дарья сообщала сестре Екатерине, что кн. А. М. Горчаков предложил их отцу «быть редактором газеты или нечто в этом роде. Однако папá предвидит множество препятствий на этом пути и в настоящее время составляет записку, которую Горчаков должен представить государю; в ней он показывает все трудности дела» (ЛН-2. С. 293). Об идеологических, административных, организационных, цензурных, психологических, нравственных трудностях воплощения подобного проекта и ведет речь поэт в своем «Письме...», которое в ноябре 1857 г. стало распространяться в Москве. 20 ноября М. П. Погодин записал в дневнике: «Записка Тютчева о цензуре» (цит. по: ЛН-2. С. 14). Вероятно, М. П. Погодин одним из первых познакомился с «запиской», поскольку ранее находил согласие с их автором в обсуждении сходных вопросов в похожем жанре. Поэт полностью одобрил «историко-политическое»

письмо М. П. Погодина, где в тютчевских словах и интонациях обрисованы губительные последствия для государственной и общественной жизни отсутствия нормальных условий для духовной деятельности: «Ум при- туплен, воля ослабела, дух упал, невежество распространилось, подлость взяла везде верх, слово закоснело, мысль остановилась, люди обмелели, страсти самые низкие выступили наружу, и жалкая посредственность, пош- лость, бездарность взяла в свои руки по всем ведомствам бразды управления» (Погодин. С. 267).

Два «историко-политических» письма М. П. Погодин прямо адресовал «К Ф. И. Тютче- ву», рассматривая проблемы заключения ми- ра после Крымской войны. Еще летом 1855 г. он писал П. А. Вяземскому: «...с Тютчевым толковали мы много об издании политиче- ских статей для вразумления публики» (СН. 1901. Кн. 4. С. 50). Летом же 1857 г. собеседни- ки активно обсуждали внешнеполитическую деятельность нового министра иностранных дел, которую, советуясь с Тютчевым и вразум- ляя публику, осенью этого года М. П. Погодин

высоко оценивал в подготовленной для «Journal du Nord» («Северной газеты») статье. Подобные факты объясняют, почему М. П. Погодин получил в числе первых список публикуемого «Письма...», которое находило отклик в обществе, а не у официальных кругов. Хотя управляющий III Отделением А. Е. Тимашев в «Замечаниях при чтении записки г. Тютчева о полуофициальном журнале, который он полагал бы полезным издавать в России с целью руководить мнениями» в целом одобрительно отнесся к мыслям автора и даже нашел ряд из них заслуживающими полного внимания. Соглашаясь с мнением поэта, что «цензура служит пределом, а не руководством», он тем не менее подчеркивает необходимость идейного руководства литературой, «ибо она теперь становится на такую дорогу, по которой мир читающий будет доведен до страшных по своим последствиям заблуждений» (цит. по: Порох И. В. Из истории борьбы царизма против Герцена. (Попытка создания анти-«Колокола» в 1857–1859 гг.) // Из истории общественной мысли и общественного движения в России. Саратов, 1964.

С. 128). А. Е. Тимашев в докладе начальнику III Отделения В. А. Долгорукову отмечает также интересные детали, относящиеся к проекту А. М. Горчакова: «...в бытность вашу за границей вам с кн^{язем} Александром Михайловичем Горчаковым пришла мысль об издании официального органа, одновременно с этим в Петергофе я в разговоре с <...> великим кн^{язем} Константином Николаевичем развил ту же мысль, Баранов и Карцев обрабатывают, как я узнал на днях, нечто подобное по военной газете, и наконец, г. Зотов является с таким же предложением» (там же. С. 129).

Тем не менее, если судить по письму Н. И. Тютчева Эрн. Ф. Тютчевой от 6/18 декабря 1857 г., должного внимания к планам поэта было явно недостаточно: «Рукопись моего брата произвела здесь то впечатление, которое и должна была произвести. К сожалению, все это ни к чему не приводит и служит только подтверждением притчи о жемчужинах, брошенных свиньям...» (ЛН-2. С. 293).

«Письмо...» увидело свет еще при жизни автора в РА за 1873 г. После прочтения публи-

кации поэт в письме к дочери Екатерине замечал: «Не знаю, какое впечатление произвела эта статья в Москве, здесь она вызвала лишь раздражение, ибо здесь сейчас подготавливаются законы, диаметрально противоположные тем, о которых говорится в этой записке, но, когда используешь редкую возможность высказаться, мнение оппонентов тебя не очень интересует» (ЛН-1. С. 480). Тютчев подразумевает готовившийся новый закон о печати (принят 16 июня 1873 г.), вносящий дополнительные ограничения по отношению к периодическим изданиям и предоставлявший министру внутренних дел право приостанавливать те газеты и журналы, в которых неподобающим образом обсуждаются «неудобные» вопросы. За два месяца до кончины, будучи не в состоянии писать сам, он продиктовал следующие строки: «Перечитывая мою записку, которая и в настоящий миг трепещет современным интересом, я убедился, что самая бесполезная вещь на сем свете быть правым. Через 30 лет все, конечно, будут думать об этом предмете то же, что я тогда думал, но зло будет уже сделано, и, вероятно,

зло непоправимое. Мне любопытно бы видеть впечатление, которое произведет в правительственных сферах обнародование этой записки... Но как простодушно-глупо с моей стороны озабочиваться тем, что не имеет уже никакого живого отношения ко мне! Мне следовало бы смотреть на себя как на зрителя, которому, после опущения занавеса, ничего другого не остается, как подобрать свои вещи и направиться к двери...» (цит. по: *Биогр.* С. 313).

Публикуя «Письмо...», редактор РА П. И. Бартенев отмечал, что печатает «записку» Тютчева «как произведение, знаменующее собою важную минуту в истории русского умственного развития» (РА. 1873. № 4. С. 607).

...изложенного вами замысла... — Подразумевается предложение А. М. Горчакова Тютчеву «быть редактором газеты или нечто в этом роде», о чем речь шла выше.

...нельзя чересчур долго и безусловно стеснять и угнетать умы без значительного ущерба для всего общественного организма. — Тютчев формулирует здесь на опыте гос-

подства жесткой цензуры в последекабристскую эпоху один из непреложных, но «невидимых» законов, которые в нравственном мире мысли так же действенны, как и физические в материальном мире природы. По его представлению, жизнеспособность «общественного организма» православной державы как высшей формы государственного правления основывается на воплощаемой чистоте и высоте ее религиозно-этических принципов, без чего «вещественная сила» власти «обессоливается» и обессиливается и не может, несмотря на внешнюю мощь, свободно и победно конкурировать с доводами серьезных и многочисленных противников. Более того, происходит своеобразная «путаница», и нравственно не обеспеченные «стеснения» и механические запреты создают эффект «запретного плода», в результате которого низкие по реальной, а не декларируемой сути и ценности идеи получают не свойственные им значение и популярность. «Всякое вмешательство Власти в дело мысли, — подчеркивает Тютчев, — не разрешает, а затягивает узел, что будто бы пораженное ею ложное уче-

ние — тотчас же, под ее ударами, изменяет, так сказать, свою сущность и вместо своего *специфического* содержания приобретает вес, силу и достоинство угнетенной мысли» (ЛН-1. С. 264–265). К тому же, замечает он в письме к И. С. Аксакову, под покровом ложного усердия вырастает порода «выродков человеческой мысли, которыми все более и более наполняется земля Русская, как каким-то газом, выведенным на божий свет животворной теплотой полицейского начала» (там же. С. 263). Ср. сходную убежденность единомышленника Тютчева Ю. Ф. Самарина (выраженную им в предисловии ко второму тому Собрания сочинений А. С. Хомякова) в двусмысленной и коварной роли внешних запретов небезупречной в нравственном отношении власти и соответственно духовной стесненности, когда «свобода принимает характер контрабанды, а общество, лишаясь естественно всех благих последствий обсуждения мнений, колеблющих убеждения и мятущих совести, добровольно подвергается всем дурным» (Хомяков 1900. Т. 2. С. II). Сам Тютчев на посту председателя Комитета цензуры иностранной стре-

мился не лишать то или иное сочинение его специфического содержания и не приносить в него достоинство угнетенной мысли. Одним из многочисленных примеров тому может служить подписанный им отчет Комитета от 27 января 1871 г., где высказывается отношение к идеям Дарвина: «...гораздо рациональнее предоставить делу критики опровергнуть ошибочность теории автора», нежели ставить преграды на пути ознакомления с нею, уже получившей «всемирную значимость». Общую логику Тютчева в необходимости свободного и талантливое противовеса нигилистическим тенденциям может пояснить следующий вывод М. Н. Каткова: «Одних запретительных мер недостаточно для ограждения умов от несвойственных влияний; необходимо возбудить в умах положительную силу, которая противодействовала бы всему ей несродному. К сожалению, мы в этом отношении вооружены недостаточно» (Исторические сведения о цензуре в России. С. 80).

...умаление умственной жизни в обществе неизбежно оборачивается усилением материальных appetitов и корыстно эгоистических

инстинктов. — Имеется в виду один из важных духовно-психологических законов, к которым Тютчев, подобно Ф. М. Достоевскому, всегда был чуток и учитывал их при осмыслении историко-политических вопросов. Этот закон проявился в последующем с особенной очевидностью.

И правящая мысль, не находя вне себя ни контроля, ни указания, ни какой-либо точки опоры, в конце концов приходит в смущение и изнемогает под собственным бременем еще до того, как она падет по роковому стечению событий. — Под влиянием таких чиновников, как Тютчев, правящая мысль частично сама осознавала «благонамеренную гласность» как «союзницу и помощницу» в деле предотвращения подобного исхода государственного контроля за различными беспорядками и злоупотреблениями, что отразилось в правительственном циркуляре от 3 апреля 1859 г. Годом ранее министр народного просвещения А. С. Норов подчеркивал в записке к императору другие аспекты в преодолении разрыва между властью, обремененной новыми вопросами государственного строительства,

хозяйства и законодательства, и подданными, на которых направлены предпринимаемые реформы: «Отчуждение общества от знакомства по крайней мере в общих понятиях с теми важными и жизненными вопросами, равнодушие к их действиям и пользе были бы явлением прискорбным. Вместе с тем, оно лишило бы правительство надежнейшего пособия, нравственной силы, которою оно может действовать на общество, на его доверие, убеждение, сочувствие и единомыслие...» (там же. С. 104).

Прямодушие и благосклонная натура царствующего Императора позволили понять необходимость ослабления чрезмерной строгости предшествующего правления и дарования умам недостающего им воздуха... — Положение печатного слова при Александре II, взошедшем на престол 19 февраля 1855 г., облегчилось уже в первые годы его царствования (хотя крупные юридические изменения произошли лишь в 1865 г. при введении так называемых временных правил, отменявших предварительную цензуру). Фактическое положение вещей в этой сфере во многом зави-

село от различных «веяний» в правительственных кругах. О характере «веяний» можно судить по высочайшим рескриптам в связи с крестьянской реформой, которые были изданы, можно сказать, в одно время с «Письмом...» и открывали возможность для обсуждения подобных вопросов. Уже с начала следующего года журналы («Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник» и др.) стали активно пользоваться предоставленной возможностью. Но еще раньше царь давал понять о необходимости дозированного распространения критического слова в печати. «В начале 1856 г. “обличительное” направление было одобрено словами государя. С этого момента оно начинает развиваться в виде обличения разных не порядков. Хотя не должно забывать, что каждое “обличение” появлялось в печати не прежде, как пройдя строжайшую цензуру того ведомства, которого касалось. Иными словами, в сущности, ведомства сами себя обличали, поощренные к тому словами государя: “Давно бы пора говорить это!” Но поощрение “обличительному” направлению было спорадическое; оно не пере-

ходило, в сущности, в открытую “гласность”, хотя бы и “в пределах благоразумия”» (Энгельгардт Н. А. Цензура в эпоху великих реформ (1855–1857 гг.) // Исторический вестник. 1902. Т. 90. С. 139). Последние слова подразумевают записку М. П. Погодина «Царское время», поданную Александру II, где среди других задач нового царствования автор говорил о необходимости «определить, в какой степени может быть допущена гласность, в видах предохранения правительственных и прочих решений от произвольности и учреждения над ними новой необходимой инстанции — бдительного общественного мнения, без которого само правительство остается часто во тьме. Эта гласность, в пределах благоразумной осторожности, доставит «...» средства узнавать людей...» (Погодин. С. 313). В целях ослабления «чрезмерной строгости» и расширения гласности «в пределах благоразумной осторожности» в 1856–1857 гг. Министерство народного просвещения разрешило выпускать более 50 периодических изданий, а во многих из них стали открываться общественно-политические рубрики (до 1856 г. такие

рубрики имелись лишь в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Московских ведомостях», «Северной пчеле», «Русском инвалиде»). Правительственные журналы («Журнал Министерства народного просвещения», «Журнал Министерства государственных имуществ», «Военный сборник» и пр.) охотно помещали материалы с обличением ведомственных злоупотреблений. Особо отличался в этом отношении «Морской сборник», над которым шефствовал вел. кн. Константин Николаевич, брат Александра II и его помощник в реформаторской деятельности, генерал-адмирал и глава российского флота и в котором нелицеприятно обсуждались злободневные политические вопросы. По словам Н. Г. Чернышевского, «Морской сборник» стал одним из «замечательнейших явлений нашей литературы». Подобные факты свидетельствовали о высочайшей инициативе в деле либерализации издательской политики и усиления критики недостатков в разных сферах жизни.

...в войне против злоупотреблений литература иногда увлекалась и доходила до очевидных преувеличений... — Подразумевается ост-

рая сатира и критика межсословных отношений, появлявшаяся в обличительной публицистике и художественных произведениях (в частности, в поэзии Н. А. Некрасова) и революционизировавшая общество в период эволюционных реформ. Ср. вывод управляющего III Отделением А. Е. Тимашева о некоторых антикрепостнических стихах последнего: «...в настоящее время, когда Правительство озабочено отменой отжившего крепостного права и сохранением доброго согласия между сословиями, менее нежели когда-нибудь могут быть допущены к печати такие мысли, какие встречаются на всякой странице разбираемых стихотворений» (цит. по: *Жирков*. С. 107). По словам Н. Г. Чернышевского, «страшный эффект» производили на публику и «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина, об увлечении которыми в Санкт-Петербурге докладывал в октябре 1857 г. один из агентов III Отделения: «О Салтыкове вообще многие здесь того мнения, что если он даст еще больше воли своему перу, и цензура не укротит его порывы, то незаметным образом может сделаться вторым Искандером» (Герасимова

Ю. И. Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850-х — начала 1860-х гг. М., 1974. С. 30).

...два <...> чувства: раздражение и отвращение к неутихающим злоупотреблениям и священная вера в чистые, открытые и благосклонные намерения Государя. — Зеленый свет, который был дан высочайшей инициативой «обличительной литературе», вызвал не только вал острой критики сложившегося положения вещей в обществе и государстве, но и стремление сотрудничать с правительством в осуществлении различных реформ (крестьянской, судебной, университетской, земской, цензурной) у западников, славянофилов, консерваторов, либералов, демократов, в том числе и у таких радикально настроенных, как А. И. Герцен или Н. Г. Чернышевский.

В этом мире всегда существовала какая-то предвзятость, сомнения и нерасположения, что достаточно легко объясняется особенностью его точки зрения. — Тютчева, пристально следившего с середины 1820-х гг. за «вопросом о печати», не могли не коробить

те особенности официальной, казенной, «полицейской», как он отмечает далее, точки зрения, в силу которой устранялись от активного участия в общественной жизни литераторы с благородными помыслами и одухотворяющим словом. «Есть привычки ума, — заключает он, — под влиянием коих печать сама по себе уже является злом, и, хоть бы она и служила властям, как это делается у нас — с рвением и убеждением, — но в глазах этой власти всегда найдется нечто лучшее, чем все услуги, какие она ей может оказать: это — чтобы печати не было вовсе. Содрогаешься при мысли о жестоких испытаниях, как внешних, так и внутренних, через которые должна пройти бедная Россия, прежде чем покончит с такой прискорбной точкой зрения...» (Изд. 1984. С. 314). Среди конкретных проявлений прискорбной предвзятости властей Тютчев мог иметь в виду и закрытие в 1832 г. журнала И. В. Киреевского «Европеец», после того как в статье издателя «Девятнадцатый век» были обнаружены некие тайные, революционные и конституционные смыслы, совершенно противоположные воплощенно-

му замыслу автора, или в 1836 г. журнала Н. И. Надеждина «Телескоп» после публикации в нем историсофских размышлений П. Я. Чадаева в первом философическом письме. Неадекватной формой борьбы с революционным духом в сфере печати могли служить для Тютчева и действия так называемого бутурлинского комитета, созданного в 1848 г. для постоянного контроля над цензурой и направлением периодических и прочих изданий. Цензуре подвергались уже почившие писатели А. Д. Кантемир, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, запрещались сочинения Платона, Эсхила, Тацита, исключались из публичного рассмотрения целые исторические периоды. Обсуждение богословских, философских, политических вопросов становилось затруднительным, а касание злоупотреблений или проявление каких-либо знаков неудовольствия могло вменяться в преступление. Особое давление испытывали славянофилы, которых высокопоставленные чиновники называли «красными» и «коммунистами». В результате честные и преданные монархии люди лишались права голоса в обще-

ственной борьбе с диктатом недалёковидной и своекорыстной бюрократии, что ослабляло государство под видом обманчивой демонстрации его силы и подготавливало, среди прочих причин, те «жестокие испытания», о которых говорит Тютчев. В письме к М. Н. Похвисневу в 1869 г. он писал: «Не следует упускать из виду, что наступают такие времена, что Россия со дня на день может быть призвана к необычайным усилиям, — невозможным без подъема всех ее нравственных сил — и что гнет над печатью <...> нимало не содействует этому нравственному подъему» (ЛН-1. С. 536).

...строгих установлений, тяготивших печать. — Имеются в виду последствия официальной точки зрения, а также ограничения цензурных уставов 1826 и 1828 гг. Согласно первому, прозванному за изобилие и суровость руководящих правил «чугунным», специальные комитеты в Петербурге, Москве, Вильне и Дерпте должны были осуществлять строгий регламентирующий контроль за печатными изданиями. При этом данное цензурное право улавливать по своему разумению

скрытую мысль автора, находить и запрещать в произведениях места, «имеющие двой-
кий смысл, ежели один из них противен цен-
зурным правилам», открывало широкий про-
стор для произвольных толкований. Действо-
вавший до 1860-х гг. устав 1828 г. ограничи-
вал цензорский субъективизм, возвращал
цензуру в Главное управление по делам печат-
ти при ведомстве народного просвещения и
предусматривал создание Комитета ино-
странный цензуры. Однако упрощавшие цен-
зуру изменения вскоре стали обрастать все-
возможными дополнениями и поправками и
осложнялись расширением круга ведомств,
получивших право просматривать и реко-
мендовать к изданию относившиеся к сфере
их интересов книги, журнальные и газетные
статьи. «Итак, — писал позднее А. В. Никитен-
ко, — вот сколько у нас ныне цензур: общая
при министерстве народного просвещения,
главное управление цензуры, верховный
негласный комитет, духовная цензура, воен-
ная, цензура при министерстве иностранных
дел, театральная при министерстве импера-
торского двора, газетная при почтовом депар-

таменте, цензура при III отделении собственной его величества канцелярии и новая, педагогическая «...» еще цензура по части сочинений юридических при II отделении собственной канцелярии и цензура иностранных книг, — всего двенадцать» (Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 335–336). Число учреждений, обладавших цензурными полномочиями, постоянно увеличивалось, и их получали, например, Вольно-экономическое общество или Комиссия построения Исаакиевского собора, Кавказский комитет или Управление государственного коннозаводства. «Строгие установления, тяготившие печать», особенно усилились в конце 1840-х — первой половине 1850-х гг. Поэтому, когда П. А. Вяземский, получивший поручение осуществлять основное наблюдение за цензурой, обратился к А. В. Никитенко с просьбой заняться проектом ее устройства, последний в качестве первоочередных мер отметил в дневнике от 12 февраля 1857 г. необходимость: «...освободить цензоров от разных предписаний, особенно накопившихся с 1848 года, которые по их крайней нерациональности и жестокости не

могут быть исполняемы, а между тем висят над цензорами как дамоклов меч «...» уничтожить правило, обязующее цензоров сноситься с каждым ведомством, которого касается литературное произведение по своему роду или содержанию» (там же. С. 457). Тот же А. В. Никитенко свидетельствует о том, какие тяготы в цензурных ведомствах приходилось переносить даже археологам: «Граф А. С. Уваров рассказывал мне на днях, как он боролся с цензурой при печатании своей книги, недавно вышедшей, “О греческих древностях, открытых в южной России”. Надо было, между прочим, перевести на русский язык несколько греческих надписей. Встретилось слово: *демос* — народ. Цензор никак не соглашался пропустить это слово и заменил его словом: *граждане*. Автору стоило большого труда убедить его, что это был бы не перевод, а искажение подлинника. Еще цензор не позволял говорить о римских императорах убитых, что они убиты, и велел писать: *погибли*, и т. д.» (там же. С. 342). Не менее показателен для «строгих установлений, тяготивших печать», и тот факт, что редактору «Современника» И.

И. Панаеву приходилось дважды ставить перед Главным управлением цензуры вопрос о публикации рукописи «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого и недоумевать: «Такого рода статьи <...> должны быть, кажется, достоинством всех газет и журналов <...> ибо патриотизм — чувство, неотъемлемое ни у кого, присущее всем и не раздающееся, как монополия. Если литературные журналы будут вовсе лишены права рассказывать о подвигах наших героев, быть проводниками патриотических чувств, которыми живет и движется в сию минуту вся Россия, то оставаться редактором литературного журнала будет постыдно...» (цит. по: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). С. 392). В период Севастопольского сражения военная цензура преуменьшала или замалчивала потери противника, вычеркивая чересчур «смелые» выражения, например, фразу «англичане ведут пиратскую войну», которую канцлер К. В. Несельроде нашел оскорбительной и раздражающей общественное мнение. «И вот какие люди, — возмущался Тютчев подобными фактами, — управляют судьбами России во время

одного из самых страшных потрясений, когда-либо возмущавших мир! Нет, право, если только не предположить, что Бог на небесах насмехается над человечеством, нельзя не предощутить близкого и неминуемого конца этой ужасной бессмыслицы, ужасной и шутовской вместе, этого заставляющего то смеяться, то скрежетать зубами противоречия между людьми и делом, между тем, что есть и что должно бы быть, — одним словом, невозможно не предощутить переворота, который, как метлой, сметет всю эту ветошь и все это бесчестие» (Изд. 1984. С. 234).

Мощное, умное, уверенное в своих силах направление — вот кричащее требование страны и лозунг всего нашего современного положения. — Необходимость такого направления и «высшего руководства» печатью в деле истинного благоустройства России как православной монархии была для Тютчева обусловлена и тем, что пресса действовала исходя из собственных интересов и выгод, вступавших нередко в противоречие с интересами и нуждами страны. «Разум целой страны, — писал Тютчев А. Ф. Аксаковой, — по какому-то недо-

разумению подчинен не произвольному контролю правительства, а безапелляционной диктатуре мнения *чисто личного*, мнения, которое не только в резком и систематическом противоречии со всеми чувствами и убеждениями страны, но, сверх того, и в прямом противоречии с самим правительством по всем существенным вопросам дня; и именно в силу той поддержки, какую печать оказывает идеям и проектам правительства, она будет особенно подвержена гонениям этого личного мнения, облеченного диктатурой» (там же. С. 314).

...ни в какую другую эпоху столько энергичных умов не оставалось не у дел, тяготясь навязанным им бездействием. — См. коммент. С. 502–503.*

...каково было тогда отношение печати к немецким правительствам... — См. коммент. к ст. «Россия и Германия». С. 255–256.*

...все эти пресловутые сравнения с происходящим за границей: почти всегда лишь наполовину поняты, они нам принесли слишком много вреда... — Тютчев был убежденным противником каких-либо заимствований с

Запада, перенесения на русскую почву европейских учреждений и институтов, как чуждых для России и на историческом опыте доказывавших свою несостоятельность. По его мнению, Россия «самим фактом своего существования отрицала будущее Запада», а потому для правильной ориентации в историческом процессе необходимо было «только оставаться там, где мы поставлены судьбою. Но такова роковая участь, вот уже несколько поколений сряду тяготеющая над нашими умами, что вместо сохранения за нашей мыслью, относительно Европы, той точки опоры, которая естественно нам принадлежит, мы ее, эту мысль, привязали, так сказать, к хвосту Запада» (цит. по: *Биогр.* С. 175–176). Конкретным проявлением подобного положения вещей Тютчев считал, например, копирование в новом законе о печати 1865 г. соответствующего французского, предусматривавшего замену предварительной цензуры ступенчатой системой предупреждений и наказаний по уже опубликованным материалам. «Все эти заимствования иностранных учреждений, — писал он М. Н. Каткову, — все эти законодатель-

ные французские водевили, переложенные на русские нравы, мне в душе противны — все это часто выходило неловко и даже уродливо» (ЛН-1. С. 418).

...наши убеждения менее испорчены и более бескорыстны... — См. коммент. к ст. «Россия и Революция». С. 328–329.*

...нигде <...> это государственное призвание не могло быть столь легко исполнимым. — См. коммент. к ст. «Россия и Революция». С. 322–323.*

Существенная задача заключается в том, чтобы Власть сама в достаточной степени удостоверилась в своих идеях, прониклась собственными убеждениями... — Здесь Тютчев снова проводит мысль о том, что материальная сила Власти без «идей», «убеждений», оживотворяющего Духа иллюзорна и временна. По его убеждению, как «духовенство без Духа есть именно та обуявшая соль, которою солить нельзя и не следует», так и Власть без глубокого нравственного сознания и примера теряет силу своего воздействия. «Я говорю не о нравственности ее представителей, — уточняет он в письме А. Д. Блудовой, — более или

менее подначальных, и не о нравственности ее внешних органов, составляющих ее руки и ноги... Я говорю о самой власти во всей сокровенности ее убеждений, ее нравственного и религиозного credo, одним словом — во всей сокровенности ее совести» (Изд. 1984. С. 250–251). В противном случае, как писал московский митрополит Филарет, «недостатки охранителей обращаются в оружие разрушителей».

...только приливная волна народной жизни способна снять его с мели и пустить в плавь. — Одну из важных причин ослабления садившегося на мель государственного корабля Тютчев видел в «пошлом правительственном материализме», который в его представлении не только не являлся альтернативой «революционному материализму», но оказывался его невольным и «невидимым» пособником. «Если власть за недостатком принципов и нравственных убеждений переходит к мерам материального угнетения, — отмечает он еще один “невидимый” закон духовного мира, — она тем самым превращается в самого ужасного пособника отрицания и

революционного ниспровержения, но она начинает это осознавать только тогда, когда зло уже непоправимо» (Изд. 1984. С. 357). Для предотвращения подобного развития событий Тютчев считал необходимым устранять произвол и чрезмерную опеку чиновничества, преодолевать «тупоумие» «во имя консерватизма» и открывать возможности для творческого почина и личностной самодеятельности народа в рамках его органической связи с православными традициями и понятиями самодержавной монархии. По его убеждению, целям такого объединения под эгидой царя «публики» и «народа», «государства» и «общества» и должно служить «просвещенное национальное мнение» печати, которое способно выражать не корыстные интересы и узкие устремления придворно-бюрократических кругов, а «великое мнение» целой страны и о котором применительно к внешней политике он размышляет в письме к А. М. Горчакову от 21 апреля 1859 г.: «Система, которую представляете вы, всегда будет иметь врагами тех, кто является врагами печати. Как же печати не стать вашей со-

юзницей?..» (там же. С. 258).

...не стеснять свободу прений, но, напротив, делать их настолько серьезными и открытыми, насколько позволяют складывающиеся в стране обстоятельства. — В сознании Тютчева свобода дискуссий не противоречила принципам идеального самодержавия, которые искажались в реальной действительности и положительная сила которых должна, с его точки зрения, найти в общественном мнении достойных и талантливых выразителей, не стесненных рутинной казенных предписаний и субъективными опасениями чиновников. С его точки зрения, только в такой свободе и при наличии таких выразителей, не отягощенных той или иной корыстью, можно успешно противостоять оппонентам, использующим эффекты «запретного плода» и нарочитой «угнетенной мысли», а также то свойство прессы, которое отметил А. Е. Тимашев (в 1857 г. писавший замечания на «записку» Тютчева, а в 1868 г. ставший министром внутренних дел): «Пресса по существу своему есть элемент оппозиционный. Представляющий тем более привлека-

тельности для общества, чем форма, в которую она облекает свои протесты, смелее и резче» (цит. по: Жирков. С. 156).

...я <...> более тридцати лет следил за этим неразрешимым вопросом о печати... — Т. е. стал «следить» вскоре после начала в 1822 г. дипломатической службы в Мюнхене. Одним из ярких свидетельств этого внимания является составленная Тютчевым в начале 1832 г. депеша, в которой предвосхищаются идеи и фразеология «Письма...»: «Воздействие новых идей, день ото дня возрастающее, оживление литературы и, прежде всего, цензура, плохо исполняющая свое назначение, неспособная ни предотвратить дурные теории, ни поддержать благие, — все это породило повсеместную потребность в законодательстве, которое направляло бы периодическую печать согласно принципам более упорядоченным. <...> Цензура твердая, разумная, основанная на едином принципе, стала бы несомненным благом для Государства, но та цензура, которая действует здесь, порождает лишь скандалы и общественные беспорядки. Причины, кои препятствуют установлению

цензуры умеренной и в то же время действительной, имеют двойную природу: одни истекают из общего положения вещей и состояния умов в этой части Германии, другие присущи одной Баварии. Надо признать, к великому сожалению, что в последние годы во всех этих краях чрезвычайно ослабело чувство уважения к власти — то непосредственное чувство доверия к ее просвещенному превосходству, те привычки к порядку и повиновению, кои составляют силу сообществ более молодых. Потребность проверять и критиковать поступки Правительства, направлять его действия, навязывать ему свои цели, свои помыслы и даже свои пристрастия — вот что характеризует не столько ту или иную партию, то или иное направление, сколько всю просвещенную публику в целом или тех, кто себя таковой считает, и эта склонность обнаруживается не только в последних рядах среднего класса, но и в высших кругах общества. В Баварии же эти анархические притязания как нельзя более поддерживаются непоследовательными действиями Правительства, которые являются следствием особенностей ха-

рактера короля. При полном отсутствии системы, сколько-нибудь установившейся, каждая партия домогается чести воздействовать на намерения Правительства, а так как цензура есть не что иное, как выражение этих намерений, она неизбежно должна будет следовать их постоянным колебаниям и таким образом множить в умах анархию, сдерживать которую она призвана» (цит. по: Динесман Т. Тютчев в Мюнхене (К истории дипломатической карьеры) // Тютч. сб. 1999. С. 150–151).

...она в последние годы тяготила Россию как истинное общественное бедствие. — Имеется в виду так называемое «мрачное семилетие» (1848–1855 гг.), когда с началом европейских революций стали ожесточаться цензурные правила и 2 апреля 1848 г. был создан специальный надзорный комитет под председательством директора Императорской Публичной библиотеки и члена Государственного совета Д. П. Бутурлина. Комитет, вопреки цензурному уставу 1828 г., возобновил практику поиска в разных сочинениях подспудного «тайного» смысла. Стремление везде и во

всем находить «непозволительные намеки и мысли» министр народного просвещения С. С. Уваров в докладе Николаю I называл манией и вопрошал: «Какой цензор или критик может присвоить себе дар, не доставшийся в удел смертному, дар всевидения и проникновения внутрь природы человека, дар в выражениях преданности и благодарности открывать смысл совершенно тому противный?» (цит. по: Исторические сведения о цензуре в России. С. 71). О том, какими «дарами» обладали многие чиновники, можно судить по деятельности предшественника Тютчева на посту председателя Комитета иностранной цензуры А. А. Красовского, которого С. С. Уваров называл «цепной собакой», а А. В. Никитенко характеризовал как «человека с дикими понятиями, фанатика и вместе лицемера, всю жизнь гасившего просвещение». Легко представить себе, в каком диапазоне произвола подобные люди могли истолковывать предписания бутурлинского комитета не пропускать в печать «всякие, хотя бы и косвенные, порицания действий или распоряжений правительства и установления властей, к какой

бы степени сии последние ни принадлежали», «разбор и порицание существующего законодательства», «критики, как бы благонамеренны они ни были, на иностранные книги и сочинения, запрещенные и потому не должны быть известными», «рассуждения, могущие поколебать верования читателей в непреложность церковных преданий», «могущие дать повод к ослаблению понятий о подчиненности или могущие возбуждать неприязнь и завистливое чувство одних сословий против других». Двойной смысл можно было искать и в статьях о европейских республиках и конституциях, студенческих волнениях, в исследованиях по истории народных бунтов и т. д., а также в произведениях художественной классики. В результате, например, в Главном управлении цензуры вставал вопрос о цензурировании нотных знаков (могут скрывать «злонамеренные сочинения по известному ключу»), наказывались под надуманным предлогом цензоры, отличавшиеся на самом деле, по словам министра народного просвещения П. А. Ширинского-Шихматова, «искреннею преданностью престолу и без-

укоризненной нравственностью» (профессор Петербургского университета И. И. Срезневский), или выносились порицания изданному в 1852 г. «Московскому сборнику», авторы которого (И. В. Киреевский, К. С. и А. С. Аксаковы, А. С. Хомяков) были принципиальными приверженцами православной монархии и ратовали за лечение ее «внутренних» язв в предстоянии «внешним» угрозам. «Всеведущий» и «проницательный» П. А. Ширинский-Шихматов заявлял, что «безотчетное стремление» этих авторов «к народности» может обрести крайние формы и вместо пользы принести «существенный вред», а потому отдал распоряжение обращать особое внимание «на сочинения в духе славянофилов». За единомышленниками Тютчева установили негласный полицейский надзор, что также было предусмотрено новыми предписаниями, согласно которым цензоры обязывались представлять особо опасные (политически и нравственно) сочинения в III Отделение (последнему же вменялось наблюдение за их авторами).

...мертвой букве уставов и предписаний, об-

ретающих ценность лишь от оживляющего их духа. — Здесь снова подчеркивается важное значение не регламентов и инструкций, а подлинного достоинства осуществляющих их конкретных людей и решающую, но часто не улавливаемую позитивистским, прагматическим, «здравомыслящим» сознанием роль духовного и нравственного фактора в истинной жизнеспособности, реальной действительности и материальной силе того или иного явления в человеческом мире. Это убеждение поэта восходит к словам ап. Павла: «...буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3, 6).

...я разумею учреждение русских изданий за границей вне всякого контроля нашего правительства. — Тютчев придавал большое значение подобного рода «учреждениям», призванным в условиях свободной состязательности противостоят либеральной и революционной печати. Советуя М. П. Погодину, добивавшемуся публикации своих «историко-политических писем» в России, печатать их за рубежом во избежание цензурных сокращений, Тютчев писал ему 13 октября 1857 г.: «После нескончаемых проволочек по-

ставят вам, в неперемное условие, сделать столько изменений, оговорок и уступок всякого рода, что письма ваши утратят всю свою историческую современную физиономию, и выйдет из них нечто вялое, бесхарактерное, нечто вроде полуофициальной статьи, задним числом писанной. — Сказать ли вам, чего бы я желал? Мне бы хотелось, чтобы какой-нибудь добрый или даже недобрый человек — *без вашего согласия и даже без вашего ведома* издал бы эти письма так, как они есть, — за границую... Такое издание имело бы свое значение, свое полное, историческое значение. — Вообще, мы до сих пор не умеем пользоваться, как бы следовало, русскими заграничными *книгопечатнями*, а в нынешнем положении дел это орудие *необходимое*. Поверьте мне, правительственные люди — не у нас только, но везде — только к тем идеям имеют уважение, которые без их разрешения, без их фирмы гуляют по белому свету... Только со *Свободным* словом обращаются они, как взрослый с взрослым, как равный с равным. На все же прочее смотрят они — даже самые благонамеренные и либеральные — как на

ученические упражнения...» (ЛН-1. С. 423). Через несколько лет адресат тютчевского письма воспользовался предложенным советом и опубликовал в Лейпциге «Письма и статьи М. Погодина о политике России в отношении славянских народов и Западной Европы». Встречая цензурные затруднения, издавал свои богословские сочинения за границей и А. С. Хомяков. Необходимость в «свободных и бесконтрольных» учреждениях русской печати за границей для правдивой, равноправной и плодотворной полемики с революционной и либеральной пропагандой усматривал и В. Ф. Одоевский, замечавший, что следует «против враждебных русских изданий употребить точно такие же и столь же разнообразные издания. Например, можно бы начать с биографий Герцена, Огарева, Петра Долгорукова, Гагарина, Юрия Голицына и проч. Такие биографии о людях, имеющих известность, но все-таки загадочную для иностранцев, с радостью бы издали те же самые лондонские, парижские и немецкие спекуляторы: ибо сии биографии имели бы большой расход. Оценка сих господ, написанная ловко, забавно и без

всяких личностей, уничтожила бы наполовину действие их изданий на публику «...» Но для того, чтобы нашлись люди в России, способные и талантливые, для борьбы с людьми такими же талантливыми и ловкими, как, например, Гагарин и Герцен (ибо по заказу талант не сотворится), необходимо дать нашим ратникам доступ к оружию, другими словами, снять с враждебных нам книг безусловное запрещение и позволить писать против них» (РА. 1874. № 7. С. 37–38). Ср. также вывод, сделанный в политическом обозрении второго номера «Русского вестника» за 1858 г.: «Вернейший способ погубить какое-нибудь начало в убеждениях людей, лучший способ подорвать его нравственную силу — взять его под официальную опеку... Правительство, не входя ни в какие унижительные и частные сделки с литераторами и журналами, может действовать гораздо успешнее и гораздо достойнее, предлагая литературе на рассмотрение и обсуждение те или другие административные, политические или финансовые вопросы и вызывая все лучшие умы в обществе содействовать ему в их разрешении» (цит. по: *Жир-*

ков. С. 111). И Тютчев, и В. Ф. Одоевский, и автор политического обозрения особо настаивают на свободно-талантливой, нравственно вменяемой (и тем самым, с их точки зрения, единственно результативной), а не ограниченной и обессиливаемой чиновничье-бюрократическими представлениями и опасениями полемике с либеральными и революционными оппонентами, имея в виду прежде всего журналистскую деятельность А. И. Герцена. Между тем в правительственных кругах вынашивался замысел особого и именно подконтрольного издания, своеобразного анти-«Колокола», обсуждавшийся на заседании Государственного совета (см. об этом: Порох И. В. Из истории борьбы царизма против Герцена. С. 119–146).

Бесполезно пытаться скрывать растущий успех сей литературной пропаганды. — Имеется в виду заграничная издательская деятельность А. И. Герцена. По свидетельствам современников, печатаемые им в Лондоне брошюры, журналы и газеты распространялись (несмотря на запреты, а отчасти и благодаря им — по эффекту «запретного плода»)

как в обеих столицах, так и в провинциях России, как среди почтенной публики, так и в кругу гимназистов и кадетов. По словам М. А. Корфа, «всякому известно, что при постоянном у нас существовании иностранной цензуры, нет и не было запрещенной книги, которой бы нельзя было достать; что именно в то время, когда правительство всего строже преследовало известные лондонские издания, они расходились по России в тысячах экземплярах, и их можно было найти едва ли не в каждом доме, чтобы не сказать, в каждом кармане; что когда мы всего более озабочиваемся ограждением нашей молодежи от доктрин материализма и социализма, трудно указать студента или даже ученика старших классов гимназий, который бы не прочел какого-нибудь сочинения, где извращаются все здравые понятия об обществе или разрушаются основания всякой нравственности и религии» (цит. по: Лемке М. К. Эпоха цензурных реформ 1859–1865 годов. СПб., 1904. С. 137). Действительно, еще в 1853 г. по инициативе III Отделения министры финансов, иностранных дел, народного просвещения, а также ге-

нерал-губернаторы пограничных губерний получили распоряжение принимать строгие меры для воспрепятствования ввозу в Россию герценовских изданий. Тем не менее принимаемые меры не приносили рассчитываемого результата, а в числе добровольных «контрабандистов» оказывались не только польские эмигранты, но и весьма высокопоставленные лица из России. Так, И. С. Тургенев в письме к А. И. Герцену от 16 января 1857 г. сообщал, что сын бывшего шефа жандармов А. Ф. Орлова «не только все прочел, что ты написал, но даже (*сесі entre nous*) (это между нами — *фр.*) с месяц тому назад отвез все твои произведения к в. к. Михаилу Николаевичу» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 3. М.; Л., 1961. С. 78). Ср. также свидетельство современника, что сенатор А. М. Княжевич, впоследствии министр финансов, после прочтения номеров «Колокола» посылал их под видом планов брату для распространения (Лемке М. К. Эпоха цензурных реформ 1859–1865 годов. С. 136). 26 апреля 1857 г. А. И. Герцен делился с М. К. Рейхель своей радостью по поводу приобретения

новых читателей из царствующего дома: «А вы знаете, что великие князья читают “Полярную звезду”? Вот, мол, тятеньку-то как пропекает...» (Герцен. Т. 26. С. 91). Отмечая складывавшуюся атмосферу, Е. А. Штакеншнайдер 6 октября 1857 г. записывает в дневнике: «В столе у меня лежит “Колокол” Искандера, и надо его прочесть спешно и украдкой и вернуть. Искандер теперь властитель наших дум, предмет разговоров <...> “Колокол” прячут, но читают все; говорят, и государь читает. Корреспонденции получает Герцен отовсюду, из всех министерств и, говорят, даже из дворцов. Его боятся и им восхищаются» (*Голос минувшего*. 1915. № 11. С. 185). А. М. Горчаков, адресат Тютчева, «с удивлением показывал напечатанный в “Колоколе” отчет о тайном заседании Государственного совета по крестьянскому делу... “Кто же, — говорил он, — мог сообщить им так верно подробности, как не кто-нибудь из присутствующих”» (цит. по: Корнилов А. А. Общественное движение при Александре II // *Минувшие годы*. 1908. № 4. С. 138). О нарастании ко времени составления «Письма...» успеха лондон-

ских изданий Искандера свидетельствовали в начале 1858 г. его корреспонденты. Так, Н. А. Мельгунов замечал: «Молодежь на тебя молится, добывает твои портреты, — даже не бранит того и тех, кого ты, очевидно с умыслом, не бранишь» (Вольное слово. 1883. № 58. С. 9). К. Д. Кавелин писал: «Влияние твоё безмерно. Н«erzen» est une puissance (Герцен — это сила — *фр.*), сказал недавно кн. Долгоруков за обедом, у себя. Прежние враги твои по литературе исчезли. Все думающие, пишущие, желающие добра — твои друзья и более или менее твои почитатели «...» Словом, в твоих руках огромная власть...» (Герцен и Огарев. ЛН. М., 1955. Т. 62. С. 385). Эту власть признавали представители разных идейных лагерей и общественных слоев. В «Былом и думах» А. И. Герцен писал: «"Колокол" — власть, — говорил мне в Лондоне, *horribile dictu* (страшно вымолвить — *лат.*), Катков и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу... И прежде его повторяли то же и Т«ургенев», и А«ксаков», и С«амарин», и К«авелин», генералы из либералов, либералы из статских советни-

ков, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой...» (Герцен. Т. 11. С. 300).

Именно с герценовской «властью» связывал И. С. Аксаков предложенный на рассмотрение Тютчева горчаковский проект: «Между тем Герценовская “вольная Русская печатня в Лондоне” не могла не смутить официальные сферы и заставила их серьезно призадуматься: какими бы средствами противодействовать ее влиянию? Но какими же средствами? Все запреты, все полицейские способы возбранить пропуск “Колокола” оказались бессильными. “Колокол” читался всею Россией, и обаяние единственно-свободного, впервые раздавшегося Русского слова было неотразимо. В правительственных сферах пришли наконец к мысли, что наилучшим средством вывести и общество, и себя из такого фальшивого положения было бы учреждение в самом Петербурге Русского литературного органа, такого органа, который, издаваясь при содействии, покровительстве и денежном пособии от правительства, но в то же время с приемами и развязностью почти свободной газеты,

боролся бы с Герценом и направлял бы общественное мнение на истинный путь... Для редакции такого журнала предполагалось пригласить благонамеренных, благонадежных, но однако же авторитетных литераторов... Этот-то проект, сообщенный Тютчеву на предварительное рассмотрение, и послужил поводом к его письму» (*Биогр.* С. 266–267).

Одобривший в целом «Письмо...» А. Е. Тимашев в «Замечаниях...» не согласился с ним в том, что «Герцен так привлекателен для русских, что влияние его так сильно», и выступил против ослабления цензуры в России и свободной борьбы мнений: «Уничтожить значение писаний Герцена совершенной свободой печатания, какова она в Англии, при монархическом неограниченном правлении, невозможно, и значило бы *убить себя из опасения быть убитым* <...> Это была бы непростительная ошибка, ибо общественное мнение примет скорее сторону пишущих против правительства... Официальная газета <...> должна быть голосом правительства, которому не следует вступать ни в споры, ни в полемику, чтоб не рисковать быть побежденным,

как бы ни были талантливы трудящиеся для него» (цит. по: Порох И. В. Из истории борьбы царизма против Герцена. С. 128–129).

...издание Герцена. — 21 февраля 1853 г. в литографированном обращении «Вольное русское книгопечатание в Лондоне. Братьям на Руси» А. И. Герцен извещал «всех свободолюбивых русских» о предстоящем открытии своей типографии и намерении предоставить трибуну «свободной бесцензурной речи», а «невысказанным мыслям <...> затаенным стремлениям дать гласность, передать их братьям и друзьям, потерянным в немой дали русского царства» (Герцен. Т. 12. С. 64). В 1855 г. А. И. Герцен приступил к изданию «Полярной звезды», в 1856 г. стали печататься сборники рукописных материалов «Голоса из России», а с июля 1857 г. начал выходить «Колокол», ставивший себе задачу практического влияния на ход общественной жизни в России и находивший наибольший отклик у читателей. В первом номере «Колокола» формулируется «триада освобождения» («слова — от цензуры», «крестьян — от помещиков», «податного сословия — от побоев»), которое, по убежде-

нию А. И. Герцена, необходимо для раскрепощения крестьянской общины как «Архимедовой точки» на повороте России к «русскому социализму». С этих позиций обсуждаются в начальный период на страницах «Колокола» различные факты текущей жизни, крестьянский вопрос, содержание конкретных правительственных актов, возможные реформы и т. п. «Издание Герцена», с быстро растущим тиражом, не только доставлялось различными путями в Россию (несмотря на строгий таможенный надзор, преследование лиц, хранивших и распространявших запрещенную продукцию, и т. п.), но и успешно продавалось у книготорговцев многих крупных городов Европы, а также получило постоянно расширяющуюся на первых порах обратную связь и популярность. О различных аспектах журналистской деятельности А. И. Герцена см. в кн. Базилева З. П. «Колокол» Герцена. М., 1949; Герасимова Ю. И. Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850-х — начала 1860-х гг. М., 1974; Пирумова Н. М. Александр Герцен. М., 1989; Громова Л. П. А. И. Герцен и русская журналисти-

ка его времени. СПб., 1994.

...люди <...> убеждали его подальше отбросить весь революционный хлам. — Имеются в виду находившиеся в числе активных корреспондентов А. И. Герцена И. С. Тургенев, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, П. В. Анненков, В. П. Боткин, Н. А. Мельгунов и др. Последний, например, советовал ему обходиться «осторожнее с императорской фамилией», поскольку Александр II может стать его союзником «на благо и счастье России». По свидетельству Б. Н. Чичерина, Т. Н. Грановский «не последовал за радикальными увлечениями Герцена, а, напротив, приходил в негодование от взглядов, выраженных в “Письмах с того берега” или в “Полярной звезде”» (Воспоминания Б. Н. Чичерина. М., 1991. Ч. 2. С. 36). Сам Б. Н. Чичерин, говоря о себе и своих единомышленниках, намеревавшихся печатать собственные рукописные произведения за рубежом за неимением возможности обнародовать их на родине, подчеркивал: «Однако направление Герцена, выразившееся в “Полярной Звезде” и в разных речах и брошюрах, было до такой степени противно нашим целям и убеждени-

ям, что мы нашли вместе с тем нужным по-слать ему письмо с заявлением несогласия с его взглядами» (там же. С. 121). Речь идет о «Письме к издателю», принадлежавшем перу Б. Н. Чичерина и К. Д. Кавелина и опублико-ванном в первом выпуске «Голосов из Рос-сии» с подписью «Русский либерал». Б. Н. Чи-черин как представитель «гувернементально-го доктринаризма» (выражение А. И. Герцена) был убежден, что «только через правитель-ство у нас можно действовать и достигнуть каких-нибудь результатов» в либеральных реформах, а потому осуждал лондонского из-дателя за сочувствие нигилистам и «анархи-ческим началам», за «рьяный либерализм» и «неистовые крайности». Более резко Б. Н. Чи-черин высказался в «Обвинительном акте», опубликованном в 1858 г. в «Колоколе». Его позицию поддержали недавние друзья А. И. Герцена Н. Х. Кетчер и Е. Ф. Корш. Возможно (хотя маловероятно, учитывая состояние по-эта после кончины Е. А. Денисьевой), отбро-сить «революционный хлам» уже гораздо позднее призывал А. И. Герцена и Тютчев, ко-гда в 1865 г. два раза встречался с ним в Пари-

же. Годом ранее в «Колоколе» было напечатано стих. поэта «Его светлости князю А. А. Суворову» с резкими комментариями А. И. Герцена, и 9 марта 1865 г. последний писал Н. П. Огареву о встрече с Тютчевым: «Горе ему, если он станет говорить о “Колоколе”» (цит. по: ЛН-2. С. 626). И уже через два дня после встречи в письме к тому же адресату он выразился так: «Тютчев — еще больше мед и млеко...» (там же). Во всяком случае, Тютчев не мог разделять социалистических убеждений и революционного радикализма Герцена, но должен был сочувственно относиться к его критике действительных пороков в России и на Западе. В отчете за 1863 г. на посту председателя Комитета цензуры иностранной он писал, говоря о деятельности русской заграничной прессы: «Но деятельность эта отрицательная и вредная, она преимущественно направлена против русской внутренней политики, духовенства и государственных деятелей наших <...> Но как ни вредна для русской литературы в России заграничная русская печать, — она далеко уступает по своему вреду подобным писателям — эмигрантам, каковы

Герцен, Огарев, Блюмер и Долгоруков, которые «...» избрали девизом своей литературной деятельности революцию и разрушение» (цит. по: Бриксман М. Ф. И. Тютчев в Комитете цензуры иностранной // *ЛН*. 1935. Т. 19–21. С. 574). О неоднозначном отношении в семье поэта к издательской деятельности идеологического оппонента свидетельствует и письмо его дочери Екатерины к сестре Дарье от 25 января 1859 г.: «Читаю сейчас “Колокол” Герцена, который мне одолжили целиком. Если не считать нескольких статей, ребячески и ненужно оскорбительных, я обнаружила интереснейшие вещи. Над всем царит культ разума, и это дает такое отдохновение после всех несправедливостей, которые по людской глупости или испорченности угнетают бедный человеческий ум в повседневной жизни. Читая этот журнал, как бы берешь реванш, и очень часто это дает мне такое же освежающее ощущение, как поток свежего воздуха в жаркой комнате: порой можно простудиться, но чаще всего это придает бодрости» (*ЛН-1*. С. 457). Неоднозначным было отношение к А. И. Герцену и в славянофильской среде, предста-

вители которой искали с ним общий язык на почве высокой оценки конструктивной роли сельской общины в русской истории и одновременно также не могли не убеждать его расстаться с пылким радикализмом. Так, А. И. Кошелев советовал И. С. Аксакову, посетившему лондонского издателя в августе 1857 г.: «Свидание с Герценом должно быть искусно произведено. В III-й Полярной звезде он нас разругал и глупо и гнусно. Презрением ему отвечать не должно, но необходимо ему растолковать, что он лишает себя великих льгот своего положения — быть вне партии, и что он добровольно выбрасывает наше содействие» (цит. по: Дудзинская Е. А. Славянофилы и Герцен накануне реформы 1861 г. // Вопросы истории. 1983. № 11. С. 49). Видимо, миссия отчасти (и на время) удалась, поскольку Герцен вскоре писал о перемирии со славянофилами и своей близости с И. С. Аксаковым («очень, очень сошлись») и намеревался опубликовать в четвертой книге «Полярной звезды» его драматические опыты. Таким образом, круг людей, убеждавших Герцена «по-дальше отбросить весь революционный

хлам», представляется достаточно широким.

...газета «...» на какой-то успех лишь в условиях, хотя бы немного сходных с условиями противника. — Подразумевается свобода слова, отсутствие которой при цензурной стесненности лишало сторонников «христианской империи» возможности полноценного правдивого высказывания, а правительственные издания превращало в неавторитетный и теряющий доверие конъюнктурный официоз, изнутри подрывавший отклонением от истины существующий строй.

Условные сокращения

Барсуков — Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888–1910. Кн. 1-22.

Биогр. — Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886.

ВЛ — ж. «Вопросы литературы».

Гейне — Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. Л., 1956–1959.

Гердер — Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.

Герцен — Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1966.

Гоголь — Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.

Голос минувшего — журнал истории и истории литературы. Изд. С. Мельгуновым и В. Семевским. М., 1913–1923.

Данилевский — Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991.

Достоевский — Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990.

Жирков — Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв. М., 2001.

Изд. СПб., 1886 — Сочинения Ф. И. Тютчева.

Стихотворения и политические статьи / Подгот. Эрн. Ф. Тютчева, наблюдение за печатью А. Н. Майков. СПб., 1886.

Изд. 1900 — Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи / Подгот. Эрн. Ф. Тютчева, А. А. Флоридов; предисловие И. Ф. и Д. Ф. Тютчевых. СПб., 1900.

Изд. 1984 — Тютчев Ф. И. Соч.: В 2 т. / Подгот. текста, сост., коммент. К. В. Пигарева. М., 1984. Т. 2.

Изд. Маркса — Полное собрание сочинений Ф. И. Тютчева, с критико-биографическим очерком В. Я. Брюсова, библиографическим указателем, примечаниями, вариантами, факсимиле и портретом. Изд. 8-е / Под ред. П. В. Быкова: Изд. т-ва А. Ф. Маркса, СПб. [1913].

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. Санкт-Петербург.

Киреевский — Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979.

Кюстин — Кюстин Астольф де. Россия в 1839 году. Т. 1–2. М., 2000.

Летопись 1999 — Летопись жизни и твор-

чества Ф. И. Тютчева. 1803–1844. М., 1999. Кн. 1.

Лирика I–II — Тютчев Ф. И. Лирика: В 2 т. / Подгот. К. В. Пигарев. М., 1965 (Лит. памятники).

ЛН — Литературное наследство.

ЛН-1, ЛН-2 — Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. I. М., 1988; Кн. II. М., 1989.

Москв. — ж. «Москвитянин». Изд. М. П. Погодиным. М., 1841–1856.

НИ — ж. «Новая и новейшая история».

НЛО — ж. «Новое литературное обозрение».

ОА-4 — Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 4. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1837–1845.

Пигарев — Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962.

ПО — ж. «Православное обозрение».

Победоносцев — Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. М., 1993.

Погодин — Погодин М. П. Сочинения. Историко-политические письма и записки в продолжении Крымской войны. 1853–1856. М., 1874. Т. 4.

ПСС в стихах и прозе — Тютчев Ф. Полн. собр. соч. в стихах и прозе / Сост., коммент. В. Кожинова. М., 2000.

Пушкин — Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1962. Т. 6.

РА — ж. «Русский архив». Изд. П. И. Барте-невым. М., 1863–1917.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства. Москва.

РГБ — Российская государственная библиоте-ка. Москва.

РЛ — ж. «Русская литература».

РНБ — Российская национальная библиоте-ка. Санкт-Петербург.

РС — ежемесячное историческое издание «Русская старина». Изд. М. И. Семевским и др. СПб., 1870–1918.

СН — «Старина и новизна». Исторический сборник, издаваемый при Обществе ревните-лей исторического просвещения в память имп. Александра III. 1897–1917. Кн. 1-22.

Синицына — Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. М., 1998.

Соловьев — Соловьев Вл. Соч.: В 2 т. М.,

1988.

Тютч. сб. 1999 — Тютчевский сборник П. Тарту, 1999.

Урания — «Урания». Тютчевский альманах. 1803–1928 / Ред. Е. П. Казанович. Вступит. статья Л. В. Пумпянского. Л., 1928.

Хомяков 1900 — Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1900.

Хомяков 1988 — Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988.

Хомяков 1994 — Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. М., 1994. Т. 2.

Чаадаев — Чаадаев П. Я. Статьи и письма. 2-е изд. М., 1989.

AZ — газ. «Allgemeine Zeitung».

Bertrand — Général Bertrand Henri Gratien. Cahiers de Sainte-Hélène. Т. 1–2. Р., 1949–1951.

Cadot — Cadot M. La Russie dans la vie intellectuelle française. 1839–1856. Р., 1967.

Las Cases — Comte de Las Cases. Le mémorial de Sainte-Hélène. Т. 1–2. Р., 1951.

Groh — Groh Dieter. Russland und das Selbstverständnis Europas: Ein Beitrag zur europäischen Geistesgeschichte. Neuwied, 1961.

McNally — McNally Raymond Th. Das

Russlandbild in der Publizistik Frankreich zwischen 1814 und 1843 // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. 1958. Bd VI. S. 82-169.

RDM — ж. «Revue des Deux Mondes».

Tulard — Tulard J. Napoléon, ou le Mythe du sauveur. P., 1977.

ZsPh — ж. «Zeitschrift für slavische Philologie».

Иллюстрации

Федор Иванович Тютчев. 1860–1861. *Фотография С. Левицкого.*

Сражение при Лейпциге 16–19 октября 1813 г. Первая четверть XIX в. Худ. Д. Вагнер. *Бумага, акватинта, раскрашенная акварелью.*

Капитуляция Парижа 31 марта 1814 г. Первая четверть XIX в. *Неизв. худ. Офорт, раскрашенный акварелью.*

Император Николай I. Ок. 1850. Худ. И. Винберг. *Миниатюра на кости; акварель, гуашь.*

Александр Михайлович Горчаков. Начало 1860-х гг. *Фотография К. Бергамаско.*

Революция 1848 года в Берлине. Взятие арсенала. 1848. *Неизв. худ. Гравюра.*

Революция 1848 года во Франции. Демонстрация в честь свержения монархии. (Демонстранты несут королевский трон, выброшенный из дворца Тюильри. На знаменах лозунги: «Да здравствует Республика!»; «Долой Гизо!».) Худ. А. Валантен. *Литография из журнала «Illustration», 4 марта 1848.*

Пий IX (1792–1878) — папа римский с 1846 г. *Мозаика.*

Испания. Любовь к ближнему по-христиански. 1872. Худ. О. Домье. Литография.

Открытие Франкфуртского парламента 16 сентября 1848 года. 1849. Неизв. худ. Гравюра.

За изучением европейских проблем. 1853. Худ. О. Домье. Литография.

Александр Васильевич Никитенко. 1877. Худ. И. Н. Крамской. Холст, масло.

Редакторы отстаивают свои статьи в цензурном комитете. Карикатура из журнала «Искра». 1867.

Храм Успения на Покровке вблизи московского дома Тютчевых. 1830-е гг. Худ. О. Кадоль. Литография.

Московский Кремль. Соборы. 1894. Худ. А. Васнецов. Фрагмент.

Купол собора св. Петра в Риме. Современная фотография.

Константин Великий (справа) и Юстиниан (слева) посвящают Богоматери Константинополь и храм святой Софии. VI в. Мозаика.

Иоанн Златоуст. XI в. Киев. Мозаика.

Автографы черновых материалов к трактату «Россия и Запад» и «Отрывка».

Византийский император Константин IX

Мономах посылает знаки императорского достоинства своему внуку великому князю Киевскому Владимиру Мономаху. 1890-е гг. *Роспись Грановитой палаты.*

Великий князь Киевский Владимир Мономах принимает знаки императорской власти. 1890-е гг. *Роспись Грановитой палаты.*

Игнатий Лойола (1491?—1556) — основатель ордена иезуитов. *Худ. Гедан. Гравюра.*

Мартин Лютер (1483–1546) — глава Реформации в Германии — основатель лютеранства. 1521. *Худ. Лукас Кранах. Гравюра.*

Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту. 1860. *Худ. П. П. Чистяков. Холст, масло.*

Коронация Наполеона в соборе Нотр-Дам. 1805–1807. *Худ. Ж.-Л. Давид. Холст, масло. Фрагмент.*

Алексей Степанович Хомяков. Вторая половина 1850-х гг. *Фотография.*

Федор Михайлович Достоевский. 1872. *Худ. В. Г. Перов. Холст, масло.*

Выходные данные

БК 84Р1 Т 98

Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений. Письма. В 6-ти томах. Т. 3 / Сост. Б. Н. Тарасов. — М.: Издательский Центр «Классика», 2003. — 528 с.: 16 с. ил.

В третий том Полного собрания сочинений Ф. И. Тютчева включены публицистические произведения, написанные на французском языке, и их переводы, а также комментарии к ним. Ответственный редактор тома Н. Н. Скатов.

Федор Иванович ТЮТЧЕВ

Полное собрание сочинений Том 3

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт мировой литературы им. М. Горького

Институт русской литературы (Пушкинский Дом)

Редколлегия

Н. Н. Скатов (главный редактор),
Л. В. Гладкова, Л. Д. Громова-Опульская, В.
М. Гуминский, В. Н. Касаткина, В. Н. Кузин, Л.
Н. Кузина, Ф. Ф. Кузнецов, Б. Н. Тарасов

Ответственный редактор тома *Н. Н. Ска-
тов*

Составление, перевод, подготовка текстов,
комментарии *Б. Н. Тарасов*

Редактор *Е. Ю. Жолудь*
Художник *В. А. Белкин*
Корректоры *И. Н. Белозерцева, Л. А. Галай-
ко, Е. А. Россоловская*
Компьютерная верстка *О. Н. Блажкова, Т.
Ю. Удачина*

Федеральная программа книгоиздания
России

Издательский проект «Ваш Тютчев» Меж-
дународного Пушкинского Фонда «Классика»

Всероссийский общественный совет изда-
тельской программы «ВАШ ТЮТЧЕВ»

Н. Н. Скатов (председатель), Н. Ю. Алекпе-
рова, Н. П. Буханцов, В. Н. Ганичев, В. К. Его-
ров, О. И. Карпухин, В. А. Костров, В. Н. Кузин,

Ф. Ф. Кузнецов, Н. С. Литвинец, Ю. Е. Лодкин,
В. С. Мелентьев, Э. Э. Россель, Е. С. Строев, В. В.
Федоров

Международный Пушкинский Фонд «Классика» благодарит ОАО Нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ», ее президента Вагита Юсуфовича Алекперова за активную поддержку классического искусства и литературы

ISBN 5-7735-0144-9

9 785773 501442 >

Издательский Центр «Классика», 109004,
Москва, ул. Б. Коммунистическая, д. 30, стр. 1.
Лицензия ЛР № 071632 от 24.04.1998 г.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 25.05.03. Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Петербург». Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 27,72. Уч. — изд. л. 29,3. Тираж 10000 экз. Заказ № 7195.

Примечания

Немцев (*итал.*).

[^^^]

Варваров (*итал.*).

[^^^]

немцы (*итал.*).

[^^^]

священники (*итал.*).

[^^^]

Равноправие (*нем.*).

[^^^]

6

благоговейного страха (*англ.*).

[^^^]